

Н О В Ы Й
М И Р

2

Н О В Ы Й
М И Р

1971

2



1971

НОВОЫЙ МИР

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Год издания XLVН

№ 2

Февраль, 1971 г.

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
ЛЕОНИД ПЕРВОМАЙСКИЙ — Новые стихи. Перевел с украинского Яков Хелемский	3
ОЛЕГ СМИРНОВ — Эшелон, роман	8
МАРИЯ АВБАКУМОВА — Четыре стихотворения	126

ОЧЕРКИ НАШИХ ДНЕЙ

ЕВГЕНИЙ СТАРОСЕЛЬСКИЙ — Председатель «научно-исследовательского»	128
--	-----

ПУБЛИЦИСТИКА

Э. ГОРБУНОВ, Ю. ОВСИЕНКО — Преодолеть психологический барьер	147
Г. БРЕЙТБУРД — Белая полоса в пустыне	159

ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ

Ц. ДМИТРИЕВА — Мужественный талант	178
------------------------------------	-----

НА ЗАРУБЕЖНЫЕ ТЕМЫ

МЭЛОР СТУРУА — Огни Алькатраза	191
С. С. СМИРНОВ — Месяц в Перу. Окончание	214

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Ю. СУРОВЦЕВ — Сегодняшние рубежи	235
ИВАН ДРАЧ — Леся	252

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

<i>Литература и искусство</i>	257
-------------------------------	-----

Тамара Жирмунская. «Быть человеком не переставая». — А. Бочаров. Пю вспаханному. — Евг. Евтушенко. Помнить о том, что мертвые были...

(См. на обороте)

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР»
Москва

СОДЕРЖАНИЕ (окончание)

	Стр.
<i>Политика и наука</i>	269
В. Шапко. Интересное исследование.— Г. Лисичкин. «Второсортные» граждане Америки.— Р. Баландин. Личность великого ученого.— Виктор Магидсон. «Экслибрис высшею печатью...»	
КОРОТКО О КНИГАХ — Б. Санина. — Современная художественная литература за рубежом. ♦ Л. Левин. — Р. Файнберг. Юрий Герман. ♦ А. Гладков. — А. Марьямов. Довженко. ♦ В. Кардин. — Франц Рекшня, Адольф Талцис. Шаги во тьме. ♦ А. Кузнецов. — Дэвид Халберстэм. Один очень жаркий день	282
КНИЖНЫЕ НОВИНКИ	286

ЛЕОНИД ПЕРВОМАЙСКИЙ

★

НОВЫЕ СТИХИ

С украинского

ПУШТА ФЕЛЬДВЕРНЕКИ

Памяти Семена Гудзенко.

*О степь глухая, пушта Фельдвернеки!*¹

Ту музыку запомнил я навеки,
Ту скрипку с бубном в снеговом тумане...
С утра играют под окном цыгане
В тряпье, без шапок, стоя в черной луже,
Растрепанные, синие от стужи.
Рыдает скрипка, контрабас бормочет,
Как будто рассказать о чем-то хочет,
Стучит бессонный бубен, сердце будит:
Все будет в жизни, будет, будет, будет...

Откуда ты возник в таком болоте,
Блестящий, словно в свежей позолоте,
Веселый, молодой, как на параде,
В шинели, словно в праздничном наряде,
В ушанке, схожей с рыцарским шоломом?
Ты не был до войны моим знакомым.
Сперва пришла твоя беда и слава:
Полночная атака, переправа,
Колючка в пять колов, дорога к доту,
Где минами твою накрыло роту.
Потом я прочитал стихи в газете,
Написанные где-то в лазарете
Или на марше — не пером в блокноте,
А чистой кровью, хлынувшей из плоти.
Я рад, что ты пришел в ночную пору
В берлогу к незнакомому майору.
Ему давно не спится в утлой хате,
В венгерском городишке Ясапати...

Тоскует скрипка. И мадьярке снится
Бетьяр² Зельд Марци — парень смуглолицый.
Сплясав с невестой чардаш ураганный,

¹ Строка из стихотворения Петефи. Пушта — степь (венгр.).

² Бетьяр — добрый разбойник, герой венгерских народных песен.

Он выходил на шлях, в степи туманной
 Встречал он толстосумов именитых
 В богатых шубах, в кунтушах расшитых.
 Был краток Марци:— Золото на бочку!..

Мы вместе скоротаем эту ночь.
 Пускай под мокрым снегом стынут реки.
О степь глухая, пушта Фельдвернеки!

Садись! Коль встреча выдалась такая,
 Есть хлеб и сало, есть бутылъ «токаая».
 Пускай война нас позабудет ныне,
 Пускай она задремлет на равнине,
 Пускай не ищут пули на рассвете
 Ни в Будапеште нас, ни в Кечкемете.
 Согреем душу разговором жарким,
 Наполним королевским наши чарки,
 Нарежем сала. Что нам тьма и слякоть?
 С чего бы скрипке этой ночью плакать?
 О чем она грустит и что пророчит?
 А бубен ухаает, бубнит, грохочет,
 Смеется он над бедной скрипкой, что ли...

Но где ж Зельд Марци? Наш бетьяр на воле.
 Нет, не укрылся он в Баконьской чаше
 Меж торбохватов мелких и ледащих.
 В степной корчме сидит он у шинкарки.
 Что видит он на дне шербатой чарки?
 Что ждет его? Свою судьбу он знает.
 Не по нему ли скрипка так рыдает?
 Поет, грустит о храбром человеке...
О степь глухая, пушта Фельдвернеки!

А нас уже ничто не испугает.
 Вот вспыхивает искорка в «токае»
 И гаснет. Что ж, ведь мы с тобой солдаты.
 Невзгоды, боль и ранние утраты —
 Наставники испытанные наши
 Любви нас учат, верности, бесстрашью.
 Не спит война, лишь прячется в тумане.
 Но в эту ночь мы и ее обманем.
 Ночь, мокрый снег... Читай, я, словно чуду,
 Твоим стихам внимать сегодня буду.
 Тем юношеским строчкам не забытья...

Глухая дверь. Московская больница.
 Слепой ночник мерцает еле-еле.
 Дорога к этой скомканной постели,
 К железной этой койке под стеною,
 Мне помнится, она звалась войною.
 Она была огнем, колючкой ржавой,
 Бессонницей, атакой, переправой!
 Слезами и стихами, грязным полем,
 Бинтами, кровью, порохом и болью.
 Не кончилась война, лишь притаилась,
 Во мне уснула, а в тебе открылась.

Зажмурь глаза, забудь, что ты в палате,
Что нет надежд, и жалобы некстати.
Прочти стихи бессонной санитарке
О храбрце Зельд Марци, о мадьярке.
Ты помнишь городишко Ясапати,
Ту ночь в заброшенной венгерской хате,
Ту искру, что мелькала, полыхая,
В бокале королевского «токая»?
Ты слышишь скрипку в утреннем тумане?
Терзают душу нищие цыгане,
Не смолкнет эта музыка вовеки...

О степь глухая, пушта Фельдвернеки!

ДУ ФУ

Заволок берега
Дождик серый и сирый.
Обезьяны печально кричат
Вдалеке.
Тучи, низко плывущие,
Как на буксире
Тянут лодку убогую
Вниз по реке.

На корме
Камышовый шалашик маячит,
Накренившийся,
Крытый циновкой худой.
Под лохмотьями
Хворая женщина плачет,
И над нею склоняется
Старец седой.

Чашка риса — их ужин.
А уголь в жаровне
Прогорает,
Суля им холодную ночь.
Звать на помощь?
Не звать?
В этом мире огромном
Кто их может услышать?
Кто может помочь?

Просочилась вода.
Кружкой вычерпав влагу,
Руки вытрет старик,
Одержим и упрям,
Тушь и кисточку вынет,
Расправит бумагу
И, забыв о невзгодах,
Вернется к стихам.

Темень. Снег.
Заслоня коптилку рукою,
Вновь плыви до зари

По студенной воде
И работай,
То плача над новой строкою,
То ликуя украдкою
Нáзло беде.

Сколько помнит он!
Сколько он видел и знает,
Тонкой кисточкой
Впрок начертавший строфу!..
Но давно уже люди
Тебя не читают,
Ты себя пережил,
Седоусый Ду Фу.

Все потеряно.
Но не потеряна совесть.
Значит, старость — не в счет.
И забвеньё — не в счет.
О, какую о том
Рассказали бы повесть
Ночь беззвездная,
Ветер, что лодку сечет!

Все равно не утонет
Она в непогоду,
Не истлеет поэзия —
Ночь напролет
Будет старец писать
И вычерпывать воду...
И двенадцать столетий
Тихонько пройдет.

Так чего ж я боюсь?
Живы совесть и память.
Обезьяны кричат,
Бесконечен маршрут...
Не страшит и конец.
Вновь сижу над стихами.
Я уйду,
А они за меня
Доживут.

РАНЫ

...И сквозь глубокий сон пришла ночная боль.
Ты скорчился во тьме, твои страданья тяжки.
Немыслимо терпеть? А ты терпи, изволь
Держаться по-мужски, не требуя побрякки.

Студенная звезда забрезжила в окне,
И холодно душе одной, как в поле чистом.
Нет, ранен не был ты на давней той войне.
Откуда ж этот взрыв, свирепой боли приступ?

Проклятия твои немые не слышны,
А муче нет конца. Ты мечешься в постели,
Но тайных ран своих, их жгучей глубины
Ты никому еще не открывал доселе.

Не те болят, что вдруг нанесены тебе
В житейской суете иль в схватках с ветряками.
Те зажили давно, на теле, на судьбе
Оставив лишь рубцы. Их много — шрам на шраме...

Но снова прорвалось из трудной немоты
Все, в чем ты грешен сам. (А ты грешил немало.)
Что, от смертельных ран еще не умер ты?
Твоя тупая боль уже привычной стала?

Нет, сердце помнит все. Никак не сладишь с ним,
Хоть с тесною тюрьмой грудная клетка схожа.
Плати! И если боль ты причинил другим,
Она, как бумеранг, тебя сразила тоже.

Тяжел и темен груз, что давит по ночам.
Его ты ни на чью не перевалишь спину.
Тобою нажит он. Его ты должен сам,
Не жалуясь, нести, хоть ноша нестерпима.

Дрожит в твоём окне звезды холодный свет.
Ты подавляешь стон. А боль не гаснет в теле.
Открылись раны вновь. Тебе спасенья нет.
Светает. А врачей не видно у постели.

БЕРЕЗОВЫЙ СОК

Зашуми надо мною, когда я, усталый, усну
Средь корней, что пропахли настоем безгрешно-тверезым.
Без меня почернеют сугробы и встретят весну,
Влажный ветер очнется и косы омоет березам.

Стану плотью твоей, буду слушать, как травы растут,
Как набухшие почки стреляют в лесу спозаранку.
Ближе к вечеру дети в озябших руках принесут
Кто кувшин обливной, кто солдатскую кружку, кто склянку.

Драгоценной слезой под холодным ножом заблещу,
Не почувствовав в сердце умолкшем ни страха, ни боли.
Выйдет месяц, зажжет меня, словно ночную свечу,
Озарю и овраг, и подлесок, и дальнее поле.

И в своем одиночестве полным, в земной глубине,
Вновь увижу себя на опушке под небом высоким.
На рассвете проснусь и всецело доверюсь весне,
Чтобы в звонкий кувшин перелиться березовым соком.

Перевел Яков Хелемский.



ОЛЕГ СМИРНОВ

★

ЭШЕЛОН

Роман

1

В Германии цвели сады, и я крутил любовь. Именно крутил, потому что происходящее у нас с Эрной не назовешь серьезной, большой любовью, которую испытывают или питают и о которой писано в книгах. По крайней мере с моей стороны такой красивой, книжной любви не замечалось.

А об Эрне ничего определенного сказать не могу. Она радовалась, когда я приходил к ней, печалилась, когда уходил. Этого достаточно для любви? Не уверен. Да и что за любовь может быть между немкой, потерявшей отца под Сталинградом, и советским офицером, чья мать расстреляна гестаповцами в Ростове? Но вообще-то мне с Эрной было неплохо, вовсе неплохо.

Я навещал Эрну часто: днем — чтобы перебраться несколькими словами с ней, с ее матерью, принести им чего-нибудь поесть, ночью — чтобы остаться до рассвета. Я знал, что их комната на втором этаже не заперта — нарочно для меня, — осторожно нажимал плечом на тяжелую дубовую дверь, на цыпочках шел в угол, к кровати Эрны. Она не спала, ждала. А мать то ли спала, то ли притворялась спящей. Сперва присутствие матери смущало, тревожило, потом по привычке.

А началось все это так. 9 апреля мы штурмом взяли Кенигсберг — под конец войны досталось разгрызть твердый орешек, немало там под занавес погубило нашего брата, немцев — еще больше. Сопrotивляться для них было бессмысленно, город был окружен, блокирован, однако они отвергли капитуляцию, пришлось штурмовать. Грохот бомб и снарядов, рев танков, команды: «Вперед!», крики раненых, бесчисленные пожары — горели вроде бы и каменные стены серых, мрачных зданий, и бетонные форты, и брусчатка мостовых, — черная смердящая пелена стлалась над городом-крепостью, над тусклой балтийской водой. Хоронысь за броней «тридцатьчетверок», мы, пехота, шаг за шагом, квартал за кварталом продирались по улицам, выкуривая из окон пулеметчиков и тотальников с фауст-патронами, подрывая гранатами «фердинандов»; фаустниками были совершенно бешеные молокососы из «гитлерюгенда», по пятнадцать — шестнадцать лет, а самоходные установки так и норювили садануть по нашим танкам. Уличные бои закончились на территории госпиталя, невероятно огромного — он уходил и под землю, — и везде в палатах, наверху и в подземелье, на двухъярусных койках лежали мертвецы; видать, во время многодневной осады было не до раненых, и они мерли — бескровные лица, остекленелые глаза, ни одного живого.

В газетах я прочел, что заявил на допросе плененный комендант

крепости генерал Ляш, его слова я переписал в свой блокнотик: «Никак нельзя было предполагать, что такая крепость, как Кенигсберг, быстро падет. Под Кенигсбергом мы потеряли стотысячную армию. Потеря Кенигсберга — это утрата немецкого оплота на Востоке...» Быстро или не быстро, но Кенигсберг пал к исходу четвертых суток непрерывных штурмовых боев, командир стрелкового взвода лейтенант Глушков это подтверждает.

Назавтра после овладения Кенигсбергом наш полк и вся дивизия вместе с другими частями и соединениями прошли церемониальным маршем по дымящимся руинам. С парада нас вывели в ельник на берегу залива. Мы и город-то толком не осмотрели. Побывали лишь в порту, где у причалов торчали полузатопленные суда, по пути набрали на памятник Канту, тому самому философу, что пустил по миру знаменитую «вещь в себе». На развороченных, присыпанных кирпичной пылью и битым стеклом улицах уже работали жители Кенигсберга — расчищали проезды, разбирая груды кирпича. Немцы в принципе народ со здравым смыслом. Поняли, что власть переменялась, и козь советский комендант приказал выйти на расчистку — вышли. Хотя разные бывают немцы. В подвале мои солдаты захватили в плен раненого фаустика. Я ему сказал:

— Зачем сопротивлялись? Ведь не было же никакой надежды, крови сколько лишней пролито...

Юнец окрысился, прошипел:

— Вы же сопротивлялись под Москвой...

— Тогда война начиналась, сейчас кончается.

Не знаю, дошло ли до него. Потупился, отвернулся. Возможно, принял меня за немца. Я высок, рус, голубоглаз — прямо-таки арийская раса, — чешу по-немецки, и многие пленные почему-то принимали меня за немца-перебежчика. Немецкий я изучал еще до войны, частным образом, на фронте напрактиковался и вот теперь владею тремя языками: русским, немецким и матерным — опять-таки на фронте овладел им в совершенстве.

Ну, потопали мы из города. Он и под апрельским солнцем оставался темной, угрюмой, каменно-враждебной громадиной. Пока топали по окрестным дорогам, на кого ни надивились: в беретах и лыжных шапочках, закутанные в пледы и в полосатых лагерных куртках, на ногах деревянные башмаки и подвязанные проволокой боты; все бледные, кожа да кости, пошатываются от морского ветра; русские слова и английские, французские, польские, чешские и еще бог весть какие. Вазилонское столпотворение! Негра видел, не вру! Дороги запружены этими толпами бредущих из угона, из концлагерей домой, на родину. У каждого своя родина. Негр, надо полагать, возвращается в Африку.

Да, вывели нас в лесок, за песчаным пляжем, за дюнами — плеск балтийской волны. Только поставили мы шалаши из еловых веток, только принялись вылавливать по округе фашистских недобитков — и снова марш, порядочный, километров за семьдесят от Балтики. Но рубить лапник на шалаши не пришлось: полк разместился в довольно-таки уцелевшем городишке. Мой взвод занял дом почти на самой окраине, сселив хозяев — мать и дочь — в одну комнату. По соседству на втором этаже поселился и я со своим ординарцем.

Ну, а в Германии, точнее в Восточной Пруссии, действительно всю зацвели сады. Будто бело-розовые облачка повисли на яблонях, вишнях, сливах. От них явственно пахло медом. Над цветущими деревьями кружились пчелы, и казалось, что это не они гудят, что гудит сам прозрачный, пропревший воздух. Словно не пахло совсем недавно дымом, взрывчаткой, разлагающимися трупами, словно небо не гудело

от самолетов. Солнечно, синё, нет дымных пожарищ, нет взрывов. Как-то странно, пожалуй.

Эрну с матерью оставили в этом доме по личному распоряжению командира полка — в порядке исключения, как объяснил мне ротный. А чего объяснять? Я понимал: цивильным немцам и нашим войкам жить вместе не положено, местным выделили домов двадцать — на всех, братья славяне заняли остальные, но мать Эрны больна, что-то с ногами, не встает. Не перетаскивать же ее? Пусть лежит в соседней комнате, никому не мешает. Кроме меня. И то я уже отчасти свыкся с ней.

Обычно пражданские немцы — это были дети, женщины, старики (другие мужчины, помоложе, мне ни разу не попадались) — эвакуировались заранее, до боев, а когда наши наступающие части нагоняли их где-то западнее, они возвращались на свои места. Измученные, вышибленные из привычных житейских условий, напуганные и чаще равнодушно-покорные, они плелись, таща скарб на санках зимой, на колясках весной. Эти толпы встречались с толпами освобожденных иностранцев, и нередко те пытались сводить счеты, и немцы просили защиты у советских солдат, и нам приходилось урезонивать пылких французов или обидчивых поляков. А по правде, не очень хотелось защищать немцев. С какой стати оберегать от справедливого гнева?

Зима здесь была мягкая, сырая, туманная, как выразился ротный — гриппозно-тифозная. Тиф, понятно, ни при чем, насморк же схватить либо ангину вполне можно было бы. Однако удивительно: на войне я — с моей носоглоткой — совершенно не болел.

Что же касается весны в Восточной Пруссии — иной разговор. Она не по-немецки бурная, щедрая на солнце, тепло, зелень, и воздух пропах медом и хмелем, и голова покруживалась, будто хватил чего-то крепкого. В мае уже можно было загорать вовсю, будь свободное время. Но его, как на грех, не было: то, что на войне удавалось далеко не всегда, теперь завертело нас, закружило, наслаиваясь, — занятия по боевой и политической подготовке, в классах и в поле, партийные, комсомольские, красноармейские, офицерские собрания, совещания, слеты, семинары. Вдобавок — баня, стирка, обшивка, утренняя и вечерняя проверка, караульная служба, полковые и дивизионные смотры. Вдобавок — ночные тревоги, когда взвод поднимали «в ружье»: где-то на кого-то напали террористы из тайной фашистской организации «вервольфов», по-русски «оборотней», мы бежали или ехали машинами к месту происшествия и никаких «оборотней» не заставали. Сдается, что не менее половины этих тревог были ложными.

При тревоге мой ординарец сперва по-мышинному скребся ногтями в дверь, затем стучал костяшками согнутых пальцев и затем дубасил кулачищем. После этого я вскакивал, перелезал через Эрну, торопливо натягивал шаровары и гимнастерку, хватался за голенища кирзачей. Помотавшись по лесу и не обнаружив «оборотней», мы возвращались в городишко, и я опять заваливался под бочок к Эрне. На своей постели в соседней комнате я ночевал считанное число раз — к неудовольствию ординарца и многих других. Шут с ними, коль мне от этого удовольствие. Кому что. В конце концов имею на это право.

Впервые я увидел Эрну в тот день, когда мы вселялись. Солдаты галдели, гремели сапожищами, хлопали дверьми. Эрна с матерью не показывались, сидели у себя. Я вошел к ним без стука, властью победителя, и тотчас пожалел о своей бесцеремонности: фрау Гарниц вздрогнула под пухлой периной, которой была укрыта по подбородок, и Эрна вздрогнула всем телом, полуодетая: в брюках и без кофточки, в куцей комбинашке. По-немецки я пробормотал извинения. Мать кивнула, любезнейше улыбнулась. Эрна поспешно надела через голову кофту, пригладила волосы. Они были медно-красные, в мелких завитушках и на-

столько жесткие, что мне вдруг захотелось поколоть о них ладони. «Не-лепое желание», — подумал я и назвал себя. Немки тоже представились, Эрна сделала книксен. Поклон с приседанием! Этого еще не хватало, этих благородных манер, черт бы их побрал. Я сказал немкам, что был рад познакомиться (так рад, что дальше некуда), что мы не стесним хозяйек (они нас стесняли, а не наоборот), что мы будем видаться и беседовать (век бы их не видеть, а беседовать — о чем?). Споткнувшись об угольные брикеты, наваленные у двери, вышел в коридорчик.

Мне запомнились не одни медно-красные жесткие волосы, но и пушок над верхней припухлой губой, и тонкая белая шея, и маленькие торчливые груди. Эрне было лет семнадцать или восемнадцать, не больше. В сущности, девчонка — с покорным и прустным взглядом.

В госпитале — я уже был ходячий — меня удостила своим вниманием старшая сестра Марина. По должности была старшей, но по возрасту моложе остальных сестер, она именовала их, тридцатилетних и сорокалетних, старухами и нещадно гоняла. А с ранбольшими обходительная, даже поблажки им давала. Была Марина холостячка: кто говорил, что муж пропал без вести на фронте, кто — будто разошлись они. Огненно-рыжая, фигуристая, в глазах — вечно какой-то голод.

На Октябрьский праздник Марина пригласила меня в компанию: сестры и врачихи — с хахалями, врачи — с законными супругами, я — неизвестно в качестве кого. Наверно, как будущий хахаль. И вот на этой вечеринке, едва собрались, Марина словно забыла о моем существовании и стала заигрывать то с одним мужиком, то с другим, то с третьим. Я уставился в тарелку, баюкая раненую руку, — остриженный под машинку, худой, бледный, жестоко терзающийся из-за женского коварства. А я-то, дурень, опасался, что Марина сразу, без подготовки, начнет обращать меня в хахалья! О, женщины! Но ничего, ничего... Под конец вечеринки она вспомнила обо мне, прижалась, шепнула: «Ночевать у меня будешь?» Я гордо отодвинулся, с ледяным презрением сказал: «Вы не по адресу обратились, мадам». Она пьяно засмеялась: «Брось, не сердись! Прости!» Однако простить я уже не мог. Страдая от обиды и унижения, избегал ее вплоть до выписки. А выписался из госпиталя — перестал страдать и вскоре вообще запомнил старшую сестру Марину, рыжеволосую, фигуристую, у которой муж то ли без вести пропал на фронте, то ли оставил ее.

Вечером я вновь заглянул к немкам. Фрау Гарниц лежала лицом к стене, не подавая признаков жизни. Эрна сидела на стуле, ссутулившаяся, съездившаяся, в халатике. Я сказал: «Абенд!» — и в этом заключался некоторый шик. Потому что, как я заметил, немцы произносят не «гутен абенд!» («добрый вечер!»), чему нас учили в русских школах, а разговорное, короткое «абенд!», то есть «вечер!». В данном случае я выглядел истинным немцем. Но на Эрну это не произвело впечатления. Она привстала, сделала свой реверанс и опустилась на стул, глядя на меня с равнодушной безропотностью.

Не ожидая приглашения, я присел и стал рассуждать о погоде, о садах и о прочих нейтральных вещах. Эрна зябко куталась в халат, хотя в комнате было тепло, душно, кивала и покачивала головой — от нее словно исходило жаркое сияние. А потом зевнула, запоздало прикрыв рот ладошкой. И я рассердился, умолк. Распинаюсь тут перед этой фрицхой, а она изволит зевать во всю пасть, ей, видите ли, неинтересно. С кем? С офицером-победителем, с офицером-освободителем!

— Господин лейтенант, — сказала Эрна. — Вы прекрасно владеете моим родным языком.

«Следом задаст вопрос, не фриц ли я?» — подумалось мне, но Эрна об этом не спросила.

— Вы меня перехваливаете, фрейлейн,— сказал я.— Как благовоспитанная хозяйка...

Она перебила:

— Господин лейтенант, я вынуждена быть благовоспитанной.

Чувствуя, что разговор принимает щекотливый характер, я постарался сменить тему. Кашлянул и сказал невпопад:

— А мне уже двадцать четвертый год...

Она пожала плечами, в глазах — вежливое безразличие. Олух царя небесного, чего тут пасусь? Сгинуть надо, и побыстрей. Тоже мне — кавалер нашелся.

Я собрался было встать, распрощаться и внезапно упал вместе с охнувшим стулом. Вскочил, огляделся. Эрна сказала:

— Извините, стул рассыпался, старый.

— Дряхлый, разохся,— согласился я, потирая ушибленный зад.

Эрна всплеснула руками, рассмеялась коротко. Я посмотрел на нее, сдерживавшую смех, и, вместо того чтобы разозлиться, также засмеялся, и мне стало как-то легко. Я собрал стул, но пользоваться им поостерегся, присел на табуретку.

Болтал о том о сем, шутил, как мне представлялось, удачно и, разболтавшись, незаметно для себя тронул Эрну за коленку. Честное слово, без умысла. А она, закусив губу, легла на постель и задрала подол. Я обалдел. Мне в пору было зажмуриться, однако я этого не сделал. Сказал негромко:

— Встаньте, Эрна. Вы меня неправильно поняли.

Она опустила подол, села на постели, оправила халатик и в растерянности уставилась на меня. Мне было скверно донельзя. На подушке покоилась голова фрау Гарниц в чепчике — небось догадалась, что произошло. Собственно, ничего не произошло. А могло, не будь я рохлей.

Я повторил:

— Вы ошиблись, Эрна.— После паузы поучающе добавил: — Советские войны не требуют от немецких женщин...

Чего не требуют, не решился обозначить, запутался и умолк. Вот тут-то разозлился всерьез, по-настоящему — на Эрну, на себя, на ее мать, на ординарца Драчева, заявившегося звать меня на ужин. Ах, лейтенант Глушков, кто тебя разберет — то ты прямолинейный, правильный, то неуравновешенный, смутный человек!

Я встал, поклонился и вышел. Меня провожал робкий, жалкий, незащищенный взгляд.

В своей комнате я отчитал Драчева за холодную кашу, хотя она не остыла, за толсто нарезанный хлеб, хотя ординарец всегда так резал, за грязный подворотничок, хотя ординарец и раньше не бывал пристрастен к чистым подворотничкам, разумея: несправедливо все это, глупо, ненужно. Ковырял в котелке — гречневая каша с консервированным мясом, брал с тарелок трофейный харч: французские шпроты и колбаса, голландский сыр, — прикладывался к бутылке с немецким портвейном. Я пил, жевал и думал: «Ну и немочки, запросто у них все это... Впрочем, что мне? Но какая она все-таки худенькая, бледная, Эрна. Что они едят с мамашей? Ведь с едой у цивилизных нешибко...»

Вспомнил, как глядела Эрна — пришибленно, беззащитно, и подумал, что нехудо бы ординарцу отнести немкам чего-нибудь поесть. Мы нынче богатые, трофейчики имеются, не обеднеем. Да и офицерский, дополнительный паек вчера получен: сардины, сливочное масло, печенье.

Но к хозяйкам я отправился сам. Допив портвейн и оттого повеселев, завернул в газету колбасу, сыр, печенье, подхватил котелок с ка-

шей. Фрау Гарниц не спала, встретила меня любезно, Эрна окинула беглым косвенным взглядом и потупилась. Я сказал как ни в чем не бывало:

— Прошу угощаться. Как говорится у нас, у русских: чем богаты, тем и рады.

Мамаша стала отнекиваться. Эрна теребила поясок халата. Я поставил котелок на стол. Наконец мамаша сказала:

— С благодарностью примем это, если вы, господин офицер, разделите с нами ужин.

— Разделю.— Я развернул сверток с припасами.— За компанию, как опять же говорят русские.

Вот так я стал наведываться к ним, подкармливать. Но вообще угощения эти были на взаимной, что ли, основе: у немок в подвале вдоволь картошки, и мы жарили ее на американском лярде — недурно!

Не скрою: я жалел Эрну, молоденькую, угловатую, робкую. Мамашу — с ее обнаженной предупредительностью, со слащавыми улыбка-ми — терпел. По сости, иногда и к ней, больной, прикованной к постели, чувствовал некую жалость: живой человек, женщина к тому же.

Прошло несколько дней, мы как-то притерлись друг к другу. И однажды вечером после припозднившегося ужина я засиделся у немок. Мать по обыкновению отвернулась к стенке, будто все не могла налюбоваться тирольским ковриком — вельможные особы верхом выезжали из замка на соколиную охоту. Эрна и я, примостившись у кухонного столика, чинно беседовали: я рассказывал, как учился на «пять», она — как училась на «единицу»; я уже был слышан, что в немецкой школе кол соответствует нашей пятерке. Словом, мы были отличники, выражаясь по-нашему. Она совсем недавно, еще в этом году, училась, пока не пришла война; как я и предполагал, Эрне было восемнадцать. Ну, а я закончил десятилетку аж в тридцать девятом, это было так давно, что и не высказать. В эти минуты я сам себе казался многоопытным, пожившим, чуть ли не стареющим. Тем более в сравнении с Эрной.

Так мы говорили, и вдруг возникла долгая и томительная пауза. Мы оба уловили ее значение, потому что опустили глаза, замерли. А потом я не вставая обнял Эрну, поцеловал, и она поцеловала меня.

Эрна погасила свет, и мы раздевались в темноте, толкаясь, мешая друг другу. Мои пальцы дрожали, дыхание спирало. Эрна легла, а я продолжал возиться с пуговицами и лихорадочно соображал: спит мать или нет, слышит или не слышит? А ну как засечет все это — что будет? На миг представил: фрау Гарниц приподымается на локтях и кричит не своим голосом: «Вы что тут устроили?» У меня богатое воображение, точно, и не зря комбат не раз внушал мне, что оно мешает воевать. Видимо, не только воевать...

Эрна лежала рядом, обняв меня, и целовала в губы, едва прикасаясь. Я старался не думать о том, что мы с Эрной в комнате не одни. Мои руки ощущали нежное податливое тело, и в конце концов я забыл о фрау Гарниц, обо всем на свете забыл.

А потом опять прислушивался, не ворохнет ли мамаша. Только что пережитое отходило, блекло, растворялось. В голзеве — острые осколки мыслей, склеивавшиеся в одну: «Победители не требуют у немецких женщин и не просят, само собой получается?» — и вновь дробившиеся. Разгоряченная, влажная от пота, Эрна прижалась ко мне и зашептала в ухо, щекоча его воздухом. Щекотно было и щеке — от жесткой прядки. Но я не отодвигался, хоть не переносу щекотки, и думал: «Зачем она рассказывает об этом, страшном?»

Это действительно было страшно — над ней надругались. Сперва пятеро эсэсовцев. Месяц назад. Затаскив в сарай и связав. А назавтра

еще трое. Эти не связывали: двое удерживали, третий насилывал, и так поочередно, меняясь. Шепот Эрны свистел в моем ухе, на грудь мне капали горячие слезы, как будто прожигали ее.

Я верил Эрне еще и потому, что мне попадались листовки, в которых германское командование, приводя подобные факты, требовало от своих солдат и офицеров уважительного, рыцарского отношения к соотечественникам. Но фашисты есть фашисты. В России вон что выделывали, теперь вытворяют в Германии.

— Ненавижу тех, кто растоптал меня! Всех немцев ненавижу! — шептала Эрна. — Тебя люблю!

— И я тебя.

Это была неправда, ибо я отчетливо сознавал: то, что было у Эрны до меня, навсегда встанет между нами. И многое другое встанет. Хотя Эрна и ни в чем не виновата.

В темноте я видел: сытые, ражие мужики, провонявшие табаком и шнапсом, лапают Эрну за коленки, она отбрасывает их лапы, и тогда ее волокут в сарай, связывают бельевой веревкой, рот затыкают платком, выстраиваются в аккуратную немецкую очередь. Видел: двое заломили ей руки, третий навалился на нее, и те двое торопят его: «Про нас не забудь, Вилли!» Не Вилли, так Ганс, не Ганс, так Отто, будьте вы прокляты, негодяи. Точно, точно: у меня богатое воображение, и оно мешаает не только на войне.

Я успокаивал Эрну, бормотал дежурные, необязательные фразы, но больше ее так и не тронул. Когда оделся, она спросила:

— Завтра придешь, Петер?

— Приду, — сказал я, не очень уверенный в этом. И внезапно со всеохватывающей ясностью ощутил: война кончилась!

Так это все началось у нас с Эрной.

2

Да, в ту ночь я будто впервые осознал, что война в самом деле закончилась. Фактически она окончилась для нас со взятием Кенигсберга. То, что мы прочесывали леса в поисках недобитков или «оборотней», не в счет. Это уже были, если хотите, послевоенные операции. Еще шли бои за Берлин и в Берлине, еще шли бои в Чехословакии — на нашем же участке все было завершено. Потом завершилось и там, и было 9 мая — праздник Победы. И мы праздновали: митинговали, бросали вверх шапки, палили из автоматов и ракетниц — салют, пили спирт и заморские коньяки, пели песни, бродили в обнимку по чужим, затаившимся улицам, солдаты постарше плакали.

Как и все, я радовался, но где-то в глубине сидела мысль: а ну как после этих мирных праздников снова настанут фронтовые будни — марши, бои, смерти? Я войну прошел от звонка до звонка, на фронте — четыре годочка, исключая госпитальные лежания, и поэтому вжил в нее, впаялся. В жизни я умел делать по-настоящему одно — воевать, и было странным, непривычным, что наступил мир, что придется заниматься чем-то другим. И я не мог до конца поверить в наступивший мир и в то, что я уцелел в такой войне.

Нужен был какой-то, пусть самый малый толчок, чтобы полное понимание озарило меня. И этим толчком была близость с Эрной. Четыре года ходил я между жизнью и смертью, любой осколок, любая пуля могли убить меня. И не убили. Я остался живой. Жив — в двадцать три года, и вся жизнь была впереди!

Оговорюсь: иногда, в минуты дурного настроения, я кажусь себе чуть ли не стариком. Но в срединные майские денечки сорок пятого

настрой у меня был в принципе отличный — радостный и отчасти беззаботный. Светило солнышко, благоухали сады, каждая мышца у меня играла, я напевал или насвистывал. Хотелось жить. И я жил, и у меня была женщина.

Для меня эта женщина, случайная, немка, играла особую роль. Дело в том, что я по сути был одинок: отец давным-давно умер, мать расстреляли оккупанты, отчима тоже, по-видимому, нет в живых, из родни — двоюродный дядя в Чебоксарах да троюродная сестра где-то в Средней Азии, седьмая вода на киселе. Не было и любимой девушки. Словом, один как перст.

Конечно, были друзья-фронтовики, была надежная мужская привязанность. Но война есть война, и я терял этих ребят. Они падали в бою, на смену им приходили новые, а тех сменяли другие — неумолимый конвейер войны. Если мысленно поставить их всех в шеренгу, это была бы длинная шеренга.

Но за четыре года у меня не было ни одной близкой женщины. Как-то складывалось так, что не находил общего языка ни с фронтовичками — санинструкторшами, поварихами, связистками, прачками, — ни с освобожденными смолянками, белорусками, литовками, польками, ни с медсестрами и нянечками в госпиталях. Признаться, дичился женщин. Может, с отвычки? Или характер не весьма общительный, настырности не хватало?

А с Эрной сложилось все просто и легко. Не то чтобы очень уж просто и легко — подспудно в наших отношениях таились и сознание их временности, и недосказанность, и ревность, — но все-таки было ладно. Я был ошалелый, нетерпеливый, и Эрна теребила меня за вихор:

— Ты сумасшедший, Петья!

Раньше она звала меня Петер, теперь — Петья, то есть Петя, я научил ее произносить свое имя на русский манер. Она никогда не улыбалась. Когда бывала весела, то резко, гортанно смеялась, когда печалилась либо сердилась, ее черты словно увядали. Если в эти мгновения я целовал ее, лицо оживало, светлело, как ожропленное живой водой.

С утра преследовали неудачи. У меня всегда так: или весь день удачи, или весь день неудачи. Нынешний денек никак не отнесешь к удачным. Начальное звено в этой цепи — утренний осмотр роты. Старшина Колбаковский, прищурившись, как бы прицеливаясь, обходил строй спереди и сзади — походка крадущаяся, животик обтянут гимнастеркой, нижняя губа отвисла, мясистая и неизменно мокрая. Не скрою: мне старшина неприятен. Он платит той же монетой: откровенно меня недолюбливает, интендантская душа, складская крыса. Еще бы не крыса: всю войну заведовал складом ПФС¹, в январе сорок пятого только и вытянули на передовую. А он меня, знаю, кличет «ветродуй», а вот за что — не знаю. Почему ветродуй?

Трения у нас пошли с того часа, когда я обрезал Колбаковского. Да и как было не обрезать? Сказанул мне: «Ты, лейтенант, не мудри...» Эдак он разговаривает с командирами двух других взводов — старшие сержанты на офицерских должностях терпят старшинские грубости. А мне зачем терпеть? Теперь он обращается ко мне — «вы» и «товарищ лейтенант», но во взоре — лед: лейтенантик, мальчишка, кто ты супротив кондового, непотопляемого старшины?

Осматривая строй, Колбаковский дольше всех обнюхивал мой взвод, и наперед было известно: придирки будут именно к первому взводу. Так и есть: старшина остановился перед строем, поглубже надвинул фуражку и сказал, шлепая нижней губой:

¹ Продовольственно-фуражное снабжени

— Внешний вид роты удовлетворительный. За исключением первого взвода. Там, видимо, пренебрегают истиной: война закончилась, а внешний вид остается! Давайте взвесим положение в первом взводе...

И Колбаковский противным тенорком, вставляя, начал перечислять бойцов, у коих не почищены пуговицы или сапоги, не сменены подворотнички, плохо заправлены гимнастерки. Мы — командир роты и взводные — стояли в сторонке, и ротный сказал с укоризной:

— Надо полагать, товарищ Глушков примет надлежащие меры?

— Надлежащие? Приму, товарищ капитан, — сказал я, натягивая кожу на скулах и стараясь не взглянуть на злонамеренного старшину.

Далее. Подразделение направили на хозяйственные работы, точнее — пилить деревья, обрубать сучья. Вроде бы неплохо это — побыть на природе до обеда. Но я так не могу. Если что-то поручено, надо исполнять без дураков, на совесть. Поскольку же пилой и топором владел худо, то и не показывал личного примера. Какой там пример! Пилу я тянул куда-то вбок, рывками, напарник — замполит батальона Трушин — щербато ухмылялся:

— Петро, прямой держи, неустойчивый ты элемент! Да не дергай, веди плавно!

Лезвие топора то недорубало ветки, то с нерасчетливой силой вонзалось в самый ствол. Гвардии старший лейтенант Трушин и тут подтрунивал:

— Ай, Петро, Петро, эдак ты нам все бревнышки попортишь!

Я отшучивался, но старался, лез из кожи вон.

Не хотелось ударить лицом в грязь — и перед подчиненными и перед начальством, перед Трушиным. Удивительные у меня с ним отношения. Конечно, он для меня начальство — заместитель командира батальона по политической части, я всего-навсего взводный. Но мы на «ты», я с ним могу спорить, говорить дерзости и вообще хамить. Как будто мы друзья-приятели. В сущности, мы и являлись таковыми. С тех пор как втроем околачивались в резерве фронта, три младших лейтенанта — покойный Витя Сырцов, Трушин и я. С Витей я дружил накрепко, парень был изумительной души, к нам примкнул Трушин, подружились и с ним. Из резерва мы с Витей Сырцовым попали в одну дивизию взводными, Трушин — в гвардейскую. Уже после гибели Вити Сырцова в батальон прибыл Трушин — преуспел на политработе. Обнялись, расцеловались, а назавтра стали лаяться. Выяснилось, что мы с ним довольно разные характеры — за месяц болтания в резерве этого не выяснили! — но он прощал любое нахальство, тянулся ко мне, ну а я вообще отходчив: поругался и забыл, зла не таю. Да Трушин — мужик ничего. Хотя до Вити Сырцова ему как земле до неба. Витя Сырцов — это друг навсегда, даже со смертью. Жаль, я его редко вспоминаю. У меня вот так: чем дороже человек, тем реже поминаю. А пожалуй, кроме мамы, у меня не было человека ближе, чем Витя Сырцов. И маму нечасто вспоминаю...

Пил и топоров всем не хватило, многие полеживали на травке, посиживали на бревнах, покуривали, сыпали анекдотами, в том числе ротный и старшие сержанты, те самые врно командира взвода. Капитан задумчиво поглядывал в безоблачное, густо синеющее небо, щелчком стряхивал пепел с папиросы. Старшие сержанты позевывали, похохатывали, удивительно похожие — большелобые и большеротые, белобрысы, курносые, с усиками. Впрочем, усы едва ли не у всех: фронтовая мода, гвардейский шик! Правда, наша дивизия не гвардейская, но носит наименование Оршанской, награждена орденами Суворова и Красного Знамени. Боевая дивизия!

А вот я усов не завел. Из принципа. Замполит Трушин подсмеивался:

— Что, Петро, стремишься этим выделиться? Утвердить свою самостоятельность, независимость от людей?

Я отвечал: точно, мол, утверждаю самостоятельность. Он подмигивал, подкручивал взращенные любовно усики-стрелки.

Поперву мои бойцы подходили ко мне:

— Товарищ лейтенант, дозвольте подменить?

Я не позволял, и они перестали подходить. Трушин работал играючи, наслаждаясь, я же с топором, с пилой замаялся. Взмок, сбросил гимнастерку. Поясница ныла, на ладонях натер волдыри. Один из них лопнул, ранка засадила. Рабочничек!

Трушин схитрил:

— Подустал я маленько, передохнем.

Меня щадил. Я сказал:

— Комиссар, не выдумывай, я еще не выдохся.

— Как знаешь.

Я рванул пилу на себя, желтые сырые опилки брызнули на мои сапоги. Они, опилки, пахли скипидаром, и в памяти мелькнуло: пацаном простыл, мама натирает мне грудь скипидаром, от него режет глаза и щиплет в носу.

А в довершение, когда стали строиться, выяснилось: нету Кулагина, автоматчика из третьего отделения. Я к отделенному:

— Где?

— Не могу знать, товарищ лейтенант. Вроде крутился здесь.

— Вроде Володи,— сыронизировал я достаточно бессмысленно.

На меня смотрел ротный, смотрели старшие сержанты-близнецы; старшина Колбаковский брякнул:

— Самовольная отлучка?

— Никуда не денется. Может, по нужде отлучился.

Когда рота выходила из лесу, объявился Кулагин, сутулый, сухой солдатик неопределенного возраста, с разноцветными глазами: карий смотрел виновато, серый — нагло.

— Где был?

— Там...— Кулагин неопределенно повел рукой.

Я учуял запах самогона и рывкнул:

— Не вилай! Где был?

Серый, наглый глаз:

— Ну, у колхозников...

— Не нукай! Как стоишь перед офицером? Распустился!. Кто тебе разрешил уйти на хутор?

Карий, винящийся глаз:

— Та я думал, товарищ лейтенант... Управлюсь быстренько... Землячков повидать...

— Повидал! Самогону хлебнул?

— Трохи, товарищ лейтенант! Земляки же, белорусские, про артельное хозяйство покалякали, я ж бывший звеньевой, полевод... А пилы да топора все равно не было свободных!

Экий ты, бывший полевод, нерасторопный малый, а твоему взводному топорик и пилочка достались. Зато насчет хутора ты оказался расторопным. Этот хутор, где обосновалась группа колхозников из Белоруссии, у наших командиров сидел в печенках. Одноногий председатель колхоза из-под Барановичей и два пожилых бригадира вывляли по округе и собирали в гурты угнанный немцами скот, а погонщицы, отборные, кровь с молоком девчата, больше крутили с солдатами, угощали их первачком, вон и Кулагин повадился. Здесь я подумал: «Ты, лейтенант Глушков, крутишь любовь, а им нельзя? Они ведь не хуже тебя принимают, что войне капут!»

— Значит, нарушаешь воинскую дисциплину, Кулагин?

— Трошки, товарищ лейтенант...

— Нехорошо это!

Теперь оба глаза — и серый и карий — виноватые:

— Нехорошо, товарищ лейтенант... Я что ж? Я ж ничего ж... Исправлюсь...

Ротная колонна во главе с капитаном вытягивается на шоссе, уходит, а я все разбираюсь с автоматчиком Кулагинным. Говорю проникновенно:

— Посадить бы тебя на «губу», Кулагин. На полную катушку!

— Я готовый, коли заслужил....

Припоминаю, что на передовой гауптвахты не было в помине, нет ее покуда и нынче, в мирной житухе. Думает об этом, видимо, и автоматчик Кулагин, ибо оба глаза у него уже нахальные: зазря лаешься, лейтенант, отвязался бы, ей-богу!

— Догоняй строй! — приказываю.

— Слушаюсь! — отеканивает и ходко чешет; я с трудом поспеваю за ним, прытким.

И далее. После обеда я шел с ротным командиром и мило беседовал. О чем? Да о том, что личный состав взвода подразболтался и надо бы подтянуть дисциплину. Капитан выражал такое пожелание, я выражал согласие с этим пожеланием. Сытые, отяжелевшие, мы не спеша шагали по тротуару, обходя воронки. Обед был вкусный и плотный, но прошел он чопорно, скованно. Нет, мне это не нравилось: в громадной столовой собирались офицеры полка, во главе стола полковой командир; он садился — все садились, он отодвигал тарелку с первым — все прекращали хлебать супец, он вставал — все вставали. Это были так называемые офицерские обеды, строго по этикету. Доходило до нелепого: подполковник брал салфетку, чтобы вытереть губы, — и все хватались за салфетки. Офицерский корпус! Ну, сразу после войны почему-то затеялся великий шум по поводу его традиций, этикета, исключительности. Я это обособление не понимал и не принимал, потому что на фронте варился с солдатами в одном котле, — вот это и есть наша традиция: быть всегда вместе!

Но я отвлекся, прошу извинить. Итак, прогулочным шагом мы с капитаном двигались по солнечной, пыльной, с разбитым асфальтом улице и благопристойно разговаривали. У ротного на висках благородная седина, он затянут портупеей, изящен, воспитан, отменно вежлив — до поры до времени: потом как врубит — закачаешься. Главное — упредить этот взрыв. Покуда до взрыва далеко. Все мы с воцарением мира стали немного благодушны, так сказать, миролюбивы.

Пожалуй, не все. В этом я убедился пять минут спустя. Навстречу нам, взвихривая пыль, по мостовой прокатил открытый «виллис», на переднем сиденье, рядом с водителем, — подполковник, заместитель начальника политотдела дивизии. Мы с капитаном отдали честь, подполковник небрежно козырнул в ответ, машина проехала.

А затем она затормозила, развернулась и догнала нас. Замначподива поманил меня указательным пальцем:

— Подойдите! Вы, вы, лейтенант!

Мы переглянулись с капитаном. Он остался стоять, я подбежал к «виллису». Не выходя из машины, откинувшись на сиденье, подполковник пристально рассматривал меня, морщил бледное, отечное, тщательно выбритое лицо со щрамом на лбу.

— Та-ак... Лейтенант Глушков, стало быть? Очень приятно! Верней, совсем неприятно! Должен вам заявить категорически, Глушков: вы спутались с немкой, советский офицер с немкой, с нацисткой... Это недопустимо, это не лезет ни в какие ворота...

Слушая его сбивчивую, какую-то чавкающую речь, я думал: «Информация добирается по лесенке: замполит батальона сообщает в полк, замполит полка — в политотдел дивизии. Ничего не имею против этой информации. Но надо подбирать выражения!»

— Во-первых, она не нацистка, товарищ подполковник...

— Что? Не рассуждать! Он еще рассуждает! Вы что, Глушков, соскучились по парткомиссии? Так мы вас вызовем, привлечем к партийной ответственности! Ни в какие ворота... Категорически требую: прекратить всякую связь с немкой! Честь мундира советского офицера... Недопустимо...— Лицо подполковника порозовело, лишь шрам на лбу остался бледным.— Вы меня поняли?

— Так точно!

— Исполняйте! Всё! Вы свободны! Шофер, поехали!

Я поглядел вслед навонявшему сизым дымком «виллису». Исполнять? Черта лысого! Я уцелел в военном пекле, мне нравится эта немка, она неплохой человек. И я ей нравлюсь. Так какого же рожна вам надо? Чего вы разорались, товарищ подполковник? Да еще в присутствии солдата? Вы роняете мое офицерское звание в глазах рядового. Впрочем, вы больше свое роняете, товарищ подполковник.

Капитан сжал мне локоть:

— Пошли, товарищ Глушков. Не расстраивайтесь. И сделайте правильный вывод.

— Сделаю,— сказал я и подумал: как он мог, подполковник, разговаривать в таком тоне с лучшим комвзвода, да, да, лучшим в полку! Награжденным орденами Красного Знамени, Отечественной войны и Красной Звезды! Которому командующий фронтом генерал Черняховский лично руку жал! Но ничего, ничего, главное — я не вспылит, как-нибудь переживем. Хотя некрасиво, товарищ подполковник, очень некрасиво. И вообще вы принципиальную ошибку допустили: не нужно бы пугать меня, потому пуганый, ныне меня чем устрашишь? Хуже того, доложу вам: ныне, если пострадают, я еще упрямей и безбоязней становлюсь.

Не уважают вас в дивизии, товарищ подполковник, за крикливость, за постоянные разносы по делу и без дела. Хоть человек вы храбрый, израненный — ногу приволакиваете, это с Курской битвы. Вам бы поучиться у своего начальника, у начподива. Вот настоящий комиссар! Смелый, как и вы, в передовой цепи увидеть не диво, но к этому широкая, добрая душа, не добрячок — всерьез добрый. Ну да что об этом? Вы злюка, в этом корень.

И здесь я вновь подумал о командующем войсками 3-го Белорусского фронта, о генерале армии Черняховском,— как он был у нас на передке. Это было в январе сорок пятого, дивизия прорвала немецкую оборону у Ширвиндта, противник подтянул резервы из глубины, полез, мы отбивали контратаки. Шуруша волглрой плащ-накидкой, сопровождаемый почтительной свитой, командующий шел по траншее, красивый, молодой — гораздо моложе нашего седеющего комдива. Командир полка представил меня, сказал, что мой взвод в числе первых ворвался во вражескую траншею, при отражении контратак гранатами подбил два «фердинанда» и «пантеру». Командующий переспросил: «Глушков?» — и пожал мне руку, похлопал по плечу, как товарищ товарища. А ведь это был генерал армии! В общем-то, мне чуждо кинопочитание, я и полковников не считаю парящими над грешной землей, но уже генерал-майор — иное, качественный скачок! А тут генерал армии, прославленный на всю страну полководец! Кое-как я пробормотал: «Служу Советскому Союзу!» — взмокнув от волнения. Командующий осмотрел в бинокль окраинные домишки, где засел противник, и сказал, что немцы на

своей земле сопротивляются и будут сопротивляться отчаянно, к этому должно быть готовыми.

Да, это было так: чем ближе к Пруссии, тем ожесточенней дрались немцы. В октябре сорок четвертого 3-й Белорусский фронт, прорвав мощнейшую полосу железобетонных пограничных укреплений на реке Шешупе, вынужден был остановиться вблизи границы. Наш полк занимал оборону в районе Виллюнена, и немцы не давали нам покоя, норовили сбросить в воду. 13 января фронт пошел вперед. Но за трое суток непрерывных боев полк продвинулся только до второй траншеи. В ночь на 17-е немцы не выдержали, начали отход. Мы вели преследование в сторону Пилькаллена — Тильзита, однако Тильзит был взят Сорок третьей армией. Нашу дивизию повернули на запад. Ночью мы прошли горящим Гросс-Скайгирреном, горел и Гольдбах — городок, начиненный крупными магазинами и дотами. Потом вышли к Правтену, восточному пригороду Кенигсберга, где попали в ловушку и 27 января драпанули километра на три, потом заняли оборону под Варгеном. Впрочем, я отвлекся, я хочу досказать о Черняховском. 6 апреля дивизия начала наступать на северо-западную окраину Кенигсберга — Метгетен. Но 3-й Белорусский штурмовал Кенигсберг уже под командованием маршала Василевского, потому что Иван Данилович Черняховский погиб 18 февраля — его «виллис» засекли немецкие наблюдатели, артиллерия взяла в вилку: первый снаряд перед машиной, второй позади, третий угодил. Иван Данилович был смертельно ранен, и у меня была мысль: лег бы в гроб вместо него.

Вот так: гибли рядовые, гибли полководцы, кто подсчитает — до одного человека, — сколько пало наших людей на полях сражений? Кто? На тех бесчисленных полях, что неотвратимо открывались нам на пути от западных границ до Москвы и Сталинграда, и от Москвы и Сталинграда до западных границ, и дальше — до Польши, Венгрии, Чехословакии, Югославии, Румынии, Болгарии, Австрии, Германии. Долгий и страдный путь, по обочинам которого — могилы, могилы, могилы.

Они пали, мы выжили. Живые в долгу перед мертвыми. Сперва казалось: кончится война — и на следующий день оставшиеся в живых станут хорошими, отличными, прекрасными, плохие исчезнут, все враз переменится. Потом я подумал, что мгновенного превращения не произойдет, что меняться к лучшему мы будем постепенно. Постепенно, но необратимо!

И я буду становиться лучше, и политотдельский подполковник, что давеча на меня напустился. И с чего ты, собственно, предъявляешь к нему претензии, к пожилому, израненному человеку? Других судить берешься, себя сначала научись судить.

Повторяю, день сложился неудачный. Но если неприятности на утреннем осмотре и пилке деревьев я перенес безболезненно, то от разговора с заместителем начальника политотдела горьковатый осадок оставался до вечера. Что-то беспокоило меня, взвинчивало, раздражало.

Вечером Эрна поцеловала меня, приняла фуражку, помогла снять портупю, полила воды, подала полотенце, усадила за стол. Она села напротив, подперев подбородок кулаком, смотрела на меня, ждала, когда заговорю, а позади нее виднелась раскрытая постель. И я на миг представил себе: вернулся с работы, жена меня встретила. Представил — и внутренне усмехнулся: невозможно это. Эрна никогда не станет моей женой, и с какой работы я могу вернуться? Что умею? Воевать. Четыре года воевал, то есть убивал врагов и старался, чтоб враги не убили меня и моих бойцов. У меня нет иной профессии, я сыт ею — вот так, по завязку.

В тридцать девятом году в белорусском городе Лида, когда начинал

служить действительную, я впервые умотал в самовольную отлучку. За уборной был лаз, и приятели им пользовались. Уломали и меня. Шатался с ними по закоулкам, по скверикам, пил в ларьках пиво, зубоскалил с девчатами, а сам томился: скорей бы кончалась эта самоволка, скорей бы отвести оторванные доски в заборе, пролезть, снова свести их — и ты в расположении части. Фу, какое облегчение.

И еще пару раз подавался в самоволки: томился в них, вернувшись в часть — испытывал облегчение.

Боялся не наказания — позора.

Везло: так и не погорел. Везучий я.

3

Проснулся от всхлипываний. Плакала Эрна, вцепившись в мою напряженную руку. Я спросил:

— Что с тобой?

— Дерешься! Мне больно...

По тону, каким она это произнесла, догадался: не только больно, но и обидно. А со мной бывает: могу врезаться во сне. Приснится рукопашная — и примешься молотить кулаками, не соображая.

— Не сердись, — сказал я. — Это не нарочно, это во сне.

Обнял ее, поцеловал. Она прижалась ко мне, все еще всхлипывая. Фу, как скверно. Как стыдно! Наяву я не то что не подымал руку на женщин — я и словом-то опасался причинить им боль. Жалею их. И еще детей жалею. Вот увижу мальчугана или девочку, так и подмывает угостить чем, подарить что, взять на руки, погладить по голове. Откуда это у меня? Я ж юнец, и отцовские чувства мне неведомы.

Я погладил Эрну по жестким спутанным волосам, поцеловал, и она притихла, засопела подле уха. Я тоже задышал мерно, задремал. Штыковой бой больше не снился, снилось совсем другое, такое, что когда пробудился, то у самого глаза были влажные. После этого сна не всегда плачу, но часто, то часто: вижу море и девочку, море — выпуклое, до горизонта, то синее, то в барашках, девочка — в белой панаме, с ведерком и совком, то живая, то мертвая.

Когда-то было реальное море и была реальная девочка. Давно, много лет назад. Море запомнилось твердо, а черты девочки стерлись и каждый раз виделись по-новому, даже одежда бывала другая. Но каждый раз это была та девочка со взморья, которая, я решил, стала как бы образом моего будущего счастья. Или символом, что ли.

Море и она начали сниться на войне. И снились гораздо реже, чем рукопашный бой. А может, это и к лучшему? Ибо не очень-то ловко расчувствоваться, расслабиться, рассиропиться двадцатитрехлетнему парняге, боевому офицеру, трижды орденосцу.

В дверь заскребся ординарец Драчев. Не дожидаясь, покуда он постучит костяшками пальцев либо задубасит кулачищем, я протрусил к выходу почти что телешом.

— Тревога?

— Так точно, товарищ лейтенант!

— Да не ори, побудишь....

И право же, одеваясь, я был рад этой ночной тревоге. Оттого что ощутил себя собранным, энергичным, деятельным — надо было выполнять то, что составляло смысл моей нынешней жизни.

Звон посадили на «студебеккер», на «додже» разместились офицеры и бойцы контрразведки, и машины газанули. В кабину «студебеккера» со мной сел старший лейтенант — смершевец. Покуривая сигарету, хмуря подпорченное оспой лицо, он поставил задачу: окружить ельник, что южнее хутора, и прочесать. Не ново, подобное мы делали много раз.

— Понятно, лейтенант?

— Понятно, старший лейтенант.

Он с удивлением вскинул голову, возможно, подумал, почему я не сказал: товарищ старший лейтенант. Да потому, что и я не услышал: товарищ лейтенант. Смершевец цмокнул, дернул плечом. Дошло? И хорошо, ибо мне эти взгляды сверху вниз надоели, откуда бы ни исходили. Коль офицеры, значит, нужно взаимное уважение. А то раскричались: офицерский корпус, офицерский корпус! Да, неуравновешенный товарищ этот лейтенант Глушков: умиляется, плачет, тут же раздражается, злится. Выражаясь научно: невропат. Попросту — псих.

Гудел мотор, грузовик потряхивало на выбоинах, за стеклом пролетали сонные, обсыпанные лунным светом поместья и хутора, добротные, каменные, под красной черепицей; чистенькие, аккуратненькие и после боев, если повезло, захламленные, с битой черепицей, вышибленными окнами, развороченными стенами, с обгорелыми стропилами; и нигде ни огонька.

Красный стоп-сигнал «доджа» мигнул, и «додж» съехал с асфальта на грунт. Мы за ним, на ухабе «студебеккер» накренило, старший лейтенант навалился на меня жестким, костлявым плечом. И у меня неожиданно возникло предчувствие, что обратно мы с ним уже не поедем вместе. Предчувствие я истолковал так: меж нами пробежала кошка, ну, кошка не кошка, а что-то пробежало, поэтому будет естественно, если особист поедет в «додже», со своими.

Машины остановились, не выключая моторов. Мы с особистом прыгнули на влажную, мягкую землю, размялись. Из кузова вылезали молчаливые, нахохлившиеся солдаты. В сторонке — хуторские постройки, там догорал, подожженный сарай.

Я вполголоса подал команду, половина бойцов пошла за мной вправо от машин, вторая — с особистом и помкомвзвода влево по опушке. Мы рассредоточивались, охватывая лесок, в котором, как предполагалось, спрятались те, кто напал на хутор.

Ельник настроженно чернел. Где-то выла собака. Под сапогами чавкало. Было свежо, хотелось спать, и я зевал, поматывая головой и как бы отгоняя сонливость. Автомат висел на груди, толкал меня магазином под ребро, когда я оступался.

Цепь продвигалась, рассекаемая деревьями и кустами — они посажены аккуратными рядами, — в кустах как раз и могли хорониться вервольфы. Мы вглядывались в пятна мрака и в силуэты друг друга — чтобы не потеряться. Это желание не заблудиться, не отстать было у солдат, по-моему, сильнее желания отыскать «оборотней». Наш опыт: их не отыскивали, а по лесу блукали. Я уже подумал, что опять никого не найдем, когда слева и чуть сзади затрещали автоматные очереди, жажнул взрыв гранаты, и взмыла белая ракета, высвечивая верхушки елей, подлесок, пеньки. На миг я оцепенел: от этих фронтовых звуков не отвык, но внезапны и неуместны были они в сонливом ночном лесу. Скомандовал: «За мной!» — и побежал туда, где стреляли. Было светло — луна, серия осветительных ракет, включенные фары наших машин, — и тем не менее я не разглядел яму, оступился, зашиб ногу и дальше бежал, хромая и чертыхаясь.

Подоспел к шапочному разбору: стрельба прекратилась, майор из особого отдела, руководивший операцией, хриплым, сорванным голосом отдавал распоряжения: раненого отнести к машине, задержанного отконвоировать на хутор. Раненым оказался старший лейтенант, ставивший мне задачу в кабине «студебеккера». Он лежал на плащ-палатке, запрокинувшись и скрестив руки, как покойник. Я отогнал это сравнение, сказал себе: «В госпитале спасут» — и вспомнил о том своем предчувствии. То оно, да не то: поедем врозь, но кто куда, он — прямым пу-

тем на операционный стол. Ничего, лишь бы спасли. Эх, старшой, старшой, что ж не поостерегся?

Мне было приказано со взводом закончить прочесывание ельника. Хотя задержанный буркнул, что он один. Это же он подтвердил позднее на допросе на хуторе. Может, и в самом деле нет сообщников, а может, не хочет выдавать. Так или иначе, но никого мы в лесу больше не нашли. Уже перед рассветом я доложил майору о результатах. Он недовольно пожевал губами, взглядом приказал мне обождать минутку и кинул переводчику:

— Ну-ка скажи ему: пусть не темнит. Откуда и куда шел — это он врет. Пусть говорит правду!

Майор сутулился на стульчике, немец стоял перед ним навтыжку, но глядел твердо и надменно, а развитые, выдающиеся челюсти были плотно сжаты — такой не захочет сказать, так и не скажет. Немец был одет в гражданскую куртку, штаны, охотничьи сапоги и шляпу с пером, и это озадачило меня: прежде не зрел двадцатипятилетнего фрица в цивильном одеянии! Фрицев, исключая стариков и пацанов, зрел в военной форме — общался четыре годика и знаю, как поступать. А этот вроде бы мирный. Черта с два мирный, он и есть доподлинный «оборотень»: переоделся, а гранату ловко метнул в окно на хуторе, а в старшего лейтенанта не промазал из «шмайссера».

— Переведи ему, — сказал майор старшине-переводчику. — Мы его заставим раскрыть хлебало! Не здесь, так в отделе...

Немец гянется по стойке «смирно», а крупный рот стиснут, серые глаза холодны и непреклонны. Попадись ему — пощады не будет. Рука у него не дрогнет. Как не дрогнула, когда стрелял в старшего лейтенанта, когда швырял гранату в комнату, в спящих. Осколки могли задеть всех, но поранили лишь деваху из тех крепких, щекастых погонщиц и бригадира. Он-то и увидел немца, подкравшегося к окну, — услышав шорох, приподнял голову да не успел ничего предпринять, как звякнуло разбитое гранатой стекло. С бригадиром я был знаком. Это был подслеповатый, постоянно кашляющий и постоянно подтягивающий штаны полешук. Говорил сбивчиво, тихо и почему-то оглядывался — особенно когда принялся выспрашивать меня, не отберут ли пограничники барахлишко, которым он в Пруссии разжился. Я предполагал, что не отберут, а он все переживал: слыхивал, на границе отбирают, приказ есть пограничникам.

Я понимал тревожнения полешука — хоть что-нибудь привезти домой, в разоренную, сожженную, лютой бедности деревеньку. Мы прошли Белоруссию насквозь, видели: вся она разграблена немцами, спалена, ютится в землянках, сидит на одной бульбе. И вообще пообнищала наша страна за войну. Что содеяно на оккупированных территориях! Руины, пепелища, задичавшие поля, сплошной разор. В Восточной Пруссии мы то и дело натыкались на наше, советское — от трактора и станка до патефона и полотенца. Уж что-то, а грабить фашисты умели. И еще умели — эшелонами угонять наших парней и девчат на принудительный труд в Германию. Здесь, в Восточной Пруссии, многих мы освободили от каторги на заводах, шахтах, фольварках.

Так что немчуру нехудо бы и потрясти, прав полешук. Но потрясти мы не умеем, это факт. Когда со вступлением в Германию нам разрешили отправлять посылки на родину, русские иваны деликатненько подбирали то, что брошено сбжавшими хозяевами, и упаси боже тронуть немчиков, кто был не в бегах, при своем добре. Нет, не трогали. Посылочки получались тощие, пустяковые. Да и где таскать трофеи солдату-пехотинцу? В вещмешке, на горбе. Много ль так натаскаешь? Да и принимала эти посылочки полевая почта очень неохотно. Кто по одной отправил, кто по две, а теперь почта уже и вовсе не принимает. Я не отправил

ни одной — некому, некуда. Если попадалось что-нибудь стоящее, отдавал ребятам. Но и ребята далеко не все имели адреса, по которым можно было послать.

Нет у нас бюргерской жадности, настырности, умения хапнуть, простодушны русские иваны. И жестокости нет, какую я наблюдал у врага. У того же «оборотня», что сунул гранату в комнату со спящими. Стойкость у нас есть, непреклонность, мужество, но жестокости нету. И отходчивы мы — на эту черту я злиться готов.

Они ранят, калечат наших людей уже после войны, а я кормлю немков. Мало сказать — кормлю. И еще кое-что делаю. Надо быть по-строже.

И досыпать я отправился в комнату к ординарцу. Правда, днем я зашел к хозяйкам, принес рыбные консервы, буханку хлеба. Так-то со строгостью. Мягкотелые мы, что ли, чересчур добренькие? И почему мы, а не я? Может быть, это просто я таков — как личность, а не как национальный характер.

Провожали старичков. Стоял солнечный денек, над землей поднимался пар, наверное, еще немного — и поле можно было бы пахать. Однако никто не готовился к пахоте. Немцы разбирали завалы, ремонтировали дороги и жилища, а больше сидели по домам. Но когда заиграл духовой оркестр, кое-кто выполз из своих щелей. И, клянусь, на немецких физиономиях было нечто вроде радости! Сперва я подумал: радуются за наших старичков, отбывающих на родину. Затем сообразил: довольны оттого, что советские солдаты покидают Пруссию. Не рано ли радуетесь, господа хорошие? Кто-то из нас уедет до дома, до хаты, а кто-то будет нести оккупационную службу, теперь наша силища обосновалась у вас надолго.

Покамест судьба нашей дивизии неизвестна, и демобилизовали только рядовых, которым по пятьдесят и около, и некоторых специалистов — агрономов, инженеров. Уволили в запас и моего ротного. Оказывается, в принципе благовоспитанный, интеллигентный капитан по довоенной профессии — бахчевод (а никогда словом не обмолвился). Ну, поскольку без арбузов и дынь победителям теперь не обойтись, капитана вернули в народное хозяйство. Меня же произвели в ротные, то есть не совсем произвели: в приказе я назван врид, временно исполняющий должность. Поразительно, но я не весьма этому назначению обрадовался. Поразительно потому, что давненько мечтал о ротном командирстве. И то сказать: кадровый вояка, до войны отбухал полтора годика и два годика как команду взводом — на роту потянул бы. Не везло. Однажды, перед тем как принять роту, меня ранило, уволокли в госпиталь, после которого попал в другую дивизию и опять сел на взвод. Вдругорядь накануне выдвижения угораздило напиться. Я одурел, вылез на бруствер и учинил стрельбу из пистолета. Куда? Я предполагал — в немцев, мне ответствовали: в своих. Ладно, что никого не зацепил и что меня немцы не зацепили, — кто-то вовремя стащил в траншею. Комдив рассердился: роты не получит, бузотер, сопляк, пить не умеет. А я умею, на фронте научился. Иногда только не считаешь, переберешь. Особенно если питье незнакомое. И побузишь слегка. Огорчался тогда ужасно этими своими неудачами в служебной карьере. А сейчас не шибко рад выдвижению. Почему? Потому, наверное, что война кончилась и пора думать о гражданке, об учебе в институте, которую я начал в сентябре и прервал в октябре тридцать девятого — весь мой студенческий стаж. Прощаясь, благовоспитанный капитан изволил пошутить, что мне еще служить, как медному котелку. Да, шутник. А может, я не шибко рад потому, что врид — это ненастоящее, как бы не состоявшееся, и состоится ли оно вообще — неведомо.

А старичков мы проводили душевно. В роте их набралось семь человек, во всем полку — около сотни. Состоялся митинг — как же без митинга? Выступали ораторы: остававшиеся желали уезжавшим успехов в народном хозяйстве, здоровья и счастья, уезжавшие желали остававшимся успехов в воинской службе и, конечно же, здоровья и счастья. От имени командования полка каждому демобилизованному вручили небольшой подарок — кое-что из вещичек и еда, — обернутый в голубую бумагу и перевязанный розовой ленточкой.

Демобилизованные двинулись на станцию колонной, под полковым знаменем и под звуки марша. Провожавшие — в основном это офицеры — шли позади и сбоку. На станции перед посадкой в эшелон я переобнимался и перещеловался со стариками из нашей роты. Они были взволнованы, утирали глаза, сморкались. Я тоже разволновался, но до слез не дошло: плачу лишь по ночам, во сне.

А щеки мои были мокрые — от чужих слез на чужих щеках. Горше всех хлипал Абрамкин, и я снял с руки часы, трофейные, швейцарские:

— Держите, Фрол Михайлович.

— Да что вы, товарищ лейтенант?

— На память!

Абрамкин вытирал слезы, переминался, бубнил:

— Да что вы, товарищ лейтенант? Ей-богу, как можно? И как вы будете без часиков?

— Достану.

— Чем же отблагодарить? Взамен? А? — Абрамкин оглядывал себя, грогал туго набитый вещмешок, и было очевидно: и хочет отдарить, и жалко с чем-то расстаться. Я его понял: в порушенной, обнищавшей за войну курской деревушке все ему потребно, все на вес золота. Я похлопал Абрамкина по узкому покатоному плечу:

— Ничего не надо, Фрол Михайлович. Память о вас я и так сохраняю: вы молодцом воевали...

Это правда: старики вроде Абрамкина воевали безотказно. Ну, что за война в пехоте — известно: в слякоть, в распутицу, в холод и зной пехом да пехом, твой дом окопчик да чистое поле, в наступлении иди грудью на проволочные заграждения и пулеметы, через минные поля и огневой вал, в обороне отбивайся от танков, самолетов, артиллерии, автоматчиков — словом, жизнь эта не сладкая, труднее, чем в любом роде войск. И никогда эти папаша не роптали. Не в пример некоторым помоложе.

Накануне отъезда демобилизованных я заглянул в большую комнату, где обосновался мой взвод. Несмотря на то, что остался за ротного, я продолжал командовать и взводом, жил в том же доме и запросто мог зайти к бойцам. Я и зашел запросто — посидеть последний вечер с ними.

Уезжали трое, и они группировались в уголочке; завязывали вещевые мешки и скатки, деловито переговаривались. Верховодил Абрамкин, с солидной вескостью дававший советы, как и что надо укладывать в мешок, как и где надо захватывать место на нарах в теплушке. Когда они перестали хлопотать, я сказал Абрамкину:

— Ну что, Фрол Михайлович, можно начинать мирную жизнь?

Носатый, широкоглазый, плешивый, со втянутыми, плохо пробритыми щеками, Абрамкин осклабился:

— Истинно, товарищ лейтенант! — Но тут же вздохнул, его лицо болезненно передернулось. — Кабы она раньше началась, мирная-то жизнь. Заждались мы ее дозарезу, товарищ лейтенант! Посудите: мне пятьдесят один, сколь еще проживу? А четыре года отняла война распостылая, считай, что и не жил...

И двое других скучно подтвердили:

— Чего уж там, маловато, в обрез достанется нам той жизни-то послевоенной...

— Это факт, те четыре года вычеркивай, пропащие годы...

Но Абрамкин тряхнул головой, вновь осклабился и бодро проговорил:

— А все ж, товарищ лейтенант, радостно. Войне капут, и мы вживе! Страну отстояли, долг сполнили, возвращаемся до дому! Возьмите меня: пораненный вдоль и поперек, а вживе. Трое сынов воевали, старшак погиб, остальные вживе. Дома, в Михеевке, старуха и дочерь ждутся. Так-то семья хоть бы и с трещинами, а все складывается. В колхозе трудяжить буду...

И те двое приободрились:

— Это факт, поживем еще... Всласть поживем, совесть-то чиста...

— Залечим раны, все наладится, стосковался я по работушке... Ух, и поработаю!

Глуховатыми немолодыми голосами они говорили о близких, которые ждут дома, о родных краях, о том, как будут работать и вообще какой линии жизни придерживаться,— получалось, что это хорошая линия. Я слушал их и думал: «Ну, а как скоро увижу Россию я, грешный? Я тоже хочу жить на родине, учиться, работать, любить и все такое прочее. Домой хочу! Но поскольку я молодой и глупый, то одного моего хотения мало».

Мне было шесть лет, и я впервые увидел на парковой эстраде духовой оркестр. Именно увидел, а не услышал, ибо я был поражен не звуками его, а видом: сияющие медью трубы. Мама насилу увела меня от музыкальной раковины, но несколько дней я бредил духовым оркестром. В парке же нашел в траве изогнутую трубку от фонаря, смахивающую на некий духовой инструмент. Я дул в нее, счастливый. Это была моя любимая игрушка в течение целого года.

4

Море

В Гагры Лидия Васильевна приехала с сынишкой поздно вечером. Автобус стоял у тротуара, Лидия Васильевна одной рукой тащила к выходу громоздкий чемодан, другою — сонного, вяло переставлявшего ноги мальчика. Он зевал, куксился, расхлябанные, со сбитыми задниками сандалии так и норовили у него слететь.

— Да живей же, Петенька, ради бога живей,— скороговоркой проносила Лидия Васильевна и тащила, тащила сына и чемодан.

Шофер-грузин с черными усиками и в белой тужурке помог ей спустить чемоданище, подержал за локоток, сыпля масляные любезности, пожелал счастливого отдыха и вспрыгнул на подножку. Автобус отъехал, и справа за домами и деревьями открылось нечто темно-серое, сливающееся с небом. Лидия Васильевна воскликнула:

— Петенька, море!

— Где? Где море, мама?

— Вон, вон гуда смотри!

Но мальчик, сколько ни напрягал зрение, ничего, кроме липучей темноты, не увидел. Капризная, сказал:

— Спать хочу! Где наш дом?

Воздух был теплый, влажный то ли от тумана, то ли от мороси, пахнувший чем-то сладким, дурманным. Белое здание автобусной станции будто плыло, светясь в темноте, фонари на столбах отбрасывали круги, высвечивая диковинные деревья. Над городком нависали

горы, почти неотличимые от неба. Подниматься по улице надо было в гору, туда уверенно вела одна из одетых в черное платье женщин, окруживших маму с криком: «Комната! Есть комната!» Эта женщина завладела ими потому, что крепче всех хватала Лидию Васильевну за рукав.

Веки у Пети слипались, слетали сандалии, сбившимся носком натирало палец. Мальчик спотыкался о гальку, хромал и сердито сопел. А мама старалась не отстать от хозяйки и ласково повторяла:

— Сейчас придем, сейчас ляжешь спать, сыночек...

Проснувшись, Петя не сразу сообразил, где находится. Он лежал на высокой пышной кровати. Было жарко, душно, хотя ветер трепыхал тюлевую занавеску на раскрытом окне. Ослепительное солнце ломилось пучками, затопляло комнату, отражаясь в зеркале, в цветочных вазах, в никелированных кроватных шишках. Простыни, пододеяльник и наволочка, майка и трусики были влажные, неприятные, и Петя ногами отбросил одеяло, сел на постели, озираясь. С настенных фотографий на него неодобрительно взирали черноусые мужчины с кинжалами — мужчины были маленькие, кинжалы большие. С порога смотрела свернувшаяся пушистая собачка, с подоконника — свернувшийся пушистый кот, они также смотрели без одобрения, и оба подрагивали усиками. «Тут все усатые, — подумал Петя. — А недовольны тем, что я столько продрых...»

Петя прошлепал босиком к окну, отвел шторку и ахнул: поверх соседних крыш, поверх верхушек деревьев в отдалении шевелилось, переливалось опромное, синее, живое — море! С минуту простояв в оцепенении, он сорвался с места и кинулся к двери, испуганные кошка и песик вскочили, выгнули спины.

Он сбегал по улочке к морю, накалывая пятки и не замечая этого, не замечая и того, что за ним бежит пушистая собачка и чуть дальше — мама. Прохожие оглядывались, пожимали плечами, улыбались, что-то говорили ему вслед — он не слышал. В конце улицы перешел на шаг и побрел по гальке, задыхаясь от бега и от счастья. У кромки берега остановился, смятый ощущением неповторимости открывшегося ему чуда. Этим чудом было море, ластившееся к его ступням, без конца, без края, до горизонта, голубое, синее и зеленое, ровно дышавшее, без устали катившее волну за волной в мелкой кружевной пене.

И казалось непостижимым, что в это чудо, как свои, входили люди, и плескались, и плавали. То, что пароходы плыли по морю и катера — понятно, но люди... И вдруг решимость овладела мальчиком — чем он хуже других? — и он шагнул в воду. И тотчас его схватили за руку, вытащили на берег, крича:

— Ты с ума сошел! Ты утонешь! Надо же — удрал без спросу, один к морю! Как с цепи сорвался! У тебя глаза абсолютно дикие!

Так кричать мама может, если очень рассержена, вообще же она не повышает тона. А глаза у него, быть может, и были дикие — от счастья. Он и улыбнулся от счастья — широко, белозубо, задвигав носом. Мама сказала:

— Он еще улыбается, проказник... Чтоб это было у меня последний раз — побегу твой!

Она с трудом увела его домой, пообещав, что после завтрака они придут на пляж. И пушистый песик кивал мордой, словно подтверждая: придем, придем, не беспокойся. Петя тягуче сплюнул и сказал:

— Ну...

— Перестань плевать и нукать! Говори «да», а не «ну»! Что?

— Чего мне сбегать, когда море под боком...

И мама перестала сердиться, потрепала его за волосы:

— Сыночек, ты доволен, что мы сюда приехали?

— Ну! — И он сплюнул.

Мама посмотрела на него, вздохнула и промолчала: она знала, что говорить «ну» вместо «да» и сплевывать для Пети — своего рода удовольствие. И только опять потрепала его.

Так они стали жить в Гаграх. Городок, а точнее поселок, лепился, вытягиваясь, на узкой равнине, равнина была зажата между хребтом и морем. Стоял октябрь, а жарило, как в разгар российского лета. Солнце по утрам выкатывалось из-за горной гряды, поросшей непроходимыми лесами, в которых не усматривалось ни одного желтого пятнышка, и затопляло все палящим светом — море света! Солнце катилось по безоблачному небу медленно, как бы желая подольше покрасоваться и отдать весь ласковый и злой жар. По вечерам, раскаленное до алости, оно опускалось за горизонт, тонULO в море; утонув до половины, напоминало по форме стог, утонув на две трети — юрту; потом адела скобочка — как обрезок месяца. А потом и ни скобочки, но по небесам бродили отсветы; багровые превращались в лиловые, лиловые — в лимонные, лимонные поглощала темнота. Она наступала сразу, обволакивая море, горы, домики среди виноградников, хурмы, инжира, яблонь и груш, кривые улочки, мостки, заборы, веерные пальмы (и впрямь: ветви — как веер у Лидии Васильевны), банановые пальмы (ветви — как слоновьи уши), эвкалипты (кора облезла, висит — как бродяги в лохмотьях, а обнаженная сердцевина белая, будто березовый ствол), островки пампасской травы (метелки, словно у камыша), бамбуковые рощицы, магнолии, кактусы, цветочные клумбы. Эта обрушивавшаяся лавиной темнота была необоримой, хотя были луна и звезды. Темнота приторно пахла цветущей маслиной и переспелым черным виноградом, трещала цикадами, пела гортанным голосом подвыпившего гуляки, гудела нетерпеливыми автомобильными гудками.

А утречком солнце опять всплывало над зубчатой грядой, и Петя радостно поражался: тонет в море, всплывает в горах! Впрочем, и солнце, и горы, и домики, и зелень — все было прекрасно, лишь дополняя чудо. Чудо же было одно — море.

Мать и сын ходили к морю трижды на дню: после завтрака, обеда и ужина. Но ночью, во сне, Петя не расставался с чудом ни на минуту: он лежал на топчане — и глядел на море, сидел на парапете — и глядел на море, шел вдоль кромки — и глядел на море, плескался у берега — и глядел на море. Насмотреться на него Петя не мог и ночью во сне повторял то, что делал днем, наяву. Когда море было доброе, спокойное, оно бережно несло на себе суда, людей и дельфинов; днем было теплое, млеющее, вечерами курилось в охолодавшем воздухе, неся на себе блестящую лунную дорожку.

Полуденное солнце пронзало толщу воды, и она переливалась, меняла цвет — зеленый, голубой, синий, пенно-радужный, — а то вдруг все краски смешивались в одну, которой и названия нет. Если было безоблачно, вода становилась еще синей от отраженного в ней неба, если хмарь, море становилось еще свинцовой от отраженных туч. Под дождинками оно словно кипело, при грозе молнии вливались в его поверхность, гасли без следа. В шторм ревело, гнало высокие волны, ветер срывал барашки, и тысячетонный прибой сотрясал набережную. Петя любил море и в шторм, норовя подойти поближе, чтобы ощутить на губах гневные соленые брызги. Хотя мама не пускала его и страх не пускал.

Море было изменчивое, каждый раз неожиданное. Поэтому и мальчик каждый раз, увидав его, задышался от счастливого волнения, как будто знакомство происходило впервой. И Лидии Васильевне надоело это видеть. Сначала она щадила сына, посмеивалась про себя, но впоследствии, окончательно закиснув в этом забытом богом райском уголке, стала выговаривать не без раздражения:

— Петенька, нельзя же быть столь впечатлительным и, если хочешь, сентиментальным... Ты мужчина, закаляй характер!

Мальчик не очень понимал, чего хочет мать, и уж совсем не обращал внимания на ее тон. И ей делалось неловко, она привлекала сына, тормошила, целовала. Стараясь не обидеть мать, он высвобождался, оглядывался: не застучал ли кто этих нежностей, он же пацан, не девочка. Хотя маму он любит всегда и всякую — добрую и сердитую, ласковую и строгую, молчаливую и разговорчивую. Только чтоб без нежностей, чтоб не слюнявиться.

Лидия Васильевна приехала в Гагры с непреходящим чувством одиночества, знакомым ей не один год. Но рядом все-таки был сын, а вот теперь он отдалился, носится со своим морем, и ей стало вовсе одиноко. До смерти наскучила эта курортная глухомань, куда она прикатила, наслушавшись рассказов сослуживицы о благодатном абхазском климате и рыночной дешевизне. Хотелось доставить сыну радость — и доставила. На что ж и на кого нынче обижаться? Но обида крепла, будто отпочковавшись от той громадной обиды, что появилась еще до рождения Пети.

Данные о рыночной и прочей дешевизне были сильно преувеличены, а климат действительно был благодатный. Но уже раздражали лазурное море, теплое солнце, яркая зелень, местные жители — шумливые, назойливо-гостеприимные. И вовсе были непереносимы курортники. Не те, которых было поменьше — работяги в забахромившихся понизу брюках, партийки в красных косынках, — а те, которых было побольше — упитанные вчерашние буржучки и нэпманочки с нынешними ответственными мужьями не меньшей упитанности, восточные люди в соломенных шляпах и чесучовых костюмах, из Тифлиса, Эривани, Баку, их дамы сверкали кольцами и браслетами. Вся эта гладкая, самодовольная публика вертелась вокруг пляжей, базаров и ресторанов. Жарило солнце — восточные люди за ресторанными столиками вытирали пот со лба не носовыми платками, а бумажными салфетками, шли парные дожди — на тротуары выползали улитки, под подошвами курортников хрустели, как пустые спичечные коробки. Противно. Бархатный сезон, будь он неладен.

Лидия Васильевна вспомнила московский деревянный дом-купчину и как она, восемнадцатилетняя, стояла на крыльце, а сверху шмякался голубиный помет, а по железной кровле стучали коготками голуби, словно дождь стучал. И ей захотелось не этого южного, парного дождика, но московского — холодного, секущего, по-настоящему октябрьского. Домой, в Москву!

Одно событие ускорило отъезд.

Петя с мамой был на пляже. Мама лежала на топчане лицом вверх — на носу приклеена бумажка, чтоб не обгорел, глаза прикрыты. Петя сидел рядом на гальке, смотрел в море. Оно было дремотное, в прозрачной дымке, шлепало ленивым прибором. По горизонту плыл, будто стоял, трехтрубный пароход, поближе к берегу белел косой парус яхты, белели шлюпки с рыбаками. Выпрыгивая из воды, играл черный лоснящийся дельфин. На глубине, у флажков, плавали взрослые, на мелководье плескались дети.

— Мама, я окунусь, — сказал Петя.

Не открывая глаз, Лидия Васильевна ответила:

— Далеко не заходи.

— Хорошо, — сказал Петя, вставая, и тут увидел: из моря выходит девочка в оранжевом купальнике, в резиновой шалочке, вода стекает с девочки. Что-то поразило Петю, и он пошел к ней. И пока дошел, задохнулся от внезапного счастья. Будь постарше, он бы подумал: одно чудо — море — родило другое чудо — девочку. Он бы понял, что девочка

была бóльшим чудом, но перед морем он благоговел, а к девочке можно было подойти и взять ее за руку. И он взял ее за влажную, прохладную и тонкую руку:

— Давай дружить. Меня зовут Петя.

Она не удивилась, сняла резиновую шапочку, тряхнула русыми завитками.

— Давай. Я — Вика.

— Мне почти семь,— сказал Петя.— Скоро восьмой пойдет.

— А мне уже семь. Я старше тебя!

— Старше,— сказал Петя.— Ты здорово плаваешь. Научишь?

— Да. Если будешь слушаться.

— Буду,— сказал Петя.

Ему казалось: разговаривая с этой необыкновенной, поразившей его девочкой, он и сам становился каким-то необыкновенным, новым, который все может, даже научиться плавать. В чем ее необыкновенность, он не знал. Но это был факт, что она не походила ни на кого из девчонок,— это-то он наверняка знал.

Он проводил Вику до топчана, где загорала ее мама, полная красивая женщина в шелковом купальнике, постоял, переминаясь. Мама весело спросила:

— Вика, это твой кавалер?

Девочка, вытиравшаяся махровым полотенцем, ответила:

— Это Петя. Мы будем дружить.

— Дружите, дружите,— сказала Викина мать и повернулась на другой бок.

Петя с Викторией уселись на галечник и стали играть в чет-нечет, потом бросали плоские камешки, «пекли блины» — у кого галька больше подскочит на воде. Побеждала Вика, и Петя этому не удивлялся. Она была иной, чем все девочки. А потом Вика учила его плавать вдоль берега. И саженками, и по-лягушачьи, и под водой. Петя суматошничал, хлебал горько-соленой водицы, но у него кое-что получалось, хоть малость держался на воде. А раньше умел плавать лишь по-топоринному. Дайте срок — будет плавать и саженками, и по-лягушачьи: он ведь сделался чуть-чуть необыкновенным. От Вики передалось.

Они купались, грелись на солнышке, играли, снова лезли в море, и у Пети не проходило чувство необыкновенности всего этого — Вики, моря и его самого, Глушкова Пети. Он не отходил от девочки ни на шаг, и Лидия Васильевна еле дозволялась его на обед. А Викина мама смеялась:

— Дочуня, до чего ж у тебя преданный кавалер!

— Он не кавалер, а Петя.

— Это все равно! — Викина мама смеялась еще заразительней.

В столовой Лидия Васильевна выговаривала сыну:

— Просто неприлично — так прилипнуть к чужой девочке.

— Она не чужая. Мы с ней дружим.

— Ладно, ладно! — Лидия Васильевна отмахнулась от назойливой свирепой осы.— Компот будешь пить?

— Ну! — сказал Петя и сплюнул.

Грозно жужжали осы. За раскрытым окошком сигналила на дороге грузовая автомашинa, скрипели повозки, запряженные буйволами. У изгороди коровы брнчали колокольцами, хрюкали черно-белые пятнистые свиньи с треугольными деревянными колодками на шеях — чтоб не пролезли в огород. На террасе соседнего дома, где сушились на гвоздях связки красного перца, кукурузных початков, табака, мужчина в клетчатой рубашке кричал женщине в блузке, с отвисшей грудью:

— Хэ, кого учишь? Меня учишь!

Жужжите, сигналийте, скрипите, хрюкайте, разговаривайте, пойте —

все звуки нужны Пете Глушкову. И чем их больше, тем лучше. Сам бы закричал что-нибудь, или пропел, или свистнул, да мамы опасается. Тем более она жалуется: «В этом поселке адский шум, буквально голова раскалывается...»

И на их квартире шума хватало. Лидию Васильевну особенно донимали грохот машин, лай и мяуканье — пушистые собака и кот были голосисты. Но Пете они нравились: во-первых, жили дружно, спали и то на пару, во-вторых, ластятся к людям, любят поиграть, поноситься. Пегий, криволапый Шарик был хитер, изворотлив и добродушен. Мурзик — полосатый лежебока с насмешливым прищуром крапчатых глаз, в темноте они горели дьявольски. Шарик был попрошайкой: становился на задние лапы и глядел умоляюще до тех пор, пока не получал вкусенького. Мурзик благосклонно, а то и надменно принимал дары — как будто делал одолжение. Оба ластились к кому угодно, но преданы были только хозяйке, Медее Виссарионовне, седой, тощей и бородавчатой, в неизменно черном одеянии. Медея Виссарионовна неугомоима, с утра до ночи она возится в саду и на огороде, прибирает в комнатах, стряпает кушанья, стирает, гладит. Однако она находит время приласкать Шарика и Мурзика. Если ласкает Шарика, кот начинает тереться о ее ноги, ревниво мяукать, если ласкает Мурзика, о ее ноги трется пес, ревниво взлаивая. Это, пожалуй, единственный изъян в их собачье-кошачьей дружбе.

Петя с мамой обедали в столовых, а завтракали и ужинали у Медеи Виссарионовны, и поэтому мальчик имел возможность подбросить Шарику и Мурзику куриную косточку, кусочек баранины, хлебца с маслом, конфетку. Нельзя сказать, что собака и кот были слишком уж неразборчивы, скорее наоборот — простую хлебную корочку, без масла, они могли понюхать и не съесть. Им бы что полакомей!

А еще Петя одаривал Вику. Тут уже подношения были иные: яблоко или груша, шоколадка или хурма, кисть «изабеллы», горсть фундука, початок вареной горячей кукурузы. Петя совал их девочке везде, где виделся с ней, — на пляже, в приморском парке, на пристани. Лидию Васильевну это вгоняло в краску, а Викина мать хохотала:

— Ай да кавалер! Широкая натура!

На пристани, где обосновались рыбаки с удочками, гордые и неприступные, Петя ухитрился выпросить только что пойманную рыбу-иглу, здесь же подарил Вике. Та подержала ее в руках, скользкую, извивающуюся, и отпустила в море. Петя спросил:

— Не жалко?

— Жалко, — сказала Вика. — Но, может, рыбка не простая, а золотая и выполнит мое хотение.

— А что ты загадала?

— Секрет.

Петя не стал допытываться, хотя любопытство разбирало. Вика шепнула ему на ухо:

— Я просила: пускай она сделает так, чтобы я дожила до ста лет! Как бабушка Элико!

Это верно: бабушке Элико сто лет, и она еще бодрая, сидит на раскладном стульчике у пляжного входа под большим зонтом и за две копейки взвешивает на весах всех желающих. Петя попробовал представить Вику столетней и не сумел. Вика не могла быть старенькой, хотя и бодрой, но седой, морщинистой. Вика могла быть лишь такой, какую видел сейчас мальчик. Он улыбнулся и сказал ободряюще:

— Доживешь.

Прогулочный катер отваливал от причала, мигая зелеными и красными огнями. Море шлепало о сваи, йодисто пахли гниющие водорос-

ли. Летучие мыши мельтешили в сумерках, стригли воздух будто всплескивающими крыльями. Сторожевой прожекторный луч прорезал мглу, ложился на воду, как лунная дорожка, освещал Вику — в матроске, в юбочке с оборками, на затылке бант...

Утром, придя на пляж, Петя не увидел ни Вики, ни ее мамы. Он не успел спросить, почему их нет, как услышал то, от чего мурашки поползли по спине. Об этом на пляже говорили все завсегда — перебивая друг друга, с подробностями, с размахиванием руками и закатыванием глаз.

Вчера вечером на взморье Викина мать и ее курортный приятель, основательно пьяный, надумали покататься на лодке. Вика отговаривала, но мать высмеяла ее: «Трусись? Так и скажи, что трусишь!» Вика села с ними. Подпивший мужчина пожелал купаться. Покупался. А когда влезал, перевернул лодку. Его и Викину мать подобрали, девочку — не спасли. Хотя она неплохо плавала, но что-то, видимо,стряслось, может быть, ударило лодкой. Девочку выловили мертвой и откачать не сумели. Поминутно ахавшая и охавшая женщина в сарафане, будто бы видевшая, как Вику привезли на пристань, пришепывала:

— Лежит себе, голубушка, как живехонькая, ручки вот эдак сложены, а в глазках стоит вода, ну ровно плачет девчушка-то...

Петя не все понимал из слышанного, но одно понял: Вики нету в живых, она никогда не придет к нему на пляж. Мурашки ползали по спине, начал колотить озноб. Петя поднял голову, посмотрел на море, штилевое, мирное. Это чудо оказалось злым! Или люди виноваты? Тогда почему утонула Вика, а не тот, постылый, пьяный, опрокинувший лодку?

Петины плечи затряслись в рыданье, он упал на гальку. К нему подбежала растерянная, пришибленная Лидия Васильевна:

— Что с тобой, сынок? Ах, боже, какое несчастье! Нет, всё: завтра же уезжаем отсюда! Слышишь, Петенька: уезжаем! Успокойся, ради бога! Ах, какое несчастье...

Сначала море и девочка часто вспоминались Пете Глушкову, но с годами воспоминания тускнели, стирались и наконец ~~в~~ все стерлись, имя девочки забылось. А на войне, уже взрослому, море и девочка стали сниться, и он просыпался с мокрыми глазами.

5

Восточная Пруссия — обжитая, ухоженная сторона. Спрявленные асфальтовые дороги, обсаженные липами, тополями или декоративным кустарником, — голубая мечта шоферов. Конечно, наше российское бездорожье тут помянешь не раз: дескать, живут же люди. Батальонный замполит Трушин меня подправлял: во-первых, не люди, а фрицы, фашисты, во-вторых, мы не должны низкопоклонничать перед заграницей, должны разоблачать ее. Я отвечал ему в том смысле, что фрицы бывают разные, не все сплошь фашисты, насчет же разоблачения — правильно, надо разоблачать, однако же живут недурно, никуда не денешься. Другое дело, что немцы выкачивали из покоренных государств богатства и вкладывали в свое хозяйство, в свою страну, из непокоренной России тоже повысосали будь здоров. Но факт, как говорится, налицо: распрекрасные дороги, каменные дома, теплые уборные, ванны, кухни облицованы кафелем, мебель — ничего не скажешь. Да нет, устроены они неплохо. Леса разрежены, сады чистенькие — немцы аккуратисты и трудолюбивы, этого у них не отнимешь.

Наши агитаторы, «дивизионка» и армейская газета гнут линию: воин, ты воочию видишь всю бедность и неприглядность немецкой жизни. Однако воин воочию видит несколько иное. Поэтому я бы строил пропаганду так: смотрите, немцы материально нехудо жили, а захотелось еще лучше — за чужой счет, вот и полезли за нашим добром, грабители, не будь войны, мы бы жили похлестче немцев, но ничего, после победы заживем! На это Трушин ответил: не высказывай с собственным мнением, когда есть официальное. Я спросил его:

— А ты имеешь собственное мнение?

— Имею.— Трушин щербато усмехнулся.— Оно всегда совпадает с официальным.

— А мое подчас не совпадает. Как в данном случае.

— Умней всех хочешь быть,— проворчал Трушин.

Нет же, не хочу быть умней всех. Просто хочу прийти к самостоятельным выводам, без подсказок. Ведь голова дана для того, чтобы ею думали, а не только чтоб водружать на нее пилотку или ушанку. Разумеется, я могу ошибиться и таки ошибаюсь: опыта маловато, еще зелен, глуп, мальчишка (хотя бывает, что чувствую себя шестидесятилетним). Но я не автомат, это немцы воспитывались как автоматы, чтоб не рассуждали. А отчего бы мне не порассуждать?

— Бессмысленное занятие,— сказал Трушин.— Болтовня и словопрения. Надо побольше делать дело, поменьше разглагольствовать.

Это он путает: рассуждать, размышлять — не значит бездельничать, и рассуждая можно дело делать. Я сказал ему об этом. Он не согласился, заявил:

— Ты доморощенный философ. Всему торопишься выставить оценку. А оценки, между прочим, выставляет история.

— В смысле — отдаленное будущее?

— Более или менее отдаленное.

— Я хочу, чтобы и мое мнение учла история.

— Мало ли чего мы хотим, мелочь пузатая.

— Если тебе нравится, можешь считать себя мелочью. А мне противно это самоуничижение!

— Обиделся? — искренне удивился Трушин.— И зря. Надо быть самокритичней, не переоценивать своих возможностей.

Тут он, пожалуй, прав: это со мной приключается — переоцениваю свои возможности. И самокритичности не хватает, признаю. Но почему мы с замполитом так часто спорим? Разные мы с ним. Хоть он и политработник, подкованней меня, а со многими его высказываниями я не согласен. Подчас он мне просто неприятен как человек. А все же, случается, и соглашаешься с ним: бросит какую-нибудь фразу — как будто попадет не в бровь, а в глаз. В самую точку попадет, и нечем крыть.

Но больше всего примиряет с Трушиным то, как он воюет. На войне это главное — как ты воюешь. Вот здесь-то могу перед Трушиным снять шляпу, то есть пилотку: храбрый малый — никогда не ограничивается словесными призывами, ломит в атаку наравне с бойцами. Где они, там и он. Вот это я понимаю, комиссар показывает личный пример. А то приходилось встречать: пламенные призывные слова, сам же чуть что — в кусты. Иначе говоря, в тылы. Вы на пулеметы, а я в обоз, ездовых нужно еще поагитировать. И надо же: того, трусоватого, накрыло миной из шестиствольного, а Трушин, чертяка, изо всех переделок выходит невредимый.

Я говорю почему-то в настоящем времени: воюет, выходит невредимый. Но ведь надо говорить в прошедшем времени! Это все было, ушло, сгнуло, теперь иное — войны нет. Ни артобстрела, бомбежек, пулеметного огня, ни наступления и обороны, маршей и привалов —

ничего нету. Настал мир, тот мир, о котором мы мечтали четыре года. Мы победили!

С каждым днем солнышко пригревало жарче. Трава зеленела, выбившись отовсюду где можно. Она казалась особенно сочной оттого, что и здешняя земля, в сущности, обильно полита кровью. На лесных опушках появились первые ландыши, вдоль полевых окрайков — колокольчики, кашка, одуванчики и цветы, которых я в России не видел. Над полями висели невидимые жаворонки, словно обсыпали трелями высохшие, разомленные поля.

И я млею от близости лета и от женской близости. О, мирные деньки мелькали — не то что на войне, там они нудно тянулись. Так вот всегда: хорошо тебе — время бежит, плохо — время стоит. Не пропала мысль: я свое отслужил, отвоевал, пора в гражданку, за учебу, пусть другие послужат.

Прислали других. Это было пополнение, десятка три желторотых, семнадцатилетних: на щеках незнакомый с бритвой пушок, припухлые губы, доверчивые и детски-любопытные глаза, цыплячьи шеи. Подобных юнцов я видывал в пополнениях, прибывавших на фронт, — не все они доживали до второго боя. Эти прибыли после победы, и многие жалели: эх, не повоевали, без нас кончилось. Ребята были послушны, исполнительны, вовсю глядели на наши ветеранские груди, где звенели-позванивали ордена да медали. А я глядел на их чистые, юношеские лица и чувствовал себя стариком, у которого за плечами фронтовые годы разлуки с женой, с детьми и с внуками. И от этого было грустно.

Еще было грустно от сознания: этих солдатиков прислали служить не вместо тебя, а у тебя. Это мои подчиненные, я их отец-командир. Я должен служить. Сколько — никто не знает. Кроме бога и Верховного Главнокомандующего, он же нарком обороны. Бога нет, это я знаю точно. Верховный и нарком есть, и это я знаю не менее точно. Ну, что ему стоит, Верховному и наркому, издать приказик: дескать, студенты, которые недоучились... и так далее. А ведь не издаст, чувствует мое сердце: не издаст. Солдатики же из последнего пополнения, разумеется, ни о какой демобилизации не помышляют. Они хотят служить. Они послушны, не испорчены и на шесть годов моложе меня. До чего ж много — шесть лет!

Это пополнение послужило толчком к одному занятному разговору с Эрной. Проведав, что солдатикам по семнадцать, Эрна сказала мне:

— Почти мои ровесники.

Задумалась. Посмотрела на меня искоса. Спросила:

— А если я тебе, Петя, принесу пополнение, а?

Сперва я не разобрал, о чем речь, переспросил:

— Что-что?

— Сына тебе рожу или дочь, — сказала Эрна. — Ты кого хочешь?

И засмеялась — отрывисто, будто вскрикивая. Не люблю, когда она смеется. Лучше б улыбалась. Но она ни разу не улыбнулась. По-краснев, кое-как пересилив смущение, я ответил:

— Родить-то родишь, а что с ним делать? Кем он будет считаться, ребенок, — русским ли, немцем...

— Это был бы мой ребенок. — Эрна перестала смеяться. — И твой... Но не беспокойся: ребенка пока не будет.

«Пока-то пока, а все-таки», — подумал я, продолжая дурачки краснеть и потеть.

— Ну, не расстраивайся, мой милый, не сердись. — И Эрна поцеловала мне руку.

— Не сержусь,— сказал я, хотя действительно ощутил нечто вроде досады.

Сказанула черт-те что, а теперь целует руки — у мужика. Мда. Ну, а ежели она и впрямь забеременеет? Родит мне наследника? Куда я с ним денусь? И куда она денется? А руки целовать взяла за моду с тех пор, как фрау Гарниц полегчало. Я попросил полкового врача осмотреть ее. Он осмотрел, принес порошки, пилюли и мази, фрау Гарниц стала лечиться, и однажды Эрна поцеловала мою ладошку:

— Спасибо за маму. Она уже встает, скоро будет ходить.

А потом начала целовать мне руки после каждой нашей близости. Я сказал:

— Эрна, не надо.

Она ответила:

— Я очень люблю тебя и благодарю за все. И ты позволь мне... Позволишь?

— Ну, пожалуйста, как хочешь.

Я был не в своей тарелке. После близости я тоже бывал благодарен ей за теплоту, за ласки, за нежность. Но сам нежности не испытывал, тем паче потребности поцеловать ей руку. А вот она целовала. И мне было неловко, нехорошо оттого, что она испытывает эту потребность, а я нет.

— Не сердись, не сердись,— говорила Эрна.— Я не рожу. Ты хороший, я не сделаю тебе неприятное... Ты очень хороший!

«Это в сравнении с другими,— подумал я.— А так — какой там хороший?»

Я поцеловал Эрну, потрепал по щеке. Она сказала:

— Петья, а правда, что нас выселят?

— Кого вас? Тебя с матерью?

— Немцев, которые живут в Пруссии.

— Откуда взяла?

— В городе все немцы об этом говорят. Нас выселят в Германию, а Восточную Пруссию заберут себе русские или поляки. Это правда?

— Мне не докладывали,— сказал я.

— Не хочу отсюда уезжать,— сказала Эрна.— И куда столько немцев разместят?

Что верно, то верно: трудно будет разместить ораву переселенцев — уж больно плотно населена Восточная Пруссия, она наспигована городами, городками, селами, фольварками, на каждом шагу поселение. Да ладно, как-нибудь перемогутся, наш народ и не то вынес. За войну надо расплачиваться. Поэтому вполне возможно, что пруссаков стронут с насиженных мест.

Я подумал об этом, но Эрне ничего не сказал. Она-то при чем? Тут ее беда, а не вина. Заварили кашу главари, расхлебывать же приходится всей нации. Эрна сказала:

— Если бы ты знал, как я ненавижу фюрера и его свору, тех, кто развязал войну. Будь они прокляты!

— Их будут судить,— сказал я.— Хотя в печати сообщалось, будто Гитлер и Геббельс покончили с собой.

— Трусы. Боялись держать ответ. Подлые трусы и убийцы! — Щеки Эрны побледнели, губы скривились.— Будь они прокляты! И будь прокляты все мы, немцы!

Она еще сильнее побледнела, плечи ее передернулись. Что же, это было прозрение, жестокое, неумолимое, запоздалое. К концу войны многие немцы стали прозревать. А вот в начале были слепы, как кроты, вопили «хайль Гитлер!» и мечом и огнем утверждали свое право на господство. Эрну мне жалко, а немцев в принципе нет, не жалко,— я прошел всю войну и собственными глазами видел, что принес-

ли они на нашу землю. Всю войну меня не покидало чувство вины перед родиной за то, что обрушилось на нее, и желания рассчитаться с немцами. Да и сейчас не покидает. Но Эрна — иной разговор.

Ей досталось вдоволь горького. Да и мне. Но мы живы и будем жить. А сколько людей не будет? Вот и перед ними, павшими товарищами, я также виноват. Может быть, я должен был погибнуть заодно с ними. Временами я почти уверен в этом. А временами чертовски хочется жить, радоваться жизни и брать от нее все, что положено живущему на земле.

Я с вечера знал, куда мы пойдем утром. Нас, офицеров, после обеда оставили, и командир полка объявил, чем подразделения займутся завтра. Новость была ошеломляющая, и сразу забылся казус за обеденным столом.

К обеду я опоздал — задержался в штабе дивизии, куда выезжали с комбатом на инструктаж по караульной службе, — в столовую мы вошли, когда уже раздавали второе. Комбат и я попросили разрешения присутствовать, командир полка кивнул. Комбат пошел к голове стола, я к хвосту: за каждым был закреплен стул — согласно чину. У нас принято говорить: «Приятного аппетита». Мне это пожелание давно казалось сусальным, мещанистым, и я решил на сей раз избежать его, шуточно сказал соседям:

— Волчьего аппетита!

Кто-то рассмеялся, кто-то обронил: «Спасибо, тебе того же», начальник же штаба скрипуче произнес на всю столовую:

— Товарищ Глушков, к вашему сведению: мы люди, а не волки!

Гляжу на него: майор бурчно-красный, злой. Неужели я сморозил что-нибудь? Или шутка не дошла до майора, большим умом он не отличается. Надо было бы сказать: «Хорошего аппетита!» — и он бы не разозлился. Мне неудобно, я смущен. И всем неудобно — кроме майора. Он скрипит:

— Вы поняли, лейтенант Глушков?

Я собираюсь ответить: «Так точно, товарищ майор», привстаю и цепляю за скатерть — тарелка с супом опрокидывается на меня. Стою дурак дураком, с макаронинами на гимнастерке...

А командир полка сообщил нам: завтра будем тренироваться з посадке в эшелоны, выделен один железнодорожный состав, поэтому будет составлен график, какому подразделению в какой день тренироваться. Перед ужином начальник штаба собрал офицеров, зачитал инструкцию о том, как грузиться в эшелон, и перечислил подразделения, выделенные для тренировки завтра; была названа и моя рота. Я слушал майора, стараясь не думать, почему у багроволицего, тучного человека скрипучий, вьедливый голос. Я старался думать о том, как получше подготовить личный состав к необычным завтрашним занятиям.

Накачал командиров взводов и моего заклятого друга Колбаковского. С той поры как меня назначили ротным, старшина переменялся — сама учтивость и предупредительность. Хитер старый служака, на всякий случай перестроился: ну как из временного стану постоянным? А вообще-то он толковый хозяйственник, хотя и комбинатор, — за ним нужен догляд. Опытен, трудолюбив, требователен. Сдается, не было веских причин конфликтовать с ним, я раздувал, прыткий, самоуверенный вьюнош.

Подспудная копошилась, саднила мысль: тренируют в погрузке на поезд — значит, дивизию повезут. Куда? На родину, конечно! Но куда конкретно? Родина необъятна.

Солдаты еще как будто не знали о предстоящих занятиях — я должен был объявить им на вечерней проверке, — но уже по всем углам слышу: скоро нас повезут домой! Даже места называют. Правда, разноречиво: тот Рязань предсказывает, тот Казань, тот Вологду. Откуда берут сведения? Из сообщений ОБС — одна баба сказала. Женщины болтливы, это факт. Однако и мы, мужики, не всегда им уступаем. Почему Вологда? Почему не Сызрань? Ей-богу, болтуны.

Но поразительней всего то, что о тренировочных посадках в эшелон знала и Эрна. Ночью она сказала мне:

— Будете садиться в эшелон? Завтра учеба, а послезавтра и в самом деле уедешь?

И схватила мои руки, принялась целовать. Я еще не раздевался, еще не было между нами ничего, а она целовала и целовала мои руки, и я ощутил на них мокрое, теплое.

— Не плачь, Эрна. Когда-нибудь я ведь должен буду уехать.

— Понимаю. Но без тебя будет тяжело. Вот в городе все радуются, когда русские солдаты уезжают домой, и мама радуется. А я тоскую, я понимаю: сейчас уезжают они, а потом уедет и мой Петя... Ты мой?

— Твой, твой.

— Иди ко мне...

Фрау Гарниц теперь ночевала на кухне, и мы могли говорить и делать что угодно. Мы были в комнате одни и в некоторые минуты — одни на целом свете.

Я не высыпался, по утрам лень было вставать, хотелось поваляться, побыть с Эрной. Но в это утро поднялся решительно. Умылся холодной водой из крана. Побрился, изучив в зеркальце свою исхудавшую, осунувшуюся физиономию — в подглазьях синева. Любовь крутить — это вам не шутки. Насвистывал опереточный мотивчик и разумел, почему у меня настроение отменное. Потому что сегодня учимся посадке в эшелон, а завтра либо послезавтра, глянь, и натурально уедем. Домой, в Россию!

На железнодорожную станцию шли с полной выкладкой, но легко, ходко, с песнями и посвистом. Вижу: у всех великолепный настрой. Еще бы — Казань или Рязань маячат. А в Кушку не хотите? Да и Кушка подойдет, лишь бы на родину, в Союз, к своим. Тем более пущен очередной слух: в Союзе дивизию расформируют — и все по домам.

На станции полно войск и техники. Расцепленный на части состав облеплен людьми: тренировка уже идет. Мы подходим к выделенным нашему полку крытым вагонам и платформам, и потеха начинается. Покриками командиров: «А ну, больше жизни!» — покриками солдатиков: «Раз, два — взяли! Еще раз взяли!» Солдатики выполняют команды с ходу и с рвением, всех охватывает азарт. Кто-то поет, кто-то матерится. Ржут лошади. Свищет маневровый паровоз.

Подкатываются пушки, подводятся кони, волокутся ящики и тюки сена, катятся бочки. С погрузочно-разгрузочных площадок бойцы заводят в вагоны лошадок, на платформы с откинутыми бортами закатывают пушки, повозки, полевые кухни. Последней в теплушки садится матушка-пехота — это ей раз плюнуть. Затем принимаемся за выгрузку.

Поодаль, у разбитого вокзальчика, за погрузкой-разгрузкой наблюдает дивизионное и полковое начальство: полковник и подполковник взглядывают на часики, многозначительно покачивают головами. Что, не укладываемся в срок? Стало быть, нас будут гонять еще с этой погрузкой-разгрузкой. И точно: нас гоняли до седьмого пота. А жара уже летняя, основательная.

Трижды мы погрузались и выгружались — с неизменным удовольствием, распаренные, усталые, возбужденные. Это было похоже на игру взрослых, непосредственных, по-детски радующихся и самой игре и тому, что за ней последует.

А я, по совести, не совсем уяснил, для чего, собственно, нужны эти тренировки? Чему тренироваться? Ну, взяли и сели в эшелон, только и делов-то. Вот как сейчас. Комбат пояснил:

— Видите ли, Глушков, на погрузку отводится определенное время. Так же, как и на выгрузку... Командир полка поставил задачу: суметь погрузиться досрочно.

— А зачем досрочно?

— Разве плохо, если мы опередим график?

— Но что это даст? Для чего опережение?

— Для пользы службы, — сказал комбат многозначительно.

А гвардии старший лейтенант Трушин ухмыльнулся:

— Лезешь не в свои сани, философ. Тебе известно, что на погрузке в эшелоны будет лично присутствовать командир корпуса?

— Нет.

— Ну, а мне известно. Что же, командиру корпуса будет приятно, если мы сядем раньше хотя бы на пяток минут.

— А если вовремя? То уже неприятно? Для формы, для парада все это, скажешь — нет?

— Скажу! Мы, советские люди, так воспитаны: выполнять все досрочно. И это хорошо, а не плохо. В армии особливо.

— Но всегда ли это целесообразно? Ведь эшелон уйдет по расписанию, а не на пять минут раньше. Как хочешь, но тут я не обнаруживаю смысла.

— Бессмыслица?

— Да вроде.

— Выбирай выражения. — Трушин поморщился. — Как-никак ротой командуешь, соображать бы надо.

— Я и соображаю.

Трушин промолчал, посопел: что, мол, за спрос с этого Глушкова — чудака, краснобай, спорщик. Словом, философ. Не прав ли Трушин? Не слишком ли я философствую, рассуждаю, сомневаюсь? В армии надлежит не сомневаться, а выполнять приказы. Армия есть армия. Я есть пехотный лейтенант, доктор философских наук — это кто-то другой. Это я с победой стал говорливей. На фронте больше помалкивал. Воевал. Было не до излияний. Теперь же и по пустякам высказываешься. Стоит ли? К тому же тебя не понимают. Либо не желают понять. Как Трушин, например. Разговаривает со мной свысока, поучает, как будто я не ротный. Нет, надо вести себя с большим достоинством. Не кипятиться, не разбрасываться словами налево и направо, знать им цену. Пора повзрослеть! Не странно ли взрослеть мне, начавшему войну по сути мальчишкой и закончившему ее так, что иной раз мерещится: шестьдесят за плечами?

Абрамкин, Фрол Михайлович, незадолго перед демобилизацией сказал мне:

— Товарищ лейтенант, заглавное горе мое — сын-старшак сгиб на войне. Я вот после победы и отписал старухе: «Извини, Катерина, что я остался жить, а наш сокол...» Старуха отписала: «Коли так случилось, чего ж, живи...» И у меня отлегло от души, ровно бы простила она меня...

А май разбега́лся, набирал скорость, дни мелькали, сливаясь один с другим. Не за горами был июнь, 22 число, которое не переставало

меня тревожить. 22 июня сорок первого и 9 мая сорок пятого! Между этими датами уместилась едва ли не вся моя жизнь, спрессованная, как тук сена: распотроши — и годы рассыплются, разлетятся аж в далекое детство. Но все, что было до войны, — как бы пролог к моей жизни. То, что будет после войны, — это эпилог?

Погода держалась жаркая, душная. Перепадали дожди, грозовые, грибные, не освежающие. Солдаты бегали освежаться к мелкой илистой речонке за городом, хотя был строжайший запрет: можно напороться на мины, были уже случаи. Но все бегали окунаться в коричневую, в кувшинках воду, лениво текущую среди низменных топких берегов. Я не составлял исключения. Подговаривал Эрну, однако она стеснялась появляться со мной на людях: что скажут немцы, что скажут советские офицеры? А когда бывали с ней наедине, то никого и ничего не стеснялась, озадачивая и пугая меня.

В полях цвели колокольчики и ромашки, на диво крупные. Я нарвал их, нарвал кувшинок, получил приличный букет. Принес Эрне. Она приняла его, прижала к груди.

«Будет целовать мне руки», — подумал я. Она не поцеловала, отошла к столу, поставила букет в вазу, а когда подняла глаза, то они поразили меня. Не знаю чем. Что-то в них было такое, что я сам прикоснулся губами к ее руке. И подумалось: подарил жене цветы, надо было бы что-нибудь подарить и ребенку, игрушку какую-нибудь. Ребенок у нас не родился? А может, война убила его — на войне и около нее убивают и неродившихся детей. Стало муторно, тяжело, я сел за стол, опустил голову.

А если ребенок все-таки родится? Что ждет его? Эрну я не могу забрать с собой в Россию, если б и захотел. Не могу стать ее мужем и здесь. Многое разделяет нас, слишком многое. И сколько я еще пробуду в Пруссии? Сплошная неизвестность. На станцию тренироваться нас больше не водят. Пошел слух: дивизию не выведут в Россию, будет нести оккупационную службу. Слух исходит от агентства ОБС — одна баба сказала. Но мне не смешно. Что тут смешного?

Ночью меня разбудил Драчев. Свистящей фистулой, которую слышала и Эрна, возвестил:

— Тревога, товарищ лейтенант! Собирайтесь!

Тревога? Ее давненько не было, вервольфы перевелись. В чем же дело? Глядя в угол, ординарец сказал:

— Товарищ лейтенант, посыльный баял: сборы полные, весь полк подымается.

— Ладно, иди. Я мигом...

Прикрыл за ним дверь, постоял в нерешительности. Сердце колотилось: эта тревога неспроста, что-то серьезное. Эрна встала с кровати, шлепая голыми пятками по линолеуму, подошла ко мне. Не обнимая и не целуя, сказала:

— Я предчувствую: тебя поведут на станцию, сегодня ты уедешь...

Голос еле слышный, больной. Недаром и у меня сердце билось учащенно: и я предчувствовал, что сегодня мы расстанемся навсегда. Я привлек ее к себе. Так, прижавшись, мы простояли, покамест Драчев снова не постучался:

— Товарищ лейтенант, поспешайте!

— Поспешаю, — сказал я, разомкнув ее руки.

Оделся, обулся. Обнял, поцеловал, слегка оттолкнул:

— Прощай, Эрна. Будь счастлива.

— И ты будь счастлив. Спасибо за все. Прощай.

— Не поминай лихом.

— Не забудь меня...

Мы говорили хриплым, придушенным, немощным шепотом, словно на большее недоставало сил. Внизу, на первом этаже, хлопали дверьми, топотали сапогами, звенькали котелками. Я напоследок взглянул на Эрну и шагнул за порог. Она осталась стоять, полуодетая, с безвольно опущенными руками, дрожащая мелкой дрожью. Эта дрожь передалась и мне, покуда обнимал Эрну. Меня знобило, неумно трясло и когда я осматривал выстроившуюся роту, и когда колонна вышагивала по безлюдному, безмолвному городку. Обыватели спали, окна немо чернели, лишь в одном горел свет. В окне комнаты Эрны. Ставшей и моей комнатой.

Было мозгло, накрапывал дождь. За деревья, за придорожные кусты цеплялся туман. Темнота расплзалась, в разрывы пробивалась рассветная серость. Туча с рваными краями волочилась над кирхой, над островерхими черепичными, словно чешуйчатými крышами городка, который мы покидали, надо полагать, навечно. На станции перекликались паровозы, станцию мы тоже покинем на веки вечные.

Мы погрузились споро, но час простояли, дожидаясь приезда комкора. Он приехал на «эмке», стройный, длинноногий, в сапогах-бутылках, с закрученными гвардейскими усиками, с погонами золотого шитья, на кителе — звезда Героя Советского Союза. Его сопровождал наш комдив, коренастый, грузный генерал-майор лет на десять старше и также со звездой Героя. Генералы прошлись вдоль эшелона, пожелали нам благополучного пути. Затем, сопровождаемые свитой, встали на перроне и, когда эшелон стронулся, взяли под козырек.

Окончательно рассвело. На бугре высветился высокий столб с дощечкой, на которой готическим шрифтом было начертано, что здесь похоронен лейтенант кавалерии Ульрих фон Катценбах, погибший в России 7 июля 1941 года; пониже — небольшое аккуратное кладбище с массивными надгробными плитами, с краю кладбища два православных креста на могилах русских военнопленных, умерших еще в первую мировую. И столб и кладбище мне знакомы: неподалеку проводились занятия по тактике. О, до чего же далек теперь сорок первый — так же, как четырнадцатый год!

6

Солдаты столпились у раскрытой двери теплушки. Смолистый воздух тек снаружи, из сосняков и ельников, косо разворачивавшихся, показывавших себя со всех сторон, из тучки высовывалось солнце, моросил дождик. Солдаты радовались, шутили: слепой дождь, слепой дождь, это к удаче, полный вперед!

Я был в центре этой толпы. Облокотясь на березовый кругляк, перегораживавший выход из вагона, смотрел на окрестные леса и поля, слушал солдатский треп и ощущал своим телом их тела. Была приятна теснота, и верилось, что и в мирные дни мы будем плечом к плечу, как в военные, что новые времена не разъединят нас. Я почему-то опасаясь: с окончанием войны начнет исчезать то чувство братства, которое соединяло фронтовиков. Ибо мы перестали быть фронтовиками. Неужто станем отчуждаться друг от друга?

Хотя кое-кто поговаривал, что командиры подразделений будут следовать в штабном вагоне, мы ехали со своими подразделениями. Да ведь очевидно же, что так мы не выпустим подчиненных из поля зрения, сможем всю дорогу оказывать на них непосредственное влияние. А в дороге всяко может случиться. Наша рота заняла две теплушки, в одной ехал я, во второй — гвардии старший лейтенант Гру-

шин: не захотел ехать в штабном вагоне с комбатом и некоторыми офицерами полкового штаба, прибился к нам, жить без нашей роты не может. Я шучу. А всерьез: зачем лишний раз офицерам отделяться от солдат и сержантов?

Колеса стучали под деревянным полом, вагон покачивало, он скрипел, вдосталь послуживший на своем веку товарняк. За спиной у меня травили байки, хохотали.

Ей-богу, любо уезжать, любя дорога — на сердце всегда радостно, хотя и малость непокойно. Так или иначе, но уезжающим легче, чем остающимся. Я вспоминал Эрну, ее безвольную, поникшую фигуру и как она глядела не отрываясь, словно никого не существовало для нее в тот миг, кроме меня. А для меня в тот миг существовала и она, и необходимость спешно одеться, и моя рота, и мои дела, которые предстояли после тревоги. Наверно, она все же любила меня. А я? Вряд ли я любил по-настоящему. Вот и сейчас Эрна воспринимается уже расплывчато, отдаленно, моя растерянность и расстроенность при прощании кажутся шалостью нервишек, не больше.

Конечно, мне жаль покидать милую, ласковую и покорную Эрну, но Германию покидать — не жаль. Черт с ней, с Германией, откуда на нас покатилась война и куда мы обратно отогнали войну. Мы пришли сюда по необходимости. И кто-то из нас по необходимости же останется в Германии на столько, на сколько ему прикажут. А кто-то возвратится на родину, кому повезет.

Мне повезло. Как сладко екнуло в груди, когда паровоз дал гудок, эшелон дернулся, звякнули буфера и перрон с генералами сдвинулся, поплыл назад! Это было здорово — поезд убыстрял ход, генералы отдавали нам честь, мы им махали пилотками, кричали «ура», ветерок залетал в теплушку. То, что эшелоны провожали комкор и комдив, было отлично. Для меня генералы, повторяю, это люди, несравнимые с прочими смертными от рядовых до полковников, это качественный скачок. Хотя, естественно, генералы выходят из полковников. Как бы там ни было, генералитет глубоко уважаю, верю в него и считаю неспособным ошибиться. И даже история с Власовым не поколебала моего убеждения. Он, может, единственный мерзавец из всех советских генералов, по нему ли судить об остальных? А пожалуй, можно судить: один предатель и сотни верных, знающих, талантливых генералов. Иначе говоря, исключение из правил. Исключение, подтверждающее общее правило.

Нас провожал генерал-лейтенант, и я сделал вывод: перебрасывается весь корпус, не одна наша дивизия. Возможно, вся армия перебрасывается? Куда едем? Уже надоело гадать. Приедем — увидим. Побачим, как сказал слепой.

Ветер ерошил волосы, залезал за ворот гимнастерки, приятно холодил щеку. Распогодилось. Блеснул пруд, в котором купались бойцы-железнодорожники. Они ныряли, плескались, орали нам что-то вслед. Эшелон пробежал сбоку взорванной водокачки, сбоку поселка, на его руинах копошились немки, старые и молодые. Они не подняли голов, понурые, вялые, как будто невыспавшиеся. Не желают с нами попрощаться? Да и мы не желаем. Между прочим, я с фрау Гарниц не попрощался. Не оттого, что не хотел, просто хозяйка спала, не будить же ее. Зато с Эрной попрощался. Аж озноб заколотил.

Колеса погромыхивали на стыках, состав извивался, и тогда были видны теплушки спереди и сзади — везде раскрыты двери, солдаты сгрудились у кругляков. Паровоз усердно дымил, семафоры вскидывали руки, беспрепятственно пропускали эшелон, словно Германия стремилась поскорей вытолкать его из себя.

Проехали пересечение железной дороги и шоссе, на шоссе стояла регулировщица — курносая, пилотка на макушке, на погонах ефрейторская лычка, выгоревшая гимнастерка с медалью «За боевые заслуги» над кармашком облегает высокую грудь, из брезентовых сапожек выпирают крепкие, ядерные икры. Вокруг меня закричали:

— Товарищ ефрейтор, разрешите обратиться? Предлагаю законный брак!

— Девонька, айда с нами! С нами, с казаками!

— Ах ты, ягодка-малинка, вкусна, должно быть!

— До свиданья, лапочка! Не задерживайся в Неметчине!

Девушка не удостоила кричавших вниманием, она невозмутимо взмахивала своими флажками, пропуская колонну «студебеккеров». Я сказал:

— Ребята, что вы так набросились на бедную деваху? Неудобно.

— Ништо, товарищ лейтенант,— ответил за всех Драчев.— Пушай привыкает женский пол. Повозвращаемся до дому, штурмом будем брать. Как город-крепость Кенигсберг!

Солдаты захохотали. А старшина Колбаковский свернул:

— Штурмом не потребуется. Добровольно будут падать к нашим стопам!

Глянь-ка, старый служака тоже в игривость впал. Глазки сощурились, масляные. Резвятся ребята. И разве осудишь их?

В голубом небе кружил самолет, в солнечных лучах серебрился оперением. Текуче сверкали рельсы. Паровозик пыхтел, изредка по неведомой нам причине гукал. Однопутка раздвоилась, теперь параллельно шел второй путь — рельсы были еще в ржавчине, ненаезженные, щебенка насыпи чистенькая.

Толпа у березового кругляка рассосалась. Я не уходил, всматривался в даль, в дымчато синевший горизонт и думал: люди едут до дому, к родным, а где мой дом, куда и к кому мне ехать? И получалось: некуда, не к кому. И получалось: мое пристанище — это траншея, землянка, теплушка, госпитальная палата, казарма, мои близкие — это парни и дядьки в военной робе. Вот они разошлись, и я остался один. Скверно быть одиноким. Но пока они поблизости от меня, живые, и пока я помню их, павших, я не буду одиноким. Не буду!

Навстречу прогремел эшелон из теплушек и платформ наподобие нашего, однако порожний, обдал струей ветра и пыли. Немного погода — еще встречный эшелон порожняком. За нашим братом? Вызвать из Германии?

Кому-то также повезет: вскоре увидит родину. А когда-то мы мечтали дойти до Германии. Дошли поздней осенью сорок четвертого. Не все. Много моих товарищей пало по пути сюда — в Подмоскowie, на калининской, смоленской и белорусской земле, в Литве и Польше. А сколько полегло здесь, на Неметчине? Про то знают тесные братские могилы.

Наш батальон вступил в Пруссию ночью, форсировав пограничную реку Шешупу. Она была неглубокой, чернела посреди заснеженного подлеска. Обламывая ледок у берегов и поминая добром саперов, разминировавших надежный проход, мы вброд перешли Шешупу. На немецком берегу бросились обниматься, целоваться, подкидывать ушанки. Хватанули спирта по такому поводу. Согрелись не спиртом — боем: немцы сопротивлялись ожесточенно, то и дело переходя в контратаки. Из-за фольварка садила тяжелая артиллерия, скрипели «ванюши»; в лесу урчали «фердинанды» и «пантеры». К рассвету мы про-

двинулись на километр, перед фольварком стали окапываться. Прусский пейзаж похож на приграничный литовский: холмы, перелески, аккуратные ельники, подстриженный кустарник, хутора. Вот только помещичьих фольварков, внушительно-роскошных, в Литве не было. Этот фольварк горел, от пожара таял снег и вспыхивал пух, выпущенный из распоротых перин; на перинах лежат и ими же укрываются немцы, как узналось впоследствии. К полудню гитлеровцы потеснили батальон, чуть не сбросили в Шешупу, но саперы навели понтонный мост, переправились наши танки, и мы устояли, следом за ними ворвались в фольварк. И тут фаустники из-за углов стали поджигать «тридцатьчетверки». Было горько видеть, как гибнут наши люди в Германии, — прошли от Москвы, Сталинграда, Курска, чтобы найти здесь погибель.

Еще нигде фашисты не дрались с таким упорством, как в Германии. До последнего снаряда, до последнего патрона. И столь же упорно дрались власовцы: у них не было выбора, плена боялись не меньше смерти. Вот так: бывшие советские, одеты в немецкое, стреляли в своих. Иуды. И главный иуда — генерал Власов. Сдавший гитлеровцам Вторую ударную армию под Волховом. Организовавший для них РОА — Русскую освободительную армию. С ее-то подразделениями мы и сталкивались в Белоруссии, в Польше, за Шешупой. И пощады от нас власовцы не получали.

Щадить изменников, убивавших из немецкого оружия наших людей? Нет уж, увольте от подобных слюней. Война приучила к жестокости, к беспощадности. Отвыкать от них будет не просто. Да и не во всем нужно отвыкать, видимо.

Немцы дрались за свою землю, власовцы — за свои продажные шкуры. Враг есть враг, но предатель хуже врага. Для меня власовцы были хуже гитлеровцев. Помнится, захватили за Олендорфом власовца — детина лет тридцати, звероватый, обросший рыжей щетиной, нарукавную нашивку «РОА» успел сорвать. Спрашивают его: «Русский?» Молчок, затравленно, по-волчьи озирается. Взятый в плен вместе с ним немец-фельдфебель говорит: «Русский. Власовский солдат». И мой солдат-автоматчик, который пленил власовца, сгоряча отвел его за сарай и расстрелял. Я узнал об этом позже, когда автоматчика начали тягать к военному следователю. Налицо был самосуд, и мне стоило порядочных хлопот отстоять солдата от трибунала, благо война заканчивалась. Понятно, лучше бы предателя расстрелять по приговору трибунала, но коль так обернулось — что же, затаскать нашего солдата по штрафным ротам? За кого? А боец, между прочим, прошел от Волги до Шешупы, трижды ранен, и каратели-полицай сожгли всю его семью под Витебском.

У нас, в армии, Власова ненавидели люто. Особисты все выискивали, нет ли сочувствующих ему. Комроты-шесть Власова, однофамильца, вызывали в Смерш: не родственник ли генералу-предателю? Бред! О каком сочувствии можно было говорить? Хотя бдительность нужна, признаю.

Я не хотел думать о Германии, о немцах, о власовцах — и думал. Про Власова мне вот что рассказали. Был в моем взводе пулеметчик, смелый, разотчаянный хлопец, меткий стрелок и любитель поговорить. В сорок втором он находился на Волховском фронте, выходил из окружения и вышел вместе с немногими. Он-то и рассказывал: когда немцы окружили Ударную армию, расчленили ее и начали по частям уничтожать на болотах, Власов находился в лесной избушке. Гитлеровцы окружили ее. Власов вышел и сказал кто он и добавил, что сдается в плен. И еще добавил: чтоб не было свидетелей этого, прошу

расстрелять мое окружение. И немцы расстреляли автоматчиков из личной охраны Власова и медсестру, его любовницу. Таков этот человек, если его можно назвать человеком. Интересно, где он? В Берлине? Пойман ли? Если да, то петли ему не миновать. А меткий пулеметчик, бесстрашный говорун погиб при форсировании Шешупы, пуля угодила в переносье, малость не дотянул до победы.

Во власовцы подавались уголовники, бывшее кулачье, дезертиры, военнопленные из лагерей, всякие обиженные на Советскую власть. Публика пестрая, у которой общим было — безвыходность положения после того, как надели немецкий френч. А вот наши не формировали никаких частей из немецких военнопленных. То ли не доверяли им, то ли еще почему. Хотя я видал на фронте немцев, одетых в нашу воинскую робу, без знаков различия: агитаторы на радиомашине, были и переводчики. Антифашисты. Но мало таких. Почти весь народ был околпачен Гитлером. А еще говорят, что нельзя целый народ обмануть. Можно! Трушин утверждает, что я загибаю. Черта лысого — загибаю.

Что будет с Германией? Пусть об этом голова у самих немцев болит. Мне ее ни капли не жаль, скорее наоборот. Что заслужила, то и получит. Жаль таких безвинных, как Эрн. И вообще, конечно, женщины и дети не должны страдать. Да что там! Батальонные повара раздавали суп немецким обывателям, военные коменданты обеспечивали их хлебом, топливом, медикаментами. Русская сердобольность? Или слюнтяйство? Но я же говорю: женщины и дети ни при чем.

Надо было бы думать о другом. О чем? Не знаю. Но — о другом. Эшелон замедлил ход, остановился в поле. Солдаты собрались было спрыгивать на землю, но он опять стронулся, пошел, набирая скорость. Я продолжал стоять, опершись на кругляк, и глядел на прусский пейзаж: близкий план мелькал, дальний медленно разворачивался. Мысли исчезли, голова словно пустая. Так и нужно — ни о чем не думать. Башка отдохнет.

Окликнул старшина Колбаковский:

— Товарищ лейтенант, хватит стоять, в ногах правды нету. Давайте к нам на нары!

Гулко отозвался колесам небольшой железный мост над низавшей петли речкой — молотцы ремонтники, восстановили. Речка была зеленая, в камышах и текла к лесу, над которым вставала радуга. Паровозный дым разрывался, лохматился, стлался вдоль эшелона, завоняло гарью. Я прикрыл дверь, оставив щель, и подошел к нарам. Они были двухъярусные, справа и слева, посреди теплушки — топорной работы стол, противоположная дверь наглухо закрыта, там устроена пирамида для оружия. Вагон старый, зашарпанный, пол выщерблен, нары пообтертые, стояки лоснятся — теплушка послужила на своем веку, сколько перевезено нашего брата?

Нары укрыты плащ-палатками и трофейными одеялами, внизу — разбросанное сено. Старшина Колбаковский организовал, то есть спер, тюк прессованного сена в хоззвезде у ездовых. Ловкач. Я пощупал и обнаружил: там, где мне обитать, на втором этаже, возле окошка, сена сверхизобильно, в других местах скудно. Я раскидал сено, восстановил справедливость. Колбаковский с досадой сказал:

— Товарищ лейтенант, вы же командир роты, и вам положено...

— Ничего, старшина, — сказал я, — ничего. Так будет правильной.

Колбаковский крикнул, отвернулся. Дуешься? Подуйся. Ловчи, да знай меру.

Я снял сапоги и залез на свое место, лег, закинув руки под голову. Справа — вагонная стенка с оконцем, свет падал наискось, в нем толклись пылинки. Слева — резиденция старшины, еще левее лежит

сержант Симоненко, парторг. Начальственный закуток. Да, а все-таки восстановление попорченной справедливости было демонстративным, мелким и отчасти неумным. Как-то надо было иначе проделать мне это, с сеном.

А пахло оно, сенцо, тонко и грустно, как скирда на лугу. Мне виделась эта скирда, за ней кобылица с жеребенком, оба тонконогие, в чулках, на лбу звездочка. Не представляю, видел ли когда-нибудь в прошлом скирду, кобылицу и жеребенка или вообразил их сейчас, но они были как взаправдашние. Дать бы им сенца, на котором валяюсь.

Старшина выразительно покашливал, отвернувшись. Сержант Симоненко почивал, подтянув колени к подбородку. Командиры отделений резались в подкидного дурачка. На нижних нарах высвистывали «По кирпичикам и по камушкам растащили мы этот завод», ссорились вполголоса и пробовали лады аккордеона; немецкий аккордеон — собственность старшины Колбаковского, поскольку же он играть не умеет, то музыкальным инструментом временно пользуется ефрейтор Свиридов; старшина строжайше предупреждал: «Осторожней, не сломай!» — Свиридов небрежно отвечивал: «Что я, первый год замужем? Этих аккордеонов перебивало в моих руках несчетное количество!» Но, судя по тому, как неуверенно и неумело обращается ефрейтор с инкрустированным сокровищем, как фальшивит, напрашивается вывод: вряд ли вообще бывал замужем. Репертуар у Свиридова своеобразный: сплошь танго — сладчайшая музыка, любовь, встречи, разлуки, душераздирающие страдания.

Снова прогромыхал встречный, снова на минуту остановились и тронулись. Вагон качался, на нарах жестко трясло, колесный стук отдавался в висках. Так-так-так — перестукивались колеса, и это напоминало короткие автоматные очереди. Я закрыл глаза. Темно. Так-так-так — и все звуки в теплушке (кашель, говор, аккордеонные перебивы) померкли, словно отодвинулись за стены.

Темно, потому что ночь. Идет ночной бой, непрерывно стучат автоматы. Давно я не попадал в такие переплеты: метет метель, ни зги не видать, справа немцы и слева, связи с батальоном нет, в тылу, похоже, также чешут «шмайссеры». Деремся чуть ли не в окружении — где и когда? Под Кенигсбергом, в январе сорок пятого! Увы, так оно и есть: в ночь на 27 января немцы рассекли батальонные порядки, обошли нашу роту, и вот уже третий час мы ведем тяжелый бой. Что будет дальше, откуда подойдут свои? Или нам надо отступить? Куда? Никто ничего не знает, и интеллигентный капитан ругается в бога и мать, и рота бьется насмерть на опушке заваленного снегом леса. Потом выяснится: пробивавшийся из окружения гитлеровский полк ударил по дивизионным и полковым тылам, разгромил медсанбат и санроту, после ударил по батальонным тылам и нам, стрелковым ротам, в спину. А пока слепит метель, рыхлый снег садится на разгоряченные лица, трещат автоматы, рвутся гранаты, стонут раненые.

К утру комдив подбросил резервы, вражеский полк был зажат в кольцо. И утром же на поляне, под елью, были найдены наш комбат Первушин и телефонистка Николаева. Я, выдавший виды, и то содрогнулся: лица исколоты тесаками, в кровоподтеках, глаза выколоты, носы отрезаны, на лбу у Первушина вырезана пятиконечная звезда, между оголенных ног Николаевой загнан осиновый кол, оба трупа полусожжены. Попавшие в плен гитлеровцы на допросе показали: капитана Первушина и Веру Николаеву захватили ранеными, пытали, а затем пристрелили, облив бензином, подожгли. Я не отхо-

дил от страшного костра, как пригвожденный. Комбат и телефонистка любили друг друга, их и смерть не разлучила. Это он, капитан Первушин, укорял меня богатым воображением, но у меня ни за что не хватило бы воображения представить, как мученически закончится его жизнь. А нынешний наш комбат был тогда старшим адъютантом батальона, он стоял рядом со мной, закусив губу так, что из нее вытекла капля крови.

Это зверство было чудовишно и противоестественно для нормального человека. Что за выродком надо быть, чтобы сотворить такое с людьми? Каким садистом надо стать, чтобы так изуверски надругаться над беззащитной женщиной? Над могилой капитана Первушина и Веры Николаевой — их похоронили вместе — мы поклялись отомстить фашистам в бою. По-иному мстить не умели. И не желали.

Алексей Первушин и Вера Николаева зарыты в немецкую землю. Как и многие мои товарищи по оружию. Каково им будет лежаться в немецкой земле, когда мы уедем отсюда? Будто наяву вижу Алексея и Веру: он плечистый, синеглазый, русоволосый кудряш, она тоненькая, хрупкая, с мальчишеской стрижкой и тоже с синими глазами, он был неулыбчив, она хохотушка. Их породнила война. И схоронила их война.

— Товарищ лейтенант? — Интонация отчего-то вопросительная.

Я разлепил веки, и солнечный луч резанул по зрачкам. Я прикрылся рукой.

— Товарищ лейтенант? Скоро большая станция, обедать будем. Перед обедом положено пропустить сто грамм. У меня фляжка... Разрешите, налью?

Старшина Колбаковский. Стараются говорить шепотом, но тенорку тесно, он рвет шепот в клочья. Та-ак. Следовательно, старшина перестал дуться, отмяк. Быстренько. Не злопамятный он, добрый? Или прикидывается таковым? А выпить в самый раз, выпьешь — и от воспоминаний станет не так муторно.

— Налейте, старшина. Закусить есть?

— Конфетка.

— Давайте. Благодарю.

Колбаковский сперва подает мне фруктовую «подушечку», а после, покосившись по сторонам, незаметно плескает в пластмассовый стаканчик из фляги. Я уже не думаю о справедливости — надо бы фляжку разлить на всех, — ибо это лишено смысла: пол-литра на сорок человек. Опрокидываю терпкую жидкость в пасть, проглатываю. Внутри все обжигает. Отдышавшись, заедаю конфетой.

Старшина выпивает свою порцию, на звук определяет, сколько еще вина во фляге, прячет ее в вещмешок. Да, это какое-то вино из трофейных, крепкое, дерет. Ну да нам не привыкать. На фронте нельзя было не пить. Легче все переносилось. Но если сначала я пил, чтобы подольше туманило разум, то затем стал пить, желая поскорей сбросить хмель, по принципу: быстрее выпьешь, быстрее протрезвеешь. Это называется переводить добро, однако мне действительно, когда пью, хочется поскорей приобрести ясность разума. Причина — остерегался наколбасить. А было, колбасил: стрелял из пистолета бог знает куда, схватил за грудки батальонного фельдшера — чуть до рукоприкладства не дошло. Первушину в пьяном кураже ляпнул: «У нас нету незаменимых, я не то что ротой — батальоном смогу командовать!» Капитан тогда сказал: «Глушков, мы с вами в неравных условиях: вы выпили, я же трезвый». — «Так давайте уравниемся! Угощу, спиртик есть!» — хохотнул я. «Завтра уравниемся, когда проснитесь. Завтра и побеседуем».

Ох, и пропесочил он меня, проспавшегося, до сих пор стыдно! Я краснел, бледнел, меня кидало в жар и в холод. А капитан в заключение сказал: «Вы не умеете пить, не умеете лицемерить. Что я имею в виду? Опытный выпивоха хлебнет как следует, но держится, будто трезв, стеклышко! То есть мастерски лицемерит. У вас же, Глушков, все наружу... Я бы посоветовал: бросьте выпивать!»

Выпивки я не бросил, но стал осмотрительнее, потому и хотел, чтоб побыстрее прояснялся ум. А капитан Первушин не пил, не курил, не играл в карты, не любил женщин — кроме Веры Николаевой. Ну уж Веру любил здорово. В январе сорок пятого ему предложили ехать в Москву, готовиться к поступлению в Академию имени Фрунзе. Не мог без Веры, отказался. Уехал комбат-три...

Внизу галдели картежники:

— Что подбрасываешь, лопух? Виней у него нема, а ты кидаешь крести.

— Сам лопух! С чего зашел? С вальта. Ты и есть лопух!

На противоположных нарах Свиридов сводил и разводил меха аккордеона, с чувством напевал:

Ночью, ночью в знойной Аргентине
Под звуки танго шепнула: «Я люблю тебя».
Ночью, ночью в знойной Аргентине!
О, Аргентину я не забуду никогда...

Угу. Знойная Аргентина. Аккордеон марки «Поэма», с инкрустацией. Танго. Сладость до тошноты. А вино было терпкое, горькое. Распивал с подчиненным, лейтенант Глушков? Да не будь ты ханжой! Ну, распивал. Главное — ум не пропить.

Старшина Колбаковский не соврал: остановка на большой станции, дежурные потопали к вагону с кухнями. Солдаты высыпали из теплушек. Я спрыгнул за ними. С удовольствием ощутил под подошвами устойчивую, надежную твердь. Расправил плечи, потянулся. Из соседней теплушки спустился гвардии старший лейтенант Трушин, заспанный, зевающий. Я спросил:

— Как дела, комиссар?

— Дрыхнем,— ответил Трушин, прикрывая зевок ладонью.— Отсыпаемся.

— Нарушений нет?

— Покамест нормально. Вот пойдет Расея, узловые станции...

— Не каркай!

— Я не каркаю, а заостряю внимание.— Он ухмыльнулся, обнажая щербатинку, принялся.— Шнапс употреблял?

— Вино. Старшина угостил.

— А комиссар должен быть тверезый? За всеми за вами доглядать? — Трушин говорил так, что я не понимал, всерьез он или шутит.— Ладно. Только чтоб в норме было. Не погоришь?

— Не волнуйся,— сказал я и зашагал вдоль эшелона.

Подле теплушек и платформ толпились солдаты; наигрывала гармошка; шутки, смех, песни. Из пульманов с лошадьми доносилось ржание. На платформах — пушки, зарядные ящики, оружейные передки, повозки с поставленными торчком дышлами, спицы привязаны проволокой к бортам, под колесами упорные клинья. На отдельной платформе — редакционный автобус, закрепленный растяжками; в автобусе бубнил радиоприемник, офицеры «дивизионки», с которыми я знаком, махали мне, приглашали зайти. Я сказал, что как-нибудь в следующий раз, сейчас некогда, видимо, будем отправляться.

На соседних путях еще два эшелона — наш третий батальон и чужой, с самоходными установками; грозные, безотказные «СУ» смиренно отдыхали на платформах — неподвижные, с зачехленными стволами. Зато самоходчики — в комбинезонах и без шлемов — плясали на перроне, собрав тесный круг и откалывая немислимые коленица.

Сержант с закатанными рукавами синего комбинезона, с волнистым, вроде бы завитым чубом, прямо-таки изламывавшийся в цыганочке, на секунду замер, глянул на меня и заорал:

— Дуй к нам, лейтенант! Дадим жизни, пехота? Ай, жги, жги, жги!

Я улыбнулся, кивнул, но прошествовал мимо, подумав: «Разболтанный сержант, как разговаривает с офицером... Да они, самоходчики, все подразболтанные, пехоту ни в грош не ставят. А что они без пехоты, царицы полей?»

Вокзал был полуразрушен, руины разобраны или прикрыты фанерными щитами. На фронтоне сохранено название станции, исполненное готической вязью, выше — русское название. В тупике голосил маневровый паровоз, ему отзывался паровоз, разводивший пары на путях. У водогрейки топтался патруль с красными повязками, бдительно следивший за порядком. Не побузишь.

Озабоченный, прохромал с палочкой наш комбат — начальник эшелона, — я отдал ему честь, он ответно козырнул, проговорил на ходу:

— Через десять минут отправляемся.

— Ясно, товарищ капитан!

Командир батальона прихрамывал — рана так себе, в медсанбат не пожелал, долечивался в строю. Со спины он красавец мужчина, фигура рюмочкой — широченные плечи, узкие бедра, но с лица ошарашивает непривыкших: обгорело, кожа стянута рубцами, это еще в сорок втором, на Дону, в танковом десанте сподобился, снарядом проломило борт «тридцатьчетверки».

Я вернулся к теплушке, помог затащить термосы. К обеду приступили, как только эшелон миновал городок. Половником орудовал лично старшина Колбаковский. Обед вкусный: щи с мясом, гречневая каша на сале, чаю — от пуза, целый термос, вместо сахара — фруктовая смесь, «подушечки».

Перед едой старшина позвал меня наверх, в закуток, налил стаканчик. Я не отказывался, свербило клюнуть: до перебора было далековато. Я выпил, слез к столу, где в котелках дымились наваристые щи, и вспомнил, как Алексей Первушин учил меня уму-разуму: «Бросьте пить, Глушков. Вы молоды-зелены...» А был покойный старше, чем я, всего-то на пару лет.

Эрна говорила мне, что я выгляжу как мальчишка, и это оттого, что я, наверное, легкомыслен: легкомысленные долго не взрослеют, не старятся. Эрна при этом смеялась, видимо — шутила. Но другие говорили мне подобное на полном серьезе. Что, я и впрямь легкого нрава человек?

7

Отобедав, забрался на нары. Старшина Колбаковский одобрил:

— Научно, товарищ лейтенант! Опосля обеда по закону Архимеда полагается вздремнуть!

Улегся рядом со мной, отдуваясь, как паровоз, минуту погода захрапел; брюшко под гимнастеркой вздымалось и опадало. Было жарко — крыша вагона нагрелась. Я растелешился до трусиков, прикрылся пикейным одеялом; Драчев подобрал его где-то в Ширвиндте, те-

перь вот — по июньской погодке — употребляю. Под меня ординарец подстелил простынку, в головах — пуховая подушка с наволочкой — честь по чести, комфорт. Крыша железная, дождь и град не страшны. Как в санатории или в госпитале — валяйся, ешь, спи, толстей. После спанья в грязи и на снегу, под открытым небом, когда на одну полу шинели лег, вторую накрылся, эта житуха — помирать не надо.

Почти как в доме у Эрны. Позади осталась она, Эрна, и все, что с ней было, позади. Все это ушедшее, словно покрытое пленкой забвения. А ведь не прошло еще и суток! Фрау же Гарниц, матери Эрны, будто и вовсе не существовало на белом свете, вернее — существовала где-то на краю света в незапамятные времена. Неужели с такой скоростью эшелон удаляется от недавнего прошлого и оно становится невыразимо давним? Это потому, что эшелон, въезжая в настоящее, приближается к будущему? Какое оно, будущее? Куда нас везут?

Рассуждаю об эшелоне, но разумею: эти смещения во времени и в чувствах происходят во мне самом. А может, я нарочно тороплю время? Спешу распрощаться со старым и встретиться с новым? Это объяснимо, так как я живу уже в мире, а не на войне. Что-то должно перемениться во мне и окружающих меня людях. Или уже меняется, да я не замечаю? Как бы это заметить?

Не дремалось. Я присел у оконца. Мельтешат телеграфные столбы, верхушки елей, на столбах и на верхушках — растрепанные, злобные вороны, которых сдувает рожденный движением ветер; клювы раскрыты, вороны шипят либо каркают, за стуком колес не услышать. Солнце перешло на противоположную сторону, тень от эшелона скользит по полотну сломанная, скособоченная.

На табуретке у двери дневальный по вагону глазеет на дорогу, насвистывает «Кирпичики», значит, дневальный свистун, а я-то гадал: кто это? За столом солдаты споласкивают котелки, вяжут разговор. Он послеобеденный, благодушный.

— До войны я выгонял две тыщи монет в месяц, стахановец.

— Стакановец?

— Не дури, я всуерьез: две тыщи. Хватало. Да жинка прирабатывала: где простирнет, где подглядит...

— Эт-то ты здраво рассуждаешь: две тыщи монет до войны на семью за глаза хватало. Эт-то нынче жизнь вздорожала...

— Все одно к довоенным ценам возвернемся...

— Свояк по инвалидности демобилизовался в сорок четвертом, пишет из Саратова: Гришка, востри лыжи на Волгу, рыбы завались и жизнедеятельность налаживается...

— Наладится! И превзойдет довоенную! Между нами, девочка-ми: я рыбак, рыбалил на Каспии, в Дербенте...

— Какие ж мы девочки, сдурел?

— Да это прибаска, так шуткуют мужики: между нами, девочками... А рыбка на Каспии — обалдеешь: севрюга, белуга, осетр, мамонька родная...

— Какая ж то рыба — мамонька родная?

— Тю на тебя! Ему об деле, а он зубоскалится...

Постепенно разговор приобретает гастрономический оттенок. Собеседники цокают языками, причмокивают губами, шелкают пальцами и вообще всячески подчеркивают неземную вкусность того, о чем говорится. Я прислушиваюсь со смешанным чувством скуки и досады. Вечно этот треп о жратве!

— На Каспии краснюка — завались. Тройную уху варишь, само собой, жарить, вялишь, коптишь, солишь — чего не вытворяешь с краснюком! А рыбка на рожне? А икорка — красная да черная?

— Вареные яйца уважаю. Бывальча, матка сварит десяток вкру-

тую — умну в присест. Она смеется: «Заглатываешь, как удав кроликов...»

О рыбе распространяется Логачев, о яйцах — Головастик.

— Пилав! Лучше рыбы-яйца — пилав! Пилав — это плов, — горячится Рахматуллаев, узбек, горячится так, словно над пилавом нависла смертельная опасность. — У нас в кишлаке пилав готовил чайханщик дядя Рашид... М-м! Персик!

— Не, рыба — это продукт...

— Я, например, считаю: лучшая рыба — это колбаса, хо-хо! — Свиридов — раскатистый хохот, к месту и не к месту «например», так он произносит слово «например».

— Не-ет, дорогие граждане, что ни доказуй, а бастурма побеждает! — Это Погосян, солдат довольно молчаливый, но тут разговорился. — Слыхали про бастурму? Молчите? Эх вы... Бастурма — вяленое мясо в красном перце. Огонь! Пожар! Заливаешь разданом, вино такое...

— Нет! Пилав — вот это персик!

— Однополчане! Товарищи по оружию! — Свиридовский бас покрывает всех. — Позвольте устроить, как в ресторане: вы про кушанья, а я организую музыку! Внимание! Танго «Орхидеи в лунном свете...».

Разумеется, Свиридов произносит — орхидеи. Аккордеон выплескивает сиропную сладость. Говорильщики понижают тон, но треп о жратве продолжается. И вдруг я приподымаюсь, кричу вниз:

— Ребята, сколько можно об одном и том же? Не надоело?

Водворяется неловкое молчание. Я чувствую, что не нужно бы так поступать, но не в состоянии удержаться, еще кричу:

— Что, нет других тем? Черт подери, вы сознаете, что остались живы?

За всех отвечает Свиридов:

— Сознаем. Потому живой — он про живое и толкует.

— Но нельзя же все про еду! Еще Остап Бендер говорил: не давайте из еды культа!

— А кто он?

— Некий неглупый человек, — говорю и умолкаю. Начал с крика, завершил бормотаньем. И вообще не то и не так говорил. С чего сорвался? Переложил? Этим не пахнет. Так чего же хочу от себя и от людей? Будто вспомнив о чем-то, поспешно присовокупляю: — Ценить надо, что остались живы.

— Мы ценим, товарищ лейтенант. — Свиридов разговаривает с достоинством, мне чудится, и не без вызова. — Может, мы своей говорильней и музыкой мешаем вам уснуть?

— Не мешааете.

— Разрешите играть, товарищ лейтенант:

— Играй, играй.

Ложусь на бок, лицом к окошку. Виден кусок безоблачного неба. Аж скучно — до того безоблачное. И голубое, как на пасхальных открытках, которых множество в любом бюргерском доме. Свиридов, подыгрывая на аккордеоне, с придыханием, с выпендриванием поет:

На карнавале музыка и танцы,
На карнавале смех и суета.
Под звуки джаза в черной полумаске
Мелькнула ты, как юная мечта.
И я просил, чтоб маску ты сорвала,
Но ты прошла, секрета не раскрыв,
И на мольбу мою ты отвечала
Под грустный, медленный мотив:
«Сердиться не надо — ведь мы встретились случайно,
Сердиться не надо — я исчезну, как мечта.

Сердиться не надо — как хорошо, что это тайна,
Сердиться не надо — в этой тайне красота!»

Я крайне недоволен собой. Встрял в солдатский разговор резко, необдуманно, короче — глупо. Не умею владеть эмоциями. Взрываюсь, злюсь на людей и на себя. Надо быть доброжелательнее, благодушнее, что ли. А тут опять подмывает что-нибудь крикнуть, оборвать Свиридова. Сдерживаюсь.

После проигрыша Свиридов ведет свое танго дальше:

Но я настойчив был в тени аллеи,
Ты маску для меня все же сняла.
И в эту ночь была без сожаленья
В своей любви прекрасна и мила.
Теперь в письме меня ты упрекаешь,
Что избегаю будто я тебя.
Свои слова ты быстро забываешь,
Позволь, теперь спою тебе и я:
«Сердиться не надо — ведь мы встретились случайно,
Сердиться не надо — я исчезну, как мечта.
Сердиться не надо — как хорошо, что это тайна,
Сердиться не надо — в этой тайне красота!»

Двукратно сфальшивив под конец, Свиридов сводит меха аккордеона, говорит:

— Исполнял танго «Сердиться не надо...». До войны на танцплощадках повально гремело...

Головастиков отзывается:

— Сильно! Как про любовь-то чувствительно...

Я катаю желваки. Мнится: пошлость физически коснулась меня, холодная и прилипчивая. А до войны, точно, это танго царило на танцплощадках. Пошлость всесильна, ее и война не убила. И после победы пошлость не отлипнет от нас — во всех своих проявлениях? О, проклятие! Шлю проклятие и понимаю, что это театрально, вздорно, абсолютно бесполезно, и тут же проклиная это проклятие, понимаю: и на сей раз вздор, бесполезная претенциозность.

Заснуть бы. По закону Архимеда... Мысли б не лезли в башку, успокоился бы. Хотя и во сне, бывает, думаю и разговариваю. Эрна передавала: кричу, ругаюсь, но, кроме мата, она ничего не разбирала — во сне изъяснялся по-русски. А к богу-матери немцы моментально привыкли и сами так ругались — в три этажа, по-расейски. Что-то, а это с лёта усвоили.

Вообще некоторые вопросы они не усложняли. К примеру, как фрау Гарниц относилась к тому, что происходило у меня с Эрной. Запросто относилась. Будто ничего из ряда вон выходящего. В порядке вещей. Как пить и есть. Так и дочери жить с чужим офицером. Наверное, я упрощаю все это. И опощляю. Тоже мне — борец с пошлостью.

А замначподива еще разик делал мне втык за Эрну, на Смерш намекал. Я фордыбачил: что мне Смерш? Не предугадываю, чем бы оно обернулось, если б нас не погрузили в эшелон.

Хмель выходит, голова становится пустая, как ведро: ударь палкой — задребезжит. Слава богу, ударять меня палкой по кумполу никто не собирается, и он не дребезжит. Но что-то в затылке вибрирует, словно нажимают на вмонтированные в него аккордеонные клавиши. На клавиши нажимает гвардии ефрейтор Егор Свиридов. Спасибо, не поет. Сердиться не надо... Бр-р! Не буду сердиться.

А фрау Гарниц была компанейская дама, не обремененная пред-рассудками: не прочь выпить с русским лейтенантом, пококетничать — больная, лежит на кровати! — со старшиной, ординарцем и врачом.

Повторяла: «Немцы уважают сильную власть. Был Гитлер, теперь будет Сталин. Мы, обыватели, привыкли подчиняться». Я поправлял ее: Сталина и сравнивать нельзя с Гитлером. Фрау Гарниц суетливо оправдывалась: я не сравниваю, они несравнимы, ваш Сталин лучше нашего Гитлера. Но и оправдание звучало двусмысленно, я внушал: эти имена нельзя ставить рядом. Еще суетливей фрау Гарниц уверяла, что не будет ставить их рядом,—клянется здоровьем дочери. Кстати, этим она клялась без устали.

Когда-то, судя по фотографиям, фрау Гарниц была красива. Но военные годы состарили, одурнили: в косе сивые пряди, морщины у глаз, увядшие губы. Портила ее бородавка, выросшая как раз на кончике носа, и фрау Гарниц шутила: «Не будь бородавки, я бы покорила всех русских офицеров. Как женщина, конечно!» Я улыбался, Эрна хмурилась. Вероятно, Эрна была права: уместней было хмуриться, нежели улыбаться,—в шутках фрау Гарниц был привкус сального и сусального.

Эрна больше походила на отца, чем на мать,—его фотографии под стеклом она сняла со стены при приближении советских войск. Эрна вытащила их из письменного стола, показала: отец в суконной паре об руку с невестой в белоснежном платье, отец в майке и соломенной шляпе с двухлетней Эрной на коленях, отец в форме вермахта, обер-ефрейтор, на всех снимках выражение у него было напряженно-ожидательное: что будет со мной дальше? Что было дальше — сгинул в котле под Сталинградом.

У меня не было фотокарточки моей матери. Я рассказал Эрне, как выглядела мать, сам не очень зримо представляя ее. Как будто со смертью черты матери поистерлись в моей памяти. Когда была жива, представлял четко. А отца у меня давным-давно нет, мать говорила, что он умер еще до моего рождения. У Эрны есть мать, а я круглый сирота.

К чему я об этом? К тому, что Эрна в зыбком, забывающемся далеке, но вот думается о ней. Думается об Эрне, которая двухлетней девочкой сидела на коленях у колбасника Иоганна Гарница, обер-ефрейтора гитлеровской армии. Которая в восемнадцать лет была близка с русским лейтенантом. И которая осталась позади, перед неизвестностью. Впрочем, и перед тем русским лейтенантом — неизвестность. Это их и роднит крепче всего.

Было так: первый разорвавшийся снаряд меня испугал, второй успокоил — живой я, не убило. Так, в сущности, я ощутил начало войны.

Эшелон притормаживал. Я проворно оделся, слез по лесенке, когда он остановился. Впереди серели постройки станции, куда нас покуда не принимали. Канадские ели притулились к фольварку, к пруду. Силовые башни, водонапорные башни. Длинные сараи. Все целехонькое, словно война нарочно обошла стороной.

Солдаты на третьей скорости жали к кустарнику справить нужду. Менее стыдливые ограничивались тем, что отходили на пяток шагов от полотна, в ложбинку. Паровоз загудел. Из кустиков как ошпаренные выскочили скромники, поддергивая и на бегу застегивая штаны.

Я шел за плетущейся теплушкой, пока все солдаты не сели. Влез, втянул лесенку. Мысленно пересчитал личный состав. Вроде никто не отстал. Ох, сколько еще предстоит этак пересчитывать в пути!

Убедившись, очевидно, что оставших нету, машинист надал, и колеса энергично застучали: тук-тук, тук-тук. Я не отходил от кругляка, с удовольствием вдыхал полевой воздух, чуть подгорченный паровозным дымком. Солнце, остывая, катилось к западу. Мы уезжали

от вечерних зорь поближе к утренним. На восток, на восток. Тук-тук, тук-тук.

Видимо, ночью проедем Литву. Хорошо бы проснуться, когда будем переезжать границу. Интересно, как проляжет путь эшелона по литовской земле. В Германию мы пришли из Литвы, теперь из Германии едем в Литву. А куда потом? Прямо в Россию или же повернем на Польшу? Военские эшелоны идут не как пассажирские поезда — нас могут и вспять повернуть, и пустить по боковой ветке, в объезд, где движение поменьше. Так или иначе, едем в Россию. Война раскручивается как бы в обратном порядке.

Здесь, в Литве, схоронили Ляховича Максима, отчество не упомянул. Добродушный, безропотный и безотказный белорус. Прибыл с маршевой ротой, после госпитального лежания округлившийся, поотвыкший от солнца, ветра и дождя и потому комнатно-бледный. Предплечье еще побаливало, и Ляхович оберегал его, по-моему, чрезмерно. Подумаешь, нежности, выписали из госпиталя — изволь быть здоровым, оберегай, не оберегай — завтра в бой. Ляхович был неряшлив: подворотничок грязный, засаленный, пилотка на ушах, пряжка ремня сползает набок, обмотки разматываются. Я жутил Ляховича за внешний вид, а он флегматично вздыхал: «Размотались? Да как им не размотаться? Разве ж то обувка? Сапоги потребны!» — «Добудь в бою у фрица». — «В бою, товарищ лейтенант, стреляют... Старшине б обеспечить кирзачами». Сперва я думал, что он трусоват, а на поверку — добрый солдат, не хуже прочих. При форсировании же Немана случилось вот что. Батальон вышел к правому берегу реки на плечах отступающего противника. Немцы переправились на левобережье, принялись рыть траншеи и огневые позиции, но прочной обороны у них еще не было. Необходимо было без задержки форсировать Неман. Правый берег пологий, левый, где немцы, покруче. На господствующих высотах они установили крупнокалиберные пулеметы и пушки, в лесу, в засадах вблизи берега выжидали танки и самоходки. Иначе говоря, преодолеть широкий, полноводный Неман было не так-то просто. Но надо! Мы собрали рыбацкие лодки, бочки, связали плоты из бревен — и в воду. Немцы накрыли переправу плотным ружейно-пулеметным и артиллерийским огнем. Разрывами вздымало водяные столбы, река кипела от осколков и пуль, окрашивалась кровью. Ну, было все, что бывает при форсировании водной преграды. Высадивший десант немцы попытались сбросить в реку, пустили танки и самоходки, пьяных автоматчиков. На плацдарме завязался ожесточенный бой. И в рукопашной я увлекся, проворонил опасность — немец навел мне в спину автомат, но Ляхович кинулся, прикрыл. У него были мать, жена, трое пацанов. Я — один как перст. Что двигало этим человеком? Похоронили Максима Ляховича на западном берегу Немана, в братской песчаной могиле, кроме него — еще тридцать человек из нашего батальона. Вот забыл его отчество и вообще не часто вспоминаю спасителя. Смогу с годами забыть? Не будет мне прощения, если смогу. Ну, а в Алитусе контузило, военфельдшер хорохорился везти в санбат, да где его, санбат, найдешь на марше? Вперед, вперед! Так я и оклемался в строю: голова почти не тряслась, почти не заикался. Шарахнуло крепенько: взрывной волной приподняло и врезало об стенку, как кости уцелели? Получилось так, что и не придумаешь: «фердинанд» бил прямой наводкой из-за каменной ограды гимназии, я перебежкой влево, и снаряд рванул там, куда я перебежал. Считаю: дешево отделался, как не изрешетило осколками — по сю пору удивляюсь. Любопытно: проедем ли Алитус? Я бы враз узнал город.

Ах ты, Ляхович, Ляхович! В дивизионной газете и в армейской писали: спасая офицера, пожертвовал собой. В том ли соль, что я офи-

цер? Человек жертвует собой, чтоб спасти человека. Каким же я должен быть, чтобы оправдать свое существование на земле? К моему стыду, не часто об этом задумываюсь. Живу как живется. А надо бы поостороже судить себя. Себя, потом людей. В этом смысле замполит Трушин прав: больше самокритичности.

Я вытащил из пачки папиросу, размял, щелкнул зажигалкой. Затянулся. Выпустил голубоватый дымок. Курение успокаивало. Высосал папиросу, закурил вторую. У меня так: то не курю, не курю, будто запомнил, что курительщик, то жгу одну за другой до одури. И вместо успокоения — возбужденность. Поэтому нужно остановиться на второй папироске.

Докурил, отбросил окурочок. Подхваченный ветром, он беспомощно завертелся в струйках песка и пыли. Подрагивали кусты жимолости и боярышника, росшие у насыпи. За шеренгой тополей промелькнул танковый парк — «тридцатьчетверки» и «КВ» стояли ровными рядами; через километр — аэродром, на летном поле «ИЛы» с распластанными крыльями, ветер надувал черно-белую «колбасу» на шесте. Промелькнул разезд — на железнодорожной будке была нарисована большая красная звезда. Низкий гул пал с высоты, придавил колесный стук: звено наших бомбардировщиков настигло эшелон и перегнало, за ним еще звено и звено. Эскадрилья за эскадрилей обгоняла эшелон. Курс — на восток, как и у нас. На восток!

Когда гул моторов стих и возродился стук колес, я услышал голос Толи Кулагина:

— Ни в жисть не позабуду плена...

Свиридов не терзал аккордеона, солдаты молчали, говорил один Кулагин:

— Робя, робя, катим по Неметчине с победой, а у меня думки про мой плен, на запевке войны попал. Чего-чего хлебнул я, робя!

Стою спиной, но вижу глаза Кулагина — серый и карий, помятое, неопределенное лицо, костлявые, сутулые плечи. Хлебнул? До сих пор помню, как он хлебнул у барановичских колхозников, самовольно уйдя на хутор с валки леса. И как он выкручивался, наврав, что белорус. А вот про то, что Кулагин был в плену, я не знал. Увы, я многого не знаю о своих бойцах. Кулагин говорил глуховато, с паузами, и, судя по тишине, ему внимали.

— Я призыва тридцать девятого, по ворошиловскому приказу. Рождения — двадцать второго года. Пацан был. Спервоначалу попал в кавалерию, из кавалерии в пехоту, в гарнизон дота. Неподалеку от Равы-Русской, на Западной Украине...

Так он мой ровесник? Никогда бы этого не подумал. Вид у него помятый, неопределенный, но меньше тридцати не дашь. Ну, если побывал в плену, то пережил немало, хлебнул, как он выразился. Мой однолётка. И я был призван в тридцать девятом, в октябре. По ворошиловскому приказу. Из института забрали.

— Доты были задуманы мощнейшие, доложу вам! Двухэтажные, поглубже в землю. Бетонные, снарядом не выкуришь. С пушками, пулеметами. Цельный взвод размещался, не считая пушкарей. Вдоль новой западной границы их было черт-те сколько. В шахматном порядке. Сила! Беда только, что к запеву войны их достроить не успели, вооружения не поставили... Когда сатана Гитлер напал на нас, он спервоначалу ударил по заставам пограничным. Рано утром двадцать второго июня наш взвод подняли по тревоге к доту. Бомбы, снаряды, пожары — светопреставление! Заняли мы дот, засели у амбразур, а на всех один «станкач» да десяток винтарей. Немцы бьются у заставы, ни в зуб ногой — не могут захватить ее, и все тут. Застава горит, немцы атакуют и откатываются, снова атакуют. Танки пустили,

окружили ее. Держатся пограничники, не сдаются. Немцы частью сил обошли заставу, рванулись вглубь. Подошли к доту, мы чесанули из «максима» и «дегтяря» — с нами был наряд с границы, на заставу не пробился, пристал к нам. Немцы лупят по доту прямой наводкой, а бетонные стены — во! Ни хрена им не дается. Дрались мы, дрались, боеприпасы — на исходе. Немецкие десантники подползли к доту. Забросали амбразуру дымовыми шашками. Выкурили нас. Вылез я на свет божий, полузадохшись, полуослепши, меня фашист как припечатает автоматом по хребту, я и скovyрнулся. Пришел в разумение, ан руки повязаны. Сообразил: в плену, хуже смерти... Ну, пригнали нас во Львов, в Цитадель, это старинная крепость на горе Вроновских. Разместили кого в подвалах бастионов, кого в загородках-клетушках из колючей проволоки на верхушке горы, заместо крыши — небо. Теснотища, друг на дружке лежали. Мерли страшенно от тифа и дизентерии, от истощения, а тесноты не убавлялось: новых пленных пригоняли. Были все мы раненые, больные, голодные доходяги. Робя, нету ничего страшней голода! На собственной шкуре испытал и доложу вам: для меня самый большой подвиг в этой войне совершили ленинградцы, это уж так... Кормили нас в лагере брюквенной похлебкой, мы пухли от голода. Какой был распорядок? А такой. Утром вахман дубарил ломиком по рельсу: бум-бум! Мы выбирались из подвалов, из клетушек-загородок. Видик: оборванные, в забуревших от крови, вонючих повязках, истощенные, заросли щетиной, опухли от глoда. Доходяги, а раненых поддерживали, пособляли ийти. Вахманы палками лупили направо и налево: «Быстрее, быстрее!» Кое-как мы доплетались до главной линии колючей проволоки, за ней — лагерная линейка. Ухватившись за проволоку, ждали. Дожидались разного. В иночасье лагерная охрана делала селекцию. То есть отбирала окончательно ослабших. Их грузили в машины и везли на расстрел ко рву. В иночасье очередной пересчет, немцы народец аккуратненький и обожали пересчитывать пленных. А в иночасье выводили на работу. Пустое брюхо надеялось. На что? Будем плестись по шоссе, а кто-нибудь из горожан кинет краюху хлеба, вареную картофелину либо кукурузный початок. Правда, колонну окружали вахманы и сторожевые овчарки, не очень-то раскидаешься. Бывало же, что в колонну бросали каменюки: «Подышайте, москали!» Этим охрана не мешала. Мы ремонтировали и прокладывали дороги. Солнце палит, жажда печет, силенок ни хрена нету, но мостим. Чуток замешкаешься — могут ухлопать. Васю-сапера так ухлопали. Ослаб он, уронил камень и сам зашатался. Подскакивает вахман — и в упор хлоп из пистоля. Васю мы похоронили прямо в дороге: выкопали яму, положили его, засыпали, сверху замостили, камнями посветлей крест выложили. А вахманам было весело! Надо вам доложить, что вахманами были и немцы и западноукраинцы из предателей, националистов. Так вот вахманы-украинцы были намного хуже немцев; украинский полицай и убил Васю-сапера. Да разве ж его одного убили ни за что ни про что? Подсчитать бы все эти жертвы... Ну, возвращались в Цитадель, получали полкотелка брюквенной баланды. А дума разъединственная: чего бы проглотить? Поверьте, в лагере лебеда и крапива под корень были съедены. Кора на липах и ясенях съедена в рост человека, докуда доставал рот. Были и ополоумевшие, которые ели трупы. Их мы называли самоедами, а комендант лагеря велел на бастионах надписать, что разрезать трупы военнопленных запрещено. Комендантом был оберст Охерналь. Оберст по-нашему — полковник...

— Знаем, — жестко сказал кто-то.

— Ну, вот и этак-то мы жили-поживали. Пехотинцы, пограничники, артиллеристы, танкисты, саперы, были и летчики, соколы... Свето-

преставление, ад, жуть. А человеками не переставали оставаться. Раненым пособляли, командиров и комиссаров не выдали, сберегли, слушались их, на предательство не шли. Сколь фашисты агитировали нас подаваться в полицаи — выкуси, гнида! А раз бабы пожаловали агитировать, потеха была. Так, значит, разворачивалось. Вахман задубарил в рельс, подвешенный у вахи, мы поплелись на лагерный плац. Видим сквозь проволоку: упитанные дамочки, расфуфыренные, в кружевах, на пару с монашками семяток к плацу. У всех крестики на груди, в руках четки, иконки, молитвенники. Подходят, останавливаются, главная монашка забирается на ящик, как на трибуну, и говорит речь: Христовы, мол, сыночки, чтобы прекратились ваши страдания, откажитесь от большевизма, попросите помилования у великого фюрера, в первую очередь из подписавших эту декларацию будут освобождены украинцы, а после и прочие национальности. И монашки с дамами начинают совать через проволоку листовки с декларацией. Ух!.. Но никто из нас не принял предательской бумажки, а один хлопец крикнул: «Я украинец, изменником не стану! Все мы приносили присягу! А вы, воронье, катитесь к бесу!» Ну, вахманы на нас с палками да собаками, бабы дали ходу и больше не заявлялись, агитаторы и пропагандисты... И еще доложу вам: думки о жратве мучили, однако наиглавнейшая думка была — как бы сбечь отсюда, к своим пробраться. А свои далеко были, ох как далеко! Но побег мы совершили, да какой!.. Наши командиры раздобыли садовые ножницы, кто-то передал их с воли тайком. Ночью мы перерезали проволоку и поползли в проход. Прижимались к земле, замирали, если на вышке загорался прожектор. Сняли двух часовых и по глинистому скосу — на улицу, стали разбегаться кто куда. Наверно, полицаи многих переловили во Львове. А я прибился к группе пограничников, с ними добежал до парка. Оттуда вдоль Стрыйского шоссе затопали в Карпаты, к партизанам... Ну, дальше неинтересно... Доложу вам так, робя: после плена меня не пустили ни «тигры», ни «юнkersы», ни атаки, ни контратаки.

— Что все-таки дальше было? — спросил тот же жесткий голос.

— Воевал в партизанском отряде, был ранен, вывезли на Большую землю, подлечили и наново в Червону Армию, под каблук старшины Колбаковского!

Попытку Кулагина свести свой не весьма веселящий рассказ к шутке не поддержали — побряхтывали, вздыхали. Я обернулся. Солдаты за столом сидели хмурые, с опущенными плечами; Свиридов клонил голову к аккордеону, катал желваки; сам рассказчик, свесившись с верхних нар, по-прежнему глуховато, без деланной шутейности, как бы удивляясь, говорил:

— Робя, а ведь до армии я был полеводом, звеньевым. В восемнадцать лет уже звеньевой...

Опять ему не откликнулись словом, угрюмые, суровые, со сведенными к переносице бровями. Рассказ Толи Кулагина сломал благодушную обстановку в вагоне, и я обрадовался этому. В глубине души я пожалел, что бесцеремонно пресек кулинарный треп ребят, что вспомнил о том, как хлебнул Кулагин на хуторе спиртного, но сожаление подминала радость: солдаты растревожены, это хорошо. Мне не по нутру благодушие, самодовольное благополучие, обволакивающий покой. Остро жалею больных, калек, сырых, обездоленных и чувствую настороженность, даже некую вражду к людям благополучным, счастливым. Противоречиво это, ибо и сам стремлюсь к счастью. Но не потому ли оно так, что на сотню несчастных — десяток счастливых? На войне это чувство настороженности и враждебности к счастливым как будто подмеркло, но сейчас, после войны, уже в пути, вновь ожило. А может, я неуравновешенный, ненормальный субъект?

Проснулся старшина Колбаковский, чихнул, промогласно спросил:

— В Москву еще не прибыли?

— Никак нет, товарищ старшина! — отчеканил дневальный по вагону.

— Почему нету остановки? Мне кой-куда надобно.

— Остановимся! Будет сполнено, товарищ старшина!

Колбаковский дурачился, и дневальный озоровал. Но словно специально эшелон тормознул, пошел медленнее: впереди городок; на узловую станцию так и въехали медленно, торжественно. Она была забита воинскими эшелонами.

Я прохаживался вдоль вагона, искал взглядом Трушина. Вместо него увидел оперативного дежурного по эшелону, трусившего от теплушки к теплушке. Подбежал и к нашей, запыхавшись, проговорил:

— Лейтенант Глушков, срочно к начальнику эшелона, в штабной вагон!

— Что стряслось?

— Там узнаете! Всех офицеров собирают!

Он затрусил дальше, придерживая кобуру с пистолетом и противогазную сумку. На кой черт ему противогаз? Всю войну протаскали зазря, немцы так и не рискнули газы пустить, теперь-то кто угрожает?

Из теплушки выпрыгнул гвардии старший лейтенант Трушин, с хрустом потянувшись, заметил меня:

— А-а, привет единоначальнику! Докладаю: отставаний не имеется!

— И у меня нет отставших.

— Объявляю вам благодарность, товарищ единоначальник!

Да что они все дурашливые какие-то? Замполит и тот придуривается. Я сказал:

— Пойдем за указаниями.

— Указания — наш хлеб насущный. Пошли!

Мы направились в голову эшелона. Станция бурлила — все рода войск! По соседству, как и на предыдущей станции, — состав с самоходками. Еще издали я признал самоходчика-плясуна с завитым чубом, и он признал меня, помахал шлемом; прислонясь к борту платформы, самоходчик покуривал, поплеывал, поглядывал. Когда я поравнялся с ним, он подмигнул мне и гаркнул:

— Вместях едем япошек лупцевать, лейтенант!

Я пожал плечами, подивившись не столько развязности самоходчика-сержанта, сколько его фразе о япошках. Бить их? С чего? Небось самоходчик под мухой, несет околесицу. Конечно, под мухой, потому и развязен с офицером.

— Что он мелет? — спросил я Трушина.

— Что слышишь, — ответил замполит не очень любезно.

Мы поднялись в штабной вагон.

А когда двадцатью минутами позже спустились из него, я был ошеломлен. Было от чего ошеломиться, услышав разговор у комбата. Чтобы что-то сказать, я сказал Трушину:

— Как снег на голову: на Дальний Восток, воевать с Японией.

— Не снег. Об этом кое-кто догадывался.

— Не ты ли?

— Хотя бы и я. Нужно быть немножко политиком...

— Тоже мне — политик! — разозлился я. — Тебе в Политбюро заседать!

— В Политбюро рановато, — скромно сказал Трушин.

Паровоз загудел. Я прибавил шагу. Снова воевать? Как же это — с войны на войну?

8

Отец

Григорий Петрович пробудился в том состоянии, которое бывает у него изредка и которое порождает неожиданные, необъяснимые поступки. Он лежал под одеялом, не открывая глаз. В квартире было по-особенному тихо, потому что на столе тикали часы и на кухне капала вода из крана. За окнами же — притупленный стеклами и высотой, но все-таки сильный гомон толпы, шелест шин по асфальту, голубиное воркование на карнизе.

«Ну, что вы разворковались?» — подумал Григорий Петрович и ощутил, как мутная, щемящая тоска растекается от сердца по всему телу — и голова становится тяжелой, гудящей, а руки и ноги тяжелыми, непослушными.

Григорий Петрович знал, когда впервые начались эти, как он определяет их, припадки — ровно через два года после выхода на пенсию — и как они проходят: встанет, будет совершать свои обычные дела, а затем сработает какой-нибудь винтик в башке, и Григорий Петрович совершит нелогичное, ненужное.

Ну, что разумного в следующем, например, поступке? Сидел он, опершись о трость, на бульварной скамье, увидел пробежавшего по аллее мальчишку — сейчас и не припомнить, что за мальчишка, во всяком случае обыкновенный, рядовой пацан, какие встречаются на каждом шагу, — и вдруг представил себя на его месте: и я же был когда-то мальчишкой, и неудержимо повлекло туда, где родился и рос. И, будьте любезны, наскоро собрал чемоданчик, купил билет, сел в поезд, прикатил на Тамбовщину. Был сентябрь с чередой тягучих, холодных дождей, в малолюдной деревне мокли избы, в садах мокли яблони, на поле мокли галки и колхозницы, выкапывавшие картофель, — мужчин почему-то не было. Женщины в стеганках и кирзовых сапогах с недоумением смотрели на городского обличья старика, еле выдиравшего галоши из грязи, с раскрытым зонтиком. А он помесил грязь у картофельной бровки, у речки, в дубовой роще, где, по его предположениям, гонял некогда с ребятней, помесил грязь на деревенских улицах, отыскивая выселок, где некогда стояла их изба. Выселка он этого не нашел, ничего окрест не узнавал, сверстников перезабыл, и семейства его в деревне никто уже не помнил. Да и то сказать: мировая война, гражданская, голод коснулись Селивановки, сам же уехал отсель еще в девятисотом году. В Тамбов, оттуда — в Москву. Навсегда. Он вывалялся в грязище, промочил ноги, продрог, ночевал у подслеповатой вдовы-ворчуньи в затхлой комнатенке с тараканами — и сознавал: крестьянское детство с юностью столь далеки, что не взволновали, только утомилился. Покидая назавтра Селивановку — с насморчным хлюпом и кашлем, — удивлялся, как это он на склоне лет сорвался в дорогу, и его повлекло назад, в Москву, домой, в обжитую квартиру. И еще месяц после этой поездки он удивлялся себе.

Или такой поступок разумен? Хлебал он на кухне супчик, краем глаза читал газету и краем уха прислушивался к радио. Газета писала что-то о велопробеге, репродуктор на стенке распирало от поставленного дикторского баритона: «Автор показывает нам... в сцене помолвки и в сцене свадьбы...» Что автор показывает, Григорий Петрович недослушал. Боже, до чего ж ему, почтенному старику, захотелось встать в ряды свадебной церемонии и увидеть все как есть! На церковное венчание вполне можно попасть, было б желание. Желание было, ибо он припомнил: на Таганке, лет тридцать назад, венчался с

Зосей. Здорово: он — в черной тройке, белоснежная манишка, усики кренделями, напомаженный, она — в подвенечном платье, фата, подведенные брови, бледные щеки и алый рот, вокруг шепоток: «Ахтеры женятся...» По правде, Зося была неважной актрисой и неважной женой — пуста, ветрена, и они вскоре разошлись. Но когда венчались, было здорово: молодые, счастливые, за спиной вся труппа и шепоток по углам: «Ахтеры женятся...» Так вот, будьте любезны: потащился на Таганку, в ту церквушку — действует, народу тьма и как раз венчание. Смотрел он на молодые — были они не так молоды, но черная тройка и подвенечное платье с фатой были, слушал речитатив попики с золотым крестом, более старого, чем сам Григорий Петрович, слушал стройный, неземной, ангельский хор и силился вызвать чистые, добрые воспоминания, связанные с собой и Зосей, а вместо этого вспоминал, как после спектакля застукал у Зоси режиссера, как она воровала у законного мужа деньги и как прикладывалась к его же щекам туфлей: «Я гордая полячка!» Подлые, ни к месту воспоминания. И тогда подумал о хоре: «Спевшиеся ангелы», — и вышел на паперть, и уже удивлялся: что ему, безбожнику с дореволюционным стажем, в этом венчании? Ничего ему этого, в сущности, не нужно, и поездка на Таганку — блажь. Понятно, это не то что на Тамбовщину махнуть, это поближе — метро и трамваем. Трясаясь в трамвае, он стал припоминать тех, кто был после Зоси, припоминал как-то размыто, вроде все они на один лад: общительные, безалаберные, с уменьшительными, ласкательными именами — Коточка, Люси, Нинок. Милые, славные были женщины, но он думал о них спокойно, как бы по привычке. Все-таки это были жены, а еще больше было просто связей, просто девчонок, его поклонниц, он с ними расставался на второй, на третий день, не думая о возможной беременности и прочем, для того и существовали аборт, а богемная актерская жизнь не позволяла о чем-то задумываться. Эти девчонки вспоминались вовсе размыто и безо всяких имен. Парубковал лег до пятидесяти, благо отдельная однокомнатная квартира. Потом наступило возрастное, и женщины перестали его интересоваться. Да...

А такой поступок? Роемся он в шкафу, ищет рубаху и среди белья натывается на альбом — как в белье попал, шут знает. Альбом массивный, плюшевый, с позолоченной пряжкой. Отложить бы этот альбомище, убрать бы, так нет — начинает перелистывать. Выцветшие, пожелтевшие фотографии, и на каждой он, Григорий Семенов-Верниковский, на обороте так и написано собственноручно: «Григорий Семенов-Верниковский в роли Счастливецва», «Григорий Семенов-Верниковский на банкете по случаю премьеры «Шторма», «Григорий Семенов-Верниковский в роли Шуйского» и тому подобное. Семенов — кровная фамилия, Верниковский — добавлено для звучности, по-актерски. Он всматривается в свое лицо, тугое, нестарое, знакомое — если без грима, и незнакомое — в обликах театральных персонажей, и ему мнится, что оно оживает на фотографиях, хмурится и улыбается, как в жизни. Он переворачивает последний лист и решает: отправлюсь нынче в театр, в какой — все равно. Какой поближе. Вечером, подстриженный и выбритый, отстукивая тростью, он идет к театру, покупает у кассы билет с рук, садится в партере. Чуточку волнуется при виде занавеса, авансены, рядов кресел, контролеров с программками, радужных люстр и жужжащей пестрой публики. Но когда занавес раздвинулся и начался спектакль, он сперва растерялся, а потом рассердился. Разве так надобно играть на сцене? Где кипение классических страстей, где накал извечных чувств, где бурная музыка и яркое оформление? В его времена театр был иным! Да он сам, драматический актер Григорий Семенов-Верниковский, играл на этой же сцене, если память не

изменяет, на многих московских сценах играл. Но разве так играл? Дождавшись антракта, направляется к гардеробу. Его не хотят одевать — порядочки, мучайся до конца, — он объясняет, что нездоров, ему нехотя выдают плащ и шляпу, и он, церемонно поклонившись гардеробщику, удаляется. Не ходил в театры и не пойдет. Мальчишки и девчонки, а не актеры. Не драматическое искусство, а нечто... нечто... Не найдя подходящего слова, пренебрежительно шелкает пальцами.

Ну, а кому сие нужно? Что осмысленного, здорового в таких поступках? Ровным счетом ничего. Просто припадки. Просто старость подчас пытается прорваться в далекую молодость, а к чему сие приводит? Да ни к чему. Старость есть старость.

Григорий Петрович лежал под ватным, стеганым одеялом с под-одеяльником, выложив поверху иссушенные, пергаментные руки, по-прежнему не открывая глаз, размеренно и тихо-тихо дыша. Он так дышит и во сне — не услышишь. Впрочем, слушать некому: Григорий Петрович — бобыль. Уже в подъезде заголосила детвора, уже за стеной у соседней затарабанили на пианино, уже солнечный луч, пробившись сквозь тучи, слабый, зимний, переместился к кровати, чуть-чуть пригревал лицо. Сколько же времени? Валяйся не валяйся, а подниматься надо. Не хочется: на сердце тоска, голова гудит, тело вялое, непослушное, но нужно вставать.

Сдвинул одеяло и сел в кровати. А куда, собственно, торопиться и зачем? Впереди целый день, за ним ночь, снова день... Как говорят, день да ночь — сутки прочь, и сколько у него в запасе таких суток? Несколько меньше, чем позади. Шестьдесят годов ему. С гаком. Хотя на здоровье жаловаться грех, для его почтенного возраста — мирово, как нынче выражаются.

Он встал, накинул на костистые плечи стеганый залоснившийся халат, подошел к заиндевевшему понизу окну. Руки висели вдоль туловища, ноги, будто распухшие от тяжести, припечатывались к полу. За стеклом были снеговые тучи и тусклое солнце. срывались крупные снежинки, обезлиственные ветви тополей и лип раскачивались под ветром внизу, на бульваре, и внизу же толкалась, колыхалась толпа прохожих, троллейбусы и автобусы разбрызгивали снежную кашу и талую воду. А рядом, прямо перед глазами, по карнизу вышагивали голуби и голубки, клюв к клюву, ворковали.

«С чего разворковались? — подумал Григорий Петрович. — Голуби вы, голуби сизокрылые».

— Ополоснем физиономию, позавтракаем. — Трудно переставляя ноги, Григорий Петрович направился в ванную. — Зажжем свет, доставим из стакана зубную щетку...

Он поворачивал выключатель, чистил зубы, умывался, вытирался, причесывался, надевал рубаху, и в висках у него гудело, и он знал, что из этого гудения и родится та самая сумасбродная мысль. Родится — и срывается.

Не спеша, заученно Григорий Петрович проделывает то, что он проделывает ежеутренне — наливает из бутылки в стакан кефир, варит яйцо всмятку и кофе, намазывает на хлеб масло. От батареи и электрической плитки на кухне тепло, обезвлаженно, нагретый воздух над плиткой шевелит на веревочке выстиранное накануне нижнее белье. Самому приходится стирать, все самому. В том числе убирать комнату, кухню, прихожую. Канительно: целая квартира. Привык. Да и время чем-то заполняешь.

Григорий Петрович жевал, пил, вполуха прислушивался к репродуктору: «Производственные успехи текстильщиков Ивановской области... Месячный план... на сто два процента... Страна получит... сверх плана... тысячи метров тканей», последние известия кончились — запи-

ликала скрипка. Потом мыл посуду, застилал кровать, прошелся с веником, вытер пыль. Потом достал из почтового ящичка газету, развернул. Чем заняться? Приляжем на диван, читаем прессу. А руки и ноги между тем непослушные, в висках гудит и гудит. Словно заболел. Но он-то знает: здоров, только припадок будет. Не миновать. Что-нибудь выкинешь.

Невнимательно, с пропусками почитав газету, он надевает ботинки с ботами, потертую шубу — велюр снаружи, лисий мех на подкладе, шапку-ушанку с опущенными ушами, бантом завязывает на груди шарф и идет в магазин. Нужно купить колбасы, чаю, хлеба. С утра народу поменьше. Магазин — рукой подать, в соседнем доме.

Он шаркает ботами по ступенькам, в подъезде отстраняет галдящую ребятню, дворничихе говорит: «Утро доброе», с изяществом приподымает шапку. На дворе серо и сыро, с крыш свешиваются сосульки, слезятся, в скверике детсада воспитательница — краснощекая толстуха в пальто нараспашку — лепит снежную бабу, дети копошатся около воспитательницы, как цыплята около наседки, рослая суровая дворничиха в брезентовом переднике чиркает метлой, сметая снег в кучу, и по-мужски, без платочки, сморкается.

В магазине шумливо, бестолково. Покупатели грудятся у прилавков, у касс, у выхода. Сквозь толчею продаешься, как сквозь кустарник. Но Григорий Петрович опытен: сперва занимает очередь к продавцу, затем уж — к кассирше, и куда получит чек, его очередь подойдет к прилавку, потеря времени — минимум.

Перед Григорием Петровичем было четыре человека, и среди этих четырех его взгляд задержался на седом сутулом мужчине в клетчатом драповом пальто с каракулевым воротником; у мужчины был искривленный, с горбинкой нос, впалые щеки, острый кадык, баки и ямка на подбородке. Григорий Петрович отвел глаза, и вновь глянул, и едва не вздрогнул — Бальчугов Саша, до чего похож, а? Но в ту минуту, когда он решился обратиться: «Простите, вы не Бальчугов?» — к сутулому мужчине подошла такая же сутулая женщина и произнесла с недоумением:

— Коля, ты все еще стоишь? А я уже взяла сыр.

Коля? А тот — Саша. Хорошо, что не обратился, был бы конфуз. Но похож. Хотя, впрочем, не совсем, ежели разобраться. У Бальчугова, помнится, родимое пятно на скуле, у этого — нету. К тому же Бальчугов, помнится, пониже росточком, этот — долговяз.

Григорий Петрович сунул в сетку-авоську покупки и вышел из магазина. Впереди мелькнула и скрылась за углом шапка-пирожок того человека, которого он принял за Бальчугова. Подымаясь в лифте, подумал: «Жаль, что это был не Саша Бальчугов». И следом подумал: «Надо бы и сахарку подкупить, ну да ладно, не все враз, и так поистратился». А он не нарком, он пенсионер, лишних денег нету.

В прихожей он сказал себе:

— Разденемся, разуемся, выложим покупки...

Повесил сетку на вешалку, стал снимать ушанку, шубу, развязывать шарф, облокотился о столик, чтобы стащить боты. На столике стоял телефон — черный, старый, потускневший, с трещинкой на трубке, с забахромившимся шнуром.

— А теперь посидим, дочитаем газетку...

Григорий Петрович нацепил очки, развернул полосы и увидел — будто сквозь газетный лист — телефон на столике в прихожей. Он опустил газету и воочию увидел из комнаты телефонный аппарат. Черный аппарат на палево м столике. И в следующий миг понял: он будет звонить Бальчугову. Голова гудела, руки, державшие газету, подрагивали, ноги

как бы приросли к полу. Будет звонить. Для чего? Толком сам не знает. Но — позвонит, это неизбежно.

Давно он не звонил никому из своих друзей. Вернее, знакомых, потому что настоящих друзей у него, вероятно, никогда не было. Как-то так получалось: и попадались отличные, славные люди, да накоротке сойтись с ними не мог, приобретал скорее приятелей — не друзей.

А когда кому звонил из приятелей — подзабыл. Раньше перезванивались, теперь же нет. И ему не звонят, и он не звонит. Вообще телефон по неделям безмолвствует. Разве что по ошибке оживет: «Это база?», «Позовите Матильду» или «Справочная? С какого вокзала ехать на Пензу?» И сам Григорий Петрович звонит лишь по делу: в райсобес — насчет пенсии, в магазин — есть ли сосиски, в жилконтору — кран починить или еще что.

Сейчас позвонит просто так. Привет, мол, старина, сколько лет, сколько зим, извини, мол, за беспокойство, со здоровьем как, желаю сил, бодрости и долголетия. Удивится Бальчугов, наверно: столько молчал — и вдруг надумал звякнуть. Но с другой стороны: что же, не мог Саша набрать его номер, это запросто делается. Следовательно, обоюдная вина.

Ступая слишком отяжеленно и грузно для своего сухощавого, костистого тела, Григорий Петрович подошел к столику, снял телефонную трубку с рычажков и, глядя в записную книжку с номерами, крутанул диск.

— Алло,— сказали он.— Это квартира Бальчуговых?

— Нет,— ответили ему, и он положил трубку.

Ошибся. Не туда попал. Наберем еще разок. И опять ему сказали, что это не квартира Бальчуговых.

— А что же?

— Квартира Тавровских. Но погодите, не вешайте трубку... Раньше тут, до нас, жили Бальчуговы. Переехали на Плющиху. Запишите их телефон...

Григорий Петрович отыскал карандаш, приготовился записывать и спросил:

— Давно переехали?

— Порядочно. Так слушайте...

Карандаш царапал бумагу, цифры писались вкривь и вкось. Перебрались Бальчуговы, сменили жилье. Ладно, позвонит по новому телефону.

Ему отозвался низкий женский голос:

— Алло?

— Здравствуйте,— сказал он.— Кто это?

— Допустим, Алевтина Сергеевна.

Алевтина Сергеевна? Жена? У Саши была жена, но как ее зовут — позабыл, хоть убей. Сказал:

— А можно Александра Евгеньевича?

В трубке помолчали, и он повторил:

— Александра Евгеньевича можно?

— А кто спрашивает?

— Семенов-Верниковский. Это его старый знакомый...

— Я не смогу позвать Александра Евгеньевича и для старого знакомого.

— Почему? Он болен?

— Он умер. Позапрошлой осенью. Разрыв сердца.

— Простите,— пробормотал Григорий Петрович.— Вы жена?

— Жена.

— Простите. До свиданья.

— Прощайте.

Григорий Петрович, не двигаясь, сидел на пуфе у столика, вытирал платком испарину со лба. Справился о здоровье, вот так пожелал сил и бодрости. Саша Бальчугов умер. От разрыва сердца. В позапрошлую осень. Наверно, был листопад, дул ветер, желтые, скользкие от дождя листья сыпали с деревьев на автомашину с ало-черной материей по бортам, а в машине гроб и кучка родных — нынче так хоронят, механизировано, в темпе, без лишних людей и без медлительных процессий.

Наверно, в гробу Саша лежал спокойный, смиренный, а в жизни это был огонь человек. По театру Мейерхольда его помню. Загорался спектаклем, режиссером, актерами, публикой, на сцене — разве что на голове не ходил, вне сцены — бесконечные добрые деяния: что-то для кого-то просил, требовал, добивался. И за меня вечно хлопотал: роли в новой пьесе, жилье, надбавка жалованья, путевка на курорт... А то было: нету у меня сносного пальто, Саша свое отдает, попробуй не принять подарка — взрыв, вулкан, а сам после в плащике прозябал. Благородная, бескорыстная душа... Да, помнится: и псевдоним мне Саша сочинил, Семенов-Верниковский — это благодаря ему. Был младше меня, а опекал будто старший. И не одного меня опекал... Впоследствии разошлись по разным труппам, все дальше, дальше, так далеко, что и перезваниваться перестали, пенсионники. А два последних года Саша, если бы и захотел, не мог уже позвонить: с кладбища не позвонишь.

В висках и затылке гудело, и сквозь этот гул временами жалом покалывало и в виски и в темя. Нужно бы прилечь, отдохнуть, успокоиться. Но вместо того, чтобы прилечь и успокоиться, Григорий Петрович начал, муся, перелистывать записную книжицу, искать что-то среди телефонных номеров.

«Ксенофонтов В. К.» Так. Это то, что требуется. Ксенофонтов Виктор Константинович. Играли некогда в труппе Завадского. Когда последний раз виделись? Христос его знает. Когда последний раз перезванивались? Да-а, нескладно. Не видишь, не звонишь и — хлоп, узнаешь: похоронен. Нежданно, нелепо. Как с Сашей Бальчуговым. Крепыш был, огонь человек, моложе меня — и на тебе, разрыв сердца.

Виктор живет в Марьиной Роще, а Саша жил на Арбате, затем переехал на Плющиху. Знает ли Виктор о Сашиной смерти? Ведь они тоже были близко знакомы и работали вместе, у того же Таирова. Не знает — я сообщу. И словно сниму с себя часть скорбной ноши.

— Звякнем Вите, потолкуем,— сказал Григорий Петрович, не трогая трубку.

Конечно, я сообщу ему о Сашиной смерти. Как воспримет это Витя? Вообще-то он хохотун, анекдотчик, бабник. Откалывал коленца. И как не откалывать: гвардеец, красавец. И — несомненный талант. Не то что я. Десятки лет проработал в театре, играл и ведущие роли, а до сей поры не уверен: по своей ли стезе пошел, не бездарь ли? И по театрам меня мотало, как пушинку ветром, все оттого же: не ярко светил. Витя же Ксенофонтов светил ослепительно, публика его боготворила, газеты комплименты дали. Заслуженного получил. Да я б ему и народного дал. А вот мне ни фи́га не дали, хотя представлялся к заслуженному. Может, и правильно, что не получил. Рядовой актер, как ни финти. Но и рядовому актеру расстаться с театром свыше сил, я расстался по возрасту: проводили на отдых, на пенсию. И успокоился я постепенно, не скучаю по театру, живу себе.

— Звякнем Вите, потолкуем о том о сем,— сказал Григорий Петрович и снял трубку.

Номер был занят — высокие частые гудки, раздражавшие и еще более подогревавшие нетерпение. Наконец Григорию Петровичу ответили:

— Вас слушают.

— Здравствуйте,— сказал Григорий Петрович.— Будьте любезны, Виктора Константиновича.

— Кого? Кого?

— Виктора Константиновича. Ксенофонтова. Я правильно набрал номер?

Говорившая с Григорием Петровичем женщина хмыкнула, кашлянула и сказала:

— Набрали-то, уважаемый, правильно... Но Виктора-то Константиновича у нас уже нету...

— Как нету? Съехал?

— Да как вам выразиться? Съехал на тот свет. Померли Виктор Константинович, отмучились.

— Умер? Не может быть! — сказал Григорий Петрович, и у него кольнуло в сердце.

— Очень даже может,— сказала женщина.

— Простите, я не то хотел сказать... Я хотел сказать: давно он умер?

— Года три. Либо чуток помене.

— Еще раз простите. Вы супруга Виктора Константиновича... или вообще родственница?

— Соседка. Сродственников у него не имеется, кроме дочери. Нужна вам? На работе, вечером будет...

— Не нужна,— сказал Григорий Петрович.— Еще вопрос... От какой болезни умер Виктор Константинович?

— Разбило их параличом, очень мучились...

— Жалко Виктора Константиновича...

— И не говорите! Приятный был сосед, уважительный...

— До свидания,— сказал Григорий Петрович.— Благодарю вас.

— Не за что,— ответила женщина и снова хмыкнула и кашлянула.

Так. И Виктора нет в живых, вот это сюрпризы. Боже мой, и Витя мертв, тот шутник, анекдотчик, прожигатель жизни и всеобщий любимец, его знала вся Москва. И Витя Ксенофонтов знал всех. С Маяковским был знаком, с Есениным, со Станиславским, с прочими знаменитостями. Через него и я познакомился со знаменитостями. Витя любил таскать меня за собой. На кладбище теперь он. Могилка с крестом. Паралич. А я ничего об этом не слыхал. Саши нет, и Вити нет. Да, новости. Ну, новости. От них и самому помереть можно.

Григорий Петрович, сгорбившись, крутил головой, вытирался носовым платком. Руки тряслись, поташнивало. Надо все-таки прилечь, отдышаться. Он прилег на диван, положив голову на валик. Лежа полистал записную книжку. «Меркулов П. П.», «Спиридоненко Х. В.», «Туманян Г. А.»... Против фамилий значились номера телефонов, только против фамилии Туманяна не стояли цифры, у него нет телефона, это хорошо, что нет: позвонишь, а тебе объявят — помер. Не буду больше звонить, судьбу искушать — и так тяжело. Умирают его сверстники. А он еще жив и на здоровье не жалуется. Ровесники умирают, товарищи.

Было душно, и он открыл форточку. Но удушье не проходило. Тогда он стал одеваться. Ботинки с ботами, прозванными «прощай, молодость». Действительно, прощай. Пальто на лисьем меху, шапка с опущенными ушами. Красно-синий шарф, повязанный на груди бантом,— одна из немногих актерских привычек, уцелевших у него.

На бульваре под липами по столу на столбиках стучали костяшками домино пенсионные старички и старушки. Им и зима не помеха. Григорий Петрович на них не взглянул, ибо не переваривает стучащих в домино.

Он подошел к скамейке на отшибе, обмахнул ее перчаткой, присел на краешек. С голых веток капало, снежины кружились и падали на пле-

чи прохожих, на аллею, на кусты, таяли; что за февральские денечки — теплынь, мокрота. Шуршали троллейбусы, толпа гомонила за бульваром, на тротуаре. Лаял пудель у заснеженного газона, плакал ребенок в коляске, смеялись девушка и парень на лавочке поодаль. Ветер срывался откуда-то сверху, где тучи и солнце. Оно, солнце, светило Григорию Петровичу в глаза, и он, опершись на трость с набалдашником и глядя прямо перед собой, слегка шурился.

Был февраль тысяча девятьсот сорок первого года.

Был и июнь тысяча девятьсот сорок первого года, и Григорий Петрович, стоя у распахнутого окна, глядел на улицу; за спиной репродуктор гремел маршами и воинственными песнями, внизу, по мостовой, шла колонна молоденьких, безусых, в топорщившейся форме красноармейцев. Григорию Петровичу казалось, что это его, бездетного, сыновья идут на войну, с которой не все вернутся. Да, он всю жизнь считал себя бездетным, а сын был — Петька, родившийся у рабочей девчонки Лиды Глушковой, гордой и дерзкой, но не устоявшей против обаятельного, хотя и остаревшего артиста, едва ли не годившегося ей в родители. Да и сын никогда не догадывался, что отец жив.

Григорий Петрович смотрел на мостовую, слушал радио и чувствовал, как его стариковское, его никчемное существование наполняется необыкновенно важным смыслом. В тот же день он направился в военкомат, в театральное общество, в профсоюз работников искусств. Ему ответили: ценим ваш патриотический порыв, ваше стремление поставить талант на службу сражающемуся народу и поэтому, невзирая на возраст, включим вас во фронтовую бригаду.

Концертная бригада отправилась на фронт в середине июля, но не доехала: немецкая авиация разбомбила состав возле Гжатска. Пыльным, раскаленным полднем — с крикливым вороньем и золотистыми жирными мухами — санитары сновали между дымящимися, покореженными пассажирскими вагонами, раненых уносили на брезентовых носилках, мертвых складывали у водокачки. Труп Григория Петровича положили рядом с детским, и кривой вислоусый санитар сказал:

— Ни малого, ни старого не шадит война-мачеха.

9

Поторапливаясь к теплушке, я успел передумать невероятно много. На сто шагов — сто мыслей. Основная: вот так Казань, вот так Рязань, а не желаете ли на Дальний Восток, на войну против империалистической Японии? И так, взамен расформирования либо мирной вольготной службы снова вкусишь горяченького. Самочувствие таково, будто тебя обманули. Обещали к теще на блины, а везут к черту на кулички и отнюдь не на блины. Хотя горячо будет — это факт.

Штабной вагон — заурядная теплушка с заурядными нарами, только тут попросторней. За столом — комбат, его зам по строевой, старший адъютант, полковые офицеры. Мы, из рот, расселись на нары, на табуретки. Комбат постучал по столу, заговорил негромко. Когда он, требуя от офицеров полнейшего порядка в эшелоне, объявил, что мы едем на Дальний Восток, поближе к самураям, я не поверил своим ушам. Как это — поближе к самураям? Ослышался я, он оговорился? Какое там ослышался и оговорился! Похрустывая суставами пальцев (привычка нервных, но у комбата, по-моему, нет нервов, это железный человек), капитан втолковывал нам тихо, четко и ясно: если нас перебрасывают к границам Маньчжурии, значит, предстоит не курорт, а скорей всего военные действия, мы не маленькие, народ сознательный, должны понимать. Разумеется, все это между нами. Конечный пункт не уточняется из-за со-

ображений секретности. Хотя командование помалкивает, мое личное мнение: едем на серьезные дела. Поэтому никаких демобилизационных, расхлябанных настроений, напротив — держать личный состав в мобилизационной готовности. Категорическое предупреждение: ни малейших разговоров с местным населением о том, куда и зачем следуем. И далее: учитывая, куда и зачем следуем, не допустить ни одного случая отставания от эшелона. Категорически предупредить личный состав: кто потеряется, отстанет от эшелона, пойдет под суд военного трибунала. Командиры подразделений под персональную ответственность обеспечивают должный порядок в пути следования. Будут организованы занятия. Особое внимание обратить на политзанятия и беседы о вероятном противнике...

И я вспомнил: политические занятия на темы «Милитаризм японской промышленности», «Захватнические цели японской военщины» и еще такого же сорта мы проводили уже в мае, на отдыхе, в Инстербурге. Тогда в победном, праздничном чаду я не придавал им значения — Германия разгромлена, ругать ее нет смысла, надо ругать Японию, — но сейчас меня будто кольнуло: дурак дураком, не догадался, чем это пахло!

Кто-то осмелился прервать комбата:

— Какой же вероятный, если достоверно известно — Япония?

— Достоверно ничего не известно, — сказал комбат. — Но Советский Союз может вступить в войну против империалистической Японии. Чтобы ускорить разгром союзника гитлеровской Германии, погасить второй очаг войны на земном шаре и приблизить установление всеобщего мира. Вопросы есть?

Вопросов не было. Комбат сказал:

— Товарищи офицеры! Покамест эшелон не тронулся, по вагонам!

По вагонам — прозвучало как по коням. Ошарашенный словами комбата о японцах, я даже не обратил внимания на то, как восприняли их остальные офицеры. Сперва мыслей не было, потом явилась отчего-то такая: «Это правильно, что до выезда нам не сообщили, куда поедем. Разболтали бы братья славяне, а кругом немцы. Вот под Оршей зимой сорок третьего-четвертого было... Гитлеровцы пронохали о нашем наступлении и к началу артподготовки ушли из траншей в блиндажи, во вторую линию, наши перенесли огонь туда — они вернулись в первую. А когда мы поднялись в атаку, они резанули по цепям... И все из-за нашей болтливости».

Уже спускаясь из штабного вагона, подумал: «Едем на новую войну? Снова воевать? Вот так так».

— Покедова, — сказал Трушин и полез в свой вагон.

— Прощай, — сказал я, стараясь скрыть раздражение.

Покедова... Что за дурацкая манера шутить, подделяваясь под некую народную речь? Что в этом остроумного? Право же, замполиту батальона здесь изменяет чувство меры. Да о чем я? Надо об ином думать, о том, что услышал у комбата.

Я взобрался в теплушку, расправил гимнастерку, закурил. Эшелон дернулся. Набрал скорость. Замелькали столбы, деревья, кусты, постройки. Сколько вот так будем трястись в теплушках, сколько валяться на жестких, скудно прикрытых сеном нарах? Недели две? Три? Четыре? Дальний Восток — он и есть дальний.

Встречный вихрь гнал папиросный дымок в теплушку, растрепывал мне волосы, порошил глаза пылью. Я прикрыл дверь наполовину.

До моего плеча дотронулись. Миша Драчев. Пилотка на ухе, острый носик сморщен, словно принюхивается, взгляд узких, желтых, с кровяными прожилками глаз напряжен, напряжена и фистула:

— Товарищ лейтенант, чегой-то я вам хочу сказать...

— Поправь пилотку. Вот так... Говори, я слушаю.

— Чегой-то хочу сказать...— мямлит ординарец.

— Ну, что? Говори!

— Примите от меня подарочек. Не погнушайтесь.

— Что еще за подарочек?

— Не сердчайте, товарищ лейтенант! Не подумайте плохого... Вы на прощанье отдали часы Абрамкину, сами остались... Командиру без часов никак нельзя! Я и порешил... У меня пара: мои и брательнику везу в подарок...

Часы мне нужны до крайности, но я колеблюсь. Спрашиваю:

— Брательниковы даришь?

— Пошто? Свои. Солдату часики не обязательно... А брательнику привезу, обещал. Не обессудьте, товарищ лейтенант, примите!

— Ну, давай. Спасибо.— Застегиваю на запястье кожаный ремешок, поглядываю на циферблат.— Отблагодарю. Или верну после войны. Разгромим японцев — и верну.

— Каких японцев?— Нижняя челюсть у Драчева отваливается, виден нездоровый, с белым налетом язык.

Понимаю, что проговорился и что до моих солдат новость из соседних эшелонов еще не дошла. Бегло усмехаюсь:

— Объясню... Видишь ли, есть предположение, что едем на границу с Маньчжурией...

Драчев хлопает глазами, что-то бормочет. Бас из дальнего угла вклинивается, позевывая:

— А я об этом давненько догадывался, товарищ лейтенант. Воевать будем с япошками, неизбежно...

На нарах приподымаются головы. Я прикидываю: незачем играть в молчанку, лучше сказать людям откровенно о том, что может быть. Это, помимо прочего, их дисциплинирует. И я, прокашлявшись, произношу:

— Друзья, позвольте поделиться с вами известием...

Тьфу, фальшивая нота. «Друзья» — панибратство, «позвольте поделиться с вами» — профсоюзное собрание. Да разве ж это воинский язык? Правдивое, искреннее, человечное можно выразить и армейским языком, без сюсюканья.

Это проносится у меня в мозгу. Что же сказать дальше, какими словами? А-а, какие найдутся. И я говорю:

— Товарищи солдаты и сержанты! Мы с вами прошли войну. Не все, конечно, есть новички, есть необстрелянные, но большинство воевало на фронте. Мы победили немецкую армию, и нас войной не испугаешь! Говорю это к тому, чтобы вы знали: наша Оршанская Краснознаменная ордена Суворова дивизия едет на Дальний Восток, нам, возможно, предстоит боевые действия против японской армии...

Делаю паузу, во время которой слышу восклицания: «Ох ты!», «Ну и ну!», «Так и есть!», присвистывания, вздохи, вижу удивленные, озадаченные, нахмурившиеся лица, есть и радостно-изумленные — у мальчиков, у семнадцатилетних. На мгновение в душе закипает досада на этих радостных, бодрых, не нюхавших пороха юнцов, но я подавляю ее. Спокойно, размеренно продолжаю говорить. О том, что наша первейшая задача — в полном составе, без единого отставшего, прибыть в пункт назначения. О том, что порядок в дороге должен быть образцовый, достойный воинов-победителей. Я говорю и слышу, как у меня на груди позванивают ордена и медали. И как перезваниваются они у солдат и сержантов, когда те меняют позу. И лишь у мальчиков, у семнадцатилетних, на груди, на гимнастерках ничего нет — кроме пуговиц.

Меня засыпали вопросами: до какого города едем, каким маршрутом, сколько дней в пути, сильна ли японская армия, чем вооружена и правда ли, что в ней имеются смертники, что за занятия будут у нас и

когда, можно ли отлучаться повидать близких, если стоянка будет в родном городе, и бог весть еще о чем спрашивали. На что мог — я отвечал, отвечал, и внезапно усталость, как судорогой, свела горло. Я умолк, махнул рукой: дескать, хватит, все. Старшина Колбаковский сказал:

— С остальными вопросами обращайтесь ко мне!

И хохотнул. Рот до ушей, глазки масляные, пахнет спиртным. Весельчак. Наклонился, шепнул:

— Товарищ лейтенант, во фляжке остатнее... Добьете?

— Нет желания,— сказал я.

— Нет? — Старшина предельно удивлен.

Удивился и я: почему отказался, выпить бы — в самый раз. Сколько же нелогичных поступков у лейтенанта Глушкова! Но нелогичность, связанная с отказом от выпивона, заслуживает одобрения и поддержки. Уважения и восхищения. Ура! И, злясь на себя, испытывая свою волю и вгоня старшину в окончательную растерянность, я повторил:

— Ни малейшего желания.

Он настолько растерялся, что полез наверх и, корчась, высосал из фляги до доньшка. Тем паче приближался ужин. Стол уставлен котелками.

На станции принесли термосы с ужином. Я всухую ел дравшую глотку гречневую кашу, косился на чавкающего старшину — уж аппетит-то у него с возлияния был! — и слушал, что говорят вокруг. И за ужином, и после обсуждают вероятность войны с японцами, лишь случайно, инородно в этот разговор вклинивались фразы: «Маловато в каше маслица, повар-жмот поскупился», «Не прибедняйся, крути сигарку», «Живот буркотит, а терпи от перегона до перегона», «Вытерпишь, не барин». Говорят в основном те, кто за столом и на верхних нарах,— ветераны, фронтовики, хозяева. Юнцы — как гости, жмутся внизу, поближе к двери, помалкивают или обмениваются шепотком, которого я не разбираю из-за колесного перестука.

Говорящие меня не стесняются, вроде бы не замечают присутствия ротного командира, изъясняются весьма раскованно, не без матерка. Почему так? Раньше, на фронте, солдаты себе этого не позволяли. А кончилась война, и постепенно они как бы расхлябывались. Не то чтобы презрели воинскую дисциплину, но в их поведении обнаружилось что-то чуждое мне, словно назойливо бормочущее в ухо: лейтенант, не цепляйся к нам, скоро все мы станем гражданскими, ты будешь студентиком, а мы — кто и повыше тебя будет рангом, на гражданке-то. Может быть, мне это мерещилось, плоды мнительности, так сказать, богатого воображения? Но если даже это факт и мне ничего не мерещится, неужели весть о том, что опять будут война, фронт, не вернет все на исходные позиции? Увы, пока я этого не наблюдаю. Слишком быстро? Так или иначе, наблюдаю иное — вольность, расхлябанность, которые вызывают у меня ощущение разобщенности. Между солдатами и мной и между самими солдатами. Поживем — увидим, во что это выльется. Если тут и есть кто-то, ни в чем не изменившийся, так это мой верный ординарец Миша Драчев — такова уж у него служба и такова натура. А мальчишки — какие они? Я их худо знаю. Могу только сравнить с собой с тем, зелененьким. Но это как-нибудь в другой раз.

Кругом говорили, говорили, я — молчал. И вдруг как бы со стороны увидел себя: сидит за столом лейтенантик за недопитой кружкой чая, в общем и целом молоденький, но с морщинами на лбу и у рта, острит плечи, глаза беспокойные, бегающие, и словно отделен он невидимой полосой отчуждения, да, есть такой термин — полоса отчуждения, термин как будто и не имеет отношения к нему и в то же время как будто имеет. Одиноким, неприкаянным, усталым лейтенантиком, в общем и целом молодой. Да.

Надо было слушать, и я слушал. Слова входили в меня грубо, царапая уши, застревая в мозгу, как занозы. Их, этих слов-заноз, копилось все больше, и голова разболелась. Допивая остывший чай, потирая виски, острил лопатки, слушал. Разговор был шумный и перекрестный, словно состоял из отдельных нитей, натянутых между говорившими, по нитям слова скользили, как вагонетки по стальному тросу подвесной дороги. Вот до чего додумаешься, если черепок болит.

Можно было выделить три основных мнения. Первое, сугубо мрачное, высказал, как ни странно, старшина Колбаковский. Только что был весельчак, похохатывал — и враз переменялся, будто мгновенно протрезвел. Вероятней всего, с запозданием дошел смысл новости. Взвесил старшина ее и помрачнел. Предложения рубал, подчеркивая пристукиванием костяшками пальцев по столу, крутил головой на короткой толстой шее, ровно бы выискивая, к кому обратиться свою речь, и не находя достойного:

— Чтоб им ни дна, ни покрышки, тем японцам, самураям! Выискались на наше горе! Токио, император Хирохито, банзай... Банзай! Это что же получается? Отломили Великую Отечественную, точняком великую — аж на четыре года, — и сызнава ломать войну? Еще четыре года? Предел нашему терпению есть, нет ли? Мытарились, кровь проливали, дожили наконец-то до мира и бах — не изволите начать сначала? — Шея и щеки Колбаковского побагровели, он повысил тон, стучал не костяшками пальцев, а кулаком. — Но почему американцы не воюют толком с японцами, толкутся, как цветок в проруби? Хотя нашими ручками жар загрести! Сами не одолеют Японию, так на нас взваливают. А какого же они не воевали на нашей стороне, когда фрицы были под Москвой? Тушенкой отделявались, лярдом... Ах, шкуры, ах, буржуи, выгадывают за наш счет! Валите, валите, русский народ двуличный, не надорвется. А ежели надорвется? Так я вас спрашиваю: за что я должен помирать?

«Проливали-то мы кровь, проливали, это верно, — подумал я. — Только ты, старшина Колбаковский, прихватил ее, войны, кроху, больше по тыловым складам околачивался... Да и нельзя так выражаться о наших союзниках, президент Рузвельт был другом товарища Сталина, как говорят. И вообще истерика, а еще старшина...»

Второе мнение — половинчатое — удачней всех выразил Свиридов. Няпча на коленях старшинский аккордеон и, по счастью, соображая, что сейчас его игру не будут слушать, он беззвучно перебирал клавиши и говорил, как бы прицениваясь к их беззвучным тембрам:

— Я рассуждаю в данном направлении: воевать придется, никуда не денешься. Это факт, а не реклама. Хошь не хошь — войой. Тебя не спрашивают, тебе приказывают. Сверху, значит. Конечное дело, мало радости с войны на войну... Оттарабанил одну, тарабань вторую... Но я рассуждаю в данном направлении: навалимся на пару с американцами на тех япошек, заставим их капитулировать. Наподобие Гитлера Адольфа. Провоюем не четыре года — меньше. Сколько? Меньше! Неохота воевать, а придется. И в сорок первом неохота было — воевали. И в сорок пятом неохота — будем воевать. Весь вопрос: как воевать, товарищи граждане? Чтоб не было лишних жертв! Потому погибать на этой войне грустно, уцелевши на той. Ну, а покамест мы болтаемся промеж войн, надобно пожить всласть: поиграть, поспать, попеть песен, баб на остановках пощупать. Как перемахнем русскую границу — не упушу моллодок, хе-хе!

Это — здоровый глас, хотя в тезисе о сладкой жизни и таится угроза для меня как командира подразделения. Примутся жить всласть — гляди в оба, не прохлопай чрезвычайного происшествия!

Выразитель третьего, насквозь бодрого мнения — Толя Кулагин. Ворот распахнут, высовывается мохнатая, как на обезьяне шерсть, на-

драенные зубным порошком пуговицы на гимнастерке и бляха на ремне горят, и серый глаз и карий горят, помятые, старообразные черты свежуют. Кулагин приминает вихор на макушке, жестикулирует:

— Да вы что, робя, в своем уме-рассудке? Воевать с япошками — четыре года? Ну, и загнули! Мы их, самурайских гадов, за четыре недели в порошок сотрем, ей-бо! Ваши очи видали, сколь эшелонов прет за нами, рядом и спереди? Тьма-тьмущая войск! Пехота, «катушни», орудия, самолеты. А летит сколь самолетов? Все туда, на восток, на японца. Силица у нас несусветная, армия всемогучая, кто супротив устоит? Это вам не сорок первый годочек, будь он трижды проклятый! Ноне мы за-казываем музыку, понял, Свиридов? Так играй не танго, а победные марши, дьявол тебя забодай! Слушайте меня, робя: ка-ак вдарим по Японии, так от нее пшик, а нам — добавочные орденишки! Готовь дырки на гимнастерках!

— Дырки от бубликов,— бурчит Колбаковский, но его не слушают. Большинству воинственные, отчасти шапкозакидательские речения Кулагина по душе. От двери, где обитают юнцы, раздается несильный, ломающийся, как у петушка, голос:

— Поддерживаем товарища Кулагина! Наша славная Краснознаменная ордена Суворова Оршанская дивизия покажет себя. И мы, по полнение, не отстанем от фронтовиков, покажем...

— Аника-воин,— прерывает Колбаковский.— Нюхнешь почем фунт лиха — не зарадуешься, герой...

— Нет, почему же, товарищ старшина... Вы не сомневайтесь, не струсим, будем достойны ветеранов-фронтовиков...

Обладатель ломкого баска — Нестеров Вадим, тонкокостный, стройный, с длинными загнутыми ресницами, с румянцем смущения на лице мягкого, девичьего овала. Чистый, наивный, уважительный мальчик, жестоко смущавшийся, до краски, до слезы, если приходилось говорить. Тут набрался смелости, сказал. Его погодки одобрительно на него поглядывают, кивают. Ясней ясного: разговоры об орденах для них — мед, ребятки мечтают о подвигах и наградах. На той войне не досталось, зато теперь имеют шанс. Какой шанс? Ведь на войне, помимо того, что дают правительственные награды, еще и убивают.

Что касательно меня, то я предпочел бы остаться без нового орденочка, лишь бы не воевать. Но воевать надо, и потому надо готовить к этому и солдат и себя. Прикидываю: что сказать, чтобы извлечь из этой беседы, из сшибки трех мнений, выгоду для меня как ротного командира? Говорю:

— Товарищи! Если партия и правительство поставят перед советскими Вооруженными Силами благородную цель — разгромить милитаристскую Японию, освободить порабощенные народы Азии и приблизить мир во всем мире, то... — период большой, как у Льва Толстого, и я делаю передых,— то наш долг, товарищи, выполнить ее! Но к боевым действиям необходимо готовиться, нельзя недооценивать противника. Поэтому требую отнестись к занятиям по-настоящему!

Все молчат: я вступил в беседу довольно неожиданно. Только сержант Симоненко, парторг роты, произносит:

— Товарищ лейтенант, коммунисты и комсомольцы покажут пример.

— Надеюсь,— отвечаю я и думаю: «Спасибо, парторг. Ты вовремя поддержал меня». Знаю: к нему прислушиваются, он мужик авторитетный. Говорит редко, но веско. Дай бог.

Мне кажется: я удачно повернул разговор, да что там — насобачился. И одновременно понимаю: в моей тираде привкус лицемерия, мне не хочется ехать на Дальний Восток и воевать с самураями. Действительно, выискались на нашу голову. Однако от реальности не схоронишься.

Давайте без растерянности и расстроенности. Будем воевать, коль надо. На совесть воевать будем.

Вероятно, я все-таки умру от старых ран. В преклонном возрасте. В госпитале для инвалидов Отечественной войны, есть такие. Впрочем, какой же я инвалид? Я умру от старых ран у себя дома.

Я подошел к приоткрытой двери, отвел ее пошире. Посвежело. Я поежился. Смеркалось. Небо потемнело, загустело, на востоке оно было в дымке, на западе — в лиловых и розовых полосах. Леса почернели и как бы отодались, силуэты отдельных деревьев, столбов, построек, жавшихся к железной дороге, — рельефные, врезанные в небо. Кое-где в окнах светились огоньки. Кончилась война — кончилась светомаскировка. И в Москве теперь половодье огней, как до войны. Проедем через Москву или нет? По всему, должны проехать. А в дальневосточных городах введут светомаскировку? Либо уже ввели? И когда начнется война, та, японская? Когда — об этом попробуй у Верховного Главнокомандующего, у генералиссимуса. Он тебе доверительно сообщит, лейтенанту Глушкову.

Сумерки плотнились, искры вырывались из паровозной топки, гасли на лету, в черноте. Ее, черноту, не могли побороть ни паровозные искры, ни оранжевая луна, взошедшая над лесом, ни фонарь «летучая мышь», подвешенный в теплушке, на стояке нар. Чернота обволакивала леса и поля, эшелон, теплушку и меня, Глушкова. И хотелось вырваться из тьмы, окупиться в утренний, нарождающийся свет, в теплый, животворящий свет.

Рядом встал сержант Симоненко. Затянулся папиросой, предложил: — Папироску, товарищ лейтенант?

— Благодарю, недавно курил.

Симоненко могуче, с хлюпом затягивался, огонек, разгораясь, освещал его крутой лоб, крупный рот, вздернутый нос, щеточку усов. Симоненко внушительно проговорил:

— Товарищ лейтенант! Я планирую провести открытое партсобрание. Об авангардной роли коммунистов и комсомольцев в занятиях по боевой подготовке. Как относитесь?

— Положительно. Согласуйте с гвардии старшим лейтенантом Трушиным.

— С замполитом утрясем!

Сержант Симоненко настойчив, целеустремлен. За что возьмется — доведет до завершения. Взятся за занятия — не отступится. Это дельно, это мне подмога.

За спиной — захлебывающиеся переливы аккордеона, пенье с придыханием, с выкаблучиванием:

Мы с тобой случайно в жизни встретились,
Оттого так странно разошлись...

Так, так. Ефрейтор Свиридов. Солист Большого театра Лемешев! Король цыганской эстрады Козин! Очередное танго, сладчайшая, сиропная грусть. Уж впрямь лучше бы победные марши наяривал.

Не говори, я знаю все, что ты мне скажешь,
Ведь ты не можешь ничем помочь...

Бог ты мой, запасы этой музыкальной продукции у солиста-короля ефрейтора Свиридова, вероятно, неограниченные. Сколько он продемонстрирует ее до Читы, Хабаровска, Владивостока или куда там мы едем? Он меня утопит в этой музыке!

— Исполнялось танго «Не говори»,— с достоинством молвит Свиридов.

«Не говори и не пой!» Так и подмывает это сказать, но сдерживаюсь, соплю. В конце концов набор душещипательных танго — не худшее для меня проявление дорожной, сладкой жизни, о которой толковал Свиридов.

Мое сопение Симоненко истолковывает по-своему. Он сочувственно спрашивает:

- Простыли маленько, товарищ лейтенант?
- М-да... На сквознячке, видать.
- Зачем же тут стоите?
- Да ничего, я немного...

Луна вскарабкалась повыше, уменьшилась, побледнела. Проступили звезды. Обозначился Млечный Путь. Обозначился и наш путь — мой и моих однополчан: колятся рельсы на огромном, необозримом расстоянии километр за километром, ночью они блещут под луной, днем под солнцем. А в конце этого пути — выгрузка, марш и бой. Наверное, так будет выглядеть. По крайней мере хорошо, что путь нам обозначен. Хуже нет неизвестности.

Последние часы мы на германской земле. Вряд ли когда еще доведется побывать здесь. Да, по совести, и стремления нет. Может, оно и любопытно взглянуть через десяток лет, что станется с Германией, куда она пойдет, как будут вести себя немцы. Да уж больно соскучился по родной стране, по русским людям, по русскому духу, по русской березе! Буду жить в России безвыездно! Ну, а немцы должны же чему-нибудь научиться на уроках минувшей войны. Я употребляю слово «минувшая», как будто та война была давно и далеко. Видимо, это оттого, что новая война на пороге. А та, с немцами, была совсем недавно и в краях, где мы едем и где еще проедем.

И внезапно вспоминаю себя таким, как Вадик Нестеров и его погодки. Примерно таким — на войну ехал, отслужив полтора годика действительной. Боец был побывалей, постарше, чем они. Но доверчив, не испорчен, житейски неопытен, как и они, сгрудившиеся на нарах у двери, — читают книги и газеты, играют в крохотные дорожные шахматы. Культурная публика! Я говорю Вадик потому, что Нестеров сам так назвался, когда старшина спросил, как его зовут. Колбаковский обрезал новичка:

— Что еще это за Вадик? Детский сад, пеленки-распашонки... В армии ты Вадим, понял?

Хотел я отложить до другого раза, а вот — вспомнил сейчас. Было так, было. В городе Лиде нашу часть погрузили в эшелоны и повезли к границе, где началась война. Еще не вошло в обиход слово «фронт», и говорили просто — туда. Вот и ехали мы туда, так же стучали колеса, так же шел по земле июнь, а эшелон шел навстречу войне, война — навстречу ему. Старослужащие раздобыли на стоянке бутылку самогона, пили, пели, угощали меня: «Вкуси хоть перед войной, какой он есть, первач, а то ухлопают и не попробуешь. Баб небось тоже не пробовал?» Я краснел, отказывался от стакана, глядел в раскрытую дверь теплушки на зажелтевшие пшеничные поля. — ох, и тучная была пшеница летом сорок первого года! Четыре года назад я двигался к войне, которая двигалась ко мне сама. Ныне двигаюсь — вместе с мальчишками — навстречу войне, как бы стоящей на месте. Потом она придет в движение, и мы должны будем повернуть это движение вспять, прочь от наших границ. Мы — в том числе и я и мальчишки. Ах, мальчишки, мальчишки, знаете ли вы, что через три часа после отправления из Лиды эшелон бомбили и обстреливали «мессершмитты»? Они вылетели из-за облака, спикировали на паровоз, эшелон остановился, потом снова дернулся. «Мессеры» про-

шлись над составом на бреющем и раз, и другой, и третий. Мы ссыпались из теплушек, отбежали в пшеницу, залегли. Рвались бомбы и снаряды, стучали авиационные пушки и пулеметы, горели вагоны, горела пшеница. Знаете ли вы, что, когда улетели «мессеры», из лесу выползли фашистские танки, их гул затопил все ложбины, все ямки, куда мы спрятались? У нас на троих была одна винтовка, трехлинейная, образца 1891/1930 года. Не знаете, мальчижи? И хорошо, что не знаете. Это грустное начало истории, которая впоследствии бывала и довеселей и которая растянулась на четыре года. Я надеюсь, что в а ш а война начнется для вас и для меня по-иному. Хотя на любой войне стреляют и, следовательно, убивают.

Луна играла в прятки, показываясь то слева, то справа от эшелона. А когда я забрался на нары, она появилась в оконце и не уходила, будто привязанная. Ее слабый, призрачный свет ложился на лицо, на руки, чудилось, что кожа осязает его холодность, мертвенность. Я укрылся с головой — старая фронтовая привычка, так можно быстро надышать тепла, угреться. Но сейчас этого не требовалось. Стало душно, я отбросил одеяло. Ворочался с боку на бок, сворачивался калачиком, выпрямлялся.

Вагон мало-помалу угомонился. Посапывали, подхрапывали, всех заглушал переливчатый, забористый, ямщицкий храп старшины Колбаковского, он, ей-богу, шевелил волосы на моем затылке. На нижних нарах жалобно, по-детски постанывали во сне. За столом клевал носом дневальный — пацан пацаном, пухлогубый; в семнадцать лет спится здорово, в двадцать три — уже маешься. Снизу подпирали крутые, ядерные запахи спящих людей, махры, ружейного масла, портянок, обернутых для просушки вокруг голенищ. Букет моей бабушки!

Не спалось, по-видимому, оттого, что день прожит насыщенный, мевнявший дальнейшее житье-бытье. В самом деле: прошлой ночью спали в немецком городке, этой — спим в воинском эшелоне, который увозит нас за тридцать земель, в неизвестные места. Точно, места неизвестные, а вот что будем там делать — знаем. И это тоже, вероятно, отгоняло сон. А может, потому маялся, что рядом не было женщины, к чьему присутствию привык? Да ладно, что ж о них, о женщинах...

Изворочавшись, заснул, и сразу замельтешило: ординарец Драчев со своей фистулой: «Тревога!», прощание с Эрной, походная кклонна, посадка, генералы на перроне, Свиридов с аккордеоном, елки у полотна, сержант-самоходчик с завитым чубом, обожженные, будто сведенные судорогой, неподвижные черты нашего железного, без нервов, комбата, Вадик Нестеров: «Не отстанем от фронтовиков, не посраим чести...» Затем закрутилось: переправа на Немане, разнесенный снарядом плотник, сносимый течением, зияющее жерло «пантеры» в засаде, голое поле, в центре которого неподобранный раненый: «Братцы, не бросайте», зарево над Борисовом, изломанный, взрытый бомбами березняк, мертвый солдат в изодранной осколками шинели, уставившийся незрячими глазами в небо, — безмянный рядовой войны, бегущий на меня немец, ощеренный, с автоматом у живота... А затем смешалось — послевоенное и военное, эта мешанина образов и картин то вертелась, как в хорсводе, го замедляла свое верчение, иногда останавливалась на секунду — как фокадр, — и вновь мельтешило.

Я очнулся оттого, что старшина тряс меня за плечо:

— Лейтенант, лейтенант! Ты что, очумел?

— А в чем дело? — спросил я, зевая во всю пасть.

— Он еще спрашивает! Лупит куда попадя... Очумел, что ли?

— Извини, — сказал я. — Сонный, это бывает...

— Извиняю, товарищ лейтенант. Но деретесь и лягаетесь вы ну все

равно как бешеный.— Колбаковский смягчился, снова на «вы».— Я уж подумал: не сводит ли, часом, лейтенант счеты?

— С кем?

— Со мной. Мы ж с вами, в бытность вашу взводным, не шибко дружили.

— Дружили не дружили, а счетов с тобой у меня нет,— сказал я.— Еще раз извиняюсь за сонное буйство.

— Да чего там, ничего,— сказал Колбаковский, тем не менее отодвигаясь так, что между нами поместился бы еще человек.— Спокойной ночи, товарищ лейтенант!

Пробудился я от выстрелов и крика: «Тревога! В ружье!» Не тотчас сообразил, что это не во сне, а наяву. Рывком поднялся, подхватил с гвоздя гимнастерку. Солдаты одевались, прыгивали на пол, натягивали сапоги, разбирали оружие из пирамиды. Дневальный суетился у нар, у стола: «Тревога! В ружье!» В стенку вагона снаружи дубасили и приглушенно кричали: «Тревога! Быстро выходи!» Эшелон стоял. На путях слышались неразборчивые крики и стрельба.

На воле было прохладно и сыро, может, поэтому меня одолевал озноб. Расстегнув кобуру пистолета, я приказал бойцам залечь в канаве неподалеку от эшелона. То же делали и бойцы из остальных теплушек. Оставив за себя Колбаковского, я побежал к штабному вагону. Стрельба прекратилась, крики стали реже. Прочертила кровавый след и погасла сигнальная ракета. Кто кому дает сигнал, что вообще стряслось? И где мы — в Германии или Литве?

У штабного вагона, где собрались командиры подразделений, выяснилось: бандиты разобрали рельсы, машинист вовремя затормозил, остановив состав метров за пятьдесят,— и тут мы были обстреляны из лесу. Ответным огнем часовых на тормозных площадках бандиты были рассеяны, потерь у нас нет, путь будет отремонтирован. Комбат приказал объявить отбой тревоги.

Но мы еще проканителелись часа полтора, прежде чем поехали. И часа полтора обсуждали происшествие. Поскольку мы уже пересекали литовскую территорию, сошлись на том, что эшелон обстрелян «лесными братьями», местными националистами. Нашлись такие, кто был здесь недавно, и подтвердили: националисты бандитствуют, нападают на партийных и советских работников, на небольшие группы наших солдат, по ночам устраивают диверсии на дорогах. Толя Кулагин рассказал, что и на Западной Украине националисты не утихомирились: гитлеровцы драпанули, а бандеровцы остались, лютовали, Советской Армии пришлось сражаться с ними, головорезами.

— А все одно им будет капут,— сказал Головастик.— Как их хожувам...

На том и порешили и отошли ко сну — споро, как по команде. После происшествия и я уснул, как в омут канул. Хотя сновидения не оставили меня в покое.

10

Я проснулся с сознанием: стоим. В раскрытую настежь дверь врываются солнце, ветер, голоса. В теплушке никого не было. Один я валялся, засоня. Сунул ноги в бриджи, в сапоги — и вниз в маечке, с всклокоченной шевелюрой. Спрыгнул на гравий, и сразу же, словно мгновенные токи матушки-земли, вошла в меня радость, от ступней хлынула в голову. У вагона простодушно, ласково улыбался дневальный:

— Доброе утро, товарищ лейтенант.

— Утро доброе,— ответил я, улыбаясь.

Поигрывая голыми плечами, баловался зарядкой, поглядывал. Было раннее утро, солнышко алело над головным вагоном — паровоз отцеплен, меняется поездная бригада, — трава, ветки, рельсы в росе; на станции несколько эшелонов — и нашего полка, и чужие; мои ребята плескались у водогрейки и у теплушки: оголенные по пояс, одни поливали другим из котелка, те намыливались, фыркали, требовали: лей, не жалей! Подскочил Драчев — с полотенцем, мыльницей, зубной щеткой:

— Товарищ лейтенант, разрешите туалет?

— Дозволяю, Миша.

Драчев расплылся: Мишей я его кличу нечасто. А мне хотелось сказать ординарцу еще что-нибудь доброе, приветное. Не нашелся, проговорил:

— Побриться бы, Миша.

— Организуем, товарищ лейтенант!

— Как спалось?

— Лучше всех, товарищ лейтенант! Солдатский сон сладкий. Ровно бабонька в соку.

В последнее время Драчев стал заливать о женщинах — назойливо, игриво, мне это не нравится, но я ему ничего не говорю.

— А вы как спочивали?

— На четыре с плюсом, — ответил я, понимая, что и настроение потому отличное, что выспался, голова ясная и легкая, что мои мышцы бугрятся, что мне всего-навсего двадцать три, что я на польской земле и на меня посматривают польские красавицы. Да, все-таки свернули на Польшу. Их было вдоволь, полячек, — на пристанционном базарчике, подле теплушек и платформ. В сарафанах и ситцевых платьицах, с лентами в волосах, большеглазые, голосистые, приткие, они продавали и выменивали съестное на трофейные вещи, а то и просто любезничали с солдатами, иногда рискованно. Русская и польская речь, восклицания, смех, визг. Нет, что ни говори, паненки — народ отчаянный. Они поглядывают на меня, я — на них. Однако в разговор не вступаю. Зато мои солдатики упиваются. Драчев и тот ухитряется, поливая мне на руки, задевать проходящих полек.

— Драчев, пожалуйста, лей как следует.

— Виноват, товарищ лейтенант!.. Ух ты, лапушка, кохана, поедем с нами! Боишься, рыбочка? А ты не бойсь, не съедим...

Он льет мимо моих рук. Но я молчу, только вздыхаю притворно. Да улыбаюсь — сам себе. Паненки — прелесть, и солдатиков не удержать. Ну и пусть порезвятся — до удара станционного колокола, до паровозного свистка. У меня безоблачно на душе, радостно, и я не сомневаюсь: сегодняшний мой день будет состоять из удач.

Ефрейтор Свиридов, собрав толпу, рвет меха аккордеона, безбожно фальшивит и не конфузится, бойко наигрывает про знойную Аргентину. Спасибо хоть не поет. Но я ошибся. Кончив про Аргентину, Свиридов заводит новое танго, которое мы не слыхивали:

Мой милый друг, к чему все объясненья?
Ведь понял я: не любишь больше, нет...

Полячки окружают великого исполнителя благодарные, растроганные, размагниченные, он купается в этих чувствах, от удовольствия жмурится. Мне смешно, однако я не подаю вида. Артисту нужны слушатели, а слушателям — артист. Пускай он ублажит польских красавиц, не одним нам наслаждаться!

Замечаю, что полячка — девчушка, лет шестнадцать, застиранная кофта и юбка из немецкой плащ-палатки, — рассматривает не мое лицо,

а грудь. Прослеживаю за ее взглядом и непроизвольно прикрываю розовато-синий шрам. Смущаюсь? Долбануло осколком здорово, ключицу перебило, боевая рана — гордиться нужно, не смущаться. И я отвожу ладонь.

Это мое первое ранение, бой — седьмой по счету. В июле сорок первого. Намного восточнее Лиды. А первый бой был ненамного западнее Лиды, когда «мессеры» разбомбили эшелон и танки с белыми крестами на черных бортах выползли из лесу. Я подло, первобытно трусил. Танки прошли дальше, большаком, а к нам, приминая стебли пшеницы, побежали автоматчики, батальонный комиссар взмахнул наганом: «За мной, в рукопашную!» Я увидел немцев и со страху кинулся на ближайшего, ударил его штыком — из трех человек винтовкой владел в тот момент я. В этом рукопашном бою и сгинул мой дремучий, мохнатый страх. Потом если и боялся, то уже не так. Разумиете, пани?

Я улыбнулся, побрился, обтерся смоченной в одеколоне ваткой. Надел гимнастерку с орденами и медалями, фуражку — не пилотку! Любуйтесь, пани. Но полюбоваться досыта моими наградами милые полячки не смогли: подцепленный паровоз загудел к отправлению, зашипели тормоза. Старшина Колбаковский еле управился затащить в теплушку термосы с завтраком. Солдаты поспешно лезли на лесенку. Последним, козырнув женщинам, молодецки, на ходу сел я. Полячки махали нам платками, поляки — шляпами, мы им пилотками, а комсостав, как я, — фуражками. Не зря я таскал в вещмешке по боям да госпиталям фуражечку с лакированным козырчком. Сгодились разлюбезная.

Повесил фуражку на гвоздь, уселся за стол — место у меня наипочетное, во главе стола — так сиживал в Германии на офицерских обедах командир полка. Котелки расставлены, ложки извлечены из вещевых мешков, из нагрудных карманов, из-за голенищ. Каспийский рыбак Логачев, медвежеватый, рябой, с приплюснутой, будто вдавленной, переносцей, отвинтил крышку термоса, подал половник Колбаковскому:

— Товарищ старшина, вам разводящий...

Колбаковский ни с того ни с сего набычился, обрезал Логачева:

— Кто я, мальчик на побегушках? Умники, старшина обязан им раскладывать по порциям: заелись, разленились, разболтались... Раскладывай, Логачев!

Каспийский рыбак с недоумением оглянулся, будто ища поддержки, цокнул языком и подтянул рукава гимнастерки:

— Оправдаем доверие...

На фронте, до Германии, дележка супа, каши, хлеба, табака, сахара была священнодействием, которое доверялось не встречному-поперечному, а лишь безукоризненно честному, проверенному; находились желающие, ловкачи всякие, да не выгорало у них. Теперь же никто не желает братья за дележку — жизнь посытней, повольготней, как заявил старшина: заелись. Старшина не в духе, это явно.

Логачев раскладывал кашу-размазю небрежно, на глазок, на загорелых мускулистых руках — татуировка: звездочки, якоря, спасательные круги, русалки; да он весь в наколках — на плечах, спине, груди и, простите, на заднице. Лично зрел в бане: на ягодицах у Логачева наколото — кошка гонится за мышкой, мышка ныряет куда положено; когда Логачев передвигался, ягодицы ходили туда-сюда, иллюзион: кошка бежит, мышка ныряет. Я его спросил: «Ты не блатной?» — «Никак нет, на спор наколол, учудил». — «Да уж учудил. Как жене показываешься?» — «Привыкла. А вот ежели баба посторонняя...» Кроме татуировок, на Логачеве было полно бело-розовых и синеватых

шрамов. Впрочем, на любом фронтовике узришь в бане эти рубцы — отметины войны. И на моем брэнном теле их хватает.

Солдаты разобрали котелки и пайки хлеба. Я зачертнул ложкой перловки, проглотил — суха, дерет, повар огиать поскаредничал с маслом. Миша Драчев сказал со значением:

— Приятного аппетита, товарищ лейтенант!

— А тебе волчьего,— ответил я и вспомнил, как сострил на офицерском обеде и как досталось мне на орехи от начальника штаба за ту невинную остроту.

А значение в свои слова ординарец, надо полагать, вкладывал такое: «Отказались от выпивона, а сухая ложка горло скребст, известно». Точно: когда Миша предлагал отведать раздобытой на остановке польской водки, я сказал:

— Спасибо, не буду. И тебе не советую.

— Да втихаря, товарищ лейтенант.

— С этим в принципе кончать надо.

Драчев похлопал ресницами, запрятал флягу в вещмешок, в величайшей задумчивости перевязал мешочную горловину. Задумчивость эту можно было расценить так: что с лейтенантом, в здравом ли уме и памяти? Едва не рассмеявшись, я сел за стол.

Отзавтракав, затабачили — дыму невпроворот, топор вешай. Всю откатили дверь, и тут струей затащило в теплушку шального воробья. Сперва не разобрали, что это воробей,— что-то серенькое, копошащееся, чирикающее. Незванный гость бил крылышками под потолком, кидался грудью на стенку. Свиридов накрыл его пилоткой, взял в руки:

— Разбойник! Безбилетником едешь?

— А мы что, с билетами? — сказал Кулагин глубокомысленно.— Осторожней лапай, раздавишь птаху...

— Мы едем за счет государства,— сказал сержант Симоненко.— А с птицей надо уметь обращаться. Дай-ка сюда воробьишку.

Воробей вызвал бурное оживание. Все хотели посмотреть на птичку, потрогать ее, погладить. Кулагин сказал:

— Залапаете, робя.

Сержант Симоненко отвел тянувшиеся руки:

— Воробьишком команду я. Не замайте. Нехай успокоит нервы, как сердечко-то прыгает... После накормим...

Ему подчинились. Симоненко покормил воробья хлебными крошками, перловкой, напоил из блюдечка и сказал:

— Теперь гуляй до хаты? Согласен? Правильное твое решение, товарищ горобец!

Он подошел к двери и на повороте, где сбрасывалась скорость, разжал пальцы — воробей чирикнул и упорхнул.

Визит польского воробья, неотличимого от немецкого и русского, обсуждали с такой же обстоятельностью, как и стати полячек, ночное нападение на эшелон и будущую войну, к которой мы доберемся через всю советскую страну. Я вслушивался в беседы и не мог уловить, что же главное в них, на поверку — все темы важны для солдат. И я внутренне улыбался этому своему выводу.

В оконце — плавные линии пологих холмов, речушек, озер. Поля, поля. Пшеница, овес, свекла, картошка, горох. Полосы, полоски, полосочки. Ну, и чересполосица, единоличное хозяйствование! Сахарный заводик и мельница у реки, деревня со стареньким костелом, с приземистыми домишками под соломой и камышом — все целое, гнали немцев классно, в день по сорок километров, не давая закрепиться. В деревне на крышах, на колесах, венчающих столбы,— большие круглые гнезда из прутьев, в гнездах черно-белые голенастые аисты. Те самые,

что приносят детей. Ребенком я спросил у мамы, откуда берутся дети, и она ответила: аисты приносят в клюве. А какие они, аисты? Ни в Москве, ни в Подмоскowie этих птиц не было. Воробьи были. Сколько хочешь. Так для меня и осталось невыясненным, откуда же берутся дети.

Сегодня о войне рассуждали солиднее, без крайностей — воевать, мол, надо, значит, и будем воевать не абы как. Только старшина Колбаковский непреклонен:

— Пропади они пропадом, войны! На той уберегся, на этой срубят кочан. Чую: кочанов там нарубают!

Парторг Симоненко принялся объяснять Колбаковскому разницу между войной захватнической и войной освободительной. Старшина взбеленился:

— Я политически грамотный! Ученого учить — портить!.. А кочан свой терять — увольте, у меня он в единственном числе!

Настала пора вмешаться, и я сказал:

— Старшина, что за пессимизм? Хвост пистолетом!

Солдаты засмеялись. Колбаковский надулся и — как в рот воды набрал. Что и требовалось доказать. Потому лучше молчать, чем сеять смуту. Старшина — человек в роте влиятельный, и если гнет не ту дугу — скверно. Далась ему эти капустные сравнения. Срубят кочан, то есть голову... Не исключено, конечно. И по-человечески Колбаковского понять можно. Но нужно и понимать: командир далеко не всегда вправе обнажать свое, сокровенное перед подчиненными, кое-что и упрятать поглубже не мешает. Все в тех же интересах службы.

Я мог бы оборвать Колбаковского. Но, во-первых, кругом были солдаты и, во-вторых, у меня было отличное настроение, и поэтому я облек замечание в мягкую, шутивную форму. А результат получился тот же! Одним словом, педагогика. Доморошенная, армейская, но — педагогика. Жаль, что порой забываю об этой науке и сгоряча ломаю дровишки.

Солдаты беседуют, полеживая на нарах в вольных позах, узбек Рахматуллаев шутит: «Ай, как на курорте!» Действительно курорт. Эдак, при безделье, начнем толстеть, набирать килограммы. В Ростове-на-Дону говорят: «Отчего казак гладок? Поел — да на бок». Правильно говорят в Ростове.

За сутки солдаты обжили вагон, как дом родной, и всем им удобно, привольно. О, в этом они мастаки! Основательный, в четыре наката, немецкий блиндаж, наша легкомысленная, на соплях, землянка, шалашик из еловых ветвей, натянутая на колышках плащ-палатка — все обживалось моментально, надежно и прочно. Да что там! Куча лапника под открытым небом, на одну полу шинели лег, вторую на себя, стрелковая ячейка или окопчик — разложил гранаты, свернул сигарку, и уже порядок. И что характерно — все это осваивалось, обживалось так, точно солдату предстояло жить здесь тысячу лет. Наверное, эта домовитость крепко пособила нам выстоять.

Ребята перекидываются словесами, табачат, травят анекдоты, кто-то насвистывает, кто-то уже дает храповицкого. Головастиков, небритый, непричесанный, скрестив по-турецки ноги, поет: «Хороша я, хороша, да бедно я одета... Никто замуж не берет девицу за это». На скуластом, заросшем щетиной лице — неподдельная скорбь, будто он и есть девица, которую не берут замуж. Еще певун вылупился — это не беда, а вот что в щетине — непорядок. Вообще Головастиков не любит бриться, и мы со старшиной ведем против него борьбу на этом фронте. И сейчас я говорю:

— Товарищ Головастиков, почему не побрились на остановке?

— Не уложился в регламент... Да и на кой бриться, ежели сызнава обрассешь?

Головастиков не шибко образован, но иногда вкрапляет в свою речь заковыристые словечки вроде «регламента». Я говорю:

— Отставить пререкания. На следующей остановке побриться.

Говорю мягко, без командирской повелительности. Вероятно, поэтому Головастиков отвечает с небрежением, с ленцой:

— Есть побриться, товарищ лейтенант...

Старшина сверху рывкает:

— Доберусь я до тебя, Головастиков!

Это так неожиданно, что на секунду воцаряется молчание, а затем все смеются. Помешкав, смеется и Колбаковский. Но и сквозь смех добавляет:

— Воин-победитель, а внешний вид — тьфу! Ужо доберусь до тебя, Головастиков!

На остановке Головастиков извлекает из латаного-перелатаного вещмешка помазок, мыло, опасную бритву, а я бегу к штабному вагону узнать насчет занятий. Узнаю: политзанятий по японцам нынче не будет, не готов материал, начнутся завтра или послезавтра, пока же организуйте текущую политинформацию, читку газет, занятия по уставам, по матчасти оружия. Здесь же Трушин вручает мне пачку газет, и мы вместе с ним топаем к своим вагонам. По тону, каким мне сказали о занятиях по уставам и матчасти, понятно: для проформы, чтобы заполнить время. Прикидываю в уме, что выбрать для чтения из уставов — о дисциплине, об обязанностях дневального, часового и что-нибудь еще, что нужно в дороге. Уж если занятия проводить, так без дураков. Или вовсе не проводить.

Состав трогается, останавливается, снова трогается, ползет по-черепаши. Босоногая ребятня на косогоре прощально машет картами и косынками, и дневальный — у кругляка — помахивает им пилоткой. Косогор усеян мальвой, дикой гвоздикой, колокольчиками. По проселку пылит ребристая повозка с одной оглоблей, и лошадь одна, второй нету, некомплект. Возница, усатый, в домотканой рубашке, нахлестывает лошадку кнутом. Сержант Симоненко с неодобрением замечает:

— Не бережет поляк тягло.

Наконец паровоз расходится, теплушку раскачивает. Сержант Симоненко оповещает:

— Приступаем к политической информации!

Шелестя страницами «Правды», парторг чигает, по-украински смягчая букву «г», сообщения газетных корреспондентов и ТАСС — это и есть политинформация. Заметки разные: о полевых работах, восстановлении шахты, задувке домны, строительстве завода, — они восхваляют бывших фронтовиков, ставших замечательными тружениками, и не заикаются о близкой войне. Ну, ясней ясного: военная тайна и страна не ведает ничего, живет мирным трудом.

— Вопросы имеются, товарищи?

— Имеются! Товарищ сержант, треба разжуваты: живой Гитлер чи сдох? Врешут всяко...

Симоненко рассказывает, что Гитлер со своей любовницей Евой Браун отравился, их полусожженные трупы нашли в бункере имперской канцелярии, но якобы — по сообщениям западной прессы — объявился где-то двойник Гитлера, кто из них настоящий? Тот, который врезал дуба.

— Товарищ парторг, а верно, что Рузвельта тайно прикончили сами американцы, которые фашизму сочувствовали?

Этот вопрос, заданный Вадиком Нестеровым, и вовсе не по теме политической информации, однако Симоненко отвечает и на него. В том смысле, что Рузвельт скончался от болезни, от старости, так сказать, естественным образом.

Луч солнца проскакивает в дверь, отражается от большого овального зеркала, присобаченного на стояке, — заботы старшины Колбаковского, чтобы бойцы могли осмотреть себя, свой «внешний вид», да и для бритья удобнее, — зайчиками дробится по стенке. Ловлю себя на стремлении поохотиться на них и улыбаюсь: пацан во мне еще не умер. Несмотря на то, что его насильственно умертвляли — до срока. Живуч!

Дав передохнуть, покурить и побалагурить, объявляю о занятиях по изучению уставов. Мальчики встречают это с готовностью, ветераны — без малейшего намека на нее. В теплушку заносит то ли сладковатый, то ли горьковатый запах разнотравья. Повалиться на травке — в охотку. Да и на раструженном по нарам сенце — сойдет. Но я ставляю солдат сесть, и они сидят — за столом и на нарах.

Раздельно, прямо-таки чеканя, читаю по красным, в матерчатом переплете книжкам. В вагоне тихо, под полом отчетливо, чугунно выстукивают колеса. И храп, раздавшийся в закуточке, отчетлив. Я прерываю чтение.

— Это кто там почивает? Покажись, покажись! Логачеев? А ну-ка, товарищ Логачеев, повторите нам обязанности дневального по роте.

Каспийский рыбак трет кулаком скулы, подбородок, мямлит невнятное.

— Смелей, смелей, товарищ Логачеев! Расскажите нам, а мы слушаем.

Солдаты прыскают, прячась за спинами соседей. И мне смешно, но я с напускной строгостью говорю:

— Не стесняйтесь. Пожалуйста, пожалуйста.

— Дык, товарищ лейтенант... — произносит Логачеев и умолкает.

— Товарищ Нестеров, повторите вы.

Вадик отчеканивает про обязанности дневального по роте не хуже, чем я. Смущенный, взволнованный, ест меня глазами.

— Молодец, Нестеров! А вы, Логачеев... — Мне становится его жалко. — Товарищ Логачеев, будьте внимательны на занятиях... Пошли дальше!

Читаю и зорко слежу, чтоб не кемарили, то есть не дрыхли. Как у кого глаза сонливо помутнеют, я прошу его повторить прочитанное. Это действует, солдаты стараются запомнить то, что им читается. Не обходится без курьезов. Кулагин порывается подсказывать, а когда его вызываю — молчит: забыл. Если вызываю сидящих за столом и на нижних нарах, они встают, те, что на верхних нарах, остаются сидеть. Но вот выкликаю Свиридова, и он вскакивает, стучается затылком об потолок. Называю фамилию Головастикова, а встают и он и Рахматуллаев: оказывается, узбек перепутал, померещилось, что его вызвали, неужто фамилии схожи? И опять смешки, смешки. Настроение у солдат, как и у меня, легкое, ребячливое. Но делу время, потехе — час. и я веду занятия до обеда.

Обед. Перекур. И — занятия по изучению материальной части стрелкового оружия. Тут потруднее. Новички еще туда-сюда, не сачкуют, а с фронтовиками беда: спят сидя и с открытыми глазами! Да и то: обед сытный, располагающий к отдохновению, а тактико-технические данные автомата, его устройство, взаимодействие частей они знают не понаслышке, в бою опробовано. Поэтому когда я, прочитав по наставлению и показав части, спрашиваю кого-нибудь из ветеранов, блестящий ответ обеспечен. Нужно лишь, чтобы ветеран встрепенулся

и смикитил, что от него требуется. Короче: разобрать и собрать ППШ им раз плюнуть. Но давать блестящие ответы фронтовикам скучно, потому что все эти матчасти учены и переучены. Мне самому становится скучновато, однако, напирая на новичков, занятия довожу до конца.

Как бы то ни было, а с учебой день прошел незаметней. Тороплю время? Да иногда хочется, чтоб оно бежало резвей, иногда же задумаешься: не терпится снова услышать, как стреляют боевыми патронами и снарядами? Вообще я устроен так, что как бы рвусь в будущее: сегодня это, а что завтра? Что послезавтра? Скорей бы дожить до послезавтра! Наверное, к старости пожалею о том, что поторапливал время. А будет ли она, старость? То есть доживу ли до нее? Тем более не резонно подгонять время. А вот — подгоняю.

Закат багровый, к ветру. Ветры сопутствуют эшелону в Германии, Литве, Польше. Будут они и в России. Но закаты в России не должны быть такие багровые, они будут помягче, поспокойней. Пусть и ветер будет потише. А разнотравье бередит душу. Валки скошенной травы, вянувшей под солнцем, пахнут медовыми пряниками. Городской житель, я пью этот деревенский запах взахлеб, как запах детства. Пора сенокоса. Косу я не держал в жизни ни разу. Лишь видел: сверкало лезвие косы и скошенная трава волнистыми рядами ложилась у ног косца. Лишь слышал: вжик, вжик — и весь мир наполнялся этим звуком.

Внутренность теплушки словно горит от зоревго света. При нем читать плохо, но солдаты лежат и сидят с газетами. Сколько ни проводи политинформаций и бесед, а каждый норовит сам прочесть газету, подумать над прочитанным, переварить самостоятельно. И я так же. Но в эти минуты не читается. Я смотрю то в оконце, то — наискось — в приоткрытую дверь.

Скоро Белоруссия, а там и собственно Россия, смоленская сторона. Пока же — польская чересполосица, польские леса, польские деревни с ухоженными кладбищами на отшибе; есть деревни целые, есть сожженные. Сожженные — это если был бой или если немецкие факельщики подожгли при отступлении. Целые — это если гитлеровцы драпали без оглядки, боясь окружения: после Сталинграда «котлы» страшили их.

Среди таких же вот сгоревших и та, которая называлась Пыльный Островчик. Островчик — плешь, безлесный пятачок в сосняке, Пыльный — почва супесчаная, пыльная. Полили Островчикову пыль русской кровушкой, полили. На карте возле деревни не значилось шоссе, на местности — была; по-видимому, ее проложили недавно. Немецкие самоходки оседлали это шоссе у Пыльного Островчика и не давали полку продвинуться. Три приданные «тридцатьчетверки» сунулись, «фердинанды» их подожгли. Приказ из полка: обойти деревню, атаковать с флангов. Двинули в обход, сосняком: наш батальон слева, второй справа, третий предпринимал фронтальные атаки — ложные, чтобы отвлечь противника. Но обдурить немцев не просто. Тем паче, что стало неким шаблоном: демонстрация атаки по фронту, основной же удар по флангам. Немцы и под Пыльным Островчиком раскусили этот маневр. Перед третьим батальоном они оставили роту и два «фердинанда», остальных автоматчиков и самоходки перетащили на фланги и в тыл. И потому обход у нас не вытанцовывался. Но снова и снова повторяли этот маневр. Артиллеристы вступили в дуэль с «фердинандами» — без особого успеха, ибо самоходки маневрировали по шоссе, увертывались, заходили в лес, били из засад. И опять тот же маневр... Командиром полка был рыжеватый рябой майор, властный, горячий, сумасбродный грузин. Он носился на

белом жеребце из батальона в батальон, кричал, требовал, размахивал пистолетом, сулил трибунал, подымал за собой цепь в атаку. А проку не было. На «эмке» приехал разгневанный комдив, по телефону позвонил еще более разгневанный командарм. Майора отстранили от должности, и едва командир дивизии отбыл с НП, там разорвался снаряд самоходного орудия и разжалованный майор был убит наповал. Командование принял офицер оперативного отделения дивизионного штаба, наш нынешний комполка. А на окраине Пыльного Островника, которым мы все-таки овладели к исходу дня, вырыли поместительную братскую могилу. Отдельно, на взгорке, похоронили майора-грузина...

Да, честно признаюсь: я устал от войны. Даже от воспоминаний о ней устал. Потому что война — штука тяжелая и кровавая. Впрочем, не совсем так. О войне можно вспоминать по-разному: на ней были и свои радости, какие-то светлые, возвышенные минуты. Ну, например — как нас встречали поляки. Это незабываемо! Так вот: отчего бы не вспоминать о приятном, о радостном? День у меня нынче удачный, настроение отличное, зачем же отравлять его? Я буду вспоминать о радостном.

Как нас встречали поляки? Бардзо добже! Очень хорошо! Все население выходило на дороги, к неперменным статуям святой девы Марии. Улыбки, слова благодарности, цветы, угощения — для освободителей. Проклятья — ушедшим немцам. Понятно: Гитлер намордовал поляков. Правда, были и немецкие пособники, они косились, и польские власти их подчищали. Были и такие — приходу нашему рады и в то же время насторожены: «У нас Советы будут? Колхозы?» — боялись колхозов. Мы отвечали: наша миссия освободить Польшу от фашизма, что у вас будет — сами решите, в ваши внутренние проблемы не вмешиваемся, и насчет колхозов сами решайте. Ну, а в целом народ встречал нас открыто, любовно, по-братски. Полячки вертелись вокруг наших офицеров. А те — откуда что взялось — вмиг научились любезничать по-польски: «Целую ручки». Хотя иной предпочел бы пошуровать за пазухой. Но — нельзя, держи марку, воин-освободитель. Ругаться и то стали пятью этажами ниже, по-польски: «До холеры ясной». Не ругательство, а лепет. Но опять же — марка. Впрочем, мы находили общий язык — и с полячками и с поляками. Теплота была необычайная.

Сейчас этой теплоты поубавилось, вернее — она потеряла свою первоначальность, что ли. По-моему, естественно. Не может же радость (как и скорбь) гореть одним и тем же накалом, время изменяет степень накала. Сути — не изменит, потому что поляки навечно сохраняют в памяти дни освобождения своей родины. А мы никогда не забудем, как пробивались к Польше, как несли ей свободу.

Все это высокие понятия, а попроще: сегодняшняя сцена. На стихийно возникшем подле эшелона рыночке пан торгуется с нашим солдатом, выменивая сало на трофейный фонарик. Солдат просит кус побольше, пан предлагает кус поменьше, солдат чешет затылок, крикает — давай, где наше не пропадало, — отдает фонарик, но пан вдруг сует ему большой кусок: «Вшистко едно» — «Все равно». Солдат в свою очередь добавляет к фонарику немецкий перочинный нож. Словом, широта и благородство двух договаривающихся сторон!

И еще радостное воспоминание о Польше: здесь, на стыке с Белоруссией, едва-едва перешли границу, начальник политотдела дивизии вручил мне партбилет. На марше, на большом привале. Наконец-то переведен из кандидатов в члены партии! Никак не получалось: только соберу рекомендации, начну оформлять — бац, ранен, эвакуируют, все накрывается. Пожимая мне руку и поздравляя со вступлением в члены Коммунистической партии, полковник сказал: «Этой чести вы,

говарищ Глушков, удостоены за то, что преданы Родине, бесстрашно сражаются за нее. Сейчас это определяющее. Другие же качества большевика вам еще предстоит в полном объеме воспитать в себе. Вы меня поняли?» Да, я понял полковника. Я далек от идеала коммуниста. Но шел к нему и иду. Иногда оступаясь. Из-за молодой резвости и дури.

А в кандидаты ВКП(б) я вступал под Ржевом. Был лютый мороз, в заиндевавшем, заснеженном бору постреливали деревья. Принимая от секретаря парткомиссии кандидатскую карточку, я знал, что завтра здесь будут стрелять не одни деревья...

Когда командир полка вручил мне медаль «За отвагу», я радовался так, как не радовался ни одной из последующих наград, включая ордена. Медаль носил, выпятив грудь, ночью, просыпаясь, гладил серебряный кружок, будто хотел удостовериться, что медаль при мне.

День складывался определенно удачный. Не покидала приподнятость. А тут еще комбат похвалил. На остановке, где получали ужин, он забрался в нашу теплушку, морщась от боли. Походил, опираясь на палочку, по вагону, поворошил сено на нарах, заглянул под нижние нары, взял из пирамиды автомат, проверил, чист ли канал ствола, и остался доволен:

— Молодцы, поддерживаете порядок. И — чтоб ни одного отставшего!

— Будем стараться, товарищ капитан.

— Старайся, Глушков! — Комбат улыбнулся, но стянувшие лицо рубцы были неподвижны, об улыбке можно было догадаться лишь по подобранным глазам.

Стоянка была долгая-предолгая. Мы поужинали, вымыли посуду, кто улегся отдыхать, кто вылез побродить. Я прогуливался у вагонов с Трушиным, беседовал на отвлеченную тему — о роли личности в истории. Вот — Трушин: сам же поругивал меня за философствование, а тут затеял собеседование, умствует. Трушин философствовал: пора пересмотреть этот вопрос, массы массами, но, видимо, решает все личность, я вяло возражал: марксизм трактует так, что массы творят историю, — спорить не было запала. И вдруг Трушин конкретизировал разговор:

— А о чем говорит пример Ивана Грозного или Петра Великого в отечественной истории? Или Наполеона во Франции? У нас же Ленин и Сталин... Гениальный ум, железная воля, твердая рука — и за ними идут, им подчиняются народы! Разве не так?

Я призадумался. Сказал:

— На этот счет существуют известные положения марксизма-ленинизма.

— Наше учение — не застывшая догма, оно развивается, обогащается. Что-то устаревает, что-то привносится. Разве Сталин своими трудами не двигает дальше марксизм-ленинизм, не развивает его в новых исторических условиях?

— Двигает. Развивает. Но куда еще никто не отменил этого положения — историю делают массы. Это официальная установка. И, признаться, не пойму, как твое мнение может не совпадать с ней?

— А кто тебе сказал, что не совпадает? Не отрывай теорию от практики, теория без практики мертва! — Трушин усмехнулся, шерба-тинка обнажилась во рту вызывающе и загадочно.

Я развел руками, хотел заспорить и тут увидел Головастика. Солдат шел от толкучки, от базарчика, кренясь из стороны в сторону. Еще до того, как стало видно его красное, распаренное лицо, выпучен-

ные, словно побелевшие глаза и бессмысленная улыбка на толстых обветренных губах, я уразумел: пьян. Мы быстро переглянулись с Трушиным. Он проворчал:

— Вот тебе личность, с которой можно влипнуть в историю.

Пошатываясь, Головастиков приблизился к нам, приложил пятерню к голове, на которой не было пилотки, икнул и сказал:

— Здравия желаю, товарищи офицеры.

Я глядел на солдата, готовый съесть его с потрохами. Трушин смотрел на меня, Головастиков — на него: наши взгляды бежали как бы по кругу, один вслед другому. Негодуя, я решил, что же предпринять с Головастиковым: водворить его в теплушку или немедленно отвести на гауптвахту в хвосте поезда? Трушин сказал:

— Единоначальник, прояви железную волю и твердый характер!

Возможно, я бы проявил эти завидные качества, если б не прицепили паровоз. Проканителиться с этой гауптвахтой — отстанешь от эшелона, чего доброго. Отрывисто, по-командирски я приказал:

— Головастиков, марш в вагон!

— Ну, пжаласта... Я что?

Он опять козырнул, едва не упав, повернулся по-уставному, через левое плечо, и начал хвататься за лесенку. Трушин укоризненно пожевал губами и направился к своей теплушке, а я подтолкнул Головастикова не весьма вежливо:

— Живо залезай!

— Ну, пжаласта... Я что?.. Ик...

В вагоне Головастиков плюхнулся на скамейку, тарачился, идиотски улыбался. Я подошел к нему вплотную и крикнул:

— Вста-ать!

Солдат попробовал приподняться. Теплушку дернуло, и он упал на скамью. Кто-то прыснул, но это, может быть, и в действительности смешное падение окончательно взбесило меня:

— Вста-ать, говорю!

— Пжаласта... Товарищ лейтенант... Я ничего... С этой войной всю пьянку запустил.

Я схватил его за шиворот и поставил на ноги. Прощедил:

— Как же тебе не стыдно, Головастиков? Где же твоя совесть?

Головастиков покачнулся, икнул и сказал зло, яростно:

— Ты что меня сволочишь, лейтенант? На твои пью? А ежели душа горит? Ты что лезешь?

Еще минута, и я потеряю самообладание и случится непоправимое — ударю Головастикова. А он шагнул ко мне:

— Не сволочи, лейтенант! Не то схлопочешь!

И замахнулся. Я поймал его за руку, оттолкнул, приказал:

— Свиридов и Логачеев, связать его!

Свиридов и Логачеев — первые, попавшиеся на глаза. Они безо всякого рвения, вразвалку подошли к Головастикову, встали по бокам, занялись уговорами:

— Ты что, Филипп? Спятил? Не буянь! Ну, выпил маленько, с кем не бывает... Так ложись, проспись...

— Убью всех, зарежу! — заорал Головастиков и рванулся, но Логачеев со Свиридовым надели на него, скрутили, связали руки за спиной ремнем.

— Положите его на нары, — сказал я.

Головастиков извивался, пытался вскочить, сучил сапогами, страшно ругался.

— Свяжите ему ноги.

Однако и после этого Головастиков не успокоился. Бился головой о нары, пускал слюну, хрипел:

— Стервы, суки... Всех убью, зарежу... И Фроську убью, зарежу... Сука, гуляет... Зарежу... В бога мать...

— Засуньте ему кляп,— сказал я, и только потом Головастикова утихомирился.

11

Вот так удачный день! Шло как по маслу, а закончилось препаскудно. Дрожь не унимается, во рту сохнет. И поташнивает от всего того, что приключилось. И ощущение: нечто липучее, постыдное, как сыпь от дурной болезни, оставило на мне след то, что сделал Головастикова, и то, что сделал я. Пакость, мерзость, гадость!

Похвалил комбат — за порядок. Да-а, порядочек в роте. И все из-за водки. Пропади она пропадом, кровь сатаны, как называют ее католики. Чепе! Солдат напился, замахнулся на меня, офицера. И я хватал его за шиворот, чуть не ударил, приказывал вязать, засовывать кляп. Противно. А ведь и сам господин офицер изволили выпивать, больше того — перекладывать, выделять фокусы. Так имею ли моральное право вершить скорый суд? Имею не имею, а приходится вершить. Если не моральное, то должностное право есть. А одно без другого много ли стоит?

Самое для меня тягостное в этом происшествии — не будем именовать его чрезвычайным, спокойнее, спокойнее, лейтенант Глушков,— я вновь уловил какую-то разобщенность между нами. Текучее, без цвета, вкуса и запаха, проскальзывает, обособляя, отчуждая каждого от всех и всех от каждого. Или это плод богатого воображения? Нет, воображение здесь ни при чем. За себя ручаюсь: я это улавливаю. В том, что солдат замахнулся на офицера,— на фронте такое было немислимо. В том, что офицер едва не ударил солдата.— прежде такое тоже не представлялось мне возможным. В том, что Логачев и Свиридов выполняли мое приказание связать Головастикова неохотно, как по принудилровке,— этих ребят я знал другими, ловившими мои команды на лету. Меняются люди, меняюсь и я.

Бессонница наваливалась, как сон,— намертво пеленая, стягивая пути. Но когда наваливается сон, ты засыпаешь, будто тонешь в омуте, а при бессоннице — взвинчиваешься, бодреешь, чувствуешь, будто все время всплываешь на поверхность.

Я маялся, ворочался, отстраняясь от месяца и от станционных фонарей, возникавших в окошке. На станциях под вагоном бубнили осмотрщики, хрустел гравий под сапогами, раздавалась нерусская речь, при движении теплушка скрипела, охала, жаловалась. На свою судьбу жаловался и Головастикова, когда я приказал развязать его, вытащить кляп. Солдат плакал пьяными горячими слезами, укорял беспутную жену Фросю, что крутила подолом в тылу, пока он воевал на фронте, шмурыгал носом и наконец уснул. Заснули и остальные, пообсуждав происшествие. Я не прислушивался к тому, что они говорили. Старшина Колбаковский придвинулся ко мне, зычно сказал в ухо:

— Не расстраивайтесь, товарищ лейтенант! Это он спьяну, сдуру. Проспится — жалеть будет, извиняться...

— Спице, старшина,— сказал я.— Спокойной ночи.

— Спокойной ночи, товарищ лейтенант. Не переживайте! Завтра мы устроим продир Головастикова, не возрадуется, бисов сын...

Он отодвинулся, лег на бок и мгновенно храпанул. А я лежал с открытыми глазами и терзался бессонницей и мыслями. Мне было плохо, очень плохо. Так меня, пожалуй, еще никогда не обижали. Да и себя я так никогда не обижал. Сознание этой двойной, растравляемой мною обиды прожигало, как раскаленная проволочка фанерку.

В детстве баловался этим. Выжигал цветы, зверей, птиц. Мама восхищалась, в школе одобряли, показывали на районной выставке самодеятельного творчества. Творец! Пустая забава, зряшная трата времени. Одно извинение — что мальчишкой был.

Я повернулся, лег ничком — и увидел перед собой лицо Эрны. Из зыбучего сумрака проступали ее продолговатые блестящие глаза — возле моих глаз, ее пухлые податливые губы — возле моих губ, руками я ощутил ее худенькое податливое тело. Подумал: «Эрна худенькая, а колени у нее полные, их я когда-то невзначай тронул». Сказал шепотом: «Эрна, ты откуда появилась?» — «Ты не рад?» — Она тоже шептала. — Если не рад, я уйду...»

Не успел ответить, как Эрна исчезла. Передо мной — подушка, вагонная стенка, сумрак, блики фонарей. А я был рад появлению Эрны, честное слово! Она мне нужна, без нее одиноко, тоскливо. Было же давно-давно, несколько суток назад: я пробирался к ней в комнату, и все дневные заботы и огорчения отступали. А сейчас, когда она пришла и ушла, огорчения и обиды стали еще горше. Как мне не хватает Эрны! И я еду все дальше и дальше от нее.

Еду и еду. И кажется, не будет скончания этому пути. И неизвестно, когда он начался. Вроде всю жизнь еду. Всю жизнь стучат колеса, мелькают фонари, храпят на нарах солдаты и дневальный, уронив голову на руки, дремлет за столом. Мерещится: и на том свете буду трястись в теплушке. Когда умру. А когда? Через тридцать, сорок дней? Или через тридцать, сорок лет? И как умру — от пули, упав в атаке на жесткую, сухую землю, смоченную моей кровью, царапая в предсмертной агонии полынные стебли, либо мирно скончаюсь в постели, окруженный домочадцами, детьми и внуками, с горшком под кроватью и с тумбочкой, заставленной лекарствами? А разве не все равно? Не все равно! Я хочу жить. Я должен посмотреть, какой все-таки она станет, жизнь на земле, когда кончится последняя из войн, та, на которую мы едем.

Сна нет. На нарах чертовски жестко, то бок отлежишь, то спину. Надо встать, размяться, заодно — покурю.

Я спрыгнул на холодный занозистый пол, пошлепал босиком к столу. Дневальный вскинул голову, испуганно спросил:

— Вы, товарищ лейтенант? Не спите?

— Сиди, сиди, — сказал я, закурил и подумал, что дневалить опять поставили из молоденьких, оседлали мальчиков; сделаю Колбавскому внушение.

Дневальный посматривал на меня, босоногого, в трусах, с папирсой, я — на него. Пацан наподобие Вадика Нестерова, фамилию его не могу вспомнить. Дневальный поправил красную повязку на рукаве, встал, извлек из угла веник и принялся подметать. Я докурил и забрался наверх. Головастики постанывал во сне. Отправить его на гауптвахту? В эшелоне имеется, предусмотрели, со всеми удобствами отсидит. А не худо бы и лейтенанта Глушкова водворить на «губу». Есть за что. Но, может, ни лейтенанта Глушкова не сажать, ни Головастика? Ограничиться внушением?

Головастикова я знаю мало. Он прибыл с пополнением незадолго до мальчиков. Пополнение было из маршевой роты, из госпитальных, подразболтанное. В бою Головастикова не видел, для меня бой — наилучшая проверка. Но имеет орден Славы, медали «За отвагу», «За боевые заслуги» — стало быть, воевал на совесть. Нынче воюет с ротным командиром — в мирные дни. Орденов и медалей за это не дают. Ну, не буду растравляться. В конце концов это эпизод, и не больше, и не стоит его раздувать, возводить в степень. Проглотить пилюлю — горькую? Все лекарства горькие.

Я изворочался, измаялся, стараясь гнать от себя мысли, а вышло — гнал сон. Черт побери, когда-то засыпал моментально, на марше ухитрялся спать, идешь ночью в колонне и на ходу спишь, остановишься — упадешь. А уж ежели выпить доводилось, то припухал мертвецки: из пушки не разбудишь. И когда сломался сон? Теперь и выпивка не всегда помогает, порой выпьешь — и наступает бессонье. Вот что значит молодость и старость. Разница между ними, как пропасть. Да неужели я сгар, что за вздор? Если б все это не было искренним, я бы сказал себе: кокетничаешь, Глушков. Но это было искренне и не кокетливо. Это было похуже.

Прожитое и пережитое давило, жгло, вытягивало жилы, ломало на дыбе. И всё — на мою долю. Ибо на мою долю выпало перенести войну. Может быть, для кого-то война прошла бесследно или легко, во мне же оставила глубокий след. Она и поныне не отпускает от себя, и бог знает, сколько еще не отпустит. А моральные муки, душевные, так сказать, терзания научись преодолевать — вот и весь сказ. Ничего иного не дано.

Я свесился с нар и позвал:

— Востриков!

Задремавший было дневальный вскочил, заполошно озираясь. Довольный, что вспомнил его фамилию, я повторил:

— Востриков! Востриков!

Он одернул гимнастерку, поправил пилотку, подошел к нарам:

— Слушаю, товарищ лейтенант!

А я не знал, что ему сказать. Нашелся, спросил:

— Ты из каких краев, Востриков?

— Из Кисловодска я, товарищ лейтенант.

— О, курортных мест житель!

— Так точно, товарищ лейтенант, — сказал Востриков и расплылся в неудержимой улыбке. Ее можно было расценить так: с самим ротным запросто беседует. А ротный для него шишка. Как для меня — командир полка.

Маленький, щуплый, с пробивающимися усиками, с широкими атласными бровями, он снизу вверх глядел на меня, и когда говорил, еле приметный кадык двигался по нежному, детскому горлу.

— А я родом москвич, Востриков.

— Ого! — Паренек посмотрел уважительно и — я не ошибаюсь — преданно. Наверняка это относилось к Москве, но чуточку — я ошибаюсь? — и ко мне. Все ж таки я командир роты, отец солдат, офицер-фронтовик, трижды орденосец — звучит? Из этого ряда я выбрал бы вот что: я Вострикову — как отец, он мне — как сын. Независимо от возраста и прочих анкетных данных.

— Ладно, Востриков, — сказал я. — Дневаль. А я задам храповицкого. Да, не забудь: когда пересечем границу, непременно меня разбуди.

— Слушаюсь, товарищ лейтенант! — сказал Востриков и отошел от нар.

И я малость успокоился. Как-никак пообщался с живой душой. А что, точно: он симпатичный парень, этот житель города-курорта Кисловодска. Кисловодск — Кислые Воды, нарзан, боржом, эссендуки. Хотя, pardon, боржом — из другой оперы, не на Кавминводах. Кавминводы — это Кавказские Минеральные Воды, группа курортов: Кисловодск, Железноводск, Эссендуки, Пятигорск. Вот так-то.

Географические извлечения из полудетских, из школьных познаний отвлекли меня, рассеяли, умиротворили. Зевнув, я деланно всхрапнул — чтобы дневальный Востриков удостоверился, что сплю.

Позже я уснул, словно полетел куда-то в бездну, в зияющую меж

скалами щель. Помню: летел, узнавал Дарьяльское ущелье, где никогда не был, и во сне боялся разбиться. Потом увидел себя бредущим по обочине суглининого проселка: винтовка висит на ремне на шее, как автомат, пыль похрустывает на зубах стеклом, саднит растертая сбившейся портянкой подошва. А потом спал глухо, без сновидений.

Под утро повторился первый сон: лечу в бездну, в Дарьяльское ущелье, перед самым дном его скалистым меня подхватывает ангел с крылышками, с нимбом, трясет за ляжку и что-то говорит. Я и пробудился от его голоса. Говорил Востриков, деликатно дотрагиваясь до моей волосатой ноги:

— Товарищ лейтенант! Товарищ лейтенант!

— Что тебе, Востриков?

— Границу переехали, остановка уже на нашей земле! Вы велели разбудить..

— Велел. Спасибо.

Я стал одеваться. Драчев завозился за Колбаковским, спросил спросонок:

— Подъем, товарищ лейтенант? Умываться?

— Лежи,— сказал я, но ординарец поднялся. И хотя мы с дневальным переговаривались тихонько, многие проснулись, начали натягивать гимнастерки.

— Слышь, границу переехали.

— Белоруссия! Как в довоенной песне пелось: «Белоруссия родная, Украина золотая..»

— Айда, полюбуемся на родину.

Я вылез из теплушки. Эшелон стоял на разъезде, жидко светилось окно будочки, паровоз пыхтел в гулкой тишине. Предутренняя свежесть забиралась под одежду, холодила. Мокли в росе шпалы, трава, кусты, небо над лесом зажелтело, будто подсвеченное огнями большого города. Так подсвечивалось небо заревом московских огней. Москва! Родной город, столица необъятной страны, на краешек которой я только что ступил. Но Москва далеко, и здесь, за лесом, горели не электрические огни — разгоралась робкая заря. Сумрак плавал над холмами, перелесками, проселком, речонкой в камышах, над опушкой, за которой отсечно вставала стена сосняка — словно польский пейзаж, никакого различия. А это уже было наше, белорусское, полесское!

Закурил, чтобы унялось волнение. Всё, как и на той стороне, а любишь эти холмы, перелески, леса, болота, проселки, озера и речки уже по-особому, кровно. Это трудно выразить словами. Просто глядишь вокруг, и геснится грудь, и вздохнешь украдкой, и улыбнешься втихомолку, и нахмуришься сурово. «Белоруссия родная, Украина золотая, ваше счастье молодое мы штыками стальными оградим...» Да, распевали перед войной, разлюбезная была строевая песня, маршировалось под нее отменно. Но Белоруссии и Украины мы не оградил, стальных штыков оказалось недостаточно, нужно было побольше танков и самолетов. Всего они натерпелись по завязку, западные республики. Часть вины мы с себя сняли тем, что освободили их от немцев. Какой ценою и для армии и для республик — вопрос другой. Немалой ценою, что там говорить. Петь легче, чем воевать.

В сумраке красными точками мигали сигарки и паниросы, красное око семафора не мигало. За насыпью громоздились какие-то руины, блестя застойная вода в бомбовых воронках. Иные теплушки были закрыты — народ еще спал, у иных, как у нашей, — толпились солдаты, разговаривали. Выделялся по-белорусски твердый говорок стрелочницы в резиновых сапогах, телогрейке и форменной фуражке; женщина объясняла, что отсюда до границы километров шестьдесят. Видать, границу мы проехали ночью, проспали, проспал и дневальный

Востриков. На границе наверняка была остановка. Жаль, но не переиграешь.

Как хотелось увидеть солдат в зеленых фуражках, прочувствовать миг, когда эшелон пересекал линию государственной границы! В сорок четвертом в Прибалтике, в Литве, я это прочувствовал. Тогда мы шли через границу на запад, сейчас возвратились через нее с запада. Покидали и вернулись. Мне запомнились Августовские леса, песчаная колея среди вековых сосен, хутора, хутора и — задичавшее пепелище там, где стояла в сорок первом году пограничная застава. Местные жители повели: пограничники на заставе погибли до единого, но не отступили; вооруженные винтовками, автоматами и пулеметами, они двое суток бились с противником, десятикратно превосходившим их по численности, пустившим в ход танки, авиацию, артиллерию, тяжелые минометы. Я и сам читал в конце войны, кажется, в «Красноармейце» или «Огоньке»: на всем протяжении границы от Баренцева до Черного моря ни одна застава не отошла без приказа, ни один пограничник не был убит выстрелом в спину, то есть никто не побежал от врага и каждый встретил смерть лицом к лицу. На всем протяжении западной границы! Вот кто такие ребята в зеленых фуражках. И мы отплатили за них, павших героев сорок первого. Пускай им будет пухом земля приграничья.

Циклопический глаз семафора мигнул, превратившись из красного в зеленый. Загудел паровоз, жалобно просигналил рожок. Поехали дальше.

Солдаты плюхались на нары — добирать сна. Я остался стоять у приоткрытой двери. Пахло пресной влагой, нефтью, полевыми цветами, паровозной гарью. Эшелон одолевал подъем, паровоз одышливо пыхтел, как бы сдвоенно дыша: пах-пах, пах-пах. Небосвод впереди, над урочищем, выжелтился, зарозовел. Да, да, здравствуй, отчизна. Вот настоящему и встретились после разлуки. В дивизионной газете были чьи-то стихи — мы уже в Германии, — а кончались стишки так: «Нам грустно, что вдали мы от России, и радостно, что от нее — вдали». Теперь я не вдали от России, и мне радостно, и никакой грусти! Радость была острой, терпкой, она забивала горечь, ощущавшуюся ночью почти на вкус. Эта горечь сразу не сгинет, погода она воскреснет — когда подмеркнет, потеряет новизну радость. А пока — радость была, плескалась у горла, просясь наружу добрым словом, песней или стихом. Да не мастак я на эти штуки, и ни к месту они: солдаты спят. Сколько солдаты недоспали за Великую Отечественную? И сколько еще недоспят, когда эшелон достигнет последней остановки?

Я — в своем законном закуточке у окна, наливавшегоса рассветной синью. Спать не сплю, так, забыть, порой уплотнявшееся, порой редевшее. В мозгу — кавардак: рельсы раскручиваются то как папирусные свитки, то как ленты воспоминаний, мелькают, сдвигаются во времени события и люди, переплетаются стук, грохот, вой. В висках и темени покалывает. На мгновение озаряет ясная, как вспышка, мысль: «Вот пограничники были стальные люди. Не то что я. Хотя и они состояли из костей и мяса. А нервов у них не было. Но, может, и были нервы». На мгновения же крепко засыпаю и пробуждаюсь от боли, раздражающей левую кисть. Смотрю на свет от «летучей мыши» — пальцы разбиты, в крови. Долбанул кулаком об стенку, дрался во сне. Хорошо, что старшина Колбаковский отодвигается от меня. Да-а, нервишки. Поистрепался Петя Глушков за Великую Отечественную.

Семнадцатилетние посматривали на меня сочувственно и уважительно, на Головастика — осуждающе. Ветераны на Головастика

не смотрели, сталкиваясь с моим взглядом, прятали глаза. Старшина на полном теноровом регистре внулал:

— Головастик ты, Головастик, дурья твоя башка! Эдак и под трибунал загремишь. Винись перед лейтенантом, бисов фулиган...

Головастиков сутулился у стола, над нетронутым котелком пшенки, лицо бледное, шея в бурых пятнах. Нерешительно поднялся, заплетаясь ногами, приблизился ко мне:

— Разрешите обратиться, товарищ лейтенант?

— Ну?

— Заради Христа простите меня, обормота... Нечистый попутал... Я в тверезости смиренный и выпимши не буяню... А тут попутало... З-за Фроськи все, з-за стервы... Блядует она... Ну, сердце закипело... Простите, товарищ лейтенант!

— Претензии к жене, а замахиваешься на меня... Учти, Головастиков,— сказал я, желая поскорей закончить это объяснение.— Ты грубейше нарушил воинскую дисциплину, но на первый случай ограничусь выговором. Объявляю тебе выговор! Повторится что-либо подобное — под арест, на губу. Или похлестче. Дошло?

— Дошло, товарищ лейтенант! Аж до печенок! Я и тверезый смиренный, и выпимши не буйный... Не повторится, товарищ лейтенант!

— И чтоб вообще не пил больше. Обещаешь?

По его лицу видел: не обещает. Я спросил:

— Так как насчет выпивок? Завяжешь?

— Завяжу, товарищ лейтенант. То ись попытаю...

«Ответик»,— подумал я и сказал нравоучительно:

— Не подведи себя, товарищей и меня. Всё.

Головастиков выдавил мучительную улыбку, вздохнул вроде бы с облегчением. Фронтвики вздохнули явно облегченно, от меня уже не отводили взгляда. Да и мальчики повеселели. Будто ничего дурного и не произошло вчера вечером и желательно обо всем позабыть быстрей. Но в том-то и загвоздка, что я это быстро не забуду, хоть расстарайся.

Разбитые пальцы побаливали, я их обернул носовым платком. Драчев приставал с индивидуальным пакетом, и я сдался, и он начал бинтовать мне руку, от усердия высунув кончик языка. «Перевязывает, как на фронте»,— подумал я и усмехнулся: боевая рана.

Солдаты допивали чай. Головастиков занялся кашей, его похлопывал по плечу Кулагин. Головастиков жевал, облизываясь. Свиридов кланчил у старшины аккордеон, но тот, приглядевшись ко мне, сказал:

— Замучил инструмент и личный состав. Сегодня передых. Будешь образцового поведения — завтра вручу.

— Карамба! — сказал Свиридов высокомерно.

— Что?

— По-испански проклятье, товарищ старшина.

— Кого ж ты проклинаешь?

— Никого в частности, товарищ старшина. Так, вообще... Но, промежду прочим, товарищ старшина, напрасно жметесь, это вас не украшает.

— Тебе б судить, что меня украшает! Но замечу тоже промежду прочим: будешь хамить — не видать инструмента как своих ушей.

— Я? Хамлю? Товарищ старшина, как можно... Что я, хамлет какой? — Театрально жестикулируя, Свиридов возвел очи к небу.— Просто крайне нуждаюсь в музыкальном сопровождении... Была не была — рискнем без него.— С придыханием, с ужимками пропел-прохрипел: — «Я понял все: я был не нужен...» Ту-ди, ту-ди, ту-ди, ту-дита, ту-дита, ту-дита... «Не нужен...» — Сказал: — Без музыкального сопровождения не пойдет.— Свернул толстенную, в два пальца, самокрутку из злейшей махры, выпустил сизое облако, от которого у меня запер-

шило в горле. Так что бабушка надвое сказала: что приемлемей — аккордеонные танго либо такая свирепая махорка.

Старшина невозмутимо спрятал аккордеон в футляр, поставил на нары. Сверху сказал Логачеву:

— А кто котелок будет мыть за тебя?

— И все-то вы засекаете, — сказал Логачев.

— Сверху видней! А ты давай, давай, мой котелок. Не забывай, Логачев: труд создал человека.

— А люди создали труд, — вставил Свиридов.

Старшина не принял шутки:

— Не мудри. Труд создал из обезьяны человека. Точка!

— Товарищ старшина, а вы воркотун. — Свиридов не унимался, хотя на физиономии — как маска: ни один мускул не дрогнет.

— Это как понять?

— Так: воркотун — значит ворчун.

— Ворчун, — согласился Колбаковский вполне добродушно. — С вами не поворчишь — на шею сядете, заездите.

Подвернулся Рахматуллаев, ослепил белейшими зубами:

— Ну, на вас далеко не уедешь: где сядешь, там и слезешь.

— И то, — Колбаковский согласился еще более добродушно, но глаза щелились, подрагивали брови — признак того, что старшина недоволен. Да и мне разговор не нравится: вышучивающий тон, высмеивание старшего и по должности и по возрасту, панибратство. Не припомню, чтоб прежде солдаты так разговаривали со старшиной роты. О его авторитете я обязан петься. И я сказал:

— Товарищ старшина, что у нас по распорядку дня?

Я хотел дать Колбаковскому повод пресечь это вышучивание, достойно выйти из неловкого разговора. А старшина расценил мою фразу как упрек, пустился в оправдания:

— По распорядку? Дня? Это самое... Политинформация, читка газет... Да вот заговорили меня, товарищ лейтенант, будь они неладны, разболтали старого...

Что старый — это верно. Вернее — стареющий. И потому дающий маху. Но какой педагог из лейтенанта Глушкова? Бывают хуже, да редко?

На очередной остановке меня отозвал гвардии старший лейтенант Трушин, спросил, указывая глазами на забинтованную кисть:

— Это в драке с Головастиковым?

— В драке? Ее не было, окстись!

— А что было? Замазываешь? Почему не докладываешь по команде?

— Не считаю целесообразным раздувать.

— Создаешь видимость благополучия? Чепе скрываешь? Очковтирательством занимаешься?

Трушин говорил сердито, пришепетывая, а я засмеялся: нелепо выглядяли эти обвинения. Трушин сказал:

— Оборжешься! Так что все-таки было?

— Был крупный разговор. Солдат осознал вину, наказан.

— Мера взыскания?

— Объявил ему выговор.

— Хо, разгильдяй, пьяница отделался легким испугом!

— Пусть так. Но ведь за один проступок дважды не наказывают...

— Хитер, хитер, Глушков. Тем не менее комбату я доложу, — сказал Трушин, а я подумал: «Кто ему «стукнул» про Головастикова? Ночью, что ли?»

Трушин верняком доложит комбату. Дойдет и до командира полка и его замполита. Могут потрясти мою душу, а могут оставить без

последствий. Все же мне сподручней разбираться, командиру роты. Я и разобрался, наказал, как посчитал нужным. За один проступок дважды не налагают взыскание. Если на кого-то еще и наложат, так на меня.

— А ты, Петро, гнилой либерал. Подыгрываешь подчиненным, всегда отличался этой слабинкой. Трусишь, что отомстит? Боишься пулю в спину получить в бою?

Это уже не смешно. Это глупо и злобно. И я сам разозлился, прошипел:

— Ты хоть мне и приятель, хоть мы и давненько знакомы, но я тебе скажу: ворочай мозгами, иначе получишь не пулю в спину, а кулаком по спине.

— Но-но,— миролюбиво сказал Трушин,— не сбрасывай со счетов, что я твоё начальство.

— Сброшу не со счетов, а с поезда, дуrolом!

— Разошелся. Псих ты, Петро!

— А ты дуrolом!

На гом и расстались.

Стычка с Трушиным почему-то меня не разволновала. Я позлился, позлился — и отошел. А обида на Головастикова и на себя сидела, как заноза. Выдернуть бы ее к чертям собачьим.

Эшелон тащился, беспрерывно останавливаясь. Словно нам давалась возможность попристальней взглядеться в то, что натворила война. Как будто мы не насмотрелись на это! А вот снова — пепелища, печные трубы посреди пустырей, развалины, руины, искромсанные воронками, траншеями и окопами поля, вывороченные с корнями деревья. Взорванные, разбитые городки, деревень почти нет — на их месте землянки, там и ютится народ.

Подъехали к Минску — коробки сожженных и разрушенных зданий, руины, руины. Где только живут люди в этом большом и мертвом городе? Но — живут! Дымят фабричные трубы, под гору катит трамвайчик, его обгоняет автобус, на тротуарах — пешеходы. Значит, город не мертв, не мертв. И в то же время что-то во мне саднит — вроде разочарования. Будто наверняка ожидал встречи с уже восстановленным, отстроенным Минском, а вижу те же развалины, что видел летом сорок четвертого. Разумом понимаю: чтобы восстановить разрушенное, потребуется не год. А сердце недоумевает: как же так, Победа, едем с войны, а тут такое? Многострадальный Минск! В начале войны немецкая авиация обрушила на него фугасные и зажигательные бомбы — налет за налетом. В сорок четвертом, отступая, немцы минировали и взрывали уцелевшие здания. А все-таки белорусская столица жива, и я наблюдаю, как в одном месте разбирают груды кирпича, в другом — закладывают фундамент нового дома.

На минском вокзале — кумачовые лозунги: «Горячий привет героям-освободителям!», «Беларусь низко кланяется доблестным советским воинам!», «Да здравствует непобедимая Советская Армия!» На перроне, на путях столпотворение: эшелоны, солдаты, гражданские, гвалт, песни, гармошечные переборы. У нашего вагона собирается толпа, в центре ее чумазый, оборванный мальчишка верещит срамные частушки:

Лейтенант, лейтенант —
Желтые сапожки!
Если девка не дает,
Попроси у кошки...

Солдаты, женщины и девушки, пожилые мужчины и подростки хохочут, оборванец верещит еще пронзительней. Солдаты его спрашивают:

— Ты откуда такой? Папка-мамка есть?

— Я беспризорник. Отца с матерью сгубили каратели... Закурить найдется?

Глаза у мальчишки зыркающие, бедовые, всего навидавшиеся.

Среди вокзального безудержного, хмельного веселья я замечаю старуху. Может, и не старуха, но морщинистая, изможденная, как будто больная, в черном платке, из-под которого выбиваются поседелые прядки. Она стоит, не двигаясь, а взгляд ее мечется, перескакивает с одного солдатского лица на другое. Я подхожу к ней, спрашиваю:

— Кого, мамаша, ищете? Родных, близких?

— Сынков ищут. Двое их, Кастусь и Петрусь...

— Что, должны проехать? Телеграмму отстучали?

— Убитые они. Кастусь под Бухарестом, Петрусь под Варшавой...

— Что, похоронки были? — спрашиваю я неизвестно для чего.

— Были, сынок, были.

«А сама ищет среди проезжающих», — думаю я, и мне становится не по себе. Неужелюбе поклонившись женщине, отхожу от нее. Что могу сказать ей, чем утешить? Что могу сделать для пацана-беспризорника, кроме того, что дал ему закурить? Понимаю: война будет долго кровенить души и судьбы — и после того, как отстроятся города и села.

Налетает ветер, взвихривает пыль, несет бумажки. Туча, словно сотканная из грязно-серых фабричных дымов, закрывает солнце. На-крапывает дождь, но минчане не расходятся. Столпотворение продолжается.

В Минске простояли часа два. Кое-кто из офицеров исхитрился съездить в город. Я не рискнул. Пока из роты еще никто не отстал, зачем же ротному быть первым? Упаси боже.

После Минска, где сержант Симоненко заполучил у Трушина свежие газеты, была политинформация. Затем — занятия по уставам и матчасти. Затем — обед. Я украдкой следил за Головастиковым. Он был оживленный, веселый. Однако веселился Головастиков рано, потому что на открытом партсобрании ему всыпали перцу. После обеда мы перебрались в вагон Трушина, три взвода в одной теплушке — в тесноте, да не в обиде. Замполит выступил с докладом, в котором напирал на необходимость со всей добросовестностью отнестись к занятиям, и в заключение обрушился на злостного нарушителя воинской дисциплины, порядка и организованности товарища Головастикова. Сменившие докладчика ораторы Симоненко и Колбаковский тоже надавали Головастикову по шеям. Солдат понурился, скучный, слинявший. Я некстати вспомнил женщину, искавшую на вокзале среди нас убитых за границей сынков, и мне стало жалковато Головастикова. Но я за него не вступился — с какой стати? — сказал лишь, что надеюсь: больше он подобного не допустит.

Поскольку особой активности на этом собрании не проявлялось, его провели за перегон, и на остановке мы перешли в свою теплушку.

А может же так сложиться: через двадцать, через тридцать лет встречу я с кем-нибудь из своих, из фронтовиков. Ну, допустим, с тем же Трушиным, или с Колбаковским, или с Логачевым, или со Свиридовым, или с кем иным. Сперва мы ахнем, обнимемся, уткнемся лицом в плечо друг другу и заплачем. А после будем сидеть в ресторане, пить водку и вспоминать, что с нами было на войне. И я никогда не вспомню о том, что чувствовал некую взаимную отчужденность, витавшую в теплушке воинского эшелона, номер которого уже не держался в памяти.

12

Мать и отчим

Ермолаев выпил рюмку, крякнул и, не закусывая, сказал:

— Хороша, но дорога.

Подцепил вилкой селедочный хвост, луковое перо, короткими сильными пальцами взял крутое яйцо, хлеб с маслом. Прожевал, снова опрокинул рюмку, крякнул и сказал:

— Дорога, но хороша. Диалектика!

— Не налегай на водку, — сказала Лидия Васильевна. — Нам же работать.

Ермолаев проглотил, почти не разжевав, кусок колбасы и благодушно засмеялся:

— Свою норму блюду — пара рюмашек. Ради воскресенья и ради хорошего настроения. А трудиться я готов, женушка. Как, Петя, потрудимся?

— Да, Алексей Алексеевич, — вежливо ответил Петя.

Они сидели на террасе, за клеенчатым столом, — тарелки, стаканы, на проволочной подставке попыхивал паром, постукивал крышкой электрический чайник. Терраса была недостроена, без стекол, беспрепятственно наполнилась солнечным светом, тенями веток, волглым воздухом, запахами земли, зелени, дымка от сжигаемых на соседней даче усохлых сучков. Соседи — работяги: утречко, на часах около восьми, а уже вкалывают. И солнце вкалывает: над лесом невысоко, а печет, нет спасенья. Вот лето нынче: днем жарит и жарит, к вечеру — ливень. Воздух влажный, тяжелый, дачная мягкая мебель, постели, одежда схвачены сыростью. Дышишь затрудненно, как бы толчками. Не Подмосковье — прямо субтропики.

Допивая кофе, Ермолаев пятками нашарил под столом слетевшие шлепанцы, без промаха сунул в них ноги. Лидия Васильевна сказала:

— Еще кофе?

Ермолаев накрыл чашку ладонью: «Мерси, мамочка» — и поднялся, расправил плечи. Был он невысок, плешив, голубоглаз — под цвет голубой трикотажной майке, которая обтягивала его мускулистое, смягченное слоем жирка тело. Он потягивался, разминал мышцы груди, спины и рук и одновременно шевелил пальцами в войлочных шлепанцах, ощущая в ногах мокрое тепло. Ей-богу, субтропики. А тепла хочется сухого, потому что некогда у него был нешуточный ревматизм. Давненько, правда, но кто поручится, что рецидив невозможен?

Ермолаев надел на голову сооруженную из газеты треуголку, скрестил руки на груди, распушил клочковатые брови и сказал:

— Наполеон при Аустерлице.

— Ладно уж, — сказал жена. — Бери лопату.

— Есть брать лопату, Лидочка! Ты со мной, Петя?

— Да, Алексей Алексеевич.

«Не хочет называть меня отцом, привык к своей безотцовщине, — подумал Ермолаев. — Ну, и я перестал звать его сыном. Что ж, Петя так Петя...»

Он подхватил лопату, сам себе скомандовал: «На пле-чо!» — и, ловким взмахом кинув ее на правое плечо, пошел в угол сада. Поблизости, за березовой изгородью, на грядке ковырялся сосед в полосатой пижаме и соломенной фермерской шляпе. Увидев Ермолаева, он разогнулся, блеснул очками, и Ермолаев привычно угадал: щурится и за стеклами очков, настолько близорукий. Сосед сказал:

— Доброе утро, голубь.

— Привет! — Ермолаев примерился к лопате. — Как спалось, Леонард Иванович?

— В лучшем виде. — Сосед снова склонился над грядкой, затюпал тяпкой.

«Доцент! С тяпочкой несподручно», — подумал Ермолаев и поплевал на руки.

Надо было прочистить сток от сарая до уличной канавы. Чтоб дождевая вода не застаивалась на участке. На часок работы.

Хекнув, Ермолаев вонзил лезвие лопаты в рыхлый, наносный грунт, поддел и отвалил кучку суглина. Хекнул и опять вонзил лопатой в грунт. Пальцы накрепко сжимали отполированную твердь черенка, переливались мышцы под жирком, ровно, не озабоченно стучало сердце. Над головой синело небо с пепельными облаками по горизонту, на краю поселка зеленел лес, а за лесом, вдалеке, дым валил из заводских труб, но сюда дым не доходил, таял в березовых и дубовых рощах. Лесной воздух — влажный, тяжелый, однако чистый, этого не отнимешь. Все-таки тут благодатно. И с землей возиться — благодать.

Оттого и веселость на душе, и сила в теле. Как будто давно и навсегда оторвался от канцелярского стола. А оторвался лишь вчера — и до понедельника. Сколь же любя ему дорога от Курского вокзала до поселка! Электричка погукивает, идя на проход, вагон резко покачивается, и за окном кружат поля и леса и мелькают дачные поселки. Ермолаев знает, что в этом поселке он увидит строящийся магазин — стропила торчат, как кости скелета, в том поселке увидит пруд, облепленный рыбаками, и вытопанную футбольную площадку с покосившимися воротами — на них накинуты рваные рыбацкие сети, в том поселке увидит на витрине аптеки рекламный плакат: девочка, улыбаясь, пьет из столовой ложки рыбий жир, она так довольна, что самому хочется отведать этого снадобья!

Субботний вечер он с женой и Петей просиживает на террасе, пьет чай с сахаром вприкуску, шелестит газетами, слушает птичье пенье и лягушиное кваканье, перемежаемое жеманными романсами Клавы Шульженко с участка напротив, через дорогу, — и не работает. Нисколечко. Работать — с воскресенья, с утра. Ложится он рано и засыпает мгновенно, и сны ему снятся приятные, развлекательные. То будто он выиграл по лотерее велосипед (куда его ставить, в доме и так два велосипеда), то — в него влюбилась девица (модная, расфуфыренная), не дает проходу, то — яблоки на участке уродились небывалые, с детской голову (в руках не удержишь, роняешь на пол). А сегодня привиделось: нет у него плешины, есть пышная, кудрявая шевелюра. Проснувшись, он поглаживал затылок и поймал себя на мысли: где мои молодые годы — и сразу развеселился, потому что к молодости возврата быть не может, закон природы, но приснится же такое забавное.

Ермолаев сгибал поясницу и разгибал, нажимая стопой на лопату, подхватывал суглинок и отбрасывал, и сток очищался, походил на маленькую траншею, и растревожная земля пахла парным молоком. На лбу выступил пот, щекоча стекал по щекам и за ушами, по шее, на губах — соленый привкус. А соскучившееся по труду тело требовало: еще, еще!

Он углубил сток, дойдя до улицы, до кювета и оставив небольшую перемычку у самой лужи. И, когда позволил Пете разрушить эту перемычку и зашагал вдоль стока, грязно-белая от застойной пены, словно замылившаяся вода побежала вслед за ним, как прирученная. А он глядел на нее сбоку, вдыхал запахи парного молока и думал: «Благодать!»

Затем Ермолаев обламывал и обрезал сухие ветки на сливах и яблоках, Петя сгребал их в кучу. Чиркнув спичкой, Ермолаев поджег, и за-

трещало, и вскинулось подбитое сизым дымом пламя. Затем, присев на корточки, начал обрывать усики у клубники, попадались спелые ягоды — их в корзиночку. Жена и пасынок тоже занялись клубникой, Лида разделась, осталась в лифчике и трусах.

С улицы прохожие, в большинстве свои парни-дачники, посматривали вверх заборчика на полные загорелые ноги жены, но она не стеснялась. Ермолаев усмехнулся и снял брюки и майку. Так-то лучше — в трусиках. Не столь жарко и подзагоришь, это полезно.

Клубничные кусты пластались на грядках — зелень листы в красных крапинах ягод. Пальцы скользили по шершавым прогретым листьям, ловили усики, пачкались зеленым. Прочь эти усики — чтоб не забирали себе животворящие соки. Он не удержался, сорвав мясистую клубничинку, — сунул в рот:

— Мамочка, не сердись: только одну!

Жена подняла голову и не ответила.

— А вторую Пете... Держи!

— Спасибо, Алексей Алексеевич.

Вежливый, аж некуда. А от ягоды будто повеяло лесной свежестью. Люба ему эта ягода, крупная сладкая клубника. И хочется заботливо ухаживать за ней, пусть растет, зреет, набирает силы, да здравствует живность. И когда отламывал или отпиливал ножовкой ненужные яблоням и сливам сучки, он думал о том же: помогаю живому, пускай себе зеленеет и плодоносит вся эта живность, любо ему помогать всем этим кустам и деревьям.

Кусты и деревья! По углам участка, как сторожевые вышки, высились матерые, развесистые березы, при раскорчевках сохранили и рябину с калиной — вокруг дачки; вот деляны с яблонями, вон — со сливами, по-над забором крыжовник — так называемый виноградный сорт, созревшие ягоды напоминают темно-красные виноградины. Труда вложено в это немало и еще будет вложено: оканываешь, рыхлишь, пропалываешь, удобряешь, подбеливаешь стволы, опыляешь, поливаешь, обрезаешь сухостой и чего еще ни делаешь. Но все оно — в радость, ибо общаешься с землей, с природой и как-то поспособляешь им. Живите, кусты, деревья, цветики, живите, птицы, лягушки, стрекозы!

Сосед в полосатой, арестантской пижаме помахал своей фермерской шляпой:

— Алексей Алексеич, на минутку!

Смахивая капельки пота с носа и блаженно потягиваясь, Ермолаев подошел к изгороди. Сосед поправил очки в золотой оправе.

— Бога ради извините, голубь. Совсем обеспамятел: в следующую субботу будем жеребиться.

— Есть жеребиться! — сказал Ермолаев. — Я свободен?

И уже на ходу рассмеялся: жеребиться — это значит будет жеребьевка, кому из членов кооператива когда получать трубы, жеребиться — ну и доцент, уморил.

Солнце поднималось к зениту, побелевшее от зноя. Горячие воздушные токи поднимались от земли, в них томились мухи-толстоголовки, убаюкивающе жужжали. За участком, в лесу, каркала одинокая ворона — без передыха, как заведенная: видать, одурела от жары. Зной приглушил все звуки — жужжание мух, радиоприемник на сопредельной даче, переключку грибников на опушке, железное воронье карканье.

Перед обедом Ермолаев решил наладить душ, что-то с рассеивателем, засорился? А искупаться не грех: жара, пот, грязь. Он притащил из сарая лестницу, забрался по ней наверх, открутил рассеиватель. Так и есть: поржавел, дырочки забиты ржавчиной. Прочистил их, прикрутил рассеиватель, набрал в бочку воды, повернул краник: струя преотличная!

Он сбросил с себя бумажную треуголку и трусы и нырнул под душ. Какое это было блаженство: прохладные, бодрящие струйки льются, колются, смывая пот и грязь, заново на свет нарождаешься.

— Ух, красотища!

Он ухал и крикал, намыливал земляничным мылом голову и телеса, смывал пену и снова мылился. А вода сыпала и сыпала сверху, как божья милость. В жаркий день такой душ — божья милость, безусловно.

Лидия Васильевна крикнула с грядки:

— Нароботался? Не рановато ли?

Он высунулся наполовину из-за фанеры:

— Нет, мамочка, в норме! И тебе пора, иди помойся, смой грехи!

— Ладно уж, — сказала жена. — Помоюсь.

Не вытеревшись, а промокнувшись полотенцем, обсыхая на крыльце в тенечке, Ермолаев смотрел на фанеру, и в неузком проеме ему виделась под душем нагая жена, смуглая, полная и еще крепкая. Он неторопливо и доброжелательно разглядывал ее и не волновался, ибо привык к ней. Как и она к нему, впрочем. По-своему он привык и к пасынку, и пасынок по-своему привык к нему.

После душа жена разогревала на плитке кастрюлю со щами, а Ермолаев сидел на террасе и наливал в рюмку водки. Рюмочку перед первым, рюмочку перед вторым — норма, остатки допьет перед отъездом, распределено. А есть мужики, которые не успокоятся, покуда не вылакают бутылку в один присест, не терплю пьяниц. Мера на что человеку дана?

Ермолаев двумя пальцами взял рюмку за ножку, но выпить не успел. С конца улицы донесся сиплый лай, шум, крики, неразборчивый голос:

— Бе... ше... ная...

Жена процокала каблуками по ступенькам, от калитки позвала:

— Алеша, подойди-ка сюда!

Он со вздохом поставил рюмку на стол и спустился с крыльца.

У калитки увидел: по щбенке, шарахаясь от луж, трусила собака, поодаль, пренебрегая лужами, трусила ребятня и мужчина с женщиной, и Ермолаев зачем-то отметил: мальчишки — в панамах, мужчина — в узбекской тюбетейке, женщина — простоволосая. А собака была неопределенной масти, рыжая, в светлых полосах, тощая, со свалывшейся шерстью. Вероятно, бездомная. Мальчишки свистели, улюлюкали, женщина вопила:

— Бешеная она, бешеная!

Ермолаев присмотрелся: язык вывален набок, хвост поджат, из оскаленной пасти — слюна. Жена схватила его локоть: «Да, сбесилась», а он подумал: «Пронесло бы эту собачину поскорей». Но собака, дотрусив до их забора, как нарочно, остановилась, присела на задние лапы. И толпа сразу остановилась, не подходила ближе.

Свалившиеся бока ходили под рыжей шерстью туда-сюда, с длинного языка текла слюна, капала на грудь, на лапы, собака низко опускала морду, крутила ею по сторонам, как бы ища кого-то. И Ермолаев наткнулся на этот взгляд. И у него внутри что-то екнуло: собачьи глаза были мутные, бессмысленные, не сулящие ничего доброго.

Мальчишки зашвыряли в собаку камнями, мужчина в узбекской тюбетейке заорал: «Пес самашедший, что ему камешки, из ружья надо!», сбежавшиеся к заборчикам на всех участках дачники кричали громко и беспорядочно, и громче остальных прокричал, как прокудахтал, ученый сосед:

— Алексей Алексеич, голубы! У вас же ружье, тащите!

И жена сказала:

— Неси малокалиберку.

— Что нести? — спросил Ермолаев и вторично встретился с мутными, бессмысленными, угрожающими глазами.

— Господи, что-что... Ружье неси!

— Не у меня одного ружье, и у других в поселке есть,— сказал Ермолаев.— Почему именно я должен?

— Я бы сама вынесла и выстрелила, если б могла обращаться с оружием!

— Резонно. С оружием нужно уметь обращаться, оно баловства не любит.

Ермолаев разговаривал с женой, косился на Петю — паренек растерян, мнется,— на соседа в пижаме, продолжавшего что-то выкрикивать, и мысли у Ермолаева были четкие, ясные. Вынесешь мелкокалиберку — придется ему стрелять в это животное. Не увлекает. Пусть другие тащат ружья и стреляют. А к тому же, возможно, собачина и не бешеная? Чего не примерещится с перепугу. И что скажет тогда хозяин, если собачина окажется не бездомной? Это не исключено.

Голыш угодил собаке в бок, она взвизгнула, залаяла, вскочила на лапы.

— Самашедшая! Ружье надо!

Сгорбившись, собака припустила между лужицами, убыстря бег, и за ней припустила толпа, заметно прибывшая, и все скрылись в лесу.

— Инцидент исчерпан,— сказал Ермолаев.— Пошли обедать, мамочка.

Жена молча повернула к даче.

Хлебая мясные щи, хрустя зажаренными в сухариках котлетами, Ермолаев думал: откуда принесло эту псину, не могла побежать не по нашей улице. Чуть весь воскресный настрой не изгадила. До сих пор осадок неприятный. Пасынок смущен и расстроен, Лидочка дуется, а с чего, собственно, дуться? Что он, обязан был сломать голову мчаться за ружьем и палить в эту бедную тварь? Слава богу, чем-чем, а жестокостью он не обладает. И к тому же отчего именно он, Ермолаев, должен был пристрелить собачину? Пускай доцент стреляет, а то лишь умеет близоруко щуриться за своими очками. Подначивать все мастаки, коснись же дела — отдуваться одному. Он уверен: у собаки имеется хозяин. Ну, а свяжись с поселковыми — жизни не возрадуешься, затаскают.

— Мамочка,— сказал Ермолаев.— Я уверен: собака не бешеная, просто замордовали, затюкали, довели до такого состояния...

Жена не отвечала, гремела кастрюлями, тазами. Ну, погреми, погреми.

Ермолаев работал челюстями, по временам промокая носовым платком росинки пота, обмахиваясь треуголкой. И чем больше он насыщался, тем спокойней становилось на душе, неприятный осадок таял, и когда Ермолаев принялся класть себе в рот клубничины в сливках,— осадок вовсе растаял, как и не бывал.

После обеда он помогал жене вытирать посуду, убирать со стола. Жена прилегла на тахте вздремнуть. Петя читал книгу, а Ермолаев пошелестел «Известиями» — забавно пишут про пиратов, и женщины были пиратами, надо же,— поразгадывал викторину в «Огоньке». Веки слипались, но спать ни-ни, зажиреешь, и так нелишне бы спустить парочку килограммчиков. Женщинам можно полнеть, мужчинам — ни-ни.

Ермолаев протяжно, с хряском зевнул и встал. Нет, нужно приняться за работу, иначе скинешь. Он порылся в столярном ящике, разыскал молоток, гвозди, подхватил стремянку и пошел к сараю. Нужно прибить край толевого листа — оторвался, при дожде крыша протечет. А в сарае дрова, кой-какое барахлишко по мелочи.

Ермолаев приспособил лестницу у стенки и, держа гвозди в зубах, полез по ступенькам.

Бойко стучал молоток, гвозди входили в доску беспрепятственно, вкусно. На лицо Ермолаеву падали то кружевные тени от березы, то прямые лучи солнца. Стояла еще жара, но что-то в ней, послеобеденной, было на изломе, нет-нет и сквозил ветерок с лесных болот — как предвестник вечерней свежести. Пегие тучи роились по небу, старательно обходя солнечный шар.

Вколотив последний гвоздь, Ермолаев не тотчас слез со стремянки, некоторое время смотрел вниз, на участок. Хорошо, что он настоял на своем. Когда в тресте записывали на садовые участки, Лидочка воспротивилась: зачем нам, возни уйма. Он сказал: повозимся, зато будет местечко, где сможем отдохнуть от Москвы. И что же? Втянулась Лидочка, нравится ей теперь на даче. Ну, а о нем и толковать нет нужды. Не все, конечно, еще в норме, дачка недостроена, ограду бы сменить. Достроят, сменят. Всему свой черед.

Спустился с лестницы, глубоко вдохнул. Да, всему свой черед: сейчас и вздремнуть не возбраняется.

В комнате у зеркала причесывалась заспанная жена. Он лег на место, теплое ее теплом, и захрапел. Спал крепко, без снов: они снились по ночам. Пробудился через часок, взглянул на ходики: пять сорок. Скоро собираться — и на электричку.

— Мамочка, доброе утро! Сыпанул на совесть!

— Мамочка, а книга интересная, прочти,— сказал Петя.

Ермолаев усмехнулся: иногда оба так называют Лиду.

Он сел на скамейку подле крылечка, почесал грудь, живот, пошевелил пальцами в шлепанцах. С улицы позвали:

— Лидия Васильевна!

Жена выглянула с террасы:

— Марья Дмитриевна?

— Новости есть!

— Какие?

— Собака... та, бешеная, что пробегала здесь, укусила-таки... Ребенка! Девочку Агеевых, с семнадцатого участка, знаете? Белобрысенькая, с бантом...

— Знаю. Куда укусила? — сказала жена деревянно.

— За ножку. Плакала бедняжка ужасно.

— И что же дальше с девочкой?

— Повезли в больницу.

Ермолаев спросил:

— Марья Дмитриевна, а собаку-то хоть убили?

— Убили.

— Наконец-то,— сказал Ермолаев.— Не избежала смерти, окаянная. А девочку вылечат.

Дачница, сообщавшая про девочку, перешла к следующему участку, позвала хозяйку:

— Софья Николаевна!

— Что там?

— Новости есть...

Жена гремела тарелками и стеклянными банками, хлопала дверью. Стараясь не повстречаться с ней взглядом, Ермолаев сказал:

— Я отчего-то уверен: девочке ничто не угрожает. На легковушку — и в поликлинику. А там — укол против бешенства, и порядок... Болезненные уколы, это верно, не научилась еще медицина колоть без боли... По-терпит кроха, поплачет, зато будет здоровенькая...

На минуту в нем всколыхнулось давешнее неприятное чувство, но, опустившись, растворилось без осадка.

На электричку они отправились, когда тучи, наконец, затмили солнце и забрызгал дождичек, нудный, мелкий. «Прибавить шагу, покамест не разошелся в большой», — подумал Ермолаев и, выйдя на шебенку, оглянулся: за забором, за крыжовником зеленели кроны сторожевых берез, чернела душевая бочка и сарай под толем, оранжевели дачные стены с синими прикрытыми ставнями — праздничная, будоражащая пестрота.

Они шли по поселку — на участке слева из-за изгороди торчала собачья морда: бурая, в подпалинах овчарка встала на задние лапы, передние положила на изгородь. И Ермолаев подумал: «Экая собачища, правильно держат на цепи», — вспомнил ту, беспородную, взбесившуюся, и тотчас постарался забыть. Затем шли по луговой тропинке, болотисто пружинившей, — на лугу лошадь, пегая, как тучи над головой, опустившись на передние ноги, хрумкала сочной травой в ямке, затем лесом — среди березовых и еловых стволов, покрытых светло-зеленым и желтым мхом, неумело прыгали, опрокидывались на спину и, перевернувшись, сызнава прыгали малюсенькие, недавно народившиеся лягушата, и далее — крайком ржаного поля по косогору — невинно глядели васьилки, и пахла мята, и дикие голуби летели над рожью, забирая к железной дороге.

Петя вышагивал впереди всех. Подавшись вперед под тяжестью рюкзака, просунув большие пальцы под лямки, чтоб не так резало, Ермолаев двигался ходко, от жены не отставал. Она — метрах в пяти, опираясь на палку и подрагивая задом, и он покойно смотрел на этот подрагивающий зад, широкие бедра и круглые икры.

За всю дорогу от дачи жена ни разу не повернулась к нему, не обронила словца. Сердится. Знает отчего. Во-первых, зря сердится, а во-вторых, посердится и перестанет. Хочешь не хочешь, а жить нужно вместе, попривыкли друг к другу.

На платформе толпился люд с рюкзаками, корзинами, сумками, ведрами, охапками полевых и садовых цветов, и Ермолаев почувствовал шемящее предвкушение пути, на котором будут мелькать знакомые поселки. И еще он почувствовал зыбкую, умильную грусть оттого, что расстается с подмосковной землей, с подмосковным небом и с подмосковным воздухом.

В вагоне он уселся у окна и, голубея глазами под цвет своей рубашки, слушал разговоры, смотрел по сторонам. Об руку с ним теснилась юная парочка и зевала, соблазняя друг друга. На лавке напротив — женщина с синяком в подглазье, возле женщины — мрачный, с отвислой губой, нетрезвый мужик, видать, автор этого синяка. В смежном купе — перепалка футбольных болельщиков:

— «Динамо» себя еще покажет!

— Покажет «Спартак»!

Где-то дребезжал старушечий дискантик, костеривший того, кто не уступил ей место или толкнул ее при посадке, сперва старуха ругала его деревней, после — хулиганом, а после — бандитом. Ермолаев подмигнул жене и Пете:

— Дает старушка — божий одуванчик!

Жена отвернулась, стала смотреть в окно. И Ермолаев посмотрел: за стеклом, исчерченным водяными извилинами, — дождь припустил как следует, вовремя сели в поезд — кружили посумрачневшие поля и перелески, холодно, льдисто сверкнула ивовая речонка, в поселке встало и исчезло школьное здание с выпавшими по фасаду облицовочными плитками — будто оспинки на лице.

Вагон покачивало, и в такт покачивались букеты на полках под толчком. Ермолаев прислушивался к пению, смеху и разговорам, к шле-

панью карт, к перестуку колес, потирал плешивую макушку и думал, что следующее воскресенье они опять проведут на даче.

Но втроем они больше на даче не были. В ночь с воскресенья на понедельник, по возвращении в Москву, Ермолаев был арестован. В оконные стекла колотили дождевые струи, в водосточной трубе клокотали ручьи, а в комнате ярко горел свет. Петя на своем диване проснулся, протер глаза. Незнакомый человек в кожаном пальто сказал: «Ты, мальчик, спи», второй незнакомый — в коверкотовом плаще и коверкотовой кепке — повторил: «Спи, спи». Но Петя не спал, видел: эти двое отодвигают ящики письменного стола, роются в бумагах, в платяном шкафу, в книгах на этажерке, за картинами, простукивают стены, а в дверях — понятия: дворничиха и домкомша. На стуле — мама, внешне безучастная. Алексей Алексеевич стоял у обеденного стола бледный, на плечи накинут пиджак. Обыск кончился, кожаный сказал Алексею Алексеевичу: «Собирайтесь». Алексей Алексеевич поцеловал маму — ей стало плохо, дворничиха брызгала на нее из кружки, кивнул Пете: «Я чист перед вами, перед народом. Прощайте». Коверкотовый сказал: «Любите вы все разглагольствовать. Шагай».

— Ты веришь, что он в чем-то виноват? — спросила мама.

— Не знаю, — ответил Петя и, подумав, прибавил: — Не могу в это поверить...

— И я, — сказала мама. — Он был неплохой...

Петя промолчал, потому что за те несколько лет, что прожили они совместно с Ермолаевым, так и не определил своего к нему отношения. Вполне возможно, он был неплохой человек. Хотя душа к отчиму никогда не лежала.

Они уехали в Ростов, — мама перевелась. И, будто по уговору, не касались в беседах прежней московской жизни, дачи, Ермолаева и всего, что было связано с Алексеем Алексеевичем. Но часто вечерами мама доставала его фотографию — в полувоенной форме, молодой, без плешины, улыбчивый, — подолгу разглядывала.

13

Мы ехали по Белоруссии, и разговоры, естественно, вертелись вокруг нее. Хвалили природу — дескать, милая, негромкая, голубоглазая сторона, с лесами и перелесками, с озерами и речками. Рассказывали, как встречали нас белорусы при освобождении — букетами полевых цветов и вареной бульбой, полуголодные бабы норовили отдать последнюю, а бульба, то есть картошка, тут вкусная, рассыпчатая. Сошлись на том, что белорусский народ, и стар и мал, боролся в партизанских отрядах — ну, были, конечно, подлецы, предатели, полицаи, но их мало, ни одна республика, пожалуй, не сравнится с Белоруссией по массовости партизанского движения. Обсуждали, как скоро наладится житуха в этих обнищавших, истощенных, обескровленных краях — им и досталось от фашистов, пожалуй, больше, чем кому-либо.

Говорили, перекуривали, поплевывали. Я молчал, но тоже курил и сплевывал. В распахнутый ворот гимнастерки врывался ветерок, щекотал кожу, и это было неприятно, потому что я не любил щекотки. А мама любила, балуясь со мной, маленьким, щекотать мне пятки и под мышками, я визжал, она смеялась: «Будешь ревнивым!» Неизвестно, стал ли я ревнивым. Не было повода проверить. Некого было ревновать.

Я сидел на скамейке возле раскрытых дверей теплушки. Рядом сидели и позади стояли солдаты. Железнодорожное полотно, пыля, убегаю назад, и мне пометилось: это убегает моя жизнь, убегает в прошлое,

которому нет конца. Откуда у меня столь протяженное прошлое? И как это получается — не управившись сообразить, а настоящее, обернувшись прошлым, уже отходит назад. Впрочем, все это фантазии. Реальность же: солдаты сидят рядом и стоят за спиной, они постоянно в моем настоящем.

Но такие же солдаты были и в моем прошлом. Другие — и тем не менее такие же. Солдаты, годы и города — там, позади. Ощущение: будто еду сейчас, как плыву, по минувшему, оно накоротке воскресает, становится нынешним и следом бежит вспять. Вот — проехали неподалеку от города Лиды, где началась моя армейская служба и откуда я ушел на фронт. Вот — проехали город Минск, который брала и наша дивизия, потому нашему полку и присвоено наименование — Минский, полностью: 753-й Минский Краснознаменный орденов Суворова и Кутузова III степени стрелковый полк. Звучно? А прошлое мое никуда не убежит, ибо оно во мне. Запутался я с этой философией, аж в висках заломило. Или это оттого, что неотрывно смотрю на полотно? Глаза слезятся, голова болит.

Эшелон обогнул посеченный, кой-где усохлый ельник, бросовое льяное поле, снова ельник, и на косогоре увиделась девчушка лет пяти. Вокруг не было ни души, казалось, что девочка здесь совершенно одна. Худящая, в кургузом, рваном платье, она левой рукой держалась за куст, а правой махала эшелону, и на ее бледном сморщенном личике застыло серьезное, строгое выражение. Солдаты подталкивали друг друга локтями, улыбались, кричали ей шутивное и ласковое, махали руками и пилотками.

Она всерьез нам желала благополучного пути, мы ей — счастливой жизни, хотя и не так серьезно. Я махал дольше всех, пока был виден косогор. Ах ты, воробей! Вырастай и становись счастливой-счастливой. Что ты вынесла за войну? Что вынесли все эти дети, на которых я нагляделся на фронте? Вырастайте, взрослейте, может, хоть вы будете жить в мире и счастье.

Постукивают колеса, мельтешат столбы, кусты и деревья. И сдается: все это очень уже давно. За спиной слова: «Вот когда кончится война...» — голос Вадика Нестерова. Окончания фразы не слышу, задумываюсь. «Когда кончится война» — это были самые ходячие на фронте слова. Война кончилась. Что теперь? Видимо, Нестеров повторяет их применительно к новой, японской войне. Так она еще и не начиналась!

Жалею, что недослушал окончания его фразы, достаю очередную сигарету, закуриваю. Сигареты — еще из трофейных. Вскоре трофей иссякнут, переходим на отечественные папироски, а то и на махру. Что бы ни курить — лишь бы курить. Интересно, что курят японцы? У них будем разживаться трофеями.

И я усмехаюсь повороту своих мыслей.

Солнце опускалось, на небе вспухали оранжевые полосы, его голубизна темнела, темень скапливалась и между деревьями, и в кустах. Воздух посвежел, и острей стали запахи цветов, травы, пыли и дымка. На войне я не присматривался к природе, а нынче словно заново открываю, вглядываюсь в ее изменчивый и повторяющийся лик. Не люблюсь ею, просто ощущаю: она живая. И я живой!

Темень неровно дышала и будто засасывала в себя эшелон. Красными снопами вылетали искры из паровозной трубы, красным и зеленым оком глазели семафоры, затеплились белесые огни в теплушечных дверях, в деревеньках, голубая безмятежная луна покачивалась, как на волнах.

На остановке принесли термосы с пшенкой и чаем. Приевшаяся на фронте и в добавление подгорелая каша показалась, однако, вкусной, я с аппетитом подчистил котелок. Выпил кружку крепчайшего ароматного

чаю. Закурил. Посвистал некий мотивчик. Ефрейтор Свиридов прислушался ко мне и сказал:

— Товарищ старшина, душа жаждает: дайте аккордеончик!

— Сказано: завтра, значит — завтра.

— Исказано — иделано? — круто меняя тон, раздражаясь и кривляясь, спросил Свиридов.

— Так точно, товарищ ефрейтор! — Старшина Колбаковский выдержан, невозмутим, хотя очевидно, что он подтрунивает над Свиридовым.

У меня настолько хорошее настроение, что я даже готов поддержать просьбу Свиридова: пусть играет и поет свои танго, не страшно. Впрочем, я промолчал, потому что Свиридов с хряском зевнул и вымолвил:

— Ох, и жмот вы, товарищ старшина!

Я строго глянул на него, а Колбаковский, не теряя выдержки, спросил:

— Не по «губе» ль соскучился?

— По музыке!

— Доживешь до завтрава и получишь.

— Доживу, доживу, — сказал Свиридов и опять с хрустом зевнул.

Ну что ж, подумал я, разумеется, доживем, никуда не денемся. Разве что железнодорожная катастрофа. Но несчастные случаи редки, а «лесных братьев» тут нет и не будет. Это на фронте мы не загадывали, доживем ли до завтра. Теперь — иной оборот. Доживем!

Я постоял и посидел у дверей, выпил еще кружку чаю, искурил сигарету и залез наверх. И сразу — удивительное состояние. Словно я не забрался на армейские нары, а вознесся на небеса, в рай, такая кротость и благостность охватили меня. Словно я ангел и все люди ангелы.

Это продолжалось минут пять, а потом прошло, и я понял: валяюсь на жестких, грубо сколоченных досках, мучаюсь желанием и тоской по Эрне. Желание было злое, нечистое (я думал о том, что на жестких досках женское тело от тебя не сдвинется ни на волосок), а тоска горькая, удушливая (я вспоминал угловатые, неуклюжие реверансы, медно-красные завитушки, пушок над припухлой губой, слабую, незащищенную шею, покорные, печальные глаза, и как она мне говорила «Петья», и как гортанно, клокочуще смеялась — в добрые минуты она смеялась, но никогда у нее не было улыбки).

Затем желание затухло, а тоска все сдавливала мне горло колючими липкими пальцами, и я становился чище, отрешенней, как бы отходя в потусторонний мир. Но колючее и липкое, не задушив, отпустило. В голову пришло: «Я жив, жив! Я думаю — следовательно, я существую, — какой-то философ изрек нечто подобное, какой, однако?» И, не припомнив, задремал.

Утром меня вызвали к комбату. Поезд стоял на разъезде — слепленная из листов обгорелого железа сторожка, старуха стрелочница с подвязанной раздутой щекой, вислоухая дворняга у ее ног, — паровоз пыхтел, отдуваясь после ночного бега, в низинах кольцами папиросного дыма слоился туман, на мокрых ветвях и траве вспыхивала роса. За бугром стучал трактор, и подумалось: трудяга, в этакую-то рань... Ну, а зачем нас к комбату так рано волокут? Надо же — до завтрака. Это худо, ибо натошак начальство злей. Правда, подчиненные — тоже.

Я трушу за посыльным в полнейшем одиночестве, слегка смущаясь: остальные офицеры уже в штабном вагоне или же замешкались? На разъезде не помешкаешь, тронется поезд — и останешься куковать. Но не могли же они так опередить меня? Позевывающий и смущенный, по шпалам чапает один лейтенант Глушков — если не считать посыльного, узкоплечего солдата в длиннополой гимнастерке.

Не было ротных и взводных и в штабном вагоне, куда я поднялся вслед за посыльным. Будто дождавшись, когда я залезу в штабной вагон, поезд тронул с места. На огороженных плащ-палатками нарах храпели и свистели. Сонное царство, посреди которого бодрствовали комбат и замполит Трушин. По их суровым и, пожалуй, алчным взорам я догадался, что лейтенант Глушков предназначен на закуску. Перед завтраком, для возбуждения аппетита. Но за что?

— Садись, садись, Глушков, побеседуем,— сказал комбат, когда я доложил, что прибыл.

Я сел по одну сторону стола, по другую — комбат и Трушин. Показалось: я перед судом. Ну, не суд, но врежут, предчувствую. Комбат сказал:

— Что ж получается, Глушков? Скрываешь чепе? Покрываешь злостных нарушителей воинской дисциплины?

Скрываешь. Покрываешь. Понятно: Головастиков. Я смотрю на стянутое рубцами и потому искаженное лицо капитана, на красивые удлиненные черты Трушина и молчу.

— Нечего сказать, товарищ Глушков? А сказать надо. Не для опрзваний... Для честного признания ошибки.— Это Трушин, его сильный и мягкий, богатый интонациями голос.

— Что за чепе, товарищ капитан? Что за ошибка, товарищ гвардии старший лейтенант? В чем я провинился — не понимаю,— вежливо мямлю я, хитря и выкручиваясь. На людях я не пытаюсь дерзить Трушину, и он неизменно корректен. Все по правилам приличия. Все по уставу.

Комбат буравил меня маленькими, без ресниц глазами, Трушин покачивал массивной, изящно посаженной головой, как бы говоря: ай-я-яй, как не стыдно ловчить, вы же прекрасно знаете, товарищ Глушков, о чем речь. А потом они, перебивая и дополняя друг друга, выложили насчет Головастикова и моего гнилого либерализма. Подытожил комбат:

— Ежели мы будем так миндальничать, то в мирных условиях, да еще при передислокации, разболтаем личный состав вдрызг. Пойдут пьянки, за ними — самоволки. Растеряем людей! Головастикова ты зря не посадил на «губу». Напоминаю: она у нас в эшелоне есть. Покамест пустует, но я не думаю, что так будет до конца пути. Откровенно говоря, я б тебя туда засадил не без удовольствия — заместо Головастикова. Чтоб впредь неповадно было миндальничать... Ладно, объявляю выговор и предупреждаю: ни один проступок не оставлять без наказания. Втемяшилось, Глушков?

— Втемяшилось, товарищ капитан.

— Изволишь иронизировать?

— Нет.

— А чего тянешь через губу?

— Я говорю нормально, товарищ капитан.

Я и впредь не иронизировал, старался говорить нормально, а губы кривились — это факт. Не с раздражения, не с обиды — с чего-то еще. Я глядел на комбата и замполита, они глядели на меня. Капитан чихнул, утерся носовым платком, Трушин постучал по столу согнутыми пальцами, будто призывая кого-то к порядку и тишине. За плащ-палаткой сонно, неразборчиво выругались, рванули воздух газами — как боевой разрыв,— сонно же простонали. Комбат сказал:

— Втемяшь, Глушков: первосущная наша задача—доставить до пункта назначения весь личный состав, до единого человека. Иначе с нас головы посымают.

— И партбилеты выложим,— сказал Трушин.

Я промолчал, и они умолкли. Состав потрянуло, и он покатил, набирая разбег. Поскольку поезд пошел, можно было продолжать драконить меня — до следующей остановки,— однако и комбат и Трушин молчали.

Капитан зевнул, встал и, прихрамывая, скрылся за плащ-палаткой — мелькнула его атлетическая, рюмочкой, фигура, со спины — красавец мужчина. А я почему-то подумал: «Как мы все многословны, где достаточно слова — закатываем речугу». Подумал и представил себе, как водопад нужных и ненужных слов низвергается на людей и разбрасывает их, расшвыривает, отдаляет друг от друга. Могучий, непреборимый словесный водопад, дробящий людей на отдельно взятых человеков. Разделяющий их. Отчуждающий. И, подумав об этом и представив это, я почувствовал: комбат с Трушиным, в сущности, чужие мне, да и я для них чужой. Наверно, это так. Хотя раньше таких мыслей у меня никогда не возникало. Но раньше — то была война. Нынче — мир. Который на полпути к новой войне. Ну, может быть, не отчужденность наступила, но и близости прежней, фронтового товарищества нету между мной и теми, кто едет в штабном вагоне, и в вагонах моей роты, и в остальных вагонах. Один ли я испытываю такое чувство или другие тоже?

Характерный пример этой отчужденности — случай с Головастиковым. Полез на офицера с кулаками. Разве подобное было возможно на фронте? Сомневаюсь, весьма сомневаюсь. Я вспомнил о Головастикове, и во мне шевельнулась давешняя обида. Из-за Головастикова, хмыря болотного, сыр-бор разгорелся, и я переживаю, видя в этой истории подтверждение моих сомнений. Сомнений в том, сохранится ли после войны фронтовое братство, когда все были за одного и каждый за всех. Или же в мирные будни наступят для нас иные законы?

— Да, Петро,— сказал Трушин, понизив голос,— наломал ты дров. И еще выкручиваешься...

— Иди ты,— ответил я шепотом и оглянулся.— Мало ты меня морочил, так и комбата пристегнул.

— И командира полка пристегнул бы, жаль он не в нашем эшелоне.

— Ну, и выслуживайся, хрен моржовый.

— А вот выражаться, Петро, не стоит. Руганью ты унижаешь не меня, а себя. Давай потолкуем по-человечески.

Толковать? Целый перегон? Опять о Головастикове? Увольте.

Но Трушин заговорил будто сам с собой и отвлеченно — вообще о честности и принципиальности, вообще о необходимости твердой руки в поддержании порядка и дисциплины. Я слушал его невнимательно, думал о том, что Трушин едет теперь не в теплушке моего второго взвода, а в разных — то в штабной, то в третьей роте, то у минометчиков, то с повозочными. Видимся мы с ним реже, вот он, должно быть, и ухватился за возможность покалякать со мной. Уж это мы, российские интеллигенты, обожаем — поизливаться о высоких и не очень высоких материях. Впрочем, разве я интеллигент? Несостоявшийся студентик. Солдат, вояка. Хотя иной раз и не прочь пофилософствовать о том о сем. Сейчас — неохота.

Однако Трушин втянул-таки меня в разговор. Произнеся какую-то тираду, он спросил:

— Что ты на это скажешь?

— Я тебя плохо слушал.

Тогда он повторил:

— Бытует мнение: честность — врожденное свойство человека. Я не согласен с этим. Мое мнение: честность, как и прочие моральные качества, приобретается человеком в процессе его воспитания. Все зависит от воспитания. Можно воспитать подлеца, можно — подвижника. То есть обстоятельства формируют личность. Ты как считаешь?

Не хотелось ввязываться в беседу. Тем не менее я сказал:

— Видишь ли, во-первых, честность всегда носит конкретный, социальный характер. То, что честно для буржуазии,— бесчестно для пролетариата, и наоборот.

И подумал: «Только что посылал Трушина подальше, а сейчас — сплошное наукообразие. Богатый словарь у товарища Глушкова!»

— Ну а во-вторых? Что во-вторых?

«Подзуживает на собеседование», — подумал я и сказал:

— Еще не окончено «во-первых»... По-моему, мораль насквозь классова. К примеру, у фашистов своя мораль, у нас своя. А во-вторых, нельзя все сваливать на обстоятельства. Человек на то и человек, чтоб влиять на них. В определенной степени, разумеется.

— Что значит — определенная степень? Чем определяется?

Чем — этого я не знал. Трушин глубокомысленно произнес:

— Ты, пожалуй, прав. В том отношении, что человек и обстоятельства взаимосвязаны, взаимно влияют. Но нет правила без исключений: подчас человек становится хозяином своей судьбы, подчас — рабом обстоятельств. Диалектика! Вернемся, однако, к проблеме честности, порядочности, в конечном счете — принципиальности. С учетом того, что это — классовая категория. Я так считаю: если человек честен, принципиален, на него во всем и всегда можно положиться, остальные его качества — это как бы производные от того, основного...

У меня разболелась голова — так бывает при умных разговорах натошак. Хотя, каюсь, равнодушен к ним, как и наш замполит. Я потерял виски, лоб, затылок.

Трушин начал развивать мысль о том, что важно быть честным и перед обществом, и перед собой, но поезд притормаживал, и я встал, прощально козырнул. Трушин тоже поднялся и, разом сменив тему и тон, сказал тихо, грустно:

— Эх, Петро, знал бы ты, ведал, до чего ж не тянет на эту новую войну...

Я, признаюсь, подивился — замполит, ортодокс такое выдает, — еще раз козырнул, прыгнул наземь и затрусил вспять, к своему вагону. Эшелон стоял в лугах, подбеленных росой. В росной траве темнел прерывистый след — человеческий ли, конский ли. У насыпи дышало озерко, в нем просматривались стебли пузырьников — бурых водорослей. Над озерком махало крылами, булгачилось воронье.

Завтрак запаздывал. Двери теплушек были закрыты. Дрыхли славяне. А меня начальство с утра пропесочило. Натощак это особенно вредно.

Эшелон без гудка тронулся. Я припустил, догнал теплушку — дверь закрыта, затарабанил кулаком — ни ответа, ни привета, отстал — и эта теплушка заперта, и следующая. А колеса стучали уже угрожающе часто. Эшелон ускользал от меня, было ощущение: вагоны проскальзывают между пальцами, — нелепое, конечно. Не без усилий вскарабкался я на подножку тормозной площадки. Вообще-то мог бы отстать. Перспективка: остаться в безлюдных лугах, куковать вдали от жилья.

На тормозной площадке гуляли сквозняки, и меня в гимнастёрчке быстро просифонило. Я забился в уголок, сел, обхватив колени. Кожа замурашилась. Зазнобило. Дьявольщина, обидно мерзнуть, когда лето на дворе. Правда, чувствовалось начало июня лучше в теплушке, нежели на простреливаемой сквозняками площадке. Бр-р!

Сыростью и гнилью дохнули ржавые вспученные болота. За болотами — хилый лес и еще более хилый подлесок. На взгорке — захлестнутое бурьяном погорелище. Стародавняя, обвалившаяся траншея прерывалась у раздолбанного, в ухабах, проселка. Траншея наша. У немецкой — острые углы, зигзаги, а тут — колена плавные. Да и стрелковые ячейки, пулеметные площадки обращены на запад. Когда-то братья славяне держали оборону. Вон развороченная землянка, вон автомобильный скат, вон каска, полная воды, и вон вторая каска — в ней, как в горшке, растут цветы и травка — вероятно, в каску нанесло земли.

Ах ты боже мой, в таких же вот траншеях, в разных местностях и в разные годы держал оборону и я, ныне лейтенант Петр Глушков! Было, было. И был я сержантом, еще раньше — солдатом. Теперь надо дослуживаться до генерала.

Задергалось левое верхнее веко — это всегда меня раздражает. Прижал его пальцем, чтобы успокоить, и подумал: «Так глаз будет держаться всю жизнь, а может, и посильней, с годами-то... Вот, допустим, стукнет мне полсотни, это когда будет? В семьдесят втором году...»

И я представил себя пятидесятилетним: передергивает веко и лицевой мускул, кожа дряблая, иссеченная морщинами, мешки в подглазьях, глаза слинявшие, волосы седые, едва прикрывающие череп, плечи сгорблены, брюшко, одышка, кашель. Одет небрежно, не по моде: где уж следить за ее капризами, ежели тебе полсотни? Представил: словно брожу по такой вот обороне и ничего не могу узнать — все изменилось за тридцать лет. Да и я изменился: ведь на календаре семьдесят второй. Словно стою над порушенной, залитой дождями, с оползшим бруствером траншеей, гляжу в некое волшебное зеркало, не узнавая себя, а за спиной бесплотный, потусторонний голос: «Обмывали вчера новоселье, трехкомнатная квартира, все удобства, от центра полчаса езды, ну поднаддали, наутро затылок болит, тяжелый, поташнивает — словом, гипертония», и я думаю: «В наши времена это называлось похмельем». Я осязал: в лицо и затылок мне дышит отвратительная старость — та, что не лучше смерти.

Вагон скрипел, звякали буферные тарелки. На холодочке я посинел, продрог и трясся, как схваченный за уши заяц. Будто поддразнивая меня, выползшее из болота солнце светило эшелону в лоб, а тормозная площадка — в тени, тут еще, казалось, витал ночной сумрак. Никакого сумрака, конечно, нет, но и солнышко сюда не достает.

Продрогший и злющий, дождался я остановки, резво добежал до своей теплушки. Она была открыта, и в дверях стоял в несвежей нижней рубашке ординарец Драчев — поеживался, почесывался, курил. Увидав меня, Драчев подал руку, чтобы помочь влезть. Я не принял руки, залез сам. Драчев смущенно улыбнулся, спросил:

— Товарищ лейтенант, бриться будете?

— Нет, — ответил я. — Буду отращивать бороду.

Ординарец улыбнулся еще смущенней, неизвестно для чего завязал тесемки на груди и сказал с убежденностью:

— Борода вам не личит, товарищ лейтенант.

Не доходит ирония до моего ординарца. С ним нужно попроще. И злиться поменьше. Я сказал:

— Не личит — значит, пес с ней, с бородой. Готовь бритве.

За завтраком я сидел напротив Головастика и старался не смотреть на него. Я уперся взглядом в котелок и слушал, как сопит и чавкает Головастик. И остальные сопели и чавкали.

А перед завтраком мы с Колбаковским выпили на нарах по полкружке горячительного. Не удержался лейтенант Глушков, нарушил свое обещание. Хлебнул не так для сугрева, как для поднятия настроения. Увы и ах, вино не развеселило меня.

И я вспомнил Авдеича, пулеметчика, второго номера. Ему было за пятьдесят, он был кривоногий, совершенно лысый, из уважения к возрасту его звали по отчеству — Авдеич, так обращался к нему и я. Авдеич был старенький, но выносливый, двужильный, пулеметик таскал за милую душу. И любил выматериться, курнуть, выпить. Заложив за воротник наркомовские сто граммов, Авдеич оставался неизменно мрачным, объясняя это так: «Старый я уже пень, потому вино и не веселит. А по вьюности: тьянешь — и полным-полна коробушка веселием...» Не остался ли я? Душой по крайней мере?

Еще про Авдеича. Перекидывался лишь в подкидного дурачка, а говорил с важностью: «В наше время увлекались... этим... кингём или... как там его... преферансом, культурные, умственные игры...» Забавный старикан. А вот я в карты вообще не играю. Ни в умственный преферанс, ни в элементарное очко либо в простого дурака. Из принципа.

После завтрака я угрелся, перестал дрожать. Но внутри — будто все смерзлось, сердце будто заморозили и оно не оттаивало. Я старался не замечать людей, которые были мне — как ни крути — близки. Были. А сейчас я к ним равнодушен, если не сказать большего. В эти минуты я чувствовал: мне ближе те, навечно ушедшие в землю, отдавшие на войне свои жизни. Все мы перед ними в неоплатном долгу. Мы еще можем стать лучше либо хуже, они — никогда. На их косточках построено наше нынешнее и наше будущее.

Я курил перед раскрытой дверью, жмурился под теплыми солнечными лучами и думал, что было б здорово, если бы поезд умчал меня — во времени — за черту, обозначающую двадцать второе июня. Чтоб я очутился в мирных годах. Чтоб до войны был еще какой-то срок. Чтоб я не был взрослым.

Я думал так, ибо понимал: это хорошо, что я уцелел, я буду жить и буду стремиться почище, подостойней прожить отмеренные мне годы. Но я уже никогда не стану таким, каким был до войны. Что-то утеряно во мне самом и в нашей жизни. Безвозвратно утеряно.

От сознания этого заныло сердце. Значит, оно не совсем заledenело, значит, оно живое. Тем лучше. Или хуже?

Кружились леса и опушки. Убегали назад шпалы и столбики. Мчал эшелон — только не в прежнее, довоенное, а в новое, послевоенное. Которое опять же оборачивалось предвоенным.

И вдруг снова представил себе Эрну — пушок над верхней губой, нежная детская шея, округлые, не детские коленки. И сердце у меня заныло посильней. Ах, немочка, целовавшая мои руки! Чего доброго, выяснится, что я любил тебя не шутя. Этого еще не хватало.

Самое раннее воспоминание о себе: на кухне хлебнул из консервной банки керосину. Испуганная и рассерженная мама, сующая мне под нос чашку с молоком:

— Пей, негодник! А то отравишься... Пей!

Я не хочу пить молока, оно кажется хуже керосина. Мама сердится, насильно льет в рот. Я реву. Мне три года.

Эшелон подходил к Смоленску, и я волновался. Внешне ничем этого не проявлял — не вскакивал, не смолил сигарету за сигаретой, не краснел и не бледнел. Но точно что-то накатывало на меня из моего же нутра и никак не могло материализоваться.

Смоленск, смолил, смола... Она, смола, янтарными потеками светилась на стволах сосен и елей, вплотную подступавших к железнодорожному полотну. В детстве я жевал эту смолу, растягивал, щелкал ею. Как и все пацаны. Сосняки и ельники были старолетние, густые, березняки пожже, но с очень плотной сизо-белой корой на стволах, помеченных темными штришками — как насечка по серебру.

Коляя шла изволоком по всхолмленной равнине, холмов было много — в хвойных лесах, в березняках. Эшелон будто продирался сквозь урочища. И я поторапливал его: вырывайся на простор, на котором где-то там город Смоленск и река Днепр.

Леса разредились, перемежаясь льяными полями, бросовыми и возделанными. Мы проехали деревушку со вновь отстроенными избами под

дранкой и камышом, проехали льнозавод с кучами прошлогодней тресты во дворе. Холмы расстилались окрест — синие, в знойной дымке. Смоленщина по утрам и вечерам дышала туманами, днем — испарениями, будто потела, к выздоровлению.

В часе езды до Смоленска постояли на разъезде. Народ высыпал из теплушек: валялись на травке, искали землянику. Я не сошел: сверху, от двери, город уже виделся в мареве — нечто белое, огромное, вознесенное на холмы, которые в свою очередь вознесены над прочими холмами; в этом белом, огромном нет-нет да и вспыхивало золотое — церковные луковки. Чего-чего, а церквей в Смоленске в избытке, есть где отмолить грехи или помянуть усопших. Вот только поразбивали немцы церкви и соборы, ничего не щадили в Смоленске, не пощадили и храмы. И никого не щадили. Ну, это особ разговор.

Из-за куста, где нежатся на траве, — голоса:

— Э-их, бабу щас бы сюда! Затискал бы, замилывал...

— Да-а, бабеч не помешала б, за войну весь в угрях от безбабья!

— На безбабье и Райка баба, точно?

— Точно!

Оба засмеялись, а мне стало жаль Райку, о которой упомянули. Это была повариха в нашем батальоне — лет под тридцать, костлявая, большеносая, волосы паклей. Она не была шлюхой, но спали с ней многие: женщин на фронте было маловато. Избалованная мужским вниманием, она выламывалась, закатывала истерики, не добившиеся от нее расположения бранились: «Капризуля. Рылом страшна, как смерть. На безрыбье и рак рыба, на безбабье и Райка баба, после войны кто на нее посмотрит?» Она слышала такие отзывы, горько рыдала, и тогда делалось ясно, что она не распутница, просто ей хотелось ласки — кого-то одного. Но одного не было, были многие — и, считай, никого. Действительно, после войны кому она нужна, Райка? А мы, мужики, все-таки порядочные скоты. Это, так сказать, для справки.

К Смоленску мы подъезжали с запада, брали же его когда-то с востока. Что там — когда-то! Брали в сентябре сорок третьего, сколько времени назад? Более полутора лет, а именно — двадцать месяцев. Ого! А кажется, это было недавно — вот так же белел на приднепровских холмах город Смоленск, но тогда над ним висел дым пожарищ. Город горел, подожженный бомбами, снарядами, минами, а осень поджигала по округе листья берез, осин и рябин.

Дивизия шла в походной колонне лесом и полем, по пятам преследуя отступавших немцев. К Днепру, к Днепру! Пыль клубилась над проселками, на асфальтированном шоссе зияли внушительные воронки — авиация потрудились, не разберешь чья. На переезде воронки от полутонных бомб, остовы сгоревших автомашин, перевернутый танк; убитые битюги со вспученными животами и в построюках; трупы вразброс, неприбранные, и трупы в бумажных пакетах, рядами, — немцы драпанули, переложив захоронение на нас, — отвратно шибало гарью, жженой резиной, разложением; на взлобке горела дубовая роща, — осень тут была ни при чем.

Наш полк вышел к Днепру с юго-востока. Догорали слободские домишки, от огня жухли и сворачивались листья яблонь, груш, вишен по овражным садам. В лопухах потерянно мяукала кошка, за оврагом выл пес. Снаряды рвались в слободе, перелетая через Днепр. Река здесь, в верховьях, была неширокая, метров шестьдесят, это не тот Днепр-батюшка, что на Украине, в низовьях. Но и шестьдесят метров преодолеть под обстрелом — не прогулка при луне.

А луна была, и были ракеты, которые пускали немцы, и мы кляли этот лунно-ракетный свет, потому что нам нужна была темнота. Мы уви-

дели Днепр под вечер: по коричневатой воде скользили лучи заходящего солнца, ветер рябил ее, гнал эту рябь от берега к берегу, вверх и вниз по неторопкому, почти неприметному течению, крутил каруселью на месте. Ветер был пыльный, душный, вода холодная, осенняя.

Город лежал за рекой, в дыму и пламени; в бинокль укрупненно виделось: правый берег, истоптанный, в тропинках вдоль и поперек, изрезанный оврагами, у подножия холмов сады, за садами, на покатых склонах, дома, за домами — кремлевская стена, на которой росли березы, за стеной, еще выше, трехэтажные и четырехэтажные здания, купола церквей. Из садов били минометы, с крепостной стены — пушки. Налетали «мессершмитты», пытались бомбить и обстреливать наш берег, их отгоняли «ястребки».

Я маскировался в лозняке, в рогозе, разглядывал в бинокль правобережье и думал, как будем форсировать Днепр. Мост был взорван и сожжен, из воды, как черные кости, торчали столбы, вокруг них бурлило — течение не столь уж тихое. На отмель накатывала, шлепая, мелкая волна заливала отпечатки птичьих и собачьих лап, сапог, колес. Я опустил бинокль и скомандовал:

— Всем искать плавсредства. Лодки, бочки, бревна, доски! Помкомвзвода, отвечаешь за плот. Разойдись!

Солдаты разбрелись по берегу, по жестяно шумящей осоке, по ивняку. Рядом с моими шуровали бойцы из взвода Вити Сырцова, а сам дружок мой закадычный восседал на пеньке и перематывал портянки, пренебрегая снарядами, минами и пулеметными очередями, которыми угощали нас из-за Днепра. И это была не казовая храбрость, не бравада — это было естественное поведение Вити Сырцова, — уж я-то знал его характер. В нем все было естественно, ни намек на позу — это определяло Витю. То, что он говорил и делал, — искренне, от души.

Я остановился возле него и сказал:

— Успеем подготовить плавсредства к двадцати четырем часам? Сроки сжатые.

Витя беспечно махнул рукой:

— Успеем. Как штык.

Он встал, потопал сапогами, проверяя, как обернул портянки. Остался доволен. Подмигнул мне:

— Ну, что? Даешь Смоленск?

— Даешь! — ответил я как-то машинально.

С этим кличем шагали мы по сорок километров в сутки, разбивая обувь, натирая волдыри, сдыхая от жажды и усталости, суля Гитлеру всяческие кары. А как не сулить, коли из-за него, разбойника, все наши мучения? Пыль хрустела на зубах, саднили растертые ступни, ремни врезались в тело. Летали в посвежевшем, как бы разреженном воздухе, цеплялись за ветки и штыки последние паутинки бабьего лета, ночью выпала обильная роса. Утром, если шли бездорожно, по траве, сапоги и ботинки были мокрые. Мы так уходились, так намаялись, что спотыкались на каждом шагу. Спотыкливыми стали и лошади и, казалось, машины. Дошли! Вот он, Смоленск. До него каких-нибудь шестьдесят метров. Переберись через реку — и считай, ты в Смоленске. Перебраться — задача.

Немцы усиливали обстрел. Мины падали на отмели, снаряды подальше, в ивняке и в слободке, пули пунктирили воду изогнутыми линиями, будто очереди сносило ветерком, сбивали ветки. Я невольно пригибался, Витя Сырцов спокойненько покуривал, сбивал пепел и насвистывал.

Я глядел на него, на багровый закат, на кусты — по ближней ветке ползла гусеница, подбирая задние ножки к передним и затем вытягивая

тело, как бы измеряя пядью: не зря эта гусеница называется пяденицей. Она была жирная, и мне стало противно. Некстати подумал: гусеницы бывают летом, а эта как-то дотянула до сентября — аномалия, впрочем, война и природу в чем-то нарушила.

Опасливо косясь на западный берег, два солдата катили бревно, оно заворачивало то одним, то другим концом, солдаты ворчали на бревно и друг на друга. Из кустов ясный, как на духу, тенорок:

— Доложу я вам: присуха моя — девка-огонь, без меня навряд ли там выдержит, так я прощу ей грех-то...

В ответ два голоса одновременно — баритон и бас, — с расстановочкой, с издевочкой:

— Святоша ты, Пичугин!

— Доживи сперва до окончания войны, после прощай! Добряк-самоучка...

К Сырцову подошел его помкомвзвода, поприветствовав, сказал:

— Аж пару плотов вытягнем, товарищ младший лейтенант. Первый уже закругляем.

Мой помкомвзвода отдал мне честь, попросил разрешения обратиться и лишь затем доложил, что с нашим плотом. Но я не преминул выговорить ему:

— Пятерик подносишь к головному убору — не забывай пальцы сжимать, а то распустил, как веер...

Тон у меня ворчливый, недовольный. Даже в сумерках видно, как покраснел сержант:

— Виноват, товарищ младший лейтенант. Исправлюсь.

Дежурная и частенько выручающая на фронте фраза на меня не действует, я добавляю с еще большей ворчливостью: «Давно пора. Не рядовой же, а помощник командира взвода...» Понимаю, что это придирки по мелочам и ни к месту. Но себя не пересилить. Понимаю также: Витя Сырцов никогда не мелочится, если уж что-то делает, то по-крупному. В этом, наверное, вся разница между нами. В остальном мы схожи. Может, поэтому и дружим. Хотя оговорюсь: схожи-то мы схожи, но, в общем-то, мне далековато до Вити. Во всех отношениях.

Я нервничал. Неотвратимо темнело, и темноту эту прожигали раскаленные строчки трассирующих пуль, выедали огнистые разрывы. От взрывов, от зарева пожаров вода стала еще черней. Неустойчиво тонуть в такой. Впрочем, и в более светлую, в голубую или синюю, также не тянет. Ежели предстоит тонуть. А утонешь, ежели ранят. Невредимый, доплывешь: я умею плавать. Правда, водичка бодрящая, сентябрьская, — парок курится. Окунаться не ко времени.

Как пройдет форсирование? Не первое оно у меня. И не последнее, если не приголубит пуля или осколок. Точит тревога. Въедливей, чем обычно. А надо бы радоваться: дотопали до Днепра, на той стороне — древний град Смоленск! Радуюсь как по инерции, тревожусь обостренно, осознанно.

Вызвали к ротному. Он пристроился в ровике и писал на блокнотном листе, подложив планшетку. Я подумал, что сочиняется донесение, но ротный сказал:

— Письмецо. Дочке с жинкой. В Армавир. Они у меня оккупацию пережили. В станицу уходили, прятались, голодали-холодали. Красавицы они у меня. Писаные! Особливо дочка. Бывало, прогуливаемся с ней по улице, а мы любили вдвоем, под ручку, шутим, смеемся, — все оглядываются. Предполагают: влюбленная парочка. Девахи оглядывают нас заносчиво: подумаешь, краля, мы не хуже. Зрелые бабы — любопытничая: что за пара, он вроде постарше? Старухи — ласково, с пониманием: любитесь, милые, и мы в свои годы любилась. Дочку эти взгляды сму-

щали, я поперву сердился: «Поглядите у меня!», затем перестал, даже доволен был: принимают за кавалера. Я ж пацанистый на вид...

Это точно: ротному под сорок, но ни сединки в чубе, на лице ни морщинки, розовощекий, стройный, спортивный. Я спросил, не знаю для чего:

— Сколько дочери-то?

— Девятнадцать,— сказал ротный.— Тебе в невесты годится. Сва- тай. После войны.

— Сосватаю,— сказал я.

Мы с Сырцовым жались в ровике, больше тут места не было, и командир третьего взвода, сержант, топтался наверху. Ротный показал на него зажатый в пальцах огрызком карандаша:

— А то с Григорьевым породнимся. Или с Сырцовым? Как, Сырцов?

— С начальством родственные отношения не помешают,— невозму- тимо сказал Витя, а сержант глуповато засмеялся.

— Породнимся. Ежели будете оказывать тестю почтение,— сказал ротный.— А вообще до чего вы все молодые, ужас!

Он помуслил кончик карандаша, однако писать больше не стал, сунул карандаш и листок в планшет:

— Товарищи офицеры.— Запнулся, сообразив, что командир третье- го взвода не офицер, поправился: — Товарищи командиры, хочу обратить внимание на следующее...

Ротный говорил о световой и звуковой маскировке, скрытности при переправе, о взаимодействии взводов при высадке, о расширении плац- дарма, который мы захватим, и о прочем, предстоящем нам в эту ночь. Он говорил, не повышая голоса, а снаряды вздымали груды земли и во- дяные столбы, подывали немецкие самолеты, сбрасывая осветительные ракеты на парашютиках — колеблющееся мертвенное свечение.

Копошась в темноте, люди связывали бревна и бочки кусками про- волоки. Я не выдержал, подскочил к ним; упершись коленом, стягивал проволокой концы бревен; когда не хватило проволоки, побежал в лоз- няк за прутьями, разорвал на лоскуты свою плащ-палатку. Ротный стар- шина укорил:

— Имущество казенное, младший лейтенант.

А его укорил Витя Сырцов:

— Не придирайся, старшинка, Глушков же для общей пользы...

— Для общей? — ухмыльнулся старшина.— И о личной пушай пе- кется: каково будет осенью без плащ-палатки?

Из тыла появился ротный:

— Как с плотами? Нажать, нажать. Я от комбата, через час пере- права...

Через час! Я поднял голову — луна, звезды и ракеты на парашюти- ках. Иллюминация! Славяне стреляют из винтовок и автоматов по па- рашютикам, сбивают. Но луну и звезды не собьешь. Вверху воют самолеты. Скоро начнется. Да нет, началось: ниже по течению, на соседнем участке всю замолотили пушки — и на нашем, и на противоположном берегу. Вспышки выстрелов и разрывов кромсали, кровавили ночь. Лучи прожекторов шарили, схлестывались друг с другом, переплетались, как будто стягиваясь в узлы.

Потом огневой бой загудел выше по течению.

— Соседи переправляются! — прокричал ротный.— А мы копаемся. Пошевеливайся, гвардейская непромокаемая!

Гвардейская — все, что непромокаемы — соответствует. Не промок- нем и при форсировании Днепра. Даешь Днепр, даешь Смоленск, мать твою!.. Зверей, я вторично матюкнулся и черебрисил автомат на грудь.

Несколько снарядов враз упало неподалеку от береговой кромки.

Люди забегали, пригибаясь. И я побежал к воде. В лозняке — пронзительный, беспамятный вопль раненого.

Так, под снарядами, и отчалили. Увидев, как расширяется полоса воды между берегом и плотом, я успокоился. Плываем. Теперь назад хода нет. Только вперед. А там будь что будет. Не так! Переправиться бы благополучно. Не растерять бы личный состав на берегу. Управлять взводом. И чтоб сержанты управляли отделениями. Не дай бог разбредемся кто куда или собьемся в кучу, как стадо. Нужно развернуться в цепь — и в атаку, на вражескую траншею. На миг ожило воспоминание: шли в наступление, очередь скосило солдата-узбека, тогда было пополнение из Ташкента и Ферганы, к убитому сбежались остальные узбеки, лалакают по-своему, плачут, а немцы по этой куче — миной. Нет, гуртоваться в атаке никак нельзя, надо рассредоточиться.

Береговые кромки были различимы во мраке, и у нас и у немцев разрывались снаряды и мины, мелькали и тут же растворялись силуэты деревьев, людей, орудий, автомашин. Вдруг выпала относительная тишина, и слышалось, как хлопает вода под плотом — сонно и ласково, будто под днищем лодки на рыбалке. Над головой закачалась осветительная ракета, и я увидел: и сбоку, и впереди, и позади на разном расстоянии плыли плоты, плоскодонки, бочки. И все они были облеплены солдатами, и все словно стояли на месте. Но нет, они, несомненно, двигались. Как наш плот. Как плот Вити Сырцова, я заметил его слева, на краю сидел Витя и греб доской. И сразу мне стало радостно и тревожно. Радостно — увидел близко Витю, тревожно — за него. Да и за себя, за всех, идем в бой. И опять, чтобы подавить тревогу и боязливость, я шепотом заматерился, накаляясь, зверея. В бою это полезно — звереть. Страх улетучивается.

Я сидел на плоту впереди всех. Если что, первая очередь — моя. Пусть. Зато личный пример тоже мой. Взводный должен быть вместе с бойцами, а то и впереди. Это ротный или батальонный, тем паче полковой командир. находятся позади бойцов. Я же, взводный, невеликое начальство — всегда среди них, бойцов. Так я считаю.

Близкий разрыв будто угодил в клубок мыслей, они разлетелись, и осталась одна: в нас бьют! Да, немцы прицельно били по плотам и лодкам. Увиделось, как врезалось: в шедшую слева плоскодонку — там, кажется, были минометчики — угодил снаряд. К небу взлетели доски, пламя объяло остатки плоскодонки, из пламени в воду прыгали люди. Затем прямое попадание в плот, на котором были ротный и Сырцов. И снова взлетели доски, и опять снопы пламени. Что с ротным, что с Витей? Скорей бы добраться до берега, ощутить под ногами милую, надежную твердь земли. Там будет трудный бой. Ну и пусть! На земле не так страшно, как на воде. Что же с Витей, что же с ротным?

Немцы все плотней накрывали нас своим огнем. Два снаряда разорвались в такой близости от плота, что всех окатило водой. Я машинально поднес руку к лицу, чтобы утереться, и не успел этого сделать. Что-то с необыкновенной силой ударило по плоту, взметнулся огненный сноп, и я упал навзничь.

Очнулся в воде. Ледяная, обжигающая рот, нос, уши, текущая за шиворот, она и вернула мне сознание. Я рванулся, забарахтался, пытаюсь ухватиться за что-нибудь. Пальцы хватали воздух, а одежда, автомат и сапоги тянули на дно. Я глотнул воды, закашлялся и опять рванулся наверх. Чья-то рука схватила меня за плечо, поддержала, в ухо прохрипели:

— До берега близко. Плывите!

А-а, мой помкомвзвода. Я подумал о нем, о ротном и Сырцове, живы ли, и уж затем подумал о себе: контужен? Помкомвзвода подтолкнул меня в том направлении, куда нужно было плыть, и я, колотя по во-

де ладонями, поплыл. Не отдыхая, изо всех силенок. Когда их не осталось совсем, пошел ко дну. Но колени стукнулись о твердое. Я встал на ноги и едва не свалился от слабости и тошноты. Отдышавшись, уцепился за ребристый, в трещинах, камень и вылез на сушу. И сразу вспомнил, что я должен командовать,

— Первый взвод, ко мне!

Мокрые, молчаливые, знакомые и незнакомые солдаты потянулись к яме, где я стоял. Подбежал какой-то офицер и голосом Сырцова сказал:

— Петр! Капитан ранен, ротой командуя я! Атакуем по моему свистку!

— Есть! — гаркнул я, ошарашенный радостью: Витя жив! Лишь минуту спустя подумал: а капитан ранен, бедняга, так и не дописал письмо домой, в Армавир, где у него взрослая раскрасавица дочка.

Я осмотрелся. По-прежнему загорались осветительные ракеты, над головой сверлили воздух снаряды, на земле и в реке рвались авиабомбы. Над побережьем нависали холмы — на них немецкая оборона. Прибрежье, склоны холмов изрезаны оврагами. С ближайшей высоты строчил крупнокалиберный пулемет.

В овраге мы оставили закутанного в плащ-палатку, стонущего капитана и других раненых на попечение санинструктора, он организует их эвакуацию на левый берег. Промокшая одежда до ссадин терла нам тело, в сапогах чавкало — как будто топали по грязи. Но овраг был сухой, сыпучий, песок вытекал из-под ног передних и забивал глаза шагавшим сзади.

Понаблюдав из оврага, Сырцов сказал:

— Проверить оружие. Гранаты приготовить. Развернемся в цепь — и на высоту. Если противник откроет кинжальный огонь, ложись — и по-пластунски. Атакуем по свистку, молча, без криков «ура»...

Холм из оврага просматривался неплохо, он господствовал над побережьем. Конечно, там были немцы: отсюда тянулись нити трассирующих пуль, на склоне — вспышки оружейных выстрелов. Здесь, по-над берегом, недорытые окопы, немцы их отчего-то покинули.

Сырцов взмахнул фуражкой, и солдаты моего взвода стали высказывать из оврага. Я выбежал за ними, взял немного правее и вскоре увидел, что правее меня появился человек и левее. «Давай, ребята, давай!» — мысленно подбодрял я и соседей по цепи и себя. Стиснув онемевшими пальцами автомат, я шел широким, напряженным шагом, оступаясь в окопчики, норы и выбоины, цепляясь за колючие кусты.

Цепь прошла метров сто, и немцы обнаружили ее. Пулеметы наискось стегнули с холма. Воздух наполнился словно почмокиванием — пули, похоже, были разрывные. Солдаты с разбегу попадали, поползли, извиваясь. Я, накалывая руки о стебли травы, мокрой от росы, но по осеннему жесткой, полз споро и не теряя направления.

Заверещал свисток. Я скомандовал: «В атаку!» — и побежал на гору. Спотыкался, падал, поднимался, подавал команды, о которых тут же забывал, снова то бежал, то, задохнувшись, шел шагом. Подогревая себя, свирепея, нажимал на спусковой крючок автомата, ливырял гранаты. И рядом стреляли, падали, вставали, а кто и не вставал.

В какой-то момент фрицы дрогнули и начали удирать из ячеек по траншее, по ходу сообщения за дома. Над высотой прочертила дугу зеленая ракета, за ней две красных. Сигнал на левый берег, что плацдарм завоеван. Я проследил за ракетами и внезапно уловил, как пахнет привядшей листвой, услышал, как скрипит под подошвами ссохшаяся почва, почувствовал на щеке, как брызжет ветка росой.

Из-за деревьев — Витя Сырцов:

— Что зажурился? Веди взвод к блиндажам, там сбор.

Знакомый — с придыханием, неторопливый — говор. Он вообще никогда и никуда не спешит, младший лейтенант Виктор Сырцов. Но при атаке он же бежал? Конечно. Со всеми, в цепи. Хотя ротному командиру это и не положено. Я обернулся, легонько его обнял и, устыдившись этой сентиментальности, зашагал к блиндажам. Живы мы, оба живы!

В траншее у входа в блиндажи на деревянных, из-под мин, ящиках сидели солдаты. Кто курил, кто перематывал портянки, кто обтирал оружие, кто перебинтовывал товарища. На дне траншеи, накрытые трофейными маскхалатами, лежали убитые — высовывались ботинки и кирзовые сапоги. Сырцов посмотрел на них, горестно покачал головой и сказал:

— Ну, все собрались, Глушков? Будем держать круговую оборону. Немцы наверняка полезут в контратаку...

Он распределил между взводами участки обороны. Мы заняли ячейки и пулеметные площадки и до рассвета и все утро отбивали немцев, пытавшихся сбросить нас в реку. А потом, к полудню, вместе с переправившимся подкреплением двинулись вперед, в город.

Не люблю я уличных боев. В городе теснота, не повернешься, бои на улицах, в подъездах, на лестничных площадках, с любой стороны жди нападения, с чердака, из окна, из-за угла могут влечь в тебя. В чистом поле воюется лучше: в обороне зарылся в землю, в наступлении видишь что к чему, а коль видишь, то и решение принимаешь правильное.

Но в Смоленске складывалось удачно — мы продвигались в темпе, — и я подумал: «Форсирование позади, наитруднейшее позади». Совместно с саперами и артиллеристами мы подымались в гору, держась поближе к стенам пустых, мертвых коробок — здания были разбиты и сожжены и в сорок первом и нынче, — выбрались к центру, к площади Смирнова. И здесь из слухового окна шелкнул выстрел снайпера, и Витя Сырцов упал на мостовую. Я рванул к Вите, мне закричали: «Стой, снайпер бьет!» — я не слушал. Когда добежал, Витю уже оттащили в укрытие, во двор, по булыжнику волочился кровавый след.

Я опустился на корточки, оттолкнул кого-то, положил к себе на колени Витину голову. Он был еще жив — хрипло дышал, на губах пузырилась пена, глаза будто живые, но застывшие, как в шоке; санитар и санитар разрезали финкой окровавленную гимнастерку, бинтовали рану, руки у них тряслись. Витя умер через несколько секунд, когда ему закончили перевязывать грудь.

Я поглядел на него и вспомнил не бескровный лоб и посинелые губы, не застывшие навечно глаза, не забрызганный кровью орден на гимнастерке, а неподвижные, словно распухшие ноги с засохшей на каблуках кирзачей грязью в травинках. Я поглядел и пошел со двора на улицу, где шел бой. Он складывался удачно? Самое трудное позади?

Валяясь в полевом госпитале, на досуге прочитал я толстый роман. И в нем описывалось, как герой прощался со смертельно раненой героиней, как хоронил ее и как от горя солнце виделось ему черным. Мне показалось — неправда это, выдумка, потому что я вспомнил: когда скончался Витя Сырцов, солнце продолжало светить как ни в чем не бывало. Непостижимо! Будто ничего не случилось, будто не погиб мой закадычный друг. Может, я что-то путаю, я не силен в художественной литературе. Может, мое горе было не столь велико, как у героя толстого романа. Может, вся разница в том, что там — женщина, тут — друг? А может, причина в том, что там — книга, тут — жизнь? Не знаю, не знаю. Но когда гибнет человек, в природе ничто не меняется, это так. Да и что за дело ей до нас, людишек? Кроме зла, мы ей ничего не приносим. Мордуем себя, мордуем ее.

А Витю Сырцова я очень любил. Но вспоминал о нем редко. И если вспоминаю, то всегда всплывают какие-то общие впечатления: смелый, добрый, честный, выдержанный, простой, естественный. Конкретных проявлений этих его свойств я почему-то не держал в памяти. Для меня было главное: я его помню таким, а не иным. Мне подтверждений его качеств не нужно. Мнение же других меня тут не весьма интересует. Ибо я Витю Сырцова знаю, как сдается, получше, чем кто-либо.

Перед Смоленском я вспоминаю о Вите Сырцове как о живом. А так вообще обычно припоминаю его смерть. Да и сейчас мысли уже повернули: убит Витя в Смоленске, похоронен на братском кладбище. Еду я с минувшей войны, так сказать, в обратном направлении, и воспоминания о ней и о смертях, с нею связанных, продолжают раскручиваться. И всю жизнь будут эти воспоминания, хотя и не в такой последовательности. Да и нынче особой последовательности нету.

А что — сосватать бы у капитана, у ротного, его девятнадцатилетнюю дочку. Винават, девятнадцать ей было в сорок третьем, когда брали Смоленск. Нынче ей двадцать один. Подходит, не перестарок. Разыскать бы капитана через адресный стол, приехать к нему и сказать: «Прошу руки вашей дочери...» Или — как там полагается — сватов сначала послать? Я не знаток этой церемонии.

На смоленском вокзале, как и на минском, были толпы встречающих, флаги, лозунги, букетики луговых цветов, частушки и беспризорники. Я поручкался с древней бабкой в плюшевой кофте и галошах на босу ногу — бабка перекрестила меня, прошамкала: «Господь милостив»; расцеловался с ядерной девахой в сарафане и армейских башмаках — целовалась она основательно, взасос, говорила: «Который дён к эшелонам выхожу, первые были со старичьем, счас — с молодыми, женишка себе подбираю» — и подмигивала игриво; обменялся рукопожатием с демобилизованным ветераном в гимнастерке без погон, на костыле — служивый был под хмельком, а меня потащил к ларьку угощать квасом.

Я выпил кружку прохладного квасу, поблагодарил служивого и пошел на привокзальную площадь. Над городом дыбились облака — тускло-белые, с пеплом на изгибах, грозовые. Разбухая, ворочаясь, они угрожающе ползли навстречу друг другу. Между ними, уменьшаясь, по-детски беспомощно синел кусок чистого неба. Солнца уже не видно, и было сумеречно. Подросток, рывший яму для столба и перепачканный красным суглинком, выругался:

— Черт, будет дождяга! Не даст докопать.

Привокзальная площадь заполонена людом. Ни в трамвай, ни в автобус не сесть. Пешком? Дорогу спрашивать не надо, не заплутаю. Это решение смотаться в город явилось внезапно. И я не стал раздумывать, как будут без меня подчиненные, не отстану ли вообще от эшелона, и не стал ни у кого спрашивать разрешения. Отлучусь — и все.

Я шагал вдоль трамвайной линии к мосту через Днепр; река, матово отсвечивая, текла в вербных берегах; дальше, за рекой, высилась на холмах крепостная стена. Справа и слева из садочков выставляли напоказ свои стены новые дома, над каждым шест со скворечней, за палисадниками кусты алых, желтых и белых роз. Но большие здания не восстановлены: привычное зрелище руин; в давнишних, грязных лужицах купались воробьи, по примете — к дождю.

Миновав мост, я поднимался в гору, когда облака сшиблись, и, словно от этого столкновения, над городом раскатился гром. Холодно,

безжизненно прочертилась молния, и опять гром. А дождя пока не было.

Слепящие вспышки, тысячетонный грохот. Это когда-то было: орудейные вспышки, канонада. Здесь, на днепровских берегах, на смоленских улицах, по которым я прохожу. Пыхтели тогда деревянные домики, на месте каменных, взорванных немцами, — груды кирпича, булыжник мостовых сплошь разворочен фугасами, под сапогами хрустело битое стекло.

Я шел, останавливался, снова шел. У площади Смирнова, где убило Витю Сырцова, постоял, обнажив голову. Крупная капля упала сверху, запуталась в моих волосах, еще капля, еще. Капли цокали по асфальту, по булыжнику. Я стоял, мокнул, люди спешили, укрывшись газетами, сумками, зонтами. Ливень набирал прыть, по мостовой запенились ручьи, неся бумажки и щепки. На остановке заскрежетал трамвай, шедший вниз, к вокзалу. И я подбежал, втиснулся в прицепной вагон.

Ехал, зажатый жаркими телами, и поверх голов видел: овраг — не тот ли, где ранило нашего ротного? Капитан казался нам почти стариком, он имел взрослую дочь и, напуская на себя строгость, повторял: «Погляди у меня, побалуй у меня...» Где-то он сейчас? А Витя Сырцов сейчас в братской могиле на воинском кладбище, куда я не добрался. Надо на вокзал, к эшелону, к своим. Как они там без меня, подчиненные?

Я ехал и думал, почему взволновался меньше, чем мог бы? Не было слез, не было даже комка в горле, так только — сердце пощемило. Может, потому, что переволновался заранее, в эшелоне, на подходе к Смоленску?

Наш эшелон еще стоял без паровоза, и я с внезапной остротой пожалел, что поторопился. На перроне по-прежнему былолюдно, наяривала трехрядка, смеялись, шутили, пели. Выделялся визгливый бабий голос:

Я поставлю самовар,
Золотые чашки.
Ко мне миленький придет
В вышитой рубашке...

Ну, этой частушке далеко до минской — про лейтенанта в желтых сапожках и про кошку. В Минске ее верещал чумазый, оборванный беспризорник, мальчишка с бедовыми, навидавшимися глазами. Что-то с ним будет, с этим пацаном?

По платформе, заносчиво вздернув нос, прогуливалась Райка — губы подкрашены, глаза подведены, медаль «За боевые заслуги» надраена. Райка одна-одинешенька и старается не замечать балагурящих с гражданскими девками солдат и офицеров. Действительно, уже никому не нужна? Я затронул ее:

— Как жизнь, Раечка?

Она с благодарностью глянула, сразу же оживилась, подошла ко мне. А я не знал, о чем говорить с ней. И опять пожалел, что, поторопившись сюда, не побывал на кладбище. Живые — они никуда не денутся, а вот мертвых неизвестно когда еще навещу. Мертвые — это как наша совесть, а живые — они и есть живые, не безгрешные.

Дверь теплушки откатилась по железному желобу с неровным, вихляющим скрипом, — я проснулся. Эшелон стоял, и стояла тишина, и мне почудилось: родственно, нерасторжимо связаны они, неподвижный эшелон и глубокая, прозрачная тишина в дверном проеме. В вагоне

спали, дневальный потягивался у двери, вдыхал свежий утренний воздух. Мне тоже захотелось хлебнуть свежести, прояснить туманную после беспоконного, прерывистого сна голову. Я натянул штаны и слез с нар.

Разъезд, каких было уже немало. Леса, затянутые дымкой. Луга, пустынный проселок. Где мы? По всему, должны быть в Подмоскovie, однако пейзаж смоленский или белорусский, все они схожи, эти места. Но если всмотреться в дымку, то вдали обнаружится поселок с фабричными трубами, эти трубы и левей и еще левей. Это уже подмосковные приметы: заводских труб в таком изобилии нет ни на Смоленщине, ни в Белоруссии. И дачи, тянущиеся цепочками в березняк, — подмосковный пейзаж.

Домишко путевого мастера — за штакетником, на лавочках никого. Липы, вставшие прямо в забор, роняли на них цвет. По перилу мостика ходила ворона, как гимнастка по буму. Провисел паровоз. И, словно подтверждая, что полной тишины нет, липа проскрипела в заборе — деревом потерла по дереву, как будто ворона прокричала. А ворона была молчалива, с неуклюжей грациозностью прохаживалась по перилу. Чирикнул взъерошенный воробей, захвативший ветку липы и отгонявший от нее своих собратьев.

Я смотрел и пальцами оттягивал кожу на шее под подбородком — привычка, делаю так в задумчивости. Подышал, покурил, пооттягивал кожу на шее и полез досыпать: в дороге мы уже успели изнежиться — встаем поздно, завтракаем не раньше десяти, занятия иногда проводим, иногда нет, и никто, в общем-то, не требует их от нас, дорога есть дорога, лишь бы не было чепе, со спящими они не происходят.

Однако больше я не уснул. Прислушивался, как храпят солдатики, как жужжит, бьется о стекло муха, как выстукивают колеса — состав стронулся так плавно, что я не заметил. Думал: когда прибудем в Москву, сколько простои́м? Не ночью ли прибудем? Не исключено. И не исключено, что вообще могут провезти мимо столицы. Глянуть на нее хотя бы краешком глаза!

Во мне всегда мирно уживались москвич и ростовчанин: в Москве родился, в Ростове полжизни прожил. Но сейчас, в преддверии Москвы, москвич возобладал, и я был горд, что родился не где-нибудь, а в столице государства. В той, где живет и работает Сталин. Это вам не шутки. Представить только: можно подойти к Кремлевской стене, за которой, ты знаешь, находится Сталин! Почти что рядом. Рядом генералиссимус Сталин и лейтенант Глушков. Невероятно? Почему же: генералиссимусу без таких лейтенантов не обойтись, это они идут по его приказу в огонь и в воду. Ничего невероятного.

Шли в огонь и в воду с кличем: «Вперед, на запад!» Теперь клич другой: «Вперед, на восток!» Но опять по верховному приказу и опять в огонь и в воду. Приказы кому-то надо выполнять, иначе они останутся на бумаге. Лейтенант Глушков в числе исполнителей. Невелика шишка, но когда их много, подобных Глушкову, это неодолимая сила. Вперед, на восток!

Порассуждав о себе в третьем лице, я закрыл глаза. И сразу подскочил, так как раздался вопль. Все проснулись, повскакивали. Что стряслось? Да ничего существенного: Логачеву приснилось, что в рукопашной фашист засадил ему штык промеж лопаток. Каспийский рыбак, злохмаченный, испуганный, гладил себя по спине и бормотал:

— Приснится же, прости господи...

Кто его утешил: «Не бойсь, Логачев, и радуйся, что во сне это», — кто ругнул: «Орал бы потише, козел вонючий, взбаламутил как», — но все поняли: сна больше не будет, подъем. И старшина Колбаковский, вопросительно взглянув на меня, возгласил:

— Подымайсь!

А Логачеев никак не мог очухаться, поглаживал спину и повторял:

— Привидится же, прости господи...

В рукопашной у меня был случай: обер-ефрейтор занес надо мной тесак и всадил бы в спину, если б не мой ординарец, он прострочил обера из автомата.

А немки, когда мы вошли в Германию, подвязывали себе на живот под платья подушки — чтоб русские насильники видели, что это беременная, и не трогали. После они побросали свои подушечки: русские не творили того в Германии, что творили немцы в России.

А как там без меня Эрна?

Эшелон продвигался к Москве как бы толчками. Постоит, сдвинется, проедет сколько-то и снова остановится, постоит, стронется, проедет и снова... Короче, в час по чайной ложке. Разве ж тут угадаешь, когда будем в Москве? Вот пассажирские поезда, что нас обгоняют, придут по расписанию. А у нас где оно, расписание? Никто ничего толком не знает. Везут — и слава богу. В сущности, торопиться некуда. Война не уйдет от нас, приедем к ней в конце концов. А по пути поглядим на столицу.

Пока же и в теплушке неплохо. Привыкли, обжились. Остряки иногда именуют ее длинно, с иронией: «Сорок людей, восемь лошадей». Правильно, теплушка рассчитана или на восемь лошадей, или на сорок человек, которых у нас не наберется. Просторно, вольготно, кати хоть до Тихого океана. Может, еще и споем: «И на Тихом океане свой закончили поход...» Вполне возможно.

В теплушке — кряхтенье, кашель, зевки, солдатский треп:

— Дай закурить!

— Свой надо иметь.

— Друг называется!

— Дружба дружбой, а табачок врозь.

— Чего седни на завтрак будет, а? Жрать охота!

— Жрун ты, Санька! Прожорлив, ровно саранча.

— Сам ты саранча!

— Ребята, сколь едем? И сколь припухать еще?

— Что, надоело?

— Да нет, это я так...

— Эй, на верхотуре, не возись, труха сыплется!

— Это из кого там сыплется? Старпер, откликнись!

— Нестеров, кинь кресало!

— Лови.

— Подрых бы, да старшинка подъемскомандовал...

— Это он для порядку. Сам валяется.

— Хлопцы, у кого вчерашняя «Правда»?

— Свиридов, на пару бриться будем...

Потом кто-то поминает Москву, и все начинают вставать, одеваться. Бреются, подшивают подворотнички, ваксят сапоги — без напоминаний старшины. Колбаковский достает новую офицерскую гимнастерку, расправляет, оглядывает. У него все офицерское — хромовые сапоги, фуражка, пояс, две шерстяные гимнастерки — одна повседневная, вторая — для торжественных случаев, к ней-то он и примеряется. И я прикидываю, что получше надеть.

Привели себя в порядок, позавтракали. Прослушали политинформацию парторга Симоненко. Почитали уставы. Пообедали. А Москвы

не видать: плетемся по-черепаши. И торжественно-ожидательное настроение понемногу испарилось. Разделись, развалились на нарах: треп, анекдоты, ефрейтор Свиридов терзал аккордеон: «Мы с тобой случайно в жизни встретились, оттого так странно разошлись...» Те же танго, репертуар у него, определенно, ограниченный. «Ночью, ночью в знойной Аргентине, под звуками танго...» М-да!

Заводские поселки, дачные платформы, деревни на отшибе — и старые, уцелевшие, и новые, отстроенные. Немало пепелищ, полусожженных изб. И дачи попадались разрушенные, разваленные. Хватало землянок, траншей, бомбовых воронок, поржавелых машинных остовов, расщепленных деревьев. Леса, леса, за ними, за лесами, на востоке — Москва. Хочется глянуть на ее лицо, как на материнское лицо. Матери я уже не увижу, Москву — могу и должен увидеть. Неизвестно, как сложится у меня жизнь после той, японской войны, и повидаться ли с Москвою. Всяко может быть. Но сегодня непременно повидаться. Днем ли, ночью — в конце концов не существенно, лишь бы повидаться. Не прислушиваясь к беззаботным разговорам, я подумал, что надраить сапоги — это еще не все, что по-настоящему, душой, готовлюсь к встрече с Москвою я один. А может, мне это только кажется?

Умаявшись, Свиридов спрятал «Поэму» в футляр, завертел сигарку, и я услышал смачный баритон старшего сержанта Микола Симоненко. Неторопливо, прочувствованно парторг рассказывал Вадиму Нестерову. Тот внимал с интересом и почтительностью, да и прочие прислушивались.

— Ночью проехали Можайск, все спали, а я выходил на перрон, глядел... Как же иначе! Памятный мне Можайск, памятный... Посуди сам. Воевал я здесь в зиму сорок первого — это когда мы наступали от Москвы. А до того — отступали к Москве, аж до Химок отжал нас немец. Было времечко, вспомнить страшно: немцы орудия нацелили на Москву, в бинокли свои цейсовские разглядывают... Ты представь: седьмого ноября они замыслили парад на Красной площади, а Гитлер-кат должен был въехать на белом коне...

— Как Наполеон, — вставил Нестеров.

— Ну, в Наполеоны ему не светит, — сказал Симоненко. — Товарищ Сталин что за характеристику выдал Гитлеру? Дескать, ему до Наполеона, как котенку до льва... Так?

— Примерно, — сказал Нестеров. — Наполеон был вынужден оставить Москву...

— Он-то хоть въехал в столицу, а у Гитлера и это не выгорело. Погнали мы его войско в декабре. Ох и гнали! Снега, морозы, немцы сжигают за собой дома, чтоб нам не было обогрева. А мы бьем их в хвост и в гриву, гоним на запад. Драпают, бросают технику, своих раненых... Топаешь, бывало, а по обочинам трупы: немцы, немцы... Кто-то надоумился приспособить их вместо вешек, чтобы в метель обозначили дорогу. Стоят, замороженные, в снегу, ровно столбы... Вот тебе и парад на Красной площади! Догнали их с боями до Можайска, и тут, на водокачке, меня сковырнуло, пуля — в голень, как кость не задело, ума не приложу. Подвезло! Отлеживался в госпитале. В Москве, на Пироговке...

«И я бы мог припомнить, как дрался под Москвой, в сугробах сорок первого, лютый был декабрь, — подумал я. — Припомню, попозже... А ведь точно — фашисты стояли у стен Москвы. Но в Москву не вошли. А мы вошли в Берлин».

— Ну, так вот, — сказал Симоненко, — стою я, значит, на можайском перроне возле эшелона и плачу. Темно, тихо, все спят, собака

где-то лает, а я плачу, не стыжусь... Слезы — это за счет моей украинской природы...

«Не в этом дело. Микола,— подумал я,— не в этом».

— За слабость можно извинить,— сказал Симоненко.— Отплакался я, высморкался, и сделалось мне легко-легко, как будто никакой войны не было и я, безусый хлопчик, в школу хожу на Полтавщине...

«Война была,— подумал я,— и она состарила нас, и уже не будет возврата в прошлое...»

Летний денек, сухой и жаркий, дрожал маревом, в вагоне было душно. Синели и зеленели леса на все четыре стороны — ах, что за леса в Подмосковье! Мальчишки купались в речонках и прудах, сверкая голыми задницами. Женщины стирали белье с мостков, из-под руки смотрели на эшелон. На лугу бродил пяток коров — нынче шибко большие стада не попадают,— и коровы и пастух, древний дед в треухе, отмахивались от оводов. За поселком — кирпичное здание фабрички, труба ее покосилась, а дым из трубы подымался строго вверх. Над полем тарахтел «У-2», «кукурузник», знакомый нам по фронту: летал по ночам, и летчицы швыряли с них гранаты в немецкие траншеи.

— Ну, и пауты, как жрут коровенок-то,— сказал Головастик.

— Они и пастуха жалуют,— сказал Логачев.

Старшина Колбаковский отозвался с неодобрением:

— Комментаторы! Мы и сами все зрим... Лучше скажите, когда в Москве будем?

— Мы и не комментаторы, и не гадальщики,— ответил Логачев не весьма покладисто.

Передохнувший Свиридов рванул «Брызги шампанского», а потом вдруг — взамен очередного танго — заиграл, запел «Синий платочек»:

Скромненький синий платочек
Падал с опущенных плеч.
Ты говорила, что не забудешь
Нежных и радостных встреч...

Свиридов фальшивил, сбивался, переходил на шепот и придыхания, а я слушал его и не злился. Более того: я был размягчен, размагничен, песенка уводила к тридцать девятому, к необратимому. Разумом понимал: «Синий платочек» незатейлив, сентиментален, мещанист, как и дежурные танго Свиридова. Но сердце отзывалось по-своему: когда «Синий платочек» перекочевал с джазом Эдди Рознера из освобожденного Белостока, был тридцать девятый год, и я был совсем юн, и вторая мировая остановилась тогда у наших новых границ. Эх, не вернуть это время, не вернуть! Это уже потом, в войну, «Синий платочек» запели на другие слова, военные, Клава Шульженко запела...

Я обождал, не повторит ли ефрейтор Свиридов «Синий платочек»,— нет, танго «Мы с тобой случайно в жизни встретились...». В сущности, все это одно и то же, но от «Синего платочка», который мне некогда напевали, у меня пощемило, ей-богу. Не пойму, отчего так будоражит и печалит напоминание о довоенном бытии? Что было — то было, прошло, прошла и война, ты остался жив, радуйся. А ты скорбишь о довоенном, о необратимом. Может быть, потому, что мир изменился и сам ты изменился. Лучше ли, хуже ли, но ты стал другой, не тот, что был до войны. Скромненький синий платочек... Наверное, смешно все это. Если взглянуть со стороны.

Ординарец Драчев мусолил анекдотец, похихикивал, хотя до смешного еще не добрался; слушатели глядели ему в рот, чтобы тоже засмеяться; наконец грохнули. Я понуждал себя улынуться, развеселе-

литься. Вероятно, анекдот и впрямь смешной: муж собирается в командировку, а жена звонит любовнику... Смешной или глупый? Или пошлый?

А люди после войны должны измениться. Мы изменились в войну, теперь будем меняться в мирные дни. Впрочем, на горизонте новая война. Поэтому люди пока что не меняются? Решили притормозить — до того, как закончится новая, дальневосточная война? Так сказать, отложить до лучших времен?

Надоело философствовать. Надо попроще. Жить надо — и все. «На карнавале музыка и танцы, на карнавале смех и суета...» «Ты, Драчев, баки мне не забивай, гаси должок табаку...» «Лежал я в госпитале и сошелся с медсестрой, а у ней корова...» «Опух от сна, а все спать тянет...» «Нестеров, дай свою книжку почитать...» «Забьем козла? Волоки домино...» «Я по гражданке соскучился, опостылела армейщина...» «Ужин во сколько будет?...» «До Москвы, видать, поужинаем...»

Тащились по дачной местности, ожидали московских пригородов, но их не было и не было. Вместо того, чтобы везти нас на восток, к Москве, нас повернули на север, потащили в объезд, до Истры, оттуда на Сходню и Химки — и тут мы наконец-то увидели северную часть Москвы.

Уже смеркалось, громадный город лежал за лесной полоской, за шоссе, и будто устало, тяжело дышал, ворочался, готовясь отойти ко сну. Но до сна было далеко! На платформах, где останавливался эшелон, нас окружали москвичи. Как и на Смоленщине и в Белоруссии, цветы, песни, объятия, разговоры, разговоры. Расспрашивают, где мы воевали и куда держим путь. О первом рассказываем, о втором умалчиваем. Но то, о чем умалчиваем, москвичам известно, они сами нам докладывают: едете на Дальний Восток бить япошек. Вот тебе и военная тайна!

За огородами, у железнодорожного полотна, — сараюшки из фанерных листов, разбитых ящиков, обрывков жести, скособоченные, в трещинах, бараки, многоэтажные каменные дома с подкопченными стенами, пыльными оконными стеклами. Лики московских домов были темные, а лица москвичей — бледные. Как и лица смолян и белорусов: в тылу нам что-то не встречались краснощекие, упитанные люди. В тылу? Но сейчас нет фронта. А за четыре года мы привыкли, что есть фронт и есть тыл. И они едины, как писалось в газетах.

Я похаживал по платформе, прислушивался к смеху, шуткам, беседам, вступал в беседы, и мои щеки холодила сырось: за деревьями поблескивала вода. Канал Москва — Волга. Недалеко Химки. Откуда немцы разглядывали Москву в бинокли. Где они теперь, те немцы с их «цейсами», орудиями, танками и самолетами? Между прочим, немцы обожали «Синий платочек», наигрывали на губной гармонике, из траншеи доносило. Далеки нынче те траншеи.

А мое Останкино — недалеко. На автобусе за полчаса доберешься. Мое — потому что жил там. Мальчишкой. С мамой. А после и с Алексеем Алексеевичем. В коммунальном доме-клоповнике. Ходили с мамой в Останкинский парк — дубовые и липовые рощи, пруды, церковь, дворец Шереметева. С мамой и отчимом ездили на дачу — электричкой с Курского вокзала, это тоже, в общем-то, недалеко. И Клязьма недалеко, где жил во студентах. И Бауманский институт, где опять же числился во студентах. Однако в эти места не тянет, — хожу по платформе возле теплушек, слушаю, разговариваю, наблюдаю за электричками. Побывать бы в центре Москвы, на Красной площади, у Кремля! Но как потом найдешь свой эшелон? Никуда я, наверное, не отлучусь. Все равно Москва рядом со мной, живая, бессмертная. И всегда она

будет со мной и во мне, Москва — не места, где я жил, а Москва — обобщение, символ Родины и народа. Будь благословенна, Москва!

Я вглядывался в лица москвичей, как будто искал знакомых. Я их не находил, знакомых, но это меня не огорчало. Знакомые лица — солдаты и офицеры, мои попутчики. С меня и этого хватит. Пол-эшелона знаю в лицо.

Эшелон еще проволочился по северным окраинам Москвы, пока его не загнали в тупик. Было за полночь. Безлюдье. На путях ветер гнал пыль и бумажки из-под мороженого. За пакгаузами, над депо, светилась алая звезда — будто младшая сестра кремлевских звезд.

Солдаты уже спали. А мне не спалось. Я стоял с дневальным, курил. В ночной тишине била кувалда, сопели паровозы, скрежетал трамвай. Столица спала, но сон этот был неглубокий, беспокойный. Потому, видимо, что мимо и через нее шли воинские эшелоны, шли на восток, на маньчжурскую границу.

Сейчас там, на Дальнем Востоке, такая же ночь. Впрочем, нет. Существует же разница во времени, временные пояса. Если в Москве, допустим, час, то в Свердловске три, в Красноярске пять, в Иркутске шесть, в Чите семь, в Хабаровске восемь и во Владивостоке... Выходит, на Дальнем Востоке уже наступило утро. Мы едем туда, где день начинается раньше. Мы едем на восток и будем как бы терять время — ну, пустяки, по четверть часа в сутки, что за потеря. Ежели, как говорится, вся жизнь впереди... Жизнь-то впереди, но впереди и война. Хорошо, когда война позади. Та, немецкая — позади.

Стало прохладно, и я ушел в теплушку, залез на нары.

Проснулся, когда уже светало и состав шел, постукивая на стыках. Я поглядел в окошко: пронеслись дачные платформы, я не успевал разобрать названий. И вдруг всплыло: «Клязьма» и отбежало назад. О, Клязьма, мы едем по Северной дороге! Дачи, дачи, где-то за леском, в утреннем сумраке, летняя дачка, служившая мне пристанищем в тридцать девятом, до призыва в армию. Поступил в институт, а место в общежитии не досталось, приютился здесь. Походил в свое время с этой платформы до дачки и обратно! На секунду захотелось проделать этот путь по дорожке, но затем подумал: «А к чему? Что это даст? Не надо». Да и невозможно это: эшелон уже грохотал на подходе к следующей платформе.

Нестерпимо повело на курево. Я достал из пачки папиросу, огня не было, попросил у дневального. Снова лег, пуская колечки в потолок. С нижних нар меня окликнули:

— Товарищ лейтенант!

— Да?

— Товарищ лейтенант, это я, рядовой Нестеров... Разрешите обратиться?

— Обращайтесь.

На уровне верхних нар выросла ушастая стриженная голова.

— Просьба у меня, товарищ лейтенант... Отпустите в Ярославле сбежать домой, это рядышком со станцией, обернусь...

Ну вот, первая ласточка. Солдат, чей дом оказался на нашем пути. Таких разрешено отпускать — на усмотрение командира. На мое усмотрение. Вадика Нестерова я отпущу, он дисциплинирован, честен и скромен. Не подведет.

— Не отстанешь?

— Никак нет, товарищ лейтенант!

— Если что — догоняй. На пассажирском. Но лучше вернись вовремя...

— Спасибо, товарищ лейтенант!

От радости Вадик Нестеров хлопает глазами и, мне кажется, ушами. Хотя это ерунда: хлопать глазами и тем более ушами — признаки другого.

Проехали Пушкино, проехали Загорск. И я запоздало пожалел, что не съездил хотя бы в Останкино. Впрочем, к кому бы я поехал? К домам, а не к людям, близких людей у меня там нет. А где есть?

В Александрове долго стояли, меняли бригаду. Краем глаза наблюдал, как Головастиков порывался в станционный буфет, а Логачев не пустил его, вцепился в рукав — и не пустил. Я не вмешивался в это, старшина же сказал Головастикову:

— Скучает по тебе «губа».

Головастиков мрачно ответил:

— По мне тюрьма скучает.

— Не спорю, — сказал Колбаковский. — Тебе видней.

И поправил на своей голове фуражку, утвердил ее основательней.

Когда санитары эвакуировали с поля боя раненого, товарищи непременно поправляли на нем, надевали получше шапку либо пилотку. Почему-то это врезалось в память.

В Ярославль эшелон прибыл ночью. В вагоне все спали, кроме дневального, Нестерова и меня. Дневальный бодрствовал по долгу службы, Нестеров — понятно почему, а я — в предчувствии, что солдат опоздает, отстанет. Дверь откатилась, Вадик Нестеров спрыгнул и исчез. Я закурил, оделся, вылез из теплушки. Станция была запружена эшелонами, двери в теплушках — закрыты, на тормозных площадках зябли часовые. За пристанционными тополями мигали городские огни. Ярославль первый после Москвы крупный город, потом будет еще много городов. И с каждым из них мы станем все больше отдаляться от столицы.

Нестеров обернулся так быстро, что я в удивлении пожал плечами. Удивился я и тому, что он не один. За ним из мрака выступила маленькая щуплая фигура. В полосе фонарного света увиделось: девушка, точнее девчонка, подросток. Ну, ясно: дама сердца. Сам сосунок, а дама вовсе ребенок. А я-то думал: к мамочке стремится.

Они остановились подле нашей теплушки и, держась за руки, разговаривали вполголоса, временами посматривали на меня. Чтобы не мешать, я отошел подальше. Можно было вообще уйти в теплушку — теперь-то солдат не отстанет, — но что-то удерживало меня, быть может — элементарное любопытство. Хотелось увидеть, как они будут прощаться.

И увидел: Нестеров привлек к себе девчонку, неуклюже обнял, толкнулся лицом в лицо — поцеловал. Взобравшись следом за мной в тронувшийся вагон, махал ей пилоткой, девчонка семенила за теплушкой, прощально подняв руку, — худенькая, с острыми коленками, она то появлялась в полосе света, то пропадала во мраке. И — отстала.

Я запомнил ее лицо в эти минуты — сонное, напуганное и болезненно скривившееся одновременно. И у Нестерова выражение было испуганным, болезненным. Мне сделалось неловко за мое любопытство. У них, видать, все всерьез — любовь, разлука, страдания и тому подобное. Я спросил дружелюбно:

— Твоя девушка? Вернешься из армии — женишься?

— Это моя сестра, — сказал Нестеров, и я покраснел — враз, глупо, по-мальчишечьи. Хорошо, что Нестеров этого не видит: стою спиной к лампе.

Мост с арочными пролетами принял на себя эшелон, и под ногами зачернелась вода, в которой отражались фонари, колеблясь. Я смотрел вниз и думал, что это Волга и что она останется позади. Как и все, что до сих пор встречалось. Бетонный бык, вокруг которого пенилось течение, мощная ферма, фанерная будочка, часовой со штыком — и колеса застучали по-иному: мост кончился. Нестеров сказал:

— В сорок первом, товарищ лейтенант, фрицы прилетали бомбить этот мост, да не попали. Они и город бомбили.— Помолчал и другим тоном проговорил: — Спасибо, товарищ лейтенант, что позволили с сестренкой свидеться. Я прибежал домой, поднял ее с постели. Спрононок она сперва не поняла, напугалась шибко. Ну, скоренько оделась — и со мной на станцию. Решили постоять у поезда, чтоб не отстать, неровен час... Сестренка у меня мировая, товарищ лейтенант! Младше меня на три года, а умная, стойкая, как взрослая. И сердечная очень, в отца... Хлебнуть ей пришлось горяшка. Да и мне... Мать наша еще до войны покончила с собой...

— Как покончила?

— А вот так... Спуталась с парнем, с речником, собрала свои вещи да и укатила с ним в Саратов. Ни разу о нас и не вспомнила, словечка не написала. А он ее бросил через полгода. Она и повесилась. Там, в Саратове. Отец пил с горя напропалую, в сорок первом мобилизовали его, в сорок втором убило под Сталинградом. Остались мы с сестренкой вдвоем, теперь вот я в армии, она и вовсе одна...

— Как звать ее?

— Наташа.

— Хорошее имя.

— Хорошее, — согласился Нестеров, а я подумал, что в дороге люди становятся откровенней и подчас раскрываются с неожиданной стороны.

Победа должна была наступить весной, когда обновляются и природа и люди, и она наступила весной. Девятый день мая — как грань, за которой расстилались, казалось, беспредельные дни мира. Деревья тогда не знали, что цветут уже после войны. Пчелы не знали, что гудят уже после войны. Птицы не знали, что поют уже после войны. Мир!

И не верится, что снова еду на войну.

(Окончание следует)



МАРИЯ АВВАКУМОВА

★

ЧЕТЫРЕ СТИХОТВОРЕНИЯ

* * *

Нет, не поеду за границу,
махну я к Северу в гости.
Ведь там малина — с рукавицу,
ты не успеешь оглянуться,
глядишь — наполнены горсти.

На Севере меня заждались
дядья и тетки, свояки.
Позапылились, залежались
с моею меткой тuesки.

Часовни там еще бодрятся
и гордо головы несут.
И будто в небе журавлята,
дождики теплые клюют.

О, как хочу я воротиться
на этот белый кашкин луг,
в единственную за границу,
которая и врач и друг.

МАМЕ

Разметала, расстелила зелену твою кровать.
Я тебя бы уважала — не умела уважать.
Я тебя бы так любила — не успела полюбить.
Я тебя не сохранила — потащила хоронить.

Память белая в заплатках о добре твоём и зле.
Я брожу на мерзлых лапах в остывающей золе.
Вспоминая, забываю про ненастную метель.
Все грехи твои прощаю. Ты безгрешная теперь.

И теперь уж непременно попадешь ты в алый рай.
Перепляшешь всю деревню, напоешься через край.
У тебя там дел по горло: и обновы примерять,
и убитому Алеше вновь погоны пришивать.

Вы, женщины, с рождения — поэты.
Кого винить? Никто не виноват.
Но часто вы, боясь узнать об этом,
поэзию, как посконь, — на чердак.

И вот уже ты кажешься потухшей,
ты не любви, а состраданья дочь.
Но если кораблю защита — суша,
хранит тебя спасительная ночь.

Сорока-ночь опять крадет поэтов,
по блеску научась их различать.
Спят женщины, спят древние монеты,
которые менять — не разменять.

За что такое счастье мне —
ворваться со звездой счастливой,
родиться на такой красивой,
на горестной такой земле?

А если б мне глаза умыла
рука туниски голубой,
я и тогда б благодарила
за небеса над головой.

Когда бы родина Вьетнамом,
пылающим в огне, звалась,
я б рядом с узкоглазой мамой
руками детскими дралась.

Меня не знающие братья,
моя далекая родня,
одни связали нас проклятья,
и страсть, как жизнь, на всех одна.

Нас, разноликих, разнокожих,
сжигала, как траву, гроза.
Но, становясь темней и строже,
остались ясными глаза.

г. Альметьевск.



О Ч И Е Р К И Ж А Ш И Х Д Ж Е Й

ЕВГЕНИЙ СТАРОСЕЛЬСКИЙ

★

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ « НАУЧНО- ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО »

Началось все с приезда стариков в ЦК партии. Надо знать, как почитают возраст в Туркменистане, чтобы понять значение этого визита. Ждали их здесь почти все члены бюро, министр сельского хозяйства республики, руководители многих ведомств.

Старости приличествует степенность. Гости не спешили говорить о делах. Неторопливо потягивая зеленый чай, они справились о здоровье присутствующих и членов их семей, сами ответили на те же вопросы — непременная деталь восточного этикета — и только после этого перешли к сути. Колхоз у них совсем плох, им, старикам, стыдно: неужели у каждого дети и внуки — лентяи? Сами они тоже работают, есть среди них и чабаны и бахчеводы, но толку не видно. Семь председателей, как семь дней и ночей, сменилось в колхозе за последние годы. И пришли старики просить хорошего башлыка¹.

Первый секретарь молчал: организаторы, за которых можно поручиться, на улице не валяются. И вдруг молчание разорвал высокий человек, что сидел в стороне:

— Меня возьмете, почтенные?

Старости приличествует степенность. Но самый старший из гостей не сумел выдержать положенную паузу:

-- Тебя, Керим? А разве пойдешь?

Его не надо представлять гостям. Кто не знает Керима Ахмедьярова, сына грузчика из Гасан-Кули, одного из первых агрономов в республике?! Это он за несколько лет превратил Багирскую сортоиспытательную станцию в цветущее хозяйство, где с тех пор «всё по науке». В бытность его председателем в самые трудные времена разбогател колхоз «Совет Туркменистаны». Был министром сельского хозяйства республики — везде почувствовали его твердую и умелую руку. И сейчас он на «горячем» месте — руководит Управлением сельского хозяйства. И такой человек сам, по доброй воле, идет к ним в колхоз? Нечего тут раздумывать!

Добрую весть увозили аксакалы.

...Первым делом новый председатель построил бетонированную дорогу. Кое-кто говорил: чтобы удобнее было ездить на работу. Потому что жить Керим остался в городе, и каждый день шофер Какабай рано утром подавал Ахмедьярову сначала «газик», а потом и «Волгу». С автомобильной прогулки в тридцать километров по прекрасной трассе начинал свой рабочий день председатель.

...В 1967 году в Ашхабаде в овощной палатке на Октябрьской улице я купил цветную капусту, первую цветную капусту, выращенную в Туркмени.

¹ Председатель колхоза (туркм.).

С удивлением смотрели на невиданный овощ местные жители. А один старик промолвил:

— Муны белки енеде Керимовын тапаныдыр!¹

На другой день я узнал, что он был прав.

«КЕРИМОВЫН ТАПАНЫДЫР»

Когда мы познакомились достаточно близко, я спросил Ахмедьярова о причинах его перехода в колхоз — непонятного и озадачивающего.

— Не по мне это, — серьезно ответил он. И, увидев на столе коробку скрепок, усмехнувшись, продолжал: — Вот пустяк — скрепки. А ведь возможна в министерстве такая, скажем, «дискуссия». Приходит ко мне ревизор, спрашивает: а на какие деньги вы их купили? По этой статье нельзя было скрепок покупать. «Знаю, говорю, но на ту, по которой можно их купить, у меня денег нет». — «Сочувствую, отвечает, действительно без скрепок трудно, но подобного самоуправства разрешить не могу». — «Так мы же все планы выполнили — а победителей, как известно, не судят». — «Нет, говорит, еще как судят. Вы бы лучше фондов на канцпринадлежности добивались. Вот Н-ское министерство — они, можно сказать, в скрепках купаются». Я того министра очень хорошо знаю; он потому и планов не выполнял, что целыми днями фонды пробивал. Приплюсовать к этим фондам затраченное на них рабочее время сотрудников да убытки от невыполнения планов — во что обойдутся скрепочки? Вспомнил «Совет Туркменистаны». Там, если год хорошо поработаешь, никакая ревизия не страшна: колхоз богатеет, люди богатеют. Нужны оборотные средства — правление проголосовало, и все. Закон! Никаких вышестоящих, не надо тратить дорогое время. Короче: в колхозе непосредственно ощущаешь результаты своего труда. И как ни смешно, пост меньше, а самостоятельности больше: скрепками заниматься не приходится.

Обратите внимание на формулировки: «во что обойдутся скрепочки», «дорогое время»... Уже здесь сказывается экономист по призванию.

Нет бога, кроме Экономики, и Рентабельность — пророк его, — такова религия Ахмедьярова. Если взглядеться пристально во всю его деятельность, на любом посту — от рядового агронома до министра — мы увидим истовое служение этому богу.

На новом посту, в артели с хроническим дефицитом, Керим тратит последние деньги на строительство дороги. Как же так?

Судите сами. Хозяйство пригородное, никаких сверхдоходных культур, вроде хлопка или каракуля, здесь нет. Выращивают помидоры, капусту, огурцы для нужд города. Мясо-молочное производство — с той же целью. Для нужд города! От этого и шел новый председатель. Овощи и молоко — «деликатные» продукты, особенно при туркменской жаре, в летние месяцы переваливающей за 40 градусов. От Ашхабада до Безмена — двадцать четыре километра шоссе. От Безмена до колхоза — пять — восемь километров пыли, тончайшей среднеазиатской пыли, которая забивается в нос, в уши, в плотно сжатый рот и, между прочим, в молочные фляги... Ухабы «добивают» томаты, персики и прочую «мягкую» продукцию. Нужно строить дорогу. Нужно ликвидировать потери на этих километрах. И расходы на такую ленту сравнительно невелики, и окупятся они быстро.

Так было найдено первое звено. Так в город было доставлено без потерь то, что еще удалось взять с полей колхоза в тот первый год.

Начинать в разоренном хозяйстве со строительства — для этого нужно обладать определенной смелостью. И твердой уверенностью, что остальное — приложится.

Дорога — первая «Керимова выдумка». Она дала возможность не только

¹ Опять, наверное, Керимовы выдумки (туркм.).

ликвидировать потери, но и доставлять в город овощи и фрукты значительно лучшего качества — не помятые, без «бочков» и трещин.

В дальнейшем колхоз в значительной степени держался на этих «выдумках». А их Кериму не занимать. Еще в Багире, на сортоиспытательной станции, пытался Ахмедьяров разводить лимоны. Культура эта субтропическая, а климат в Туркмении резко континентальный. Зимой перепады между дневной и ночной температурой огромные. Редко, но все же бывает снег. Для лимонов снег и колебания температуры губельны. И нужна вода. Много воды, которой в пустыне нет.

Три года назад Керим использовал опыт, приобретенный на сортоиспытательной станции: начал строить своеобразный гибрид теплицы и оранжереи для лимонов. Были трудности со стеклом, бетоном. В сентябре прошлого года я ходил по этим сооружениям. Это все-таки, пожалуй, оранжереи, но в сентябрьскую жару, при 35 градусах, все рамы были открыты, как обычно бывает в теплицах. В нынешнем году лимоны дадут первый промышленный урожай. При всей своей невозмутимости, Кериму трудно было скрыть удовлетворение, когда он как бы нехотя поражал меня цифрами:

— Каждый куст даст в среднем двести пятьдесят плодов. На каждом гектаре — восемьсот кустов. Все парники обслуживают четыре человека.

— А сколько парников?

— Пока полезная площадь десять гектаров. Обошлось это в сто сорок тысяч рублей. В худшем случае окупим все хозяйство за два года.

Стоило мучиться со стеклом и бетоном!

Отдать дань старому увлечению — не бог весть какая выдумка. Но реализовать эксперимент агрономический методом экономического эксперимента, построить такие сооружения на копейки — уже выдумка. А в данном случае 140 тысяч рублей — копейки. Чего только не делал председатель, чтобы сократить расходы! Даже астрономию привлек к строительству этих «гибридов». Спланированы они так, что с восхода до заката солнце греет будто лакированные листочки лимонов: при солнце и звездах, с мудреными инструментами работал астроном, приглашенный колхозом. И сэкономил громадные суммы: расположение по солнцу дало возможность застеклить лишь одну сторону теплицы, вторая — просто земляной вал.

Почти каждой выдумке Керима сопутствуют «мини-выдумки». Выходим к свежевырытым траншеям — будущим парникам. Между ними — гигантские розы.

— Пока не на продажу — саженцы для озеленения усадьбы.

Спускаемся в очередную оранжерею. По сторонам от лимонных деревьев — крохотные сосенки.

— А это на какой предмет?

— На коммерческий предмет. Сосна эльдарская. Саженцами торговать будем.

Такая сосна защитит от солнца, украсит любой оазис. И это понимают горожане: уже есть заявки от детских садов, санаториев, треста озеленения. Владельцы дач ведут деликатный зондаж: когда им достанутся сосны?..

В междурядьях лимонов — гладиолусы. Тоже на продажу.

— Керим Ахмедьярович, а ведь с соснами да цветами вы на следующий год уже получите доход с лимонария.

Смеется:

— Я же говорю: в худшем случае окупим за два года. Других вариантов не считал.

Натура этого человека, кажется, совсем не соответствует его специальности. Агрономия — упорный труд, где результатов ждут годами. Ахмедьяров как будто не умеет ждать. Сегодня нужно получать ему прибыль, которая государству даст продукцию в большем количестве и лучшего качества, колхозу — достаток, колхознику — моральное и материальное удовлетворение от своего труда. Этот человек «спешит жить». Он спрессовывает годы в месяцы, а месяцы — в дни.

Разумеется, объективные законы науки остаются неизблемыми и не поддаются ни председателям колхозов, ни даже академикам, как бы они ни спешили. Нельзя вырастить лимоны за пятнадцать минут. Председатель колхоза «40 лет

ТССР» штурмует время иначе: на каждый год приходится новая «выдумка». Вспомните цветную капусту (1967 год). Год-два спустя на полях колхоза появляется другой невиданный прежде здесь овощ — патиссоны. А сегодня Керим своими лимонами вытесняет с базара спекулянтов.

В 1968 году медицинские авторитеты широко сообщили о необыкновенной калорийности и целебности перепелиного мяса и яиц. На птицеферме колхоза тотчас появляются перепелки. Очередная «выдумка» сулила золотые горы. Не вина, а беда Керима, что год спустя Академия медицинских наук «развенчала» перепелок: «открытие» оказалось мифом. И беда и вина его, что в том же 1969-м колхоз не выполнил плана по сдаче молока. Злые языки утверждали, что «молоко выпили перепелки». Вынесем за скобки откровенных недоброжелателей; прислушаемся к голосу серьезных оппонентов, вполне лояльных к колхозу и его председателю. Эти люди уверены, что любой эксперимент хорош, когда обеспечены тылы производства, то есть расчеты с государством произведены полностью. Вместе с тем, говорят они, нельзя по первым публикациям вколачивать общественные средства неизвестно во что. И серьезные люди ставят серьезный вопрос: где граница в экономике между экспериментом и авантюрой? И кто уверен, что завтрашние «выдумки» председателя не пустят по ветру того, что накоплено вчерашними, удачными?

От великого до смешного — один шаг. Но какого размера? Как не переступить эту невидимую границу человеку, искренно желающему только лучшего?

ПРОБЛЕМЫ НОМЕР ОДИН

Июль. Зной. Кажется, будто ощущаешь тяжесть солнечных лучей на плечах. И под этим «тяжелым» солнцем на полях работают люди. На помидорных плантациях не видно зелени: кусты покрыты плодами плотно, как кисти винограда. Безжалостное золото солнца, пунцовые заросли и бордовые, кажущиеся почти черными на фоне плодов, национальные платья женщин — сборщиц томатов. У полевого стана — единственного места, где можно укрыться под навесом, — наполненные помидорами ящики. Плоды еще покрыты пылью, напоминающей пушок на теле младенца. Проведешь по такому пальцем — остается след, и ощущаешь его упругость и мягкую теплоту — энергию солнца, сконцентрированную в этом шарике.

Ящики уже в грузовике. Никто не гонит, не кричит: «Скорее, скорее!» — но делается все быстро, споро, почти без слов. Сказывается многолетний опыт: июль — помидорный «пик»; чем быстрее отправишь в город, тем больше заработаешь. Проедем и мы на грузовике, проследим дальнейший путь этих ящиков.

Дорога курится под солнцем. Что еще может здесь испаряться, если каждый день — 42 градуса?.. Машина идет быстро, горячий ветер туго врывается в окно — создает лишь иллюзию прохлады... Через час подъезжаем к городскому овощторгу.

Завидев нашу машину, девушка у ворот властно поднимает руку — ни дать ни взять регулировщик. «Помидоры?» — «Помидоры!» — «Не нужно. Полно! Везите по магазинам, может, кто и возьмет».

Отъехав метров триста, останавливаемся. Шофер с грузчиком решают, куда лучше направиться.

— Проспект Свободы — не нужно, ГАИ полно и прямо по дороге из шести колхозов, кто-нибудь да заедет, — говорит шофер.

Итак, вопрос, кто получит свежий продукт, решают уже шоферы... Едем на улицу Худайбердыева. По дороге останавливаемся у двух магазинов. В одном даже не здороваются, машут рукой — езжай, мол, дальше; в другом продавщица кричит в глубину магазина:

— Помидоры брать аль нет?

В ответ раздается такой вой, будто человека тарантул укусил. Не ожидая разъяснений, шофер включает двигатель.

На улице Худайбердыева в кузов забирается товаровед. Долго и подозрительно смотрит на помидоры. Перебирает плоды в одном ящике, в другом... Давит два помидора руками:

— Э, брак. Могу принять как нестандартную продукцию.

Оживленный диалог по-туркменски. Шофер и грузчик ругаются, убеждают товароведа, что «так нехорошо». Тот пожимает плечами: «Везите дальше».

Мы побывали еще в шести магазинах. Мы хитрили: бросались в центр, а от туда на окраины. Мы жалели, что не сдали томаты как нестандартные: к вечеру они такими и стали.

Ахмедьярова мы застали у правления.

— Аланоклар!¹ — выпалил грузчик, размазывая по лицу пот и грязь.

— Двадцать ящиков -- на птицеферму, остальное — свиньям, — скомандовал председатель.

Так было еще два года назад. Не думайте, что теперь улучшились условия приемки. Часто, очень часто в помидорный, виноградный и прочие «пики» повторяет грузчик сакраментальное: «Аланоклар!»

Председатель отвечает иначе: «На консервный завод!» — если речь об овощах. И: «На винный!» — если о винограде.

Все чаще в торговой сети можно встретить консервы с этикетками «Производство такого-то колхоза». Вот и Ахмедьяров с великим трудом, без фондов на бумагу заказывает по 5 миллионов овощных и винных этикеток. Кстати, тираж невелик: производственная мощность только консервного завода 5 миллионов банок в год.

На первый взгляд все ясно: заводы спасают колхозный доход, который раньше в буквальном смысле слова съедали куры, утки и свиньи. Но заглянем в святая святых — в документы главного экономиста колхоза. Здесь нас ожидает много сюрпризов.

Начнем с мажорных тонов. Несмотря на необыкновенно жестокую зиму 1968/69 года, когда погибли виноградники, пали овцы, несмотря на все происки «п небесной канцелярии», труд 3156 членов колхоза дал в 1969 году 5843 тысячи рублей дохода. (Один этот факт свидетельствует, что дети и внуки стариков, более десяти лет назад обратившихся в ЦК за помощью, — не лентяи.) Только растениеводы собрали 7 тысяч тонн овощей на сумму 4288 тысяч рублей. Средняя урожайность овощей в этот год оказалась выше запланированной на 17,3 процента. Средняя урожайность — едва ли не лучший показатель роста производительности труда, самого большого места в овощеводческих хозяйствах (да и только ли в них?). Та же картина в животноводстве: план по мясу выполнен на 112,8 процента, по яйцам — на 116,2 процента. Еще лучше данные за предыдущие годы. Так что с ростом производительности труда в колхозе дело обстоит вполне благополучно, чтобы не сказать — блестяще: почти 9 процентов составляет он в самый суровый за последние сто тридцать лет в Туркмении год.

А теперь взглянем на те же выкладки под другим углом зрения. Какова рентабельность отдельных культур? Возьмем самые «кричащие», то есть неблагоприятные, цифры. Один центнер огурцов давал колхозу 2 рубля 19 копеек прибыли, а центнер помидоров — 1 рубль 56 копеек убытка. Убытка! В нынешнем году положение с томатами изменится по двум причинам: во-первых, государство почти вдвое повысило закупочные цены, во-вторых, понижается себестоимость. Но капуста, вероятно, еще долго будет убыточной. Вот почему темпы роста производительности труда не удовлетворяют Ахмедьярова. И вместе с тем, когда заходит речь о томатах, он уверенно рубит:

--- Со старыми ценами не умерли, а с новыми наверняка проживем!

А почему не умерли? Конечно, не одними томатами жив колхоз, но все-таки их производство «обошлось» в прошлом году почти в 50 тысяч рублей. А приплюсовать капусту... Так за счет чего выжили?

¹ Не берут (туркм.).

За счет консервного производства. Оно действительно спасает колхоз, но не от кур и уток. Если центнер свежих огурцов приносит дохода два рубля с копейками, то центнер переработанных на собственном заводе — 65 рублей!

Признаюсь, я испугался. Мне представились квартиры в многоэтажных городских домах, и на каждом этаже жители только тем и занимались, что открывали консервные банки с этикетками «Производство такого-то колхоза». Знающие люди меня успокоили: государство заинтересовано в здоровье общества, государственный план предусматривает сдачу свежих овощей и фруктов. В первую очередь — план, а потом можно закатывать свои банки в любом количестве.

Закатывание миллионов банок сверхплановых овощей и дает колхозу миллионы рублей, на которые, в свою очередь, возможно строительство новых предприятий и расширение действующих. Уже закладывают здесь убойный цех — со сбытом птицы положение не легче, чем с томатами. Подумывают и о строительстве молокозавода. Это предприятие даст возможность выпускать кефир, творог, ацидофилин, ряженку все с той же этикеткой «Производство колхоза «40 лет СССР».

А на какие средства построен консервный завод? С чего начинались колхозные миллионы? И каким образом через два-три года после прихода Ахмедьярова члены артели зажили припеваючи?

Сегодня в колхозе работают два завода. Винодельческий был построен значительно раньше. Каких жертв стоила эта стройка, помнят здесь все. Косвенное представление о трудностях того периода можно получить из следующих данных.

1967 год. Миллионные доходы (значительный процент — с виноделия) щедрой рекой текут в кассу. Сказываются эти доходы и на зарботке: 4 рубля 22 копейки в день получает рядовой колхозник.

1968 год. Начинается строительство консервного завода. На общем собрании колхозники единодушно решают как можно скорее закончить строительство. И несмотря на рост производительности труда, оплата составляет только 3 рубля 60 копеек.

1969 год. Завод дает продукцию. Позади — сложнейшая зима, последствия которой будут сказываться не один год. И все же в колхозе «40 лет СССР» выплачивают за день работы 5 рублей 55 копеек!

Если даже колхозу-миллионеру в благополучный год для окончания строительства приходится идти на уменьшение оплаты труда, чего же стоил новый завод запущенному хозяйству?!

Да, нелегко дались колхозу эти заводы. И вполне справедливо вознаграждение: в семидесятом году дневной заработок составит более шести рублей. Еще в Москве специалисты предостерегали меня: а не превышает ли рост заработной платы роста производительности труда в этом колхозе? Не секрет, что в иных хозяйствах так увлеклись материальным стимулированием, что забыли за ним о других экономических показателях. Как мы только что видели, зарплата колхозников растет волнообразно. Если же взять цифры за несколько лет, то можно убедиться, что в целом рост производительности труда на 1,5—2 процента превышает рост заработной платы.

Хорошие заработки, отличная производительность труда. Именно это обещал председатель, придя в колхоз: поднять хозяйство, обеспечить зажиточную жизнь. Итак, Керим Ахмедьяров сдержал свое слово. Только такой вывод можно было сделать из толстых книг и множества таблиц главного экономиста.

Что же тогда тревожит? Вспомним рентабельность. Никакие специалисты в Москве не могли предвидеть такого оборота дела. Основные культуры — убыточны. Разве это называется подъемом хозяйства? И ставка на индустриализацию, при всей ее необходимости, вызывает тревожную мысль: не создают ли именно эти заводы столь благополучной картины в экономике хозяйства? Производственные предприятия с их не сравнимой с огородничеством автоматизацией могут давать, вероятно, и больший прирост производительности труда, основные

же культуры будут по-прежнему нерентабельны... А ведь производство овощей — та задача, ради которой и создан колхоз.

Единственным человеком, который сразу согласился со мной, был Керим Ахмедьяров.

— До выполнения обещанного далеко. Скоро только сказка сказывается, верно? Да, наше «обручение» с индустриализацией может выглядеть как желание «прикрыть грех». Но в тех же книгах, где ты брал все цифры, есть еще одна: при одном и том же плане мы ежегодно увеличиваем посевную площадь под самые нерентабельные культуры. Зачем? Можно объяснять очень долго, а можно сказать и коротко: чтобы научиться производить их дешево. Это проблема номер один.

«Проблема номер один». Сколько их решается каждый день! И возникает вновь. После зимы 1968/69 года особенно остро встал вопрос о передвижных кошарах для овец. Эта «жилплощадь» призвана, при необходимости, кочевать вместе с отарой. О кошарах много писали, ими занимались и в городе и в деревне. Управляющий трестом «Туркменпромсантехмонтаж» Иван Данилович Малый решил изготовить опытный экземпляр такой кошары по проекту инженера Б. Панкеева. К кому из практиков обратиться? Конечно, к Ахмедьярову — кто еще обладает этой способностью на лету подхватывать новое, даже чем-то рискнуть? Судьба сводит двух энтузиастов. И вот кошара готова, на нее масса заявок, Совет Министров республики поручает тресту производство опытной партии. Недоволен только один человек — Керим Ахмедьяров. Кошара его не устраивает: тяжеловата, для монтажа требует специального крана, который и в городе не всегда достанешь. У него уже есть идея переносной кошары с плечочным покрытием. Думаю, что скоро он уговорит И. Д. Малого заняться и этим проектом.

Вообще союз Ахмедьярова с Малым оказался удачным для колхоза. Потому что строительство — вторая, после экономики, страсть Керима. Представляю, как он усмехнется, прочитав эти строки: не по влечению души, по расчету пристрастие. Без такого «сильного чувства» не может быть колхозного руководителя. Но не каждый руководитель так горячо относится даже к своему прямому делу. А в «40 лет ТССР» и здесь на каждом шагу эксперименты.

Построили птичник по типовому проекту, подрядчик — Межколхозстрой. Уплатили полную стоимость — 130 тысяч рублей. Строители — со двора, а хозяева берутся за свои блокноты, в которые по этапам вносили каждое действие строителей, описывали каждую деталь. Ахмедьяров и главный инженер колхоза Юрий Ромайкин решают строить следующий птичник из тонкостенного бетона, заимствуя из типового проекта лишь габариты. И вот рядом с сооружением Межколхозстрой стоят еще три птичника. Они не уступают первому ни в чем, кроме стоимости: все вместе стоят чуть дешевле, чем один типовый.

Типовой птичник сослужил и еще одну службу: его детали использованы колхозом при помощи того же изобретателя инженера Б. Панкеева для строительства коровников. Рассказать об этой работе можно в двух строчках: плиты перекрытия птичника стали стенами коровника, центральные столбы пошли на боковые опоры, крыша — тонкостенный бетон и сетка Рабеца. Первый такой коровник достраивался при мне. По предварительным подсчетам он обойдется втрое дешевле типового.

Все самое новое, что появляется в строительной технике, моментально апробируется в колхозе. Здесь используют барханный песок пустыни в качестве наполнителя для пескобетона, исследуют возможности того же песка для производства ячеистого бетона. Всех вариантов, всех работ не перечислишь. Да и не это главное — в конце концов не отчет же мы составляем. Действительно, строительство для Ахмедьярова — вынужденная страсть. Но все-таки страсть. Я пытаюсь представить себе Керима, которому нечего строить, — и не могу... Однажды я прямо спросил его, чем будет он заниматься, когда наступит такой «золотой век»?

Он растерялся! И начал отвечать неуверенно:

— Тогда... Не знаю. Дел-то хватит. Та же рентабельность... — И вдруг оживился: — Да не будет такого никогда. Чем больше строишь, тем больше остается. Потребности, что ли, растут? — И уже совсем спокойно: — На мой век хватит.

ШАНС ГЛАВНОГО АРХИТЕКТОРА

Хочу рассказать историю одного спора, участники которого и не подозревали о том, что они спорят.

Лет пять-шесть назад я встретил в колхозе «40 лет ТССР» одного московского журналиста. По заданию редакции он готовил здесь материал об изменениях в культуре и быте туркменского аула. Еще в Туркмении он читал мне фрагменты своей беседы с Ахмедьяровым.

Позднее я встретил этого журналиста в Москве и узнал, что редакция не согласилась с идеями председателя: слишком спорными показались они. И не согласилась именно с той частью, в которой речь шла о строительстве.

Ахмедьяров говорил о том, что новых культурно-бытовых сооружений в колхозе практически нет, если не считать все той же дороги, о которой уже шла речь. Дорога дала возможность пустить в поселок автобус, облегчились связи с городом: колхозники могут вечером поехать в театр, на концерт, но и только... В самом поселке как был летний кинотеатр под открытым небом до прихода Керима, так и остался. Клуба нет и пока не предвидится...

— Мы построим прекрасный Дворец культуры с комнатами для кружковой работы, с уютными гостиницами, — говорил Ахмедьяров корреспонденту. — Но не сейчас. Прежде нужны дома, современные жилища с удобствами. Придет колхозник в клуб, увидит хороший интерьер, какую-то деталь его перенесет в свой дом. Такой наглядный пример даст больше пользы, чем десятки лекций о культуре быта. А строить дворец, пока люди живут в глинобитных домиках, по-моему, просто безнравственно.

Можно было ожидать, что уж строительство жилищ идет полным ходом. То же нет!

— Нас не устраивают имеющиеся типовые проекты. В них не учтены климатические особенности, традиции туркменской семьи, национального искусства. Мы пошли по другому пути: изложили молодым архитекторам Туркменгосстроя наши соображения, напомнили, что дома должны быть из стандартных деталей, и заключили с ними договор на проекты. Ребята работали ночами, несколько раз мы отклоняли их предложения. Наконец на выставке проектов колхозники остановились на шести вариантах. Эти макеты хранятся у нас.

О макетах этих домов мне не надо было рассказывать, я видел их сам. Интересные проекты! Просторные террасы, увитые виноградом, окна, оборудованные стилизованными жалюзи, ванны и туалетные комнаты.

Конечно, Керим говорил и о стоимости.

— Колхоз не понесет убытков. Стоимость проектов раскладываем на все дома. Таким образом, каждая постройка обойдется всего на тридцать — тридцать пять рублей дороже типовой. Зато какие дома будут! Даже в городе при строительстве кооперативной квартиры вы берете то, что есть, а не то, что хотелось бы. А у нас сами заказывали, сами выбирали, сами теперь строить будем!

Материал в редакции понравился, фотографии макетов переходили из рук в руки, их с интересом рассматривали, но... возникло множество вопросов, ответов на которые не было. Как же так: колхоз-миллионер — и без Дворца культуры? Даже неизвестно, когда построят. И дома, конечно, хороши, но так вот резать: «Типовые нас не устраивают»...

Беседу отложили и забыли о ней. Так начался этот «заочный спор» московского редактора с председателем далекого туркменского колхоза, спор, о котором ни одна из сторон с тех пор и не вспоминала.

Прошли годы. Я снова приехал в Туркмению, на этот раз — с твердым намерением писать об Ахмедьярове. И, памятуя печальный опыт коллеги, в первую же встречу, прямо в гостинице, спросил Керима, какова судьба тех проектов.

— Ни одного дома не построили. Макеты можно выкидывать на свалку.

Ошибка? Колхозники отказались? Или нет материалов? Я не стал спрашивать. Решил: разберусь в колхозе и в республиканских строительных организациях.

Разбираться не пришлось. Буквально на следующий день газета «Туркменская искра» опубликовала интервью под знаменательным заголовком «Поселки, которые будут». Не могу не процитировать часть этого материала.

«Постановлением Государственного комитета по гражданскому строительству Госстроя СССР, — говорится во вступлении, — предусматривается при проектировании и возведении поселка «40 лет ТССР» Ашхабадского района опередить сложившуюся сейчас практику сельского строительства на 15—25 лет...

Колхозники высказались за то, чтобы при проектировании жилых домов был учтен опыт древних зодчих, возводивших жилье на двух уровнях. Первый этаж предназначается для проживания в зимнее время, второй с айванами (террасами) — для лета. Небольшой озелененный участок вокруг дома станет дополнительной своеобразной «зеленой комнатой». Температура здесь будет в знойные летние месяцы на 3—4 градуса ниже окружающей».

Далее в газете говорится о том, что клуб колхоза «Совет Туркменистаны» называют Дворцом, так как в его зрительном зале шестьсот кресел. Таких дворцов много в республике. Но в условиях туркменского климата семь месяцев в году они практически бездействуют. Люди неохотно собираются в душном помещении.

«Никто еще не занимался подсчетом коэффициента полезной деятельности клубов, а следовало бы исходить из экономической целесообразности и наиболее рационального использования таких сооружений». Каков же вывод? Не клубы, а Дома культуры и спорта, оснащенные кондиционерами, зрительный зал которых при помощи нехитрой механики днем может трансформироваться в спортивный, а вечером при желании — в танцплощадку. В комплекс таких домов должны входить плавательный бассейн, библиотека, чайхана и пр. Это даст возможность сэкономить средства на монтаже кондиционеров и максимально использовать помещение.

Но ведь все это было в беседе Ахмедьярова с московским журналистом несколько лет назад! Ну, конечно, мысль об «экономической целесообразности и наиболее рациональном использовании», сам подход к вопросу — сугубо экономический — его, Керима! Теперь понятно, почему «ни одного дома не построили»: ждут комплексного решения проекта.

Так и оказалось: уже поселок должен был стать гигантской строительной площадкой, уже завозили материалы и ловили «шабашников», и вдруг — московские архитекторы со своими планами, своими проектами, гораздо более интересными, чем те, которыми располагал колхоз.

Идеи Ахмедьярова, осуществления которых он добивался в одиночку, всеми правдами и неправдами, вскоре стали предметом обсуждения в Москве. Принятые Госстроем решения поддержали председателя колхоза, облегчили ему и его единомышленникам путь к созданию красивых и удобных жилищ для тружеников села. Но особенно ценно, что он сам делал что-то, доказывал, убеждал, предпринимал практические шаги к осуществлению своего плана, ставшего теперь планом государственным.

В заочном споре с московским редактором Керим оказался прав.

Мне хотелось подробнее узнать о самом проекте. Но Керим отвечал лаконично:

— Поживем — увидим. Кажется, толк будет: ребята молодые, со вкусом.

Более подробно перечислял он преимущества строительства комплексным методом:

— Мы выделяем на это дело миллион рублей в год. Сельстрой таких денег не освоит. А здесь заинтересован Госстрой, их заказ — они и будут контролировать. Значит, первое — быстрота, второе — качество строительства: на показательный объект выделяют лучших специалистов. И третье по счету, но не по важности — моральный стимул: люди будут жить в будущем. Этого тоже со счетов не сбросишь!

С главным архитектором проекта поселка «40 лет ТССР» А. Коняевым я познакомился, вернувшись в Москву. Институт, в котором он работает, выполня-

ет интересное задание: создает «поселки будущего» в каждой республике, в каждой области Союза. Их должно быть около трехсот. И, пожалуй, наибольший интерес к работе проектировщиков проявляет именно Керим Ахмедьяров.

— Приехали мы в колхоз, — рассказывал Коняев. — Председатель приглашает к себе. Обсудили всякие частности, потом он и говорит: «Ребята, я человек пожилой. Мне осталось работать, может быть, десять лет. Чего-то уже добился — люди живут богато. За оставшиеся годы хочу научить их жить красиво. Мне нужна эстетика. Нужны удобства. Нужен комфорт. И вы это сделаете по большому счету. Должны сделать. И сделать быстро. Чтобы я еще это увидел».

Почему так горячо? Секрет в том, что Коняев и его «ребята» должны проектировать только общественное ядро поселка. Было ясно, что имеющиеся проекты жилых домов не сочетаются с тем, что предложено москвичами. А Кериму нужен ансамбль... Он был искренен, он был страстен, и он победил.

— Он нас уговаривал: «Это и ваш шанс, ребята. Построить все от начала до конца! Это ж вашему творчеству памятник, вашей мысли!» И он прав. Закончим проект, увольсю и на год-другой поеду к нему в колхоз. Сам буду вести стройку, сам расписывать интерьеры. Нельзя упускать такой шанс!

Работал в колхозе агроном — теперь работает архитектор.

ЧТО ЕСТЬ МУДРОСТЬ?

«Я (читай: колхоз) так сделаю», «Мне (то есть колхозу) это выгодно», «У меня (значит, у колхоза) лишних денег нет»... Такие выражения часто можно встретить в речи Керима. Да и в этом рассказе — все о нем и о нем... Настало время разобраться, нет ли здесь, в колхозе, своего маленького культика: сидит в кабинете бог-предприниматель, изредка ездит по полям, чаще по стройкам, а на полях этих и стройках работают 3155 «винтиков и механизмов», заведенных его рукой, его волей. Один — и три тысячи сто пятьдесят пять...

Вот с семенного сортоучастка увидели на проселке столб пыли. Вот этот столб обернулся зеленой «Волгой». И шепоток, как легкое дуновение: «Башлык, башлык!» И сосредоточеннее, собраннее становятся люди.

Много машин в колхозе — общественных и частных. Мне по секрету рассказывали, что ни один счастливцев, доставший «Волгу», машину зеленого цвета не возьмет: нельзя, это его цвет, председателя.

Приезжаем с ним из города, входим в кабинет. Моментально в дверях вырастает красавец старик — статная фигура, традиционная борода. Неслышно ступая, приносит крепко заваренный зеленый чай, подает вазу с конфетами. Утром, днем, вечером, ночью — чай всегда горячий. Старик этот — сторож, живет при правлении, но главной своей обязанностью считает, по-моему, адъютантскую должность при башлыке.

Таких фактов и «фактиков» можно набрать много. И сделать вывод, весьма неутешительный для председателя. А можно привести примеры трогательной скромности, пустить слезу и сентиментально рассказать о его необыкновенном демократизме.

Все можно. Зависит от точки зрения. От первого факта, с которым столкнется человек заезжий.

Еще до знакомства с Ахмедьяровым от местных журналистов я слышал самые противоречивые версии на этот счет. Говорили об энергии, деловой хватке и смекалке председателя. Вместе с тем рассказывали, что человек этот почти не выходит из кабинета и «до себя» неохотно допускает даже колхозное руководство, что никаких вопросов в присутствии посторонних в его кабинете не только не решают, но даже и не задают. Все это как-то не вязалось.

Где же истина?

Уже в первую встречу с Ахмедьяровым подтвердились как будто самые худшие прогнозы. Сидели мы в его кабинете долго. Нам действительно никто не мешал. Я не сдержался:

— А почему к вам никто не заходит? Стесняются посторонних?

— А зачем заходить? — ответил он вопросом на вопрос. — Документы бухгалтеру я подписал до вашего прихода. Парторг был. А кому я еще днем могу понадобиться?

Позже я понял, что это не было позой. Вечером на планерке обсудят, что сделано за день, наметят планы на завтра, порой резко поговорят. А днем он действительно никому не нужен!

По его представлению, современный колхоз можно сравнить с крупным заводом. И пожалуй, логично: количество техники, необходимость четкости и оперативности в работе — все это сближает современное сельское хозяйство с промышленным предприятием. Директор завода не бывает каждый день во всех цехах и лабораториях: у него свои дела. Производственной частью, техническим оснащением на заводе занимаются начальники этих служб; в колхозе им соответствуют главный агроном, главный зоотехник, главный инженер и т. д.

На заводе в каждом цехе, в каждой лаборатории есть свой начальник; в коллективном хозяйстве — это бригадир и звеньевой. Если директор завода приходит в цех, сотрудники знают: это неспроста — значит, именно здесь прорыв, угрожающий цикличности работы предприятия. Так же и в колхозе: уж если председатель приехал на ваш участок, знайте — это чепе, вы на первом плане, от вас ждут особой доблести, особой четкости в выполнении производственных задач. По пустякам начальство не приедет... Заболела корова, испортился трактор — все это дело специалистов; у председателя другие заботы.

— Сейчас хозяйства такие пошли, что, если всерьез на каждом участке с людьми о делах разговаривать, за день колхоз не объедешь и свою работу забудешь.

— Ну, а так-то лучше, — возражал я ему, — сидит председатель в кабинете, а на полях его и не видно? Покажется изредка, как красно солнышко...

— Лучше, — парировал он.

И снова — доводы, доводы, доводы. Видно, вопрос о месте председателя в современном колхозном хозяйстве, оснащенном техникой и специалистами, волнует Ахмедьярова не меньше, чем, скажем, нерентабельные культуры.

Для руководства колхозом, по его мнению, мало иметь высшее образование. Мало знать практику. Необходимо знание теории — стратегии и тактики руководства. А об этом подчас забывают — и в институтах, и на курсах по всяческому усовершенствованию.

Но прежде всего — знание людей, кадров.

— Зарплату получаешь — бывает, старые, уже побывавшие в употреблении деньги дают. Их даже в руки брать скучно. А новые, только из банка, сами пресятся: хрустят, жесткие, необмятые... Вот так и слова. На днях в «Правде» интереснейшая статья: «Соревноваться — значит творить!» — вот основная идея. Нашел же автор слово — «творить». И по-новому мысль заиграла. Разве мы всегда так понимаем соревнование? У нас порой кто больше выработал, тот и передовик. А может, он сутками от станка или с поля не уходил? А другой в это время к экзаменам в институт готовился? Нет, соревноваться только по валу нельзя! Я своим так говорю: соревноваться — значит хитрить. Да, да, хитрить! Поломать голову, придумать усовершенствование, которое за единицу времени даст возможность обогнать соперника. И поскольку у нас соревнование социалистическое, поделись с ним потом идеей. Ведь в выработке мы все заинтересованы! А на новом этапе соревнования — снова ищи, снова хитри. Хитрость — точное слово, но творчество лучше: благороднее, весомее, живее. А ведь суть одна — думай!

Вот она, истина взаимоотношений Керима с людьми: он хочет всех и вся вокруг заставить думать, искать, «хитрить», творить. Он «заражает» людей предприимчивостью.

— Самостоятельность мышления — вот главное, что требуется от любого работника. Честных исполнителей найти легко: тех, кто поставит перед руковод-

ством новые вопросы, откроет новые возможности, — значительно труднее. В школах да институтах предмета «Новые горизонты» нет. Значит, всюду нужно учить — на заводах, в колхозах, в Академии наук. Учить быть первопроходцами — Пржевальскими, Миклухо-Макляями...

А учить их как не просто! Керим это знает лучше других. Ведь не каждый потерпит, чтобы его учили: в годах человек, глава семейства... Поэтому прежде всего такт. Подтолкнуть надо, а потом уж пусть думает, что сам достиг. А иного нужно заставить поверить в свои силы. Тоже нелегко...

В колхозах Средней Азии есть должность такая — заместитель председателя по культуре. По традиции выбирают на эту должность женщин — кому же еще заниматься вопросами образования, медицинского обслуживания, подготовкой детских праздников? И если учесть, что женщина средних лет здесь еще помнит свое бесправие, то станет понятным, какая это для нее школа — ответственная выборная должность.

Сколько знаю Керима, столько замом по культуре у него Султан, тихая, спокойная, будто удивленная своим высоким положением в родном ауле. В последний приезд, перебирая знакомых, спросил у Керима и про Султан.

— Жива, здорова, — с улыбкой ответил он. — Что ни день — масло из меня жмет. У нас с углем трудно. Зимой ведь глинобитные домики отапливать надо. Прибыл уголь — народ валом валит: у того десять детей, у этого — двенадцать: мол, прибавь! А я большие глаза делаю: «Разве уголь привезли? Я и не знал. Это все Султан. Коли она достала, пусть сама и распределяет, я в чужие дела не лезу». Она — ко мне: «Керим-ага, кому давать, по сколько? Как сделать, чтоб никого не обидеть?» — «Никого не обидеть, говорю, невозможно. При желании человек сам себя убедит, что его обидели. Но по справедливости распределить — нужно». В первый раз помог ей. А теперь сама... И все уже знают: она — хозяйка, культурой, бытом сама управляет.

— Как же она «масло жмет», если сама всем занимается?

— Да вот сейчас требует: подай ей преподавателей русского и английского языков!

— Неужели не хватает?

— Да не в школу — в новый детский сад. Я ей втолковываю: мы фрукты-овощи производим, а не педагогов. Кивает, вроде согласна, а потом опять: так когда будут?

— Обещал?

— И ты туда же! Как обещать, если негде взять? Подумаем. Найдем, конечно. Главное — не педагогов. Главное — Султан уже требует. Раньше с ней легче — и скучней — было.

Проявление инициативы, самостоятельности подчиненными радует его. Доволен, когда вот так из него «жмут масло».

— Бюрократы любят говорить: «Войдите в мое положение», — продолжал Керим. — А человек должен прежде «войти в свое положение», осознать важность своего труда. Вот Султан «вошла»...

Не всегда так удачно «вписываются» люди «в свое положение». Как-то зашла речь об одном из главных специалистов.

— Не тянет, — угрюмо сказал Керим. — Два года не тянет. Чего не пробоваши!

— Что, дела не знает? — спросил я.

— Прекрасный специалист.

— Так в чем же дело?

— Главный специалист должен быть главным. А этого он не умеет. Снимать — травма для человека. Оставлять — травма для окружающих. Куда ни кинь — всюду клин... Думали: воспитаем. Думали: развернется. А он еще более робким стал. Не только звезд с неба не хватает — не тянется к ним!

Где сейчас этот человек? Не знаю. Как-то пытался поинтересоваться: сняли, не сняли? Керим в ответ предложил прокатиться на стройку... Я понял, что совершил бестактность. Может, он сам еще не решил?

Вообще в делах хозяйственных, экономических он скор на решения. В судьбах людских — нет. Куда деваются энергия, напористость? Здесь он — сама осторожность. Может быть, и потому, что по себе знает, как меняются люди. Как виноград не вдруг вызревает — много солнца надо ему, — так и человеку много нужно прожить и продумать, чтобы прийти к тому, что уважительно называют люди мудростью...

Было время — председатель колхоза «Совет Туркменистаны» Керим Ахмедьяров стал министром сельского хозяйства республики. Но колхозу тоже нужен председатель. И по рекомендации Ахмедьярова избрали на эту должность его бывшего заместителя Мурадберды Сопиева. С тех пор этот молодой и красивый человек — бессменный председатель лучшего в республике колхоза. Сопиев считает себя учеником Ахмедьярова. Сопиев развивает ахмедьяровские традиции. И отлично развивает. У Керима более трех тысяч человек производят семь тысяч тонн овощей, у Мурадберды — девятьсот работников дают более десяти тысяч тонн. Керим заплатит колхозникам по 6 рублей за день, Мурадберды — на 2 рубля больше. Ахмедьяров — депутат Верховного Совета республики, Сопиева избрали в Верховный Совет СССР. Казалось бы, Ахмедьярову самое время дарить Сопиеву фотокарточку с классической надписью: «Победителю-ученику от побежденного учителя». Но он не торопится этого делать.

Как не бывает абсолютно одинаковых людей, так нет и одинаковых руководителей. У Сопиева свой почерк, своя манера работы. Он не будет сажать патиссонов и разводить перепелок, пока не убедится, что в другом колхозе они не дали знных тысяч рублей чистой прибыли. У Ахмедьярова консервный завод уже работает. Сопиев увидел, что это выгодно, — строит теперь у себя. Ахмедьяров прежде скармливал собранную продукцию скоту — Сопиев, если нет уверенности в сбыте, даже не собирает ее, оставляет на кустах, чтобы не нести лишних расходов по уборке. Когда мы с Керимом осматривали лимонарий, я спросил его, не строят ли такой же в «Совет Туркменистаны». Он серьезно ответил, что лет через пять построят — будто обсуждали с ним этот вопрос. Керим знает Сопиева лучше всех, не один год вместе работали: увидит, что рентабельно, и построит.

Нет ли в этих словах иронии? Нет. Две точки зрения. Олча — применять у себя лишь то, что проверено опытом, жизнью. Вторая — экспериментировать, самому находить лучшее. Трудно отвергнуть любую из них. Видимо, они хороши в сочетании.

Ахмедьяров считает, что Сопиев принял хозяйство, а он — руины. Мурадберды имеет право на большую осторожность; ему не стоит рисковать многим. А у Керима положение иное: чтобы вытащить артель из прорыва, он частенько идет на более «рисковые» шаги. Да, честно говоря, многочисленные «тапаныдыр» более соответствуют его характеру.

Что же получается? У себя в колхозе он людей тормозит, учит «хитрить», а Сопиева принимает таким, каков он есть? Противоречие? Снова нет! Кериму важно, чтобы люди искали, а уж каким путем вести поиск — это дело каждого. А кто же прав — Сопиев или он, Ахмедьяров? Керим по этому поводу прогнозов не строит, но фотографию с той самой надписью не дарит.

Не дарит... Было время — работал Керим председателем в колхозе «Совет Туркменистаны». Спешил — построил целые улицы типовых домов. Зато полевые станы в колхозе представляли собой просто навесы из досок.

А сегодня?

Сидит председатель в кабинете, изредка ездит по полям. Здесь показывает с гордостью новые полевые станы — двухэтажные сооружения с затененной верандой, на которой и отдохнуть, и чаю попить можно (а без чая в Туркмении жизни нет). В подвальном помещении запроектирован склад готовой продукции: прохладно, до подхода транспорта ничего не испортится. В потолке хранилища бетонные плиты пригнаны неплотно, между ними щели в два-три сантиметра.

— Это зачем?

— Приезжают сюда на целый день, — объясняет Керим. — Привозят с собой дыни, а то и здесь, в поле, где-нибудь в уголке вырастят. Продукт нежный, что-

бы сохранить, его подвешивать надо. Крюки нужны! А их в бетон не вобьешь. Вот и оставляем щели, в которые крюки можно зацементировать. Работы — на копейку, бригадир сам сделает, а людям к обеду — холодная свежая дыня.

Может, новые станы и такая мелочь, как крюки для дынь, и есть мудрость, пришедшая к человеку с годами?

СКАЗАВШИ «А»...

Может быть, понятия стратегии и тактики в колхозном производстве пришли к Кериму из той же аналогии: колхоз — промышленное предприятие.

Что понимает он под этими терминами?

— Что и все, — отвечает Ахмедьяров. — Стратегия — искусство руководства, тактика — способ достижения какой-то локальной цели.

Новая дорога — это тактика. Подъем трудовой дисциплины, увеличение поголовья в животноводстве, повышение производительности труда, даже строительство колхозных предприятий для переработки своей продукции — все это тактические задачи, за решением которых не сразу увидел он стратегические.

Только на досуге, расплатившись с долгами колхоза, обеспечив благополучие членам артели, задумался Керим Ахмедьяров: что же дальше? Сейчас колхоз имеет доход около 6 миллионов рублей. Ну, постройте еще два-три завода. Вырастет доход до 10—15 миллионов рублей. А дальше?

Нужны ему какие-то конкретные задачи, для решения которых необходимо ломать барьеры косности, срывать шоры, открывать людям еще не изученные главы в том предмете «Новые горизонты», который не проходят ни в школах, ни в институтах.

Несколько лет назад, в тот самый день, когда с грузчиком и шофером привезли мы к правлению десятки ящиков с пожухлыми помидорами, в город я возвращался с Керимом. Зеленая «Волга» на сей раз изменила свой маршрут. Узнав, что я был в магазинах только «с черного хода», общался лишь с товароведами и заведующими, Керим провез меня по тем же магазинам, но заходили мы всюду уже с «парадного».

Помидоров везде было много. Но они не многим отличались от тех, что мы вернули в колхоз. И уж никак нельзя было сравнить их с туго налитыми плодами, с которыми мы утром пустились в путь. Ни в одном магазине не было томатов такого качества.

— Плодоовощторг, — сквозь зубы цедил Керим. — Фабрика по производству убытков...

А после нашей экскурсии стал вдруг защищать заведующих магазинами:

— И ты и я работали бы так же. Может, на складе лежат и свежие. Ну, а эти продать нужно? Кто же спишет такую уйму товара? Так вот: свежие подождут, а сначала сбывают что похуже. Когда очередь до свежих дойдет, они такими же станут.

Уже тогда мечтал он о фирменном колхозном магазине, куда бы можно было доставлять свежую продукцию, о магазине-лаборатории, где изучался бы спрос населения, где холодильные установки и хорошие складские помещения давали бы возможность резервировать товар на несколько дней. Но — увя! — мечты эти не осуществились. Как были у колхоза две «фирменные» палатки на базарах, так и стоят они по сей день...

В мечтах этих, сам того не сознавая, подходил Ахмедьяров к решению стратегических задач, стоящих перед колхозами не только в Туркменистане.

И началось все опять же с того тезиса, с которого Керим приступил к работе в колхозе «40 лет ТССР».

Для чего мы существуем? Чтобы снабжать город. Чтобы житель города мог пользоваться плодами земли. Но разве горожане получают эти плоды в том виде, в каком мы их производим? На базаре — да. В магазинах, как правило, — нет.

Итак, важнейшая задача — снабжение городских жителей — колхозами пока выполняется отнюдь не полностью.

Неужели у частника больше возможностей доставить в город продукты товарного вида, чем у нас, у колхоза, располагающего десятками автомобилей, механизмами, грузчиками? Хозяйка в городе еще спит, а в колхозе уже работают те, от кого зависит содержимое ее сумки. И работают неплохо. Во всяком случае, не хуже частника. Так где же, на каком участке, теряется качество продукции?!

Мы с вами, читатель, можем ответить на этот вопрос не хуже Ахмедьярова. Та самая девушка-«регулировщик» у горплодоовощторга «слабым маньем руки» превращает гладкие, покрытые пылью помидоры в томатное месиво. Собственно, сама девушка тут ни при чем: властью, данною ей как представителю заготовительной организации, она накладывает вето на возможность получения потребителем свежей продукции.

Парадоксально, но факт: заготовители, призванные обеспечивать население доброкачественной продукцией, сами же препятствуют этому.

От такого посредничества страдают и потребитель и поставщик.

В 1925 году появились в Советской республике невиданные прежде сообщества — коллективные хозяйства, колхозы. Что представляли собой эти артели? Карликовые хозяйства без специалистов и техники. Во главе такого колхоза, как правило, стоял человек, горящий желанием наладить дело, но не имеющий подчас для этого ни знаний, ни материальных средств (вспомним Давыдова из «Поднятой целины»). Гибель одной коровы для подобного хозяйства была бедствием. Заготовители, получаящие продукцию этих артелей, являлись, по сути, оптовиками. Каждый такой оптовик специализировался на одной отрасли хозяйства. Тогда и появились многочисленные «загот»: «Заготлес», «Заготкож», «Заготшерсть»...

Нынешние колхозы сходны с теми только названием. Действительно, что представляет собой колхоз сегодня? В колхозе «40 лет ТССР» восемьдесят специалистов с высшим образованием, свыше двухсот различных моторов, два завода, сотни тысяч штук птицы, тысячи голов рогатого скота. В поселковых школах — восемьдесят учителей, и Султан требует преподавателей иностранных языков для детских садов... Колхоз дает продукции больше, чем целая область в довоенное время. И гораздо больше того, с чем когда-то имели дело оптовики-заготовители. Колхозы изменились, а оптовые организации — почти нет. Но порядок сдачи продукции остался прежний. Этот железный порядок предписывает колхозу идти к оптовику. Заготовитель — своеобразный ОТК, от него зависит оценка труда многотысячного коллектива колхоза. А он и не видит порой результатов этого труда, высылая к воротам девушку. «Не нужно!» И колхозные машины мечутся по городу, выполняя работу заготовителей...

Не надо думать, что заготовительные организации «нафаршированы» лентяями и бюрократами — там много честных работников, но обстоятельства против них: нет складских помещений, не хватает холодильных установок, транспортные перебои... А объем продукции в колхозах растет! И если раньше мы говорили о необходимости увеличения этого объема, то сегодня основная забота председателя овощеводческого колхоза — сбыт.

— Материально я не заинтересован в сдаче сверхплановых овощей, — говорит Ахмедьяров. — Переработаю «дома» (то есть на колхозных предприятиях. — Е. С.) — и разбросаю по Союзу. Но ведь мы — коммунисты! Мы не можем позволить себе пустить на переработку продукты отличного качества! А «пристроить» их часто не удастся. Вот и получается: миллионы в кассу идут, а голова все равно болит — от обиды на неорганизованность!

И уже не об одном образцовом магазине-лаборатории мечтает председатель колхоза. Он хочет забрать в свои руки все снабжение города овощами и фруктами. Он — за упразднение плодоовощторгов, а вместе с ними и других заготовительных организаций!

— Разделите все магазины между четырьмя колхозами, снабжающими город, и дайте каждому четверть. Мы обеспечим их всем необходимым. Никогда не выращивал петрушку. Но если покупатель потребует — она появится. Пусть

даже будет на первых порах нерентабельной — выдюжим! У нас нет картофеля. Не беда — закупим на стороне. Пусть дорого: честь фирмы дороже! Зато какой дадим бой базару! По государственным ценам — продукты только высшего качества! И исчезнет понятие «дефицитный товар». Не может и не должно быть в Туркмении с ее климатическими данными дефицита в овощах и фруктах!

— И все председатели пойдут на это?

— Нет. Не все. Но выделите мне четверть, и через два года другие потребуют того же. Ведь это выгодно!

Выиграет потребитель — это понятно.

Выиграет государство: упразднение столь крупной организации сократит расходы местных Советов.

Выиграет колхоз: во-первых, 6—9 процентов прибыли, отчисляемые ныне плодоовощторгу, останутся в колхозной кассе. Во-вторых, значительно сократятся транспортные расходы: машины будут ходить в город по графику. И, наконец, подобная реформа станет прекрасной школой хозяйствования для бригадиров, что при бригадном хозрасчете тоже не пустяк.

— Мы платим в среднем за день работы шесть рублей. Но ведь это в среднем. В лучших бригадах люди получают и по десять рублей, в худших — может быть по три с копейками. Что это за критерий — лучше, хуже? Как отделить овец от козлищ? Каждый с пеной у рта доказывает, что он не хуже других... А при упразднении плодоовощторгов закрепим за каждой бригадой два-три магазина. Бригадир тогда отвечает не только за собранную с поля продукцию, но и за ее качество при доставке, за хранение в магазине, то есть уже за товар, — до тех пор, пока он не попал в руки потребителя. Покупатель, сам того не ведая, становится высшим судьей в оценке хозяйственной деятельности бригады. Он «высказывает» свое мнение повышением или понижением спроса. И для нас контроль упрощается: проедем по магазинам, сравним качество продукции на прилавке...

Он рассказывает, как представляет себе эти колхозные магазины.

Продавцы будут получать несколько больше, чем сейчас, — за счет отчислений из колхозов. Руководители — тоже. Но и тем и другим поработать придется больше: и по интенсивности труда, и, возможно, по времени. Режим работы определяют социологи, приглашенные колхозом. Они также подсчитают оптимальное время продажи товара. Завоз будет проводиться по их рекомендациям в определенные часы. Улучшится культура обслуживания: руководству колхоза совсем не безразлично, что за люди представляют его фирму.

Так широко — гораздо шире плана — представляет себе Керим Ахмедьяров выполнение основного долга колхозов перед горожанами.

— В легкой промышленности, — продолжает он, — чтобы ускорить оборот, уже призывают ботинки непосредственно с фабрик доставлять в магазины. Вот что делает экономическая реформа в промышленности! А у нас? Помидоры — не ботинки. А по пять-шесть перегрузок терпят, пока к потребителю попадут. И с этим мирятся!

Как же относятся к этому предложению в республике? Многие руководители поддерживают инициативу Ахмедьярова. Но городские власти против: а если не получится, если дефицит увеличится, с кого мы будем спрашивать? Ведь товарищ Ахмедьяров юридически не несет ответственности за снабжение города картофелем, которого не производит...

— Дайте мне четверть магазинов в городе, а остальные оставьте за торгом, — предлагает Керим. — Через два года сравним показатели.

— А потом что будет? — спрашивает исполком.

Как видите, предложение — в стадии ломки барьеров косности...

Примерно таковы же аргументы Ахмедьярова в пользу упразднения прочих заготовительных организаций. Правда, здесь добавляется еще один, совсем уже анекдотический:

— Заготовители кожи года три ничего у нас не принимают; сами отправляем сырье на фабрику. Но поскольку сами не имеем права, то в их контору

документы на подпись возим и деньги исправно перечисляем — за комиссию... И все довольны: им — спокойнее, нам — быстрее.

«Крестовым походом» против всех и всяческих посредников не исчерпываются идеи Керима. Ведь всю продукцию Ашхабад «не съест». Куда же пристроить излишки?

— Недавно пермяки обратились к нашему колхозу с предложением открыть у них в городе фирменный магазин «Туркменистан». Заманчиво? Ведь сколько жителей Перми бывали в Туркмении? А тут можно было бы отвезать и лучшие в Союзе сорта винограда, и дыни «вахарман»¹, и персики, и гранаты. Купцы без самолетов умудрялись Елисееву в Москву и Петербург тот же «вахарман» в опилках доставлять! Так неужели мы не можем рабочий класс Урала угостить в фирменном магазине?! И какой почет для колхоза — республику представлять! Пришлось отказать: не имеем права вывозить за пределы республики ни одной кисточки винограда, пока полностью не выполнен государственный план. А попробуй сдать план в период «пика»... Не примут! Год, говорят, еще не кончается, выполните за счет поздних сортов. Значит, такой магазин мог бы существовать с ноября по январь! А персиков в это время нет, «вахарман» к октябрю кончается... Игра не стоит свеч!.. Или другой пример. У вас в «Вечерней Москве» каждый год бывают такие бодрые сообщения: первый самолет с ранними фруктами прибыл в столицу. Что такое самолет? Двенадцать тонн нетто. Да только наш колхоз мог бы дать двадцать — тридцать самолетов ранних овощей и фруктов на десять дней раньше. Разрешили бы нам тридцать процентов продукции продавать в индустриальных центрах России по тамошним ценам, дали бы самолеты — остальной урожай сдавал бы здесь бесплатно. Мне тогда ничего не нужно. Я бы уже имел свой годовой доход! Но это — при ценах на ранние овощи, по два-три рубля за килограмм огурцов и помидоров. А по более доступным ценам? Скажи, пожалуйста, когда в Москве появляется первый виноград? К концу июля? И, конечно, не дешевле двух рублей пятидесяти копеек килограмм? А что бы вы сказали...

Керим быстро подсчитывает что-то на листе бумаги.

— Что бы вы сказали, если бы десятого — пятнадцатого июня для детских домов и садов, для рабочих крупнейших предприятий Москвы, Ленинграда, Свердловска мы предложили бы ранние столовые сорта по рублю двадцать копеек килограмм? Причем авиатранспорт за наш счет, за колхозный. И виноград такой свежести, что листочки не успеют увянуть. И нам это выгодно, и рабочим, и детишкам.

— За чем же дело стало?

— Все за тем же: нельзя! План общесоюзных поставок колхозам не дают, все должно идти через Центросоюз, опять перегрузки, опять продукт лежит, опять неизвестно, когда попадет к потребителю.

— А сверх плана?

— В июне план по винограду выполнить невозможно. Значит, снова ни одной кисточки... А почему бы не сделать так: авторитетная комиссия Министерства сельского хозяйства республики обследовала виноградники — и, если план гарантирован, какой-то процент ранних сортов сдай, обеспечь местных жителей, а излишки вывози. Ведь при таких ценах мы даже не заработаем больше, чем здесь, только полезное дело сделаем.

— Сколько же у вас раннего винограда?

— Разрешили бы только вывозить — и будет много, очень много. Ведь все в наших руках. Будем сажать сверх плана то, что выгодно, что быстрее найдет сбыт. Можно и овощей в четыре раза больше вырастить, чем сейчас, — был бы только сбыт.

И тут я подкинул ехидный вопрос:

— Не понимаю, Керим Ахмедьярович. Сейчас ты можешь консервировать,

¹ Очень нежная, душистая и сладкая летняя дыня. Этот сорт не подлежит длительному хранению.

получать громадный доход — и не увеличиваешь урожай не только в четыре — в два раза. А дадут возможность вывозить — лишние хлопоты, меньший доход — и согласен выращивать такую уйму продукта. Во имя чего?

Он посмотрел на меня как на ребенка неразумного.

— С каждым годом все больше колхозов строят свои предприятия. Уже сейчас не так легко сбыть консервированную продукцию, как два года назад. Через два года станет еще труднее. А через десять?.. Если же сейчас увеличим посевные площади, через десять лет сокращать их нельзя: это будет и политической и моральной ошибкой. Значит, под эти площади нужно иметь верный рынок — уже сегодня. И потом все, что мы сейчас обсуждаем, все равно станет в повестку дня. Либо колхозам дадут план общесоюзных поставок, либо разрешат вывозить сверх этого плана. И заготовителей упразднят. К этому мы придем. Сказавши «а», да скажешь «б». Государство дало колхозам все что нужно для развития производства, а вопросы сбыта решаются пока так же, как на заре существования колхозов. Из этих «ножниц» вылезать придется, вот только средние подтянутся до уровня нынешних передовых... А это будет очень скоро. И лучше сегодня поступиться чем-то, но иметь верный доход и доверие потребителя завтра, когда к этому придут все.

Я вспомнил, как примерно то же говорил Керим московскому журналисту о типовых проектах жилых домов для сельской местности. Тогда он оказался прав. Этот человек умеет предвидеть. Сбудутся ли его нынешние «пророчества»? И не стоит ли в порядке эксперимента предоставить ему возможность сказать «б»?

* * *

Сотни людей встречает журналист в своих разъездах. Кого только нет среди них! Энтузиасты и стяжатели, мудрецы и лентяи, любители громких фраз и герои. Далеко не каждого вспомнишь уже через месяц — новые встречи, новые впечатления... Но бывают люди, забыть которых нельзя, люди, которым хочется подражать. И всегда мечтаешь попасть к ним снова, чтобы заразиться их энергией, их мыслями, их заботами.

Таков для меня Керим Ахмедьяров.

Я знаю его давно. Давно хотел написать о нем. И только сейчас решился.

Человек этот сложен. Рассказать о нем нелегко. Я старался сделать это честно, ничего не утаивая, не приукрашивая. Насколько удалось — судить не мне. Но, даже закончив эту рукопись, я долго не решался сдать ее в редакцию. Многие казались неясным, нечетким, как на недодержанной фотопленке. «Проявить» эту пленку мне помог секретарь Ашхабадского сельского райкома Коммунистической партии Туркменистана Анатолий Иванович Орлов, которого я не раз встречал в колхозе. Он — тонкий психолог, скромный и мягкий человек, и я решился доверить ему свои сомнения и колебания.

В маленьком, просто обставленном кабинете Орлова мы просидели долго. — Анатолий Иванович, знаете ли вы, на что «живет» Керим Ахмедьяров? Речь шла, конечно, о колхозе, и секретарь меня понял.

— Я-то знаю. А вы?

— Я — тоже.

— Ну, а все-таки?

— На вине и консервах.

— Ну и что здесь плохого? Ведь это его стартовая площадка. Настанет день, когда он не будет иметь сверхдоходов с этих отраслей, а колхоз все-таки будет передовым. Они раньше других сделают все культуры доходными.

— А культур у него много!

— Очень много. И каждый год появляются новые. Керимовын тапаныдыр... — по-туркменски сказал Анатолий Иванович. — Знаете, как его у нас называют? Председателем «научно-исследовательского» колхоза. Он — впередсмотрящий. Экспериментатор. Он готов опробовать все: новые методы в строительстве, новые культуры, новую технику. И всюду вносит свое, ахмедьяровское.

Я был рад этим словам секретаря райкома. Потому что мне дорог Керим.

— Единственно, в чем его можно обвинить — жесток он с людьми, — так же спокойно продолжал Орлов.

— Керим?!

— Да, Керим. Он хочет всех сделать Ахмедьяровыми, такими же смелыми экспериментаторами, такими же неистощимыми на выдумку, на исследования. А ведь на это, согласитесь, не каждый способен.

— Но ведь люди вокруг него заражаются его одержимостью, его идеями — значит, все-таки способны...

— Вокруг него о с т а ю т с я те, кто способен.

Что ж, это тоже объяснение. Но зато те, кто остается, создают коллектив с таким творческим потенциалом...

Я вышел на улицу. По теневой стороне дошел до проспекта Свободы. Солнце на перекрестке ослепило. Налево, совсем недалеко, — дом Керима Ахмедьярова. Он живет в городе: жена преподает в Сельскохозяйственном институте. Направо — дорога в колхоз «40 лет ТССР». И мне было хорошо оттого, что он где-то здесь, что в любую минуту можно к нему зайти. Приятно сознавать, что герой нашего времени — рядом.



ПУБЛИЦИСТИКА

Э. ГОРБУНОВ, Ю. ОВСИЕНКО

★

ПРЕОДОЛЕТЬ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ БАРЬЕР

В статье Н. Петракова «Управление экономикой и экономические интересы» («Новый мир», 1970, № 8) затрагивается ряд принципиальных проблем нашего хозяйственного развития в период осуществления экономической реформы. Проблемы эти сегодня волнуют не только экономистов, но и самые широкие круги нашей общественности, ибо развитие экономики — дело всего нашего народа, всех трудящихся.

Однако в данном случае нам хотелось бы высказаться прежде всего как специалистам. По роду своей профессии мы являемся свидетелями и участниками многочисленных (если не сказать, каждодневных) дискуссий среди экономистов по тем же вопросам, которые поставлены в статье Н. Петракова. Поддерживая в целом концепцию, которую защищает автор, мы хотели бы продолжить разговор, начатый Н. Петраковым.

ЛОЖНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА

Уже в первые годы практического осуществления реформы центральным вопросом дискуссий среди ученых-экономистов был вопрос о соотношении централизованного планирования и рынка. К сожалению, в руках некоторых экономистов жупел «рыночного социализма» стал поводом для обвинения своих оппонентов в грехах, отнюдь не соответствующих их теоретическим взглядам и практической концепции экономического развития социалистического общества в современный период. Эти ученые стали рассуждать следующим образом: раз вы выступаете за широкое использование товарно-денежных отношений — значит, вы против плана, а раз вы против плана — значит, вы за «товарный» социализм, значит, вы «рыночник». И так далее и тому подобное. Между тем концы с концами в этих рассуждениях явно не сходятся.

Прежде всего говорить о «товарной» или «антитоварной» концепции социализма неправомерно в принципе. Социализм не может быть «товарным» или «антитоварным», ибо его социально-экономическая суть заключается в господстве общественной собственности и вытекающем отсюда планомерном развитии производства, а не в том, происходят ли в ходе хозяйственной деятельности обращение денег, товаров и другие процессы, присущие товарному производству. Социализм и план так же неразрывны, как социализм и общественная собственность на средства производства. Поэтому-то концепция чисто «рыночного социализма», отрицающая общественное планирование как внутреннюю черту социалистического производства, бесплодна и теоретически и практически.

Однако социализм — это динамичное, развивающееся общество, и формы хозяйствования при нем не могут не изменяться, ибо меняются сами экономические условия развития общественного производства. Поэтому признать, что централизованное управление является единственной и исключительной формой функционирования хозяйственного механизма социалистического общества, значит фактически поставить под сомнение одну из важнейших черт социализма.

Сразу же укажем нашу позицию, которую будем пытаться отстаивать в настоящей статье. Нам представляется, что план и рынок не только не противостоят один другому, но и взаимно дополняют друг друга, а альтернатива «план или рынок?» ложная. Эффективный механизм управления социалистической экономикой включает в себя в качестве органической составной части экономические отношения товарно-денежного, рыночного типа.

Уместно вспомнить в этой связи, что еще в 1921 году в Тезисах ВСНХ о новой экономической политике, редактировавшихся В. И. Лениным, говорилось: «Наряду с натуральным товарообменом, где это выгодно, мы должны самым решительным образом переходить к формуле: товар — деньги — товар»¹.

Однако необходимо договориться о том, какое содержание мы вкладываем в понятие «рынок». Всем известен классический капиталистический рынок XIX века. Любой экономический агент — предприятие, фирма, отдельный индивид — может по стихийно сложившимся ценам приобретать и продавать любые товары. Единственным условием, ограничивающим возможности экономического агента, является величина его дохода.

Рынок в данном случае представляет собой важнейший регулятор производства. Разница между продажной ценой товара и издержками производства в этих условиях заставляет предпринимателей увеличивать или уменьшать объем выпуска этого товара. К чему приводит подобный механизм экономического развития — мы все прекрасно знаем. Об этом нет нужды говорить подробно.

Противоположная ситуация, в значительной мере гипотетическая, такова: каждый экономический агент получает и производит ресурсы и продукты в заранее определенном количестве и ассортименте. В этом случае мы имеем в чистом виде централизованный механизм экономического развития. О рынке здесь говорить не приходится.

Эти два принципа организации экономики выглядят взаимоисключающими только в своих крайних формах. Действительно, рассмотрим, например, нашу экономику, основа которой, как известно, централизованное управление. Однако каждый член социалистического общества имеет право в рамках получаемого им дохода приобретать любые предметы потребления. Но он не может быть покупателем тех средств производства, которые предполагают использование наемного труда. Этим, собственно, исключается какая бы то ни было эксплуатация человека человеком в условиях социализма. Спрашивается: рынок это или нет? Конечно, рынок, но только рынок ограниченный.

Но, с другой стороны, при социализме существует и общественный рынок средств производства, на котором социалистические предприятия продают и покупают оборудование, сырье, материалы. В том, что этот тип рынка реально функционирует, можно убедиться, читая, например, объявления типа: «Предприятие купит...», «Предприятие продает...», публикуемые в еженедельнике «Экономическая газета» и других изданиях. Кроме того, имеется целая сеть государственных магазинов, где предприятия могут купить необходимые им средства производства. Как известно, именно оптовая торговля средствами производства призвана заменить в будущем их фондированное распределение.

Следовательно, всегда, когда экономический агент обладает определенной свободой выбора, рыночные отношения обязательно имеют место. Эта свобода может быть не абсолютной, не полной, однако она должна быть реальной. При этом две принципиально разные формы рынка все же существуют. Различие заключается в том, чьим интересам служит рынок: интересам эксплуататорского меньшинства или интересам всех трудящихся. Это, как говорится, азбука. Однако беда как раз и состоит в том, что у многих понятие «рынок» ассоциируется либо с капиталистическим рынком, либо в лучшем случае со знаменитым одесским «привозом». И если для неэкономиста такая аналогия является извинительной, то для ученого такая позиция просто непонятна.

¹ Ленинский сборник, XX, стр. 105. Разрядка наша.

ЭФФЕКТИВЕН ЛИ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЛЕВИАФАН?

Итак, рынок действительно в условиях социализма существует. Но нужен ли он? Не лучше ли построить всеобъемлющий и всезнающий центральный управляющий орган, сверхмощный вычислитель — этакий левиафан, способный составлять планы развития народного хозяйства, обеспечивающие максимальное (при данных возможностях) удовлетворение потребностей всего общества? В этих условиях надобность в рынке действительно отпала бы.

Однако эта попытка заранее обречена на провал, ибо точно определить желания каждого отдельного человека, узнать, как может работать каждая деталь сложнейшей системы общественного производства, немислимо ни в настоящее время, ни в обозримом будущем. Ведь в нашей стране около 250 миллионов человек, и каждый из нас даже сам не всегда точно знает, какие именно блага и в каких количествах он захочет приобрести завтра. Тем более это неизвестно кому-либо другому, будь он хоть семи пядей во лбу.

Более того. Одних только крупных и средних предприятий в СССР насчитывается несколько сот тысяч, и каждое из них — достаточно сложный хозяйственный организм. При этом общая структура производства непрерывно изменяется под влиянием технического прогресса.

Поставим вопрос несколько иначе. Пусть наш левиафан делает максимум того, что можно сделать, учитывая существующие в настоящее время средства управления. (А они весьма эффективны — электронные вычислительные машины открыли новую эру в области управления, в тысячи и тысячи раз умножив наши возможности по переработке информации.) Однако и в этом случае мы заметим, что всемогущий левиафан не столько занимается удовлетворением наших потребностей, сколько удовлетворяет свои собственные. На него работает ряд отраслей промышленности, ибо такой огромной и сложнейшей системе постоянно требуются новые детали, блоки и машины взамен изношенных. Она пожирает невероятное количество энергии, ее обслуживанием занимается масса людей.

Если управляющий орган, чтобы приблизиться к оптимальному, наилучшему плану развития экономики, будет многократно подсчитывать, сколько и каких продуктов должна выпускать каждая производственная единица в каждом возможном варианте развития, у кого она должна получать сырье, материалы, оборудование, кому реализовать свою продукцию, то на осуществление функций по такому планированию придется потратить огромные ресурсы (вычислительные машины, программисты, люди, связанные со сбором и переработкой информации, контролем и т. п.). В результате полученный народнохозяйственный план окажется пирровой победой.

Таким образом, имеются по меньшей мере две причины, делающие неприемлемой описанную выше систему управления. Это, во-первых, принципиальная невозможность полностью познать все без исключения хозяйственные процессы и, во-вторых, экономическая нецелесообразность создания такого управляющего органа.

Поэтому народнохозяйственное планирование должно иметь неодинаковые формы для верхних и нижних этажей всей системы общественного производства. На верхних этажах — в сфере макроэкономики — народнохозяйственный план определяет основные параметры развития производства: объем национального дохода, фондов накопления и потребления, величину внешнеторгового оборота, основные пропорции развития отраслей народного хозяйства, территориальное размещение производительных сил и др. В этих показателях выражаются главные экономические цели социалистического общества в данный плановый период и определяется объем производственных ресурсов, необходимый для их достижения (объем средств производства и предметов потребления, трудовых ресурсов). Это — сфера деятельности центральных органов планирования и управления.

В отношении же производства отдельных продуктов государство регулирует деятельность предприятий в сферах производства и рынка экономическими средствами: через систему цен, кредитных отношений, финансирование предприятий и др. При этом предприятия, фирмы, отрасли и т. п. получают определенную свободу действий, то есть

переводятся на рельсы хозяйственного расчета и самостоятельно, путем детального учета своих возможностей, договоров с другими объектами, торговли и тому подобных мероприятий «доводят» укрупненный план до самых конкретных показателей и реализуют его. Это в свою очередь немислимо без механизмов «рыночного» типа.

В этих условиях центральный управляющий орган уже перестал быть всезнающим, абсолютным и непогрешимым судьей. Он, так сказать, «поделил ответственность» с управляющими органами хозяйственных объектов, с каждым отдельным членом социалистического общества.

Современная социалистическая экономика — чрезвычайно сложная система, функционирующая в условиях общественного разделения труда, что, как показал Маркс, предполагает обмен между хозяйственными объектами. А это при неполной информации о процессах производства и потребления приводит нас к выводу о том, что эффективное управление социалистическим обществом представляет собой единство централизованного планирования и экономических отношений «рыночного» типа, причем последние ничего общего не имеют с отношениями капиталистического рынка. С принципиальной стороны вопрос о соотношении централизованного управления и товарно-денежных отношений уже решен в ходе внедрения хозяйственной реформы. Как известно, сам замысел, внутреннее содержание и дух хозяйственной реформы, осуществляемой ныне в нашей стране, как раз и состоит в том, чтобы, как указал XXIII съезд партии, «усилить роль экономических методов и стимулов в управлении народным хозяйством, коренным образом улучшить государственное планирование, расширить хозяйственную самостоятельность и инициативу предприятий, колхозов, совхозов, повысить ответственность и материальную заинтересованность производственных коллективов в результатах своей деятельности»¹. Итоги прошедших пяти лет ясно показывают, что именно на основе органического соединения принципов государственного руководства народным хозяйством с использованием экономических, то есть товарно-денежных, отношений и могут быть достигнуты наиболее высокие результаты экономической деятельности общества. Об этом же говорит и опыт наших лучших предприятий. Ведь, как правило, лучшими их называют потому, что они, во-первых, имеют хорошие показатели в области производства, а во-вторых — и что неразрывно связано с первым, — они лучше, чем другие, использовали в своей работе те принципы реформы, о которых говорилось выше.

Ученым еще далеко не ясен вопрос о том, где конкретно должна кончатся сфера компетенции центрального управляющего органа, каковы те ограничения, в рамках которых целесообразно иметь отношения «рыночного» типа. Ясно, однако, что механизм управления экономикой, диалектически сочетающий план и рыночные отношения, богаче, гибче, а следовательно, эффективнее как чисто рыночного механизма, так и механизма жестко централизованного управления. Понятно также, что создание такой системы управления возможно только при социализме. Это еще раз подтверждает неоспоримые преимущества социалистического строя.

ЭКОНОМИКА КАК ЕДИНЫЙ ОРГАНИЗМ

В условиях действия новых принципов планирования народнохозяйственный план выступает как средство управления экономикой, регулирования самого механизма общественного производства. Он по-прежнему играет централизующую роль в определении народнохозяйственных целей, он же предусматривает и использование тех или иных экономических рычагов. С их помощью в процессе работы хозяйственного механизма устанавливаются основные народнохозяйственные пропорции общественного производства.

Однако к народному хозяйству нельзя подходить с той же меркой, как к предприятию, состоящему из отдельных цехов.

¹ «Материалы XXIII съезда КПСС». М. Политиздат, 1966, стр. 40. Разрядка наша.

Классики марксизма-ленинизма часто сравнивали экономическое развитие общества с жизнедеятельностью организма. Так, В. И. Ленин подчеркивал, что «...Маркс положил конец воззрению на общество, как на механический агрегат индивидов, допускающий всякие изменения по воле начальства... Диалектическим методом — в противоположность метафизическому — Маркс и Энгельс называли не что иное, как научный метод в социологии, состоящий в том, что общество рассматривается как живой, находящийся в постоянном развитии организм (а не как нечто механически сцепленное и допускающее поэтому всякие произвольные комбинации отдельных общественных элементов), для изучения которого необходим объективный анализ производственных отношений, образующих данную общественную формацию, исследование законов ее функционирования и развития»¹.

Действительно, как и живой организм, народное хозяйство есть система различных деятельных органов, находящихся в тесной связи друг с другом, регулирующих работу друг друга и все функционирование экономики в целом. Для того, чтобы работа экономического механизма общества была бесперебойной, необходимо создать четкую организационную структуру плановых, управленческих и производственных органов целостного хозяйственного организма, обеспечивающих гибкое научно обоснованное регулирование производства в соответствии с изменением общественных потребностей.

Как мы пытались показать выше и как показывает опыт, нормальная работа экономического организма в условиях жесткого централизованного планирования в настоящее время не может обеспечить радикального решения стоящих перед социалистическим обществом экономических и социальных задач. Сбалансированное развитие экономики при этом тормозится недостаточно эффективным использованием материальных и трудовых ресурсов общества. Поскольку централизованное управление означает подчинение работы всех хозяйственных органов воле единого центра, исчезает очень важная для всякой целостной системы (каковой является и народное хозяйство) возможность взаимного регулирования деятельности отдельных частей хозяйственного организма.

Такое взаиморегулирование в современных условиях может происходить только на основе использования товарно-денежных отношений.

Контроль общества над развитием производительных сил при этом становится действительно всеобъемлющим и действительно продуктивным, ибо общество реально получает в свое распоряжение все средства для регулирования процесса производства и субъективная деятельность плановых и других аналогичных органов получает объективную оценку.

В этих условиях не только центральный управляющий орган влияет на процесс экономического развития, но и сам результат этого процесса в свою очередь оказывает определенное влияние на решения, принимаемые центром, и прежде всего на процесс составления плана. Действительно, если при составлении плана учитывается вся доступная информация о производственных процессах и потреблении людей в настоящем и будущем, а сам план составлен в достаточно укрупненных показателях, то развитие экономической системы пойдет прежде всего по пути конкретизации плановых показателей и в значительно меньшей степени будет требовать изменения плана.

Однако для этого необходимо, чтобы при планировании учитывались не только результаты деятельности и производственные возможности хозяйственных объектов, но и рыночная конъюнктура, спрос и предложение.

ЖЕЛАНИЯ И ВОЗМОЖНОСТИ

Иногда полагают, что планирующему органу достаточно знать прежде всего потребности людей и в значительно меньшей мере принимать в расчет их экономическое поведение, которое существенно зависит как от системы розничных цен, так и от личных доходов. Вопрос можно сформулировать так: на что должен ориенти-

¹ В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 1, стр. 139, 165.

роваться плановик при расчете объема производства — на то, что потребитель мечтает иметь, или на то, что он может купить, учитывая уровень своего дохода и преysкурантную карточку розничной цены? Очевидно, на второе, ибо потребности людей, взятые в чистом виде, сами по себе безграничны. Приобретает же потребитель только те вещи, которые в состоянии купить.

Неравенство между людьми в доходах остается и при социализме, но это неравенство другого рода, чем, скажем, при капитализме. Уровень нашего производства еще таков, что распределение общественных благ осуществляется сегодня в зависимости от того вклада, который сделал каждый из нас для их производства. Должен ли плановик учитывать это обстоятельство в планах? Непременно.

Но, к сожалению, на практике дело не всегда ограничивается только одними высказываниями о «планировании по потребностям». Многие, вероятно, помнят печальный опыт составления одной из генперспектив, когда в основу определения уровней производства предметов потребления были положены так называемые рациональные нормы. Оказалось, что для того, чтобы реально выкупить тот набор продуктов, которые входят в «рациональную норму», денежный доход населения должен был бы увеличиваться ежегодно на 13—15 процентов, хотя темп роста национального дохода не мог возрастать более чем на 10 процентов ежегодно. Каждому ясно, что в этих условиях планирование без учета рынка, на основе «полного удовлетворения постоянно растущих потребностей» привело бы к проеданию национального достояния страны.

Вера в могущество «рациональных норм», в планирование по «чистым» потребностям еще столь велика, что не так давно в научном докладе одного из весьма солидных экономических институтов с полной серьезностью и не без скрытого торжества предлагалось увеличить производство швейных машин до того, чтобы к 2000 году каждая советская семья имела в своем распоряжении 1,2 швейных машины. В то же время уже сегодня оптовые базы и магазины не знают, как им освободить помещения своих складов, от пола до потолка забитых швейными агрегатами самых различных калибров и назначения.

И не только швейных машин, но и ряда других товаров широкого потребления. Как сообщает справочник Центрального статистического управления при Совете Министров СССР «Народное хозяйство СССР в 1969 году», стоимость запасов товаров народного потребления в оптовой и розничной торговле и в промышленности в том году составила 42,3 миллиарда рублей. Сама по себе эта цифра не так уж и велика. В свое время объем товарных запасов в нашей стране был куда выше. Однако дело заключается в том, что по одним товарам (автомобилям, холодильникам, мехам, некоторым видам предметов питания, одежды, обуви и др.) запасов практически нет, так что не всегда удается наладить бесперебойную торговлю ими, а по другим (тем же швейным машинам, некоторым видам тканей, вышедшей из моды одежде, обуви и др.), так называемым «неходовым», товарам объем запасов неоправданно высок.

Дефицит одних товаров и избыток других — прямое следствие планирования, недостаточно учитывающего рыночную конъюнктуру.

Объем покупательского спроса по отдельным видам продуктов, определенный с учетом платежеспособного спроса различных социальных групп населения, является основой сбалансированного народнохозяйственного плана в текущий период. Лишь таким образом мы можем узнать не только необходимый объем производства, например, хлеба, но и вычислить, сколько потребуется оборудования, сырья, материалов, энергии, рабочей силы, средств транспорта и т. п., чтобы его произвести. И так по всем продуктам питания, обуви, одежде, предметам быта и культуры, жилью и т. д. Точно таким же образом определяется и объем средств производства, необходимых для создания вышеупомянутых видов оборудования, сырья, энергии и т. п., требующихся для производства потребительских товаров. В целом получается сбалансированный план, где спрос экономически обоснован: потребление населения определено через уровень доходов его отдельных социальных групп и величину розничных цен, потребности производства рассчитаны на основе определения наиболее эффективного уровня затрат по каждому из видов продукции и ресурсов.

Разумеется, все это вовсе не перечеркивает значения рациональных норм в планировании. Когда обществу необходимо определить экономические цели на весьма отдаленную перспективу, нормы потребления становятся главным инструментом планирования. Они определяются исходя из предвидимых достижений научно-технической революции, изменений вкусов потребителя, моды и т. д. Но и в этом случае необходима корректировка норм потребления в соответствии с теми сдвигами в экономической структуре населения, которые ожидаются в течение прогнозируемого периода, то есть изменение уровней доходов, а также розничных цен. Когда же общество приближается к конечной дате прогнозного периода, опять-таки рынок показывает плановикам, насколько правильны были их решения. Рынок, таким образом, является своеобразным зеркалом общественного мнения потребителей, показывающим, в какой мере производство идет навстречу потреблению.

Не учитывать этой роли рынка — значит предполагать, что потребителю всегда можно «навязать» любой набор продуктов, который представляется предпочтительным с той или иной субъективной точки зрения. Между тем еще более ста лет назад К. Маркс писал: «Потребитель не более свободен, чем производитель. Его мнение основывается на его средствах и его потребностях. И те, и другие определяются его общественным положением, которое зависит, в свою очередь, от организации общества в целом»¹, а вовсе не от набора товаров, который ему предлагают, хотя при отсутствии действительно нужных ему благ потребитель вынужден приобретать то, что имеется на рынке.

Итак, мы выяснили, что учет рыночной конъюнктуры в планировании — не столь уж второстепенное дело, как это кажется тем, кто стремится перешагнуть через исторически неизбежный этап товарного производства, далеко не исчерпавшего своих возможностей. Именно рынок дает планированию точный критерий правильности тех или иных мероприятий, их соответствия потребностям общества, именно путем регулирования рыночными рычагами (не будем забывать, что все эти рычаги находятся в руках нашего государства) план управляет потреблением населения, формирует его, обеспечивает ресурсами.

ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ РАСЧЕТ И ЦЕНЫ

Хозяйственный расчет предполагает прежде всего единство интересов общества, предприятий и отдельных личностей, хозяйственную самостоятельность экономических агентов, основанную на широком использовании принципа самокупаемости. Такие категории, как деньги и кредит, цены и стимулы, становятся в этих условиях реальными орудиями экономической политики социалистического государства. Мероприятия реформы и направлены в первую очередь на создание условий, обеспечивающих повсеместное применение инструментов хозяйственного расчета, гибкое маневрирование ими, осуществляемое как органами централизованного управления, так и отдельными экономическими агентами с помощью и с учетом тех товарно-денежных («рыночных») отношений, которые реально существуют в нашей экономике. Именно поэтому в основе управления общественным производством и в основе принятия каждого хозяйственного решения должен лежать экономический подход.

Сам термин «хозяйственный расчет» очень точно характеризует критерии управления экономикой. Это, во-первых, «хозяйственный», то есть экономически обоснованный, инструмент, а во-вторых, это «расчет», подразумевающий принцип установления прямых и обратных экономических связей между отдельными контрагентами общественного производства. Именно на этой основе должен применяться широкий набор средств — регуляторов деятельности всех производственных предприятий.

Одним из важнейших параметров управления являются цены на различные продукты и оценки ресурсов. Каковы же основные свойства цены? Почему она может быть инструментом хозяйственного расчета, способствующим нахождению плановыми органами оптимальных вариантов развития хозяйства, с одной стороны, и реализации этих вариантов в условиях товарно-денежных отношений — с другой? Цены продук-

¹ К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 4, стр. 80.

тов должны отражать общественно необходимые затраты на их производство. Но одного этого мало. Они должны быть одновременно и мериллом важности, значимости продукта в данных конкретных условиях, его народнохозяйственной эффективности, общественной полезности. То есть цены должны отвечать на вопрос о том, как будет изменяться уровень общественного благосостояния, если объем выпуска данного продукта несколько увеличить или уменьшить.

Эти, казалось бы, несовместимые, противоречивые требования могут быть учтены в цене. Мы не будем утомлять читателя изложением доказательства этого. Отметим только, что эти цены обладают еще одним замечательным свойством. Они обеспечивают совпадение спроса и предложения, о чем подробно и убедительно написал Н. Петраков.

Сделаем лишь одно замечание, касающееся цен на предметы потребления, которые были рассмотрены в статье Н. Петракова. Некоторые ученые полагают, что изменение розничных цен в соответствии с изложенными выше принципами приведет к их повышению. Это глубокое заблуждение. Действительно, если доходы членов общества равны розничному товарообороту, то перевод розничных цен на новую основу приведет лишь к изменению их соотношения. На дефицитные товары цены повысятся, а на остальные понизятся или останутся неизменными. Общий же уровень цен, конечно, измениться не может.

Чем же вызвана необходимость одновременно учитывать в цене общественно необходимые затраты, общественную полезность, спрос и предложение? Ответ на этот вопрос связан с самой сущностью хозяйственного расчета. Если цены не отражают издержек производства, то хозяйственный объект либо не сможет «окупить» своих затрат (цена ниже издержек), либо получит неоправданно высокий доход (цена много выше издержки).

Учет в цене общественной полезности продукта — неперемное условие, без которого не может быть и речи о совпадении интересов общества с интересами хозяйственного объекта. В условиях хозрасчета каждое предприятие, грубо говоря, стремится купить нужные ему ресурсы подешевле, а продать свою продукцию подороже. Если, например, цена некоторого продукта выше его общественной полезности, это стимулирует предприятие к его выпуску в чрезмерном объеме и приводит к отвлечению ресурсов из других, более полезных сфер применения. Если же цена ниже общественной полезности, предприятию становится невыгодно выпускать продукт, нужный обществу. В обоих случаях интересы предприятия приходят в конфликт с интересами общества. Он может быть разрешен лишь тогда, когда цены будут приведены в соответствие с общественной полезностью товаров.

Баланс спроса и предложения обеспечивает полную реализацию произведенной продукции, избавляя общество как от ее затоваривания, так и от дефицита.

Отсутствие дефицитных продуктов, в частности предметов потребления, вовсе не означает, конечно, полного удовлетворения потребностей членов общества, но является необходимым условием максимально возможного уровня удовлетворения. К сожалению, пока еще рано реально говорить о полном удовлетворении потребностей, так как и возможности общества в настоящее время ограничены.

ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ РАСЧЕТ И СТИМУЛЫ

Научно обоснованная система цен — важнейшее, но не единственное условие повышения эффективности всего общественного производства.

Другим необходимым условием является система материального и морального стимулирования работников.

Стимулом, как известно, в древнем Риме называли длинный шест с острым концом, служивший воинам для управления колесницей. К сожалению, иные хозяйственники понимают применение стимулов именно таким образом. От такого понимания родились другие близкие понятия — «давай-давай», «нажмем», отсюда же недалеко и до знаменитого «толкача».

Хозрасчет способствует созданию таких условий, которые обеспечивают наибольшее и наилучшее использование всех ресурсов производства, в том числе и творческой энергии и инициативы самого работника.

В этом смысле характерно, что наибольших успехов достигают те отрасли и предприятия, которые максимально используют весь комплекс экономических рычагов хозяйственной реформы, включая и широкую систему материального стимулирования.

Как известно, на сентябрьском (1965) Пленуме ЦК КПСС был поставлен вопрос о создании таких экономических и социальных условий, которые позволили бы исключить из круга централизованно планируемых показателей показатель фонда заработной платы. Планирование фонда заработной платы исторически возникло как своеобразный способ ограничения роста массы денег в обращении в период индустриализации, когда у государства не было достаточных средств для развития производства предметов народного потребления.

Однако в настоящее время стали особенно заметны и негативные последствия использования фонда заработной платы как планового показателя. Прежде всего они проявляются в сужении принципа материальной заинтересованности, ориентировании на среднюю заработную плату — работнику выплачивается только тот заработок, который «положен» ему по штатному расписанию. Какой это ущерб наносит производству, видно, например, на «опыте» Краснодарского мясокомбината¹. В 1966 году на этом предприятии в соответствии с постановлениями ЦК КПСС и Совета Министров была применена широкая, экономически обоснованная, хорошо продуманная система материального стимулирования, фонд материального поощрения составлял 335 тысяч рублей, взносы в бюджет — более миллиона рублей сверх плана, комбинат произвел большое количество продукции за счет экономии на сырье. Однако в 1968 году (в результате вмешательства работников союзного и российского министерств мясной и молочной промышленности) фонд материального поощрения уменьшился до 120 тысяч рублей, предприятие было вынуждено почти полностью отказаться от премирования за экономию на сырье и повышение качества продукции. В результате комбинат недодал в бюджет около 700 тысяч рублей, а страна не получила сотни тонн высококачественной продукции.

Подобные примеры можно бы привести, вероятно, по каждой из отраслей народного хозяйства. Поэтому, не ставя вопроса о принципиальной стороне дела — исключении показателя фонда заработной платы из планов предприятий, отраслей народного хозяйства в целом, — следует все же указать на необходимость разработки таких мероприятий, которые могли бы ограничить отрицательное воздействие этого показателя. В первую очередь это касается отраслей производства предметов потребления, где «экономия» на заработной плате оборачивается недодачей в фонд потребления значительного количества материальных благ, удовлетворяющих самые насущные потребности трудящихся.

Какие преимущества могут дать эти мероприятия, показывает, в частности, опыт организации хозрасчетных звеньев в некоторых совхозах нашей страны. Здесь оплата каждого работника соответствует стоимости продукта за вычетом произведенных материальных затрат. Как сообщает первый секретарь Московского обкома партии В. А. Конопов², внедрение хозрасчетных звеньев способствовало как резкому увеличению урожайности (до 60 центнеров зерна с гектара!), так и существенному увеличению оплаты труда работников.

Широко известен и другой пример — экономический эксперимент, проведенный в казахстанском совхозе Акчи. Эксперимент предусматривал использование полного хозяйственного расчета и широкой системы материального стимулирования. В частности, оплата труда в совхозе также осуществлялась по достигнутым результатам производства, то есть уровень средней заработной платы был фактически исключен из показателей плана.

¹ См. «Известия», 29 июля 1970 года.

² См. «Коммунист», 1970, № 11, стр. 23.

О величине полученного эффекта можно судить, сопоставив показатели совхоза Акчи и соседних хозяйств, работа которых строилась на основе традиционных методов планирования и управления.

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОПЫТНОГО ХОЗЯЙСТВА В АКЧИ И СОСЕДНИХ СОВХОЗОВ
(в руб.)¹

	Совхоз в Акчи	Соседние х-ва ²
Производительность труда (производство товарной продукции)		
на 1 человека в год	7200	2814
на 1 человека в час	4,8	0,97
Накладные расходы на 1 занятого	0,03	0,15
Прибыль на 1 занятого в год	1140	294
Заработная плата на 1 занятого в месяц	364	113

Кроме чисто производственных достижений, огромное значение подобных экспериментов состоит в создании здорового морального климата, в повышении чувства личной ответственности работников за развитие производства. Об этом ясно говорят также данные социологического обследования, проведенного группой преподавателей и студентов Московского института народного хозяйства имени Г. В. Плеханова в опытном хозяйстве Акчи и соседних хозяйствах, отдельные результаты которого мы приводим ниже.

Вопрос ³	Ответ					
	опытное хозяйство (человек)			соседние хозяйства (человек)		
	к-во опро- шен.	да	нет	к-во опро- шен.	да	нет
1. Довольны ли Вы заданиями, которые Вы получаете?	60	60	—	120	*	86
2. Могли бы Вы работать лучше?	60	21	30	120	108	12
3. Интересна ли для Вас Ваша работа?	60	57	*	120	*	84
4. Довольны ли Вы своей работой?	60	56	4	120	*	84
5. Хотели бы Вы переменить свою работу?	60	4	56	120	84	*
6. Чувствуете ли Вы себя хозяином в своем совхозе?	60	55	5	120	*	79

* Точное количество прямых ответов не установлено.

Как видно из анкеты, в опытном хозяйстве, где проводился эксперимент, найдены эффективные социально-психологические, моральные стимулы для роста производительности труда. Новые условия, в которых находится производственный коллектив, влияют не только на чисто экономические показатели его деятельности. Они меняют самую психологию людей, их отношение к труду, раскрывают творческие способности работника. Из простого исполнителя он становится подлинным хозяином производства, создателем и творцом.

¹ «Литературная газета», 4 марта 1970 года, стр. 11.

² Каскеленский совхоз и совхоз имени Токаша Бокина.

³ Вопросы даны в вольном переложении в соответствии с контекстом статьи авторов обследований. См «Литературная газета», 4 марта 1970 года, стр. 11.

ЭКОНОМИКА ДЕФИЦИТА?

Часто утверждают, что переход общественного производства на основы полного хозяйственного расчета в настоящее время затруднен якобы недостаточным уровнем развития производительных сил, что в народном хозяйстве не изжит дефицит многих видов средств производства и предметов потребления и что только тогда, когда мы достигнем всеобщего изобилия материальных и духовных благ, станет возможным и внедрение широкой системы материального стимулирования. Таким образом, задача перехода на основы полного хозрасчета ставится как отдаленная цель нашего хозяйственного развития, как некая синяя птица, прекрасная мечта наших плановых и научных работников...

Нам представляется, что для таких утверждений нет достаточно серьезных оснований. Во-первых, в определенном смысле можно сказать, что недостаток наличных материальных благ по сравнению с потребностями будет существовать всегда, ибо последние всегда будут выше достигнутого уровня производства. Однако, несмотря на то, что потребности будут опережать развитие производства, существуют экономически определенные потребности. Другими словами, в каждый данный момент можно фиксировать определенный уровень той или иной потребности, который может быть удовлетворен на данном этапе развития производительных сил общества, если построить соответствующим образом систему рычагов хозяйственного расчета. Распределенные пропорционально экономически определенным потребностям, производственные и потребительские ресурсы общества обеспечивают сбалансированность экономики, которая, повторяем, при условии соответствующих мероприятий — о некоторых из них речь шла выше — может быть достигнута в каждый данный период развития общества независимо от уровня производства.

Недостаточная сбалансированность экономически определенных потребностей с ресурсами снижает качество научного обоснования планов, поскольку в них с самого начала закладывается дефицит. Понимая это, многие хозяйственные организации подают заведомо завышенные заявки на материалы, оборудование и т. п. И потому, хотя министерства и ведомства часто сетуют на недостаток фондов для выполнения плана, плановые задания, как правило, выполняются и перевыполняются.

Во многих случаях первоначальные планы капитального строительства многократно пересматриваются, преимущественно в сторону увеличения, при этом не учитываются возможности обеспечения капитальных вложений материалами, оборудованием и рабочей силой. Происходит это по той причине, что многие работники министерств и ведомств считают, что чем больше начать новых строек, тем быстрее будет развиваться отрасль. Однако этот «ведомственный патриотизм» на деле наносит большой вред; ибо вследствие разрыва между количеством строящихся предприятий и реальными возможностями по их материальному обеспечению сроки строительства превышают плановые нормативы в 1,5—2 раза. Ведь не секрет, что многие из производственных объектов, несмотря на несравнимый уровень техники, сейчас сооружаются медленнее, чем, скажем, в годы довоенных пятилеток. Между тем не нужно забывать о том, что только для окончания уже начатых строительством объектов нам требуется свыше 125 миллиардов рублей капитальных вложений, что равносильно затратам в течение почти целого пятилетия¹.

С другой стороны, мы наблюдаем любопытное явление. В ряде отраслей промышленности задания по вводу в действие производственных мощностей не выполняются, а планы выпуска продукции здесь, как правило, выполняют и даже перевыполняют. Например, в угольной промышленности в 1962—1966 годах вводили в действие ежегодно не более 77 процентов запланированных мощностей, а план по добыче угля за все эти годы перевыполнялся. Аналогичное положение в отрасли первичной переработки нефти, производстве стали, минеральных удобрений и т. д. Это свидетельствует о том, что действующие мощности имеют не учитываемые планом резервы.

Приведенные данные убедительно показывают, что дефицит некоторых видов средств производства и предметов потребления, который еще не изжит нашей эконо-

¹ «Вопросы экономики», 1970, № 5, стр. 47.

микой, часто возникает вследствие несовершенной системы народнохозяйственного планирования, недостаточного использования принципов хозяйственного расчета.

Внедрение мероприятий хозяйственной реформы уже сейчас способствует постепенной ликвидации дефицита и переводу народного хозяйства на путь сбалансированного экономического развития.

РЕФОРМА С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ПСИХОЛОГИИ

Мероприятия хозяйственной реформы органически вошли в жизнь нашего общества.

При сохранении всех основных атрибутов, присущих социализму как общественно-экономической формации, экономические отношения между его членами как «ассоциированными производителями» (Маркс) принимают новые формы, развитие общественного производства в условиях новой системы управления и материального стимулирования заставляет постоянно совершенствовать эти формы и развивать их в соответствии с запросами производства.

Отмирание старых и возникновение новых форм экономических отношений между людьми — это не только перестройка экономики, производства как такового. Это грандиозный по своим масштабам социально-экономический процесс, требующий перестройки в умах людей, их психологии, привычках, методе и стиле работы. В конечном счете «психологическая реформа» сказывается на развитии производительных сил ничуть не меньше, чем научно-технический прогресс.

Однако, к сожалению, человеческий ум обладает колоссальной силой инерции. Некоторым ученым и хозяйственным руководителям кажется, что поиски новых форм являются полным отрицанием самой сути социализма. Для этих людей даже такие обиходные в экономическом обороте термины, как «рынок», «товарно-денежные отношения», становятся синонимами отступления от марксистских позиций и достаточным основанием для того, чтобы обвинить своих теоретических оппонентов чуть ли не в «измене» социализму и т. д. и т. п. Подобным высказываниям можно было бы не придавать особого значения, если бы они не вредили делу проведения самой реформы. Тот психологический барьер, который на первых этапах ее проведения не мог не возникнуть и который неизбежно возникает в ходе внедрения новой системы управления, получает благодаря теоретическим высказываниям такого рода большой «запас» прочности. Вследствие этого в ряде случаев мы уже являемся свидетелями возвращения к методам управления, присущим дореформенному периоду. Не говорят ли об этом, например, участвовавшие случаи пересмотра планов заводов и фабрик министерствами? Как отметил в одном из своих выступлений председатель Госплана СССР Н. К. Байбаков, «спору Госплана и министерств, министерств и предприятий нередко еще ведутся не вокруг обеспечения оптимальных темпов развития отраслей, а вокруг доказательств нереальности плановых заданий вышестоящих организаций. Это противоречит принципам и духу хозяйственной реформы»¹.

Марксизм учит, что психология людей изменяется под воздействием изменений в материальных условиях жизни общества. Реформа продолжается, и потому в настоящее время необходимо осуществление дальнейших мер, исходящих из самой логики экономической политики, чачатой постановлениями сентябрьского (1965) Пленума и XXIII съезда КПСС. Предстоящий плановый период в развитии нашей экономики следует рассматривать как начало нового, качественно отличного этапа экономического роста, в котором будут полностью изжиты и преодолены неблагоприятные тенденции прошлого, и, наоборот, те положительные направления, которые проявлялись в первые годы осуществления хозяйственной реформы, получают полное и всестороннее развитие

¹ «Материально-техническое снабжение», 1968, № 8, стр. 20.



Г. БРЕЙТБУРД

★

БЕЛАЯ ПОЛОСА В ПУСТЫНЕ

...И глумятся «Бесы» отчаянными словами.

М. Булгаков.

Американский художник, известный и обеспеченный, забросив мастерскую, холст и кисти, отправился в пустыню и стал катком наносить на почву полосы белой краски — свою последнюю, свою наиновейшую картину.

Эти заметки — нелегкая попытка объяснить, зачем и почему он это сделал.

Не вдаваясь в анализ экономической и политической ситуации, которая сложилась за последние годы в странах развитого государственно-монополистического капитализма, начнем с вывода, который представляется несомненным: есть все признаки нового обострения противоречий капитализма во всех областях общественной жизни. Обращает на себя внимание также исключительная быстротечность некоторых процессов, быстрота изменений и более чем когда-либо наглядная, хоть и весьма сложная, связь этих изменений с изменениями в сфере надстройки.

Сегодня мы вновь с особой силой ощущаем, что в эпоху, открытую нашей революцией, «всемирная история несется теперь с такой бешеной быстротой и разрушает все привычное, все старое молотом такой необъятной мощности, кризисами такой невиданной силы, что самые прочные предрассудки не выдерживают»¹.

Как сказались происшедшие перемены на художественной интеллигенции стран Запада, на политических, идеологических, эстетических позициях писателей?

Отметим (пусть тезисно и схематично) некоторые важные сдвиги.

Преобладающими стали настроения нетерпимости по отношению ко всей системе капитализма, нетерпимости не только эмоциональной, но и идеологической. «Нынешнее поколение более, чем послевоенное, познало горький вкус истории, и для него капитализм не только объект тотальной борьбы, но и ненависти, определяемой всем существованием человека», — утверждает итальянский критик Марно Спинелла. Да, это нетерпимость не только политическая, но и эмоциональная, не только «историческая», но и «нравственная» (если пользоваться известным разграничением, проведенным Достоевским в разборе беседы Левина с Облонским насчет социальной справедливости).

Терпят крах буржуазно-реформистские теории «деидеологизации». Наступил период новой политической активности интеллигенции, период преобладания идеологических интересов, настало время, когда у прогрессивных художников ведущим становится стремление к непосредственному участию в идеологической и политической борьбе.

Подходит, таким образом, к концу период, который мы назвали бы периодом «духовной социал-демократизации». Мы имеем в виду здесь не столько отход значительной части интеллигенции от социал-демократических партий, а более сложный, более всеобъемлющий крах реформистских технократических иллюзий, скажем, к при-

¹ В. И. Ленин. Полное собрание сочинений. т. 37, стр. 192.

меру, идейный провал теории «конвергенции», о чем свидетельствует весьма резкая критика ее со стороны ряда представителей интеллигенции.

В целом речь сегодня идет об определенном «крахе иллюзий», об острейших противоречиях, с которыми непосредственно столкнулась научно-техническая революция в условиях современного капитализма.

Но в то же время широко распространилось неверие в возможности литературы как таковой; неверие в возможности искусства как действенного средства борьбы против современного капитализма; прямые политические средства борьбы сегодня многими предпочитают литературным, художественным. При этом возводится в принцип ломка языка искусства, ломка вообще языковых структур как якобы действенное, чуть ли не единственное средство выявления в искусстве антибуржуазности. На крайнем фланге этих неоэксперименталистских или неоавангардистских направлений — полный отказ от коммуникабельности, полный разрыв с читателем. Здесь даже при самом сжатом изложении хотелось бы обратить внимание на следующие кажущиеся противоречивыми обстоятельства — связь современного экспериментализма с капиталистической «культурной индустрией» и просто с промышленностью, связь прямая и непосредственная, вплоть до участия в изготовлении прототипов серийного производства, а также стремление обосновать теоретически новейшие формы губительного для искусства экспериментализма при помощи новейших научных дисциплин — теории информации, кибернетики, структуральной психологии и антропологии; наконец, нельзя не отметить отнюдь не случайное совпадение подобных эстетических концепций с левацким экстремизмом в политике и в идеологии, с распространением анархистского стремления к разрушению во имя разрушения.

Тут невольно вспоминаешь высказанные сто лет тому назад предупреждения Ф. М. Достоевского насчет появления некоего насмешливого джентльмена.

«Я несколько не удивлюсь,— писал он,— если вдруг ни с того, ни с сего, среди всеобщего будущего благоразумия возникнет какой-нибудь джентльмен с неблагородной или лучше сказать с ретроградской и насмешливой физиономией, упрет руки в боки и скажет нам всем: а что, господа, не столкнуть ли нам все это благоразумье с одного раза, ногой, прахом, единственно с той целью, чтобы все эти логарифмы отправились к черту и чтобы нам опять по своей глупой воле пожить».

Сегодня таких джентльменов в западных странах хоть отбавляй. И множится число лжепророков, возвестивших близкую, а может, уже и наступившую смерть литературы и искусства.

Чуть иронично, а скорее всерьез известил об этой кончине видный западногерманский поэт и публицист Ганс Магнус Энциенбергер в своем журнале «Курсбух».

Он рассказал о том, как «слышит звон колоколов на похоронах литературы», отметил, что «у приглашенных на похороны нельзя заметить выражения особого горя на лицах, а за похоронной процессией тянется облако пыли из теорий, в которых мало нового. Литераторы празднуют конец литературы. Поэты доказывают самим себе и другим невозможность создания поэзии. Скульпторы изготавливают гробы из пластика. В целом все представление украшает себя вывеской «культурной революции». Мгновения серьезного отношения к делу редки и краткосрочны. Отбросами питается телевидение, устраивающее дискуссии о роли писателя в обществе».

Причины всего этого Энциенбергер видит в том, что для произведений литературы в условиях современного капитализма «не существует сколько-нибудь важной общественной функции... так как возможности капиталистического общества поглощать и проглатывать культурные ценности возросли в огромной степени, а политическая безвредность всей литературной и даже всей художественной продукции видна невооруженным глазом».

Ту же ситуацию иллюстрирует итальянский критик Паоло Милано в своем отчете о международной встрече литераторов в Брюсселе. Создалось положение, при котором те, кто сегодня создает поэзию или верит в поэзию, считаются яростными консерваторами, идеологами устаревших чувств, в то время как те, кто оскорбляет поэзию, желает ей смерти, считаются поэтами, или, лучше сказать, верят в то, что само отрицание поэзии делает их поэтами, пишет он.

Если отмирает искусство, становится лишним и сам художник. И, без малейшего смущения перескакивая через целую историческую эпоху, французский искусствовед и критик Мишель Трош утверждает: «Раз социальная форма жизни сама по себе становится произведением искусства, будет легко обойтись без этих архаичных художников, которые являются чистым продуктом разделения труда и деления нашего общества на классы. Дыханием жизни становится в настоящий момент отказ от живописи... В любом случае несомненно, что лучшие картины сегодня пишут те, кто больше не хочет писать»¹.

Число подобных откровений может быть умножено почти до бесконечности. Быть может, еще более наглядно свидетельствует о серьезности положения статья знаменитого итальянского художника Ренато Гуттузо, который, заметим, счел нужным как бы оправдываться в том, что устроил в Италии выставку своей графики, посвященной майским событиям во Франции. В той же статье Гуттузо взволнованно доказывает свое право быть художником. «Сегодня перед каждым честным художником стоит вопрос: можем ли мы по-прежнему пользоваться существующими средствами коммуникации и культуры или должны отвергнуть их? Что мы выгадываем и что теряем в процессе ускоренного движения к социалистической революции? Верно ли будет, если кинематография, литература, живопись, музыка замолчат, отказавшись работать внутри существующих структур? Не приведет ли подобный подход к образованию пустоты, глубокого провала, который наносит ущерб самому революционному процессу и развитию классовой схватки? Таковы проблемы нашего сегодняшнего гражданского и интеллектуального сознания. На них нелегко ответить, нелегко взвесить все за и против двух подходов»²,— заключает Гуттузо.

Мне думается, что столь обширные цитаты необходимы были, чтоб показать всю сложность ситуации и трудность, даже невозможность упрощенных, однозначных ответов.

Пока же хочется сказать о том, что созданию нынешней «зоны пустыни» в западном искусстве в немалой мере способствовали бесплодные попытки «нового авангарда» самых последних лет.

Кокто некогда рассказал о человеке, который влил в чашку кофе рюмку коньяка, отпил полчашки, потом долил воды, потом снова отпил полчашки и опять долил воды. Повторив все это несколько раз, он под конец пил уже чистую воду.

Не так ли опустошил не в меру шумный «новый авангард» наших дней большое наследие искусства целого века?

Года три тому назад «Новый мир» напечатал мои заметки об итальянском «новом авангарде». Была тут самая что ни на есть скромная цель — рассказать советскому читателю о том, что это такое. Вот почему меня удивил поднятый вокруг этих заметок шум — до полусотни статей в Италии и других странах.

Сегодня можно сказать, что некоторые выводы и прогнозы насчет будущих судеб «нового авангарда» оправдались. За эти годы его представители не создали ни одного хоть сколько-нибудь серьезного произведения, не выдвинули ни одной по-настоящему новой теоретической мысли.

Вихри истории, вихри больших событий пронесли за эти годы над Италией и смели многие карточные домики, строители которых претендовали на роль самых смелых новаторов

Впрочем, изредка еще собирается «Группа 63», еще продолжает свои новации один из ведущих ее поэтов Нанни Балестрини, недавно решивший отсечь от каждого слова своих и без того непонятных стихов первую букву,— но это все дела такие, о которых как-то и рассказывать неловко.

По-прежнему в ходу «провокационные» приемы. Тактика сознательного вызова, бросаемого всем несогласным, не только применяется, но и теоретизируется представителями «нового авангарда», вполне открыто подтверждающими его «террористическую функцию».

Прием «провокации» рассматривается как «реальное» средство. И не случайно при-

¹ Журнал «Ринашита», 31 июля 1970 года.

² Журнал «Контемпоранео», февраль 1969 года.

поминает сегодня кое-кто на Западе героя «Бесов» Петра Степановича Верховенского, и вот какой, казалось бы, незначительный случай. На сходке одуряченной им молодежи он то требует колоду карт, как бы желая показать, что игра в карты важней произносимых тут речей, то, обращаясь к хозяйке дома, вдруг спрашивает: «Арина Прохоровна, нет у вас ножниц?» — «Зачем вам ножницы?» — выпучила та на него глаза. «Забыл ногти обстричь, три дня собираюсь», — промолвил он, безмятежно рассматривая свои длинные и нечистые ногти. Арина Прохоровна вспыхнула, но девице Виргинской как бы что-то понравилось. «Кажется, я их здесь на окне давеча видела», — встала она из-за стола, пошла, отыскала ножницы и тотчас же принесла с собой. Петр Степанович даже не посмотрел на нее, взял ножницы и начал возиться с ними. Арина Прохоровна поняла, что это реальный (разрядка моя.— Г. Б.) прием, и устыдилась своей обидчивости.

Да, как видно, не перевелись еще и сегодня лежковерные девицы Виргинские, готовые увидеть «реальность» в любой безрассудной и опасной провокации.

Разве не с того же начинал свою «блистательную и реальную» карьеру Даниэль Кон-Бендит? Поначалу он просто кукарекал на лекциях, потом ошарашил французского министра на церемонии открытия бассейна в университете Нантерра (предместье Парижа), спросив у него, почему он в своей речи, посвященной этому событию, не коснулся сексуальных проблем, а уж потом, причинив своим анархистским безрассудством немалый вред студенческим выступлениям в мае 1968 года, сочинил книгу, прославляющую Махно. Как тут не вспомнить пресловутый бакунинско-нечаевский «Революционный катехизис», подвергнутый беспощадной критике Марксом в работе «Альянс социалистической демократии и международное товарищество рабочих». «Эти всеразрушительные анархисты, — пишет К. Маркс, — которые хотят все привести в состояние аморфности, чтобы установить анархию в области нравственности, доводят до крайности буржуазную безнравственность»¹.

Сохранилась и провинциальная зависимость итальянского неоавангарда от концепций, разрабатываемых в других странах. Мы уже говорили о влиянии французского журнала «Тель-кель» и одноименной литературной группы, которое за эти годы еще больше распространилось за пределами Франции. Попытаемся разобраться в позициях этой группы. Нам, надо сказать, повезло. В одном из последних номеров журнала напечатана пространный беседа лидера группы «Тель-кель» Филиппа Соллерса с писателем Жаком Анриком, в которой многие из этих позиций изложены в предельно ясном для такого журнала виде.

Есть, правда, одна терминологическая сложность. Почти в каждом напечатанном «Тель-кель» абзаце встречаешь слово «écriture» (по словарю «письмо», «написание», «почерк») — это слово у теоретиков группы «Тель-кель» заменило собой «литературу» как термин, по их мнению, явно устаревший. Но скажем сразу, что этим словом обозначают не только литературу, но даже наскальные рисунки в пещерах Ласко давностью в сорок — пятьдесят тысяч лет.

Словом, признаюсь честно, все мои попытки понять, что же такое «écriture» — а я беседовал об этом часами с авторами этого термина, — пока что окончились плачевно. Я так и не понял, зачем этот термин понадобился. То ли уж слишком претит слово «литература», то ли сам этот термин обозначает грубый и немотивированный перенос политико-экономических понятий в область литературы («écriture», пояснил мне один из ревнителей этого термина, это «способ производства искусства», причем важен именно способ производства, а не его результат, которому суждено стать товаром).

Связь политического действия писателя-революционера с его «écriture» — вот с чего редактор «Тель-кель» начинает беседу с писателем.

Жак Анрик вполне резонно отвечает ему, что «буржуазное общество образует сложную структуру» и «атака против него должна вестись на всех уровнях». За этим следует второй вопрос Филиппа Соллерса:

«Ваш роман «Archées», как вы знаете, труден для прочтения. Можете вы объяснить мне, зачем вы выбрали такое «название», такую «форму», такое «содержание»?»

¹ К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 18, стр. 415.

И дальше, словно извиняясь за неуместные слова, Ф. Соллерс заключает свой вопрос: «Я полагаю, что в известных, требующих уточнения пределах мы вправе употреблять такие понятия (напомним: «название», «форма», «содержание». — Г. Б.), хотя сами ставим их под сомнение как псевдопонятия, как идеологические понятия, не отвечающие научному подходу к «литературе».

Сначала насчет названия. В нем, поясняет автор, сразу все достоинства, корень слова обозначает дугу — «агс», оканчивается твердо и резко, не то что «агт» — искусство, слово с изнеженным декадентским звучанием.

Попутно выясняется особая емкость, многоплановость, многозначность самого названия романа «Archéés». Archées — это и расплавленная жидкость в сердцевине земного шара, и некое целительное жизнетворное начало, и сила мужская, и некий чисто эротический образ, и туго натянутая тетива лука, и многое другое.

О названии, пожалуй, хватит... Впрочем, мы только цитируем «Тель-кель».

Стремясь обосновать появление на свет романа «Archéés», Анрик утверждает, как важно «демонтировать то прекрасное лингвистико-философское литературное здание, в котором буржуазия укрывается, дабы оправдать и увековечить свое классовое господство». Разрушению лингвистических и литературных структур буржуазной власти и должен послужить этот несколько необычный роман.

Об иных орудиях буржуазной власти и способах борьбы с ними речь как-то не заходит. Но проявим терпение. «Противоречие» между художественным авангардом и революционным действием, — продолжает Анрик, — лишь кажущееся противоречие. Разве работа авангарда не состоит в демонтаже всех систем, всех кодов, риторических, лингвистических, повествовательных, связанных с определенной системой экономики, в данном случае с капиталистической экономикой?»

Что ж, дело постепенно проясняется. Авторы «Тель-кель» убеждены, что «лингвистический код», а говоря проще, система языка, система лингвистической коммуникации, без которой немислима не только литература, но и само существование общества, самым прямым, непосредственным образом обусловлен экономической системой, и, разумеется, обусловлены не отдельные элементы, а вся неразрывная структура в целом.

Итак, во имя борьбы с буржуазией следует прежде всего разрушить «лингвистический код», взорвать структуру языка и, помимо всего прочего, лишить литературу возможности общения с читателем. Выходит, все это нужно для того, чтобы «революционное письмо» — все то же письмо, *écriture*, — боролось с капитализмом. Ну, а затем остается самая малость — разрушить «повествовательный код», который также целиком и полностью, как сказано выше, обусловлен экономической системой. В сущности, речь идет не более и не менее как о «демонтаже» всего созданного французской литературой до появления журнала «Тель-кель». И все это должно совершиться лишь оттого, что авторы этого журнала, провозглашающие себя марксистами, не поняли некоторых азбучных истин марксизма и избрали путь грубейшей вулгаризации сложных взаимосвязей базиса и надстройки.

Увлеченные своей борьбой против «фраз» буржуазного мира, они, как некогда младогегельянцы, забыли, что «отнюдь не борются против действительного, существующего мира, если борются только против фраз этого мира»¹.

Задачи «*écriture*» в борьбе за уничтожение литературы далее уточняются. «Важно, — утверждает автор «Тель-кель», — разоблачить идеологию изобразительности, являющуюся некоей псевдотеоретической опорой всего, что сегодня еще «объявляет себя литературой». Подлежит расчленению однолинейный, подчиненный декадентской логике смысла способ литературного письма».

Такова «передовая программа», которая, по мнению ее создателей, «не может выглядеть иначе как чрезмерная, безумная, избыточная». Несмотря на сильнейшую степень уверенности во всех своих тезисах, автор романа «Archéés» все же чем-то внутренне встревожен. Его беспокоит отношение неподготовленного читателя к роману, который, как он сам объясняет, состоит в основном из заковыченных и незаковыченных отрывков из Данте и Малларме. Вдруг этот неподготовленный читатель возь-

¹ К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 3, стр. 18.

мет и просто станет читать Малларме по старинке? А каково Анрику? Вот он и предупреждает читателя: «Все, что (в его романе.— Г. Б.) внешне может показаться основанным на воображении, стремлении к поэтическому эффекту, к метафоричности, есть лишь поверхностное выявление моей материальной работы в подоснове текста и языка».

Словом, автор романа «Archées» материалист. Правда, материализм авторам «Тель-кель» тоже понимается весьма своеобразно.

«Материалистическая «écriture» должна радикально отмежеваться от категории выразительности, требующей, чтоб текст стал оформленным смыслом, заданным ранее. Деридда (один из теоретиков группы «Тель-кель».— Г. Б.) привел строгие доказательства того, что любая изобразительная концепция «écriture» основана на признании трансцендентального обозначаемого и на предпосылках абсолютного философского идеализма».

Воистину, век живи — век учись. Сколько их, художников минувших и нынешних дней, наивно веривших и верящих в изобразительность, выразительность и смысл искусства, попросту не знали, что они уже зачислены в разряд представителей абсолютного философского идеализма!

Разумеется, я не лшу себя малейшей надеждой на то, что хотя бы одно из моих сомнений и возражений будет принято группой «Тель-кель» и ее сторонниками во Франции и за ее пределами. Слишком уж разработана и удобна позиция «ультра-революционных материалистов», на деле занятых поисками наивернейших способов уничтожения языка и литературы.

Обладая, однако, известным опытом полемики с итальянским неоавангардом, хочу предупредить по крайней мере один ложный упрек. В ответ на мою критику представители итальянской «Группы 63» припомнили итальянскую пословицу: «Говори невестке, чтоб тебя услышала теща» (соответствует нашей «кошку бьют — невестке поветку дают»). Пословица растолковывалась примерно так: цель автора в том, чтобы с позиций чисто догматических запугать советских писателей, только и ждущих возможности разрушить язык литературы. Хочу успокоить моих вчерашних и завтрашних оппонентов: нет у нас подражателей таким романам, как «Archées». И незачем и некого запугивать.

Группа «Тель-кель» и близкие к ней исследователи немало слелали для перевода и распространения во Франции работ русской «формальной школы», объявив ее создателей своими отцами. Однако любые попытки «Тель-кель» выдать взгляды, подобные приведенным выше, за развитие идей русской «формальной школы» мне представляются делом совершенно безнадежным. В лучшем случае можно говорить о невообразимой смеси, изготовленной из самых крайних положений некоторых представителей «формальной школы» и наиболее экстремистских воззрений «пролеткультовцев». Ведь с позиций «Тель-кель» Ю. Тынянова нельзя не признать представителем наивреднейшей «идеологии изобразительности» и сторонником «воображения». Что ж до В. Б. Шкловского, то он и в книгах своих, и во многих выступлениях как у нас на родине, так и за границей весьма убедительно разъяснил своим новоявленным «сыновьям» — в первую очередь авторам «Тель-кель» — всю ложность их позиции. Впрочем, не помогло. Не поняли они или не захотели понять.

С концепцией «отмирания искусства» теснейшим образом связано возникновение в конце шестидесятых годов направлений и школ, которые под разными названиями вызывают к принципу «упрощения» искусства, сведения его к изначальным, первичным элементам.

Речь идет главным образом о школах и течениях изобразительного искусства, хотя ими дело не ограничивается. (Заметим попутно, что употребление самих терминов «искусство», «изобразительное искусство», «литература» носит здесь чисто условный характер.)

Направления, о которых пойдет речь, получили в разных странах различные наименования, однако несомненна общность их истоков. В Италии их называют «бедным искусством», в Америке и других странах Запада говорят об искусстве «первичных структур» или просто о «первичном» искусстве, искусстве «минимальном», «элементарном» и т. д.

Теоретики и создатели подобных школ исходят из болезненно-острого и в большинстве случаев глубоко искреннего стремления не допустить превращения искусства в товар серийного производства. Они не приемлют подчиненной и зависимой роли, отведенной художнику системой современного капитализма. Они, как утверждает, например, ведущий теоретик школы «бедного искусства» Джермано Селан, исходят из того, что существует «некое пространство, лишенное функциональности и не допускающее превращения в товар искусства, взятого в своей первичности, почти в естественном своем состоянии», — словом, пространство, «куда искусство могло бы отступить, чтобы вновь обрести свою подлинную цельность». На правом фланге этой школы находятся люди, которые, подобно Барилли, думают скорее об интеграции известных форм искусства, которые могли бы сохранить за собой «все права кустарного промысла» наряду с серийным капиталистическим производством.

Причины возникновения подобных течений изложены его теоретиками вполне ясно. В современном капиталистическом обществе все более сводится на нет, а по мнению некоторых, даже ликвидируется автономия искусства, в то время как потребление самого предмета искусства приобретает все более отчужденный характер, причем само искусство становится товаром массового потребления. Итак, поиски первичных форм исходят из «основополагающего недоверия» к традиционным понятиям цельности и самостоятельности искусства.

Идеология «бедного искусства» своими корнями весьма отчетливо связана с попытками противопоставить современному капиталистическому производству некий культ «примитива», культ «дикаря», восполненный наиновейшими антропологическими исследованиями. В сущности, сколь бы неожиданно это ни прозвучало для создателей подобных направлений, можно говорить об их связи с давними мотивами декаданса, как известно, создавшего свои мифы «детства», «примитива», «дикаря» и культивирующего эти мифы скоро уже добрую сотню лет.

Однако наряду с этими истоками здесь вполне явственно звучат мотивы весьма странного и совершенно акритического восприятия псевдореволюционных воззрений некоторыми западными интеллигентами, проповедующими сегодня «культ бедности» и своеобразную концепцию «антипродуктивизма» — лозунг «производить как можно меньше», — согласно которым лучшим средством борьбы против всех бед западного потребительства будет сведение к минимуму всякого производства и всех форм потребления. Но «бедное», «элементарное», «первичное» искусство нельзя, однако, свести к этим двум компонентам — декадентский культ примитива в сочетании с современным луддизмом, идущим от непереваренного прочтения неких «великих истин» из маленькой красной книжечки. Дело, разумеется, не только в том, что автор этих заметок просто не разделяет довольно распространенного мнения, что «все уже было». Тогда — что же новое? Прежде всего предельно обострилось чувство нетерпимости буржуазного художника к обществу, в котором он живет и работает. Здесь и новые формы борьбы, и четкое (гораздо более четкое, чем прежде) ощущение своей приниженности, своего «места» в обществе. Новое, если хотите, и в распространенности реакции художника на превращение искусства в товар, вызываемой и массовидным, наглядным характером этого превращения, и возросшим участием самих художников в процессе капиталистического производства. Не случайно особенно болезненна реакция художников, работающих в области дизайна, на самой границе технологии и искусства.

Вот как характеризует свое отношение к системе современного капитализма крупнейший итальянский архитектор и дизайнер Этторе Соттсаз. Заметим, что Соттсаз талантлив и удачлив — отпечаток его манеры лежит на миллионах предметов, окружающих итальянцев от мебели до машин, а сегодня ему доверена святая святых современного производства — формы и контуры электронно-вычислительных устройств.

«Эта «цивилизация благосостояния», — утверждает Соттсаз, — следует за человеком от первых до его последних шагов, как высокооплачиваемая кормилица с лопающимися от лишнего молока грудями. Пространство, оставляемое для суждений и выбора, крайне ограничено, равно как и пространство, в котором человек может передвигаться. Ему заранее указаны дороги и места перехода улиц, указано, когда

зажигается красный, когда желтый, а когда зеленый свет, и так до следующего светофора, у которого человека встречают и вновь подвергают проверке: излишний шум не допускается, отходы — самоубийства, безумие, алкоголизм, отчаявшиеся души — не должны никого беспокоить. Круг предельно ограничен, выйти за его пределы трудно, за этим бдительно следят военные, полиция, политические партии, бизнес, большие письменные столы, за этим следят и сами люди, принесенные в жертву благосостоянию, те, кто уснул, положив на стол голову»¹.

Итак, новое — в предельной обостренности противоречий, как старых, так и новых. Новое и в другом — искусство «исторического авангарда»², создавшее значительные произведения, отличавшееся изощренной, порой абсолютизированной формой, а в «бедном искусстве» речь идет о разрушении самой формы, которая превращается в анахронизм вместе с фигурой традиционного художника. Изменилось также самым радикальным способом взаимоотношение между искусством и его истолкованием, разумеется, в пользу последнего, — поэтика вытесняет собой поэзию, критика нередко предшествует появлению произведений, а не следует за ними, проект произведения (пусть нереализованный) обладает «эстетической выразительностью», порой более высокой, нежели само произведение (даже если оно реализуется). Тут уж, чтоб дальше не забираться, можно рассказать и о теоретических эссе в каталогах несостоявшихся выставок: к чему выставка, раз каталог вышел? Впрочем, в сентябре 1970 года в миланской галерее «Тозелли» уже состоялось нечто вроде выставки каталогов, представляющих так называемое «концептуальное искусство».

Пожалуй, к «новому» в подходе к таким формам искусства (опять же мистика — пишу о формах, а знаю, что тут нет ни форм, ни искусства) следует отнести весьма широкое использование ряда неопозитивистских научных дисциплин: в первую очередь антропологии определенного толка, психологических школ, исходящих из признания имманентности психологических структур; замкнутого описания определенных культурных эпох, основанного лишь на соотношении элементов структуры, как бы выключенной из истории³.

Критика этих направлений, исключающих диалектику развития, исключающих момент противоречия, определяющих истинность того или иного суждения лишь соотносительностью его с определенной формально-логической системой, — словом, подменяющих мировоззрение методологией и, в сущности, отрицающих философию, представляется нам все более актуальной и необходимой.

И наконец еще одно отличие, которое применительно к «бедному искусству» кажется особенно важным. Как ни судить о художниках «исторического авангарда», но они создавали подлинные произведения искусства, рассчитанные на длительность существования. Что ж до представителей рассматриваемых нами школ, то они полагают, что в идеале длительность их «творений» не должна превышать времени, затрачиваемого на само их создание. Полоса мягкого каучука, от которой посетителям предлагают оторвать куски произвольной формы, «итальянские садики», сооружаемые из снопов соломы, которые зрители должны «преобразовать», а вернее, разрушить тотчас же после окончания работы художника, световые и кинетические эффекты, убиваемые простым выключением тока, «земляные работы» (художественное переоборудование определенного участка местности), следы которых может уничтожить дождь или снег, — вот лишь некоторые примеры «бедного искусства», или «бедного действия», как наивного средства борьбы с долговечностью. Цель такой борьбы ясна — воспрепятствовать серийному воспроизводству определенной модели, не дать капиталистической системе превратить ее в товар. Но, увы, и здесь цель часто оказывается недостижимой.

Образцы «земельных работ» в США («land art») сегодня нередко используются для художественного «переоборудования» загородных резиденций богачей или создания «площадок отдыха» возле заправочных бензоколонок, и — да простят меня читатели — даже такой вполне уникальный предмет искусства, как созданный Марселем

¹ Э. Соттс аз. Среда на новой планете. Стокгольм, 1969, стр. 12—19.

² Имеется в виду экспериментальное искусство конца XIX — начала XX века.

³ Например, работа М. Фуко «Слова и вещи» и др.

Дюшанем унитаз, запущен в серийное производство. (К слову, одним из часто повторяющихся мотивов самого последнего периода в американском поп-арте стало изображение человека на фоне ультрасовременного сверхкомфортабельного оборудования ванной комнаты — контраст между совершенством комфорта, изображенного с почти фотографическим натурализмом, и трагичность человеческих лиц в этих картинах или коллажах порой достигает большой выразительной силы.)

«Бедное искусство» направлено к поискам первичных элементов природы и человека. Оно, — утверждает современный итальянский критик Боарини, — становится «бедным» в силу добровольного отказа от изобилия орудий, которыми располагает технологический мир. Это искусство представляет образец такой физической и интеллектуальной деятельности, результаты которой не поддаются стилистической обработке (то есть не подвергаются формальным опосредованиям) и предстают перед нами как некая данность, которую нельзя отделить от производителей художественного изделия».

Причины, вызывающие столь необычный подход к искусству, поясняет А. Гверчо: «К числу определяющих черт мира, в котором мы живем, помимо нашей объективно данной сепарации, относится также крайняя степень ее непереносимости и борьба за то, чтобы положить ей конец».

Ощущение своей «отделенности» внутри буржуазного общества всегда было прищипкой художнику и порой вызывало даже известное самолюбование, служило эмоциональной основой для строительства различных башен из слоновой кости и других сооружений, долгое время считавшихся всенепременным атрибутом буржуазного художника. Но сегодня вместо самолюбования мы встречаем чувство горечи и отвращения, порожденное «отделенностью». Важней, однако, вторая часть выдвинутого А. Гверчо тезиса — мысль насчет «крайней степени непереносимости» такого положения. Здесь, пожалуй, речь идет об одной из важнейших черт, характерных для художественной (но и научно-технической) интеллигенции развитых капиталистических стран именно в самые последние годы, — осознание своего положения внутри общества, в котором наука и отчасти искусство становятся непосредственной производительной силой, и одновременно осознание скованности своих усилий, приниженности, зависимости своей от современного капитализма (разумеется, речь здесь идет не об его апологетах и прямых его прислужниках). Пожалуй, в этом одна из важнейших перемен, на сложных, извилистых путях современной истории сближающих позиции интеллигенции с позициями рабочих как класса, активно противостоящего системе капитализма.

Посылки Боарини, на которых мы остановились столь подробно, относительно точны. Опасно другое — предлагаемый выход: уничтожить или свести к убогому недолговечному примитиву искусство, лишь бы уберечь его от воздействия капиталистической системы. О степени достигаемого во имя такой высокой цели художественного убожества трудно даже судить. Просмотрев десятки каталогов с репродукциями, я все же почти лишен возможности описать эти созданные без холста и кисти «произведения» и «жесты». На снимках видишь экспонированные кучки угля, распутываемые художником нейлоновые нити, полотнища, приводимые в движение искусственными потоками воздуха, или, скажем, просто комнату, в которой живет своей повседневной жизнью женщина — спит, пьет кофе, читает газеты, а посетители выставки через глазок наблюдают за «фиксированными моментами повседневности».

Тут уж «бедное искусство» и впрямь доходит до своей нулевой точки, обращаясь нищетой искусства. Словом, как утверждает «отец» «бедного искусства» Селан: «Наконец-то не будет больше предметов искусства, на смену им придут факты и действия, показанные как процесс».

«Бедным» теоретикам на страницах их же сборника отвечает Ренато Гуттузо, который поначалу пытается убедить их в том, чтоб они не отказывались так уж решительно от кисти, которая тоже ведь «бедный инструмент». Гуттузо убежден, что «революционный процесс не может выглядеть чистой негативностью», что художник «действует изнутри этого процесса, являясь его неотъемлемой частью и влияя на него своим потенциалом.. Недостаточно и неоправданно в человеческом и историческом плане простое выжидание прихода новой практики, результатом которой станет един-

ство». Художественная деятельность для Гуттузо — деятельность революционная и в то же время сохраняющая свою специфику, не позволяющая ее подмену иными способами революционной деятельности. Гуттузо утверждает, что и в условиях капитализма искусство должно стать предвосхищением «практико-теоретической цельности человека». «Цельность человека,—заканчивает Гуттузо,—не может быть восстановлена в пределах данной социальной структуры, которая в эпоху «структуралистского наукообразия» делает все ощутимей его угнетение и отчуждение. Искусство также участвует в борьбе за приход нового общества. Лишь участие в ней дает возможность встать против собственного привилегированного положения, в силу которого художник чувствует себя частью того, что хочет уничтожить».

Нам кажется, что доводы, с которыми Гуттузо обращается к художникам, убедительно иллюстрируют ситуацию во всей ее двойственности и парадоксальности — решительный возврат художественной интеллигенции к политическому самосознанию, к идеологии, совсем недавно «отмененным» лжепрогнозами капитализма во имя всеблагих технократических иллюзий, возврат к осознанной антибуржуазности и вместе с тем почти абсурдные, беспомощные средства борьбы с системой развитого капитализма. Горечь от сознания своей принадлежности к системе лишь усиливает, лишь обостряет до предела нетерпимость по отношению к ней.

Определенная ситуация, которую мы пытались проиллюстрировать, анализируя тезисы «бедного искусства», в сущности, идеологически шире и выходит далеко за пределы эстетической сферы. Вряд ли можно согласиться со столь распространившимся сегодня на Западе призывом к «самоубийству интеллигенции как класса», порой используемым для обоснования изложенных выше концепций.

Но хочется сказать и об ином. Весна 1969 года. Международный конгресс критиков в славящейся своим неповторимым искусством Парме. Мэр Пармы Энцо Балдацци принимает участников конгресса в пышном зале, во дворце бывших пармских герцогов. И держит речь, не совсем обычную для мэра в бывшем Пармском герцогстве. Он говорит о том, что вот уж несколько недель, как рабочие завода «Сабатини» не покидают заводскую территорию, не давая хозяевам закрыть предприятие, он говорит, что пармская «джунта»¹ объявила свои заседания непрерывными для обсуждения создавшегося положения, и вдруг, быть может неожиданно для кое-кого из участников конгресса, заключает, что у рабочих завода «Сабатини» и у собравшихся в их городе критиков из тридцати стран общая задача — защита культуры. Рабочие хотят, чтобы великие сокровища культуры, веками создававшиеся в Парме, перестали быть для них внешним и чуждым декорумом. «Разве вы не стремитесь к той же цели? — обратился Энцо Балдацци к собравшимся. — Разве вам чужда борьба рабочих за свое классовое и человеческое достоинство, за право решать судьбу предприятия, где они трудятся?» Их борьба — это «борьба за культуру и разум, против «иррациональной рациональности» капитализма». Это было сказано в старинном городе Парме 1 июня 1969 года, всего лишь за несколько месяцев до «горячей осени» 1969 года, когда в разгоревшихся в Италии с невиданной силой классовых боёх приняли участие четырнадцать миллионов забастовщиков. А 20 февраля 1970 года в здании туринской федерации ИКП состоялась конференция рабочих крупнейших итальянских заводов, обсуждавших задачи партии, задачи интеллигентов-коммунистов в связи с развитием технологии, повышением культуры трудящихся. На этой конференции рабочий заводов «Фиат» товарищ Гарби сказал: «Что вкладываем мы в понятие культуры рабочего класса? Иную и новую модель организации труда, при которой на первое место выдвигается человеческий фактор. Осуществить такую задачу — значит, «прокинуть» все созданные капитализмом ценностные понятия, создать альтернативную модель культуры на всех уровнях нашего развитого общества. Значит, дело вовсе не в том, чтоб интеллигенты устраивали свои митинги у заводских ворот (так поступали в Турине студенты.— Г. Б.). Пусть они борются за эти цели на своем рабочем месте, за своим письменным столом, пусть их борьба сольется в единое целое с борьбой, которую мы ведем внутри заводских стен»².

¹ Муниципальный совет из представителей различных партий.

² Журнал «Ринашита», 1970, № 8. Статья «Борьба и культура».

Пожалуй, к этим веским и разумным словам стоило бы прислушаться сторонникам разрушения культуры и провозвестникам апокалипсиса из числа считающих себя революционными интеллигентами, в том числе и тем из серьезных писателей, которые ныне решили уподобиться Кармазнову из «Бесов». Как известно, Ф. М. Достоевский писал о том, что этот «великий писатель» болезненно трепетал перед новейшей революционной молодежью и... униженно к ним подлизывался, главное дело потому, что они не обращали на него никакого внимания».

Мощный вал студенческих волнений, движения протеста молодежи обрушились за последние годы на многие устои западного мира. А. Моравиа утверждает, что «студенческое движение вновь включило в повестку дня проблемы взаимосвязи между интеллигенцией и политикой»¹. Влияние этого движения на интеллигенцию Запада — художественную, университетскую, научно-техническую — представляется несомненным.

Борьба молодежи, борьба студенчества не закончена, она вступает сегодня в новую, более зрелую фазу, и глубоко заблуждаются апологеты капитализма, рассчитывающие покончить с ней реформами, которые молодежь не принимает, и залпами, которые лишь усиливают накал борьбы.

О важности этой борьбы говорил Л. И. Брежнев. «Естественно,— сказал Генеральный секретарь ЦК КПСС,— то большое внимание, которое братские партии уделяют сейчас работе среди молодежи. Ведь это факт, что молодое поколение в странах капитала, в том числе студенчество, охвачено революционным брожением... В выступлениях молодежи, правда, зачастую еще сказывается нехватка политического опыта и связи с авангардом революционной борьбы. Поэтому ее выступления нередко приобретают стихийный характер и выражаются в политически незрелых формах»².

За два последних года появились, без преувеличения, сотни работ о студенческом движении в странах Запада. Многие авторы стремятся найти объяснение этому невиданному по размаху и напряженности явлению в отсталости университетских структур, в слишком быстром росте числа студентов и в других «поправимых» причинах. Нам представляется, однако, что все обстоит гораздо глубже и серьезней.

Молодежь остро ощущает «утрату иллюзий», она отвергает ценности, которые может предложить ей буржуазное общество. Немыслимой покажется этой сегодняшней западной молодежи та вера в науку, в завтрашний день, о которой когда-то писал Михаил Булгаков: «Весна, весна и грохот в залах, гимназистки в зеленых передниках на бульваре, каштаны и май, а главное — вечный маяк впереди — университет, значит жизнь свободная. Понимаете ли вы, что значит университет? Закаты на Днепре, воля, деньги, сила, слава».

Но вот другой, совсем недавний май в Париже. И тоже каштаны — в Париже каштаны, как в Киеве, — и на бульварах гимназистки в мини-юбках, но давно угас маяк, и запылала в Латинском квартале подожженные машины, и густое облако отравляющих газов повисло над баррикадами, которые воздвигли зверски избиваемые «службой безопасности» студенты. Маяк — университет не сулит более ни спокойных закатов, ни уверенной силы, ни славы. Разве что деньги? Но и они, как сказал Сартр, напоминают кошель дьявола, полный золота, которое превращается в сухие листья, едва захочешь им воспользоваться».

И тогда на страницах «Passerelle» — школьного журнала лица «Ромен Роллан» в Париже — появляются такие написанные гимназистом-католиком горькие строки: «Черный май проронило над Парижем слезу... Вы, волчата, впивайтесь клыками! Вас хотят перебить на углу этих улиц. Здесь, на углу этих улиц, вы узнали об умершем боге, о больном государстве и о том, что попросту гол наш король. На углу этих улиц в едком дыме гранат побеждает булыжник. На углу этих улиц дети мертвого мира строят свои баррикады».

Нетерпимость по отношению к системе капитализма, какой она предстает перед молодежью сегодня, отрицание тех возможностей, которые капитализм предложит ей завтра, — такова, на наш взгляд, основная причина столь серьезных выступлений мо-

¹ Журнал «Нуови аргументи», декабрь 1968 года.

² Л. И. Брежнев. Ленинским курсом. Речи и статьи, т. 2, М. 1970, стр. 382—383.

лодежи, все ясней отождествляющей свою борьбу с общей борьбой против империализма («Все мы сегодня вьетнамцы» — вот лозунг, недавно появившийся на стенах одной из парижских станций метро).

Но истоки этой нетерпимости — за пределами событий сегодняшнего дня. Их не понять, не сказав хоть кратко о том, чем же стал за последние десятилетия государственно-монополистический капитализм под воздействием научно-технической революции, с невиданной силой обострившей основное противоречие капитализма между мощным развитием производительных сил и самой общественной системой, если не сказать о тех новых формах, в которых это основное противоречие проявляется в современных условиях как в США, так и в странах Западной Европы, где эти процессы еще не приняли столь завершенного характера, где им противодействует в известной мере сама история, сама культурная традиция этих стран

Ведь «для определения конкретной программы антиимпериалистической борьбы,— как сказал Л. И. Брежнев,— необходимо не только правильное понимание существа империализма, его природы. Необходимо также внимательное изучение новых явлений, глубинных процессов, развертывающихся в мире капитализма»¹.

Где-то в середине пятидесятих годов американские корпорации, которые в условиях научно-технической революции стали производить количество товаров, в определенных областях значительно превысившее реальный потребительский спрос, убедились в устарелости и прежних способов изучения рынка, и прежних способов воздействия на потребителя при помощи обычной рекламы старого типа. Можно привести десятки примеров того, как способы рекламы, основанные на обращении к разуму потребителя, оказались бездейственными. Приведу лишь один такой пример. В далеком 1954 году крупнейшая автомобильная корпорация «Крейслер» выдвинула вполне разумную идею: в условиях Америки все трудней стало пользоваться большими длинными машинами, тем типом машин, которые американцы называют большими и толстыми — «big and fat car». Фирма «Крейслер» решила выпускать машины меньших габаритов и обратилась с соответствующим призывом к покупателям. Через год выяснилось, что доля проданных на автомобильном рынке США машин «крейслер» уменьшилась с двадцати шести до тринадцати процентов. Фирма понесла миллионные убытки и привлекла ученых для объяснения случившегося. Ученые разъяснили — для среднего американца машина не только средство передвижения, но и символ могущества, уверенности в себе, замена этой отсутствующей уверенности. Вот почему американец будет покупать соответствующие этим, скорей подсознательным, ощущениям машины².

На этом примере видно, что в обществе этого типа потребительские товары обретают двойное назначение — функциональное и символическое, фетишистское. Холодильник определенного типа, машина, загородный дом, бассейн для плавания — все эти предметы наряду со своей прямой функцией служат целям поддержания престижа, заменой моральных и этических ценностей, служат символом, требуют установления особой связи между ним и человеком, связи искаженной, извращенной, нередко основанной на апелляции к подсознанию.

Крупнейшие американские корпорации, не поскупившись на затраты, взяли на службу серьезных ученых — в первую очередь психологов, лингвистов, психиатров, социологов и представителей других специальностей, которые разработали новую систему обеспечения сбыта потребительских товаров. Теперь эта система, которую мы вслед за изучавшим ее американским социологом Вейнсом Паккардом назвали бы системой «окультичного внушения» («hidden persuasion»)³, уже давно в ходу и давно оказывает свое воздействие на сотни миллионов людей в США и странах Западной Европы. Эта система основана на нескольких установках.

Средства массового внушения направлены к всемерному поощрению деструктивного начала в человеке, они всеми способами вызывают к разрушению вещей. При

¹ Л. И. Брежнев. Ленинским курсом, т. 2, стр. 367.

² Сегодня в США по ряду других причин пробилась на рынок и малогабаритные машины.

³ Так названа книга В. Паккарда, посвященная манипулированию сознанием масс в США.

этом выброшена на свалку такая старинная добродетель, как бережливость. Вещи должны уничтожаться, идти на слом вне какой-либо зависимости от их действительного износа. Без непрерывного иррационального разрушения не может в этих условиях нормально функционировать цикл «производство — потребление». И, разумеется, высшей формой разрушения, выгодной бизнесу, способствующей его процветанию, становится война. Средства массовой культуры — телевидение, кино, коммерческая литература и искусство — все чаще изображают насилие, поощряя деструктивное начало в человеке. Это и есть выполнение одной из основных экономических и идеологических задач системы, ее требования обеспечения непрерывности цикла «производство — потребление».

Средства массового внушения способствуют предельной стандартизации вкусов, представлений, взглядов, эмоций миллионов людей, живущих в обществе, которое лицемерно выступает с давно им отброшенными на деле и противоречащими его экономической системе лозунгами защиты индивидуальной свободы. Средства массового внушения превратили американское общество в общество предельно конформистского типа, и этот процесс стандартизации развивается, принимая самые угрожающие масштабы. Это стандартизованный мир «потребительского благоденствия», в котором люди бессознательно и безропотно подчиняют себя небольшой группе сверхмощных организаций, контролирующих технологические и производственные процессы.

Переход от способов массового коммерческого внушения к использованию той же техники в области политической оказался весьма быстрым. «Вы продаете ваших кандидатов и вашу программу теми же способами, при помощи которых бизнес продает свои изделия», — сказал некогда один из бывших лидеров республиканцев Леонард Холл.

«Политика есть товар, который продается потребителю, — сегодня идет один товар, завтра другой, в зависимости от состояния рынка», — еще откровенней высказался Ричард Ровере в своей книге «Государственные дела».

«Теперь уже целью является не просто игра на нашем подсознании, чтобы убедить нас купить ненужный нам новый холодильник или новую моторную лодку, — цель теперь в том, чтоб повлиять на состояние нашего ума и направить по определенным каналам наше поведение как граждан», — пишет Вейнс Паккард.

Техника политического внушения, в особенности техника внушения во время президентских выборов, разработана с величайшей тщательностью, изучена и выверена не дилетантами, а учеными.

Сегодня в США вырисовывается определенный тип общества, многие черты которого дают основание говорить об угрозе новой формы тоталитарности, если под ней понимать полное подчинение масс интересам крупных монополий, мощных кратических организаций, тотальную обусловленность мыслей и поведения человека, возможность тотального манипулирования человеком. В условиях развитого государственно-монополистического капитализма осуществление научно-технической революции приобретает крайне антидемократический характер, несмотря на связанный с ней рост производства и потребления.

Выступая в сентябре 1970 года на состоявшейся в Голландии конференции, посвященной «капитализму семидесятых годов», французский исследователь Андре Горц сказал: «Не случайно росту доходов на душу населения парадоксальным образом соответствует распространенное в обществе состояние неудовлетворенности, особо четко выражаемое рабочим классом, который ставит под вопрос само существование системы своими требованиями, далеко выходящими за пределы чисто экономические и касающимися проблем власти. Развитие производительных сил в обществе монополистического капитализма все более характеризуется паразитизмом и расточительством, причем эти явления отнюдь не внешнее обрамление капиталистических производственных отношений, а их наиважнейшая часть. Подобные явления сопровождаются прогрессирующей эрозией институтов представительной демократии, все более лишаемых власти и все менее подверженных контролю масс».

Интеграция, манипулирование сознанием, репрессивность — таковы средства осуществления тоталитарности в условиях развитого государственно-монополистического капитализма.

В своем труде «Империализм, как высшая стадия капитализма» Ленин дал глубокий научный анализ определенного этапа в развитии капитализма, анализ, который верен и в наши дни. В этом труде заложено предвидение дальнейшего развития капитализма, его превращения в капитализм государственно-монополистический. Ко времени написания этой работы В. И. Лениным в развитии капитализма произошли серьезные изменения, и в целом складывавшаяся картина капиталистического мира во многом отличалась от той, которую изучал и исследовал Маркс. Одной из главных особенностей ленинского анализа империализма в этом труде являлось подчеркивание его монополистического характера. Эта особенность превращения капитализма в систему монополистическую, в систему государственно-монополистическую, продолжает оставаться важнейшей характеристикой и современного нам капитализма. Открыв эту тенденцию в самом начале ее развития, Ленин подчеркнул, что «конкуренция превращается в монополию», что в условиях империализма свободная конкуренция остается лишь «формально признаваемой» (разрядка наша.— Г. Б.)¹.

Но из этого главнейшего положения о превращении капитализма в систему государственно-монополистическую вытекают и многие черты современного буржуазного общества, вытекают и те особенности его, которые должны стать предметом пристального внимания исследователей современной буржуазной культуры, искусства и литературы. Монополия превращает конкуренцию лишь в «формально признаваемую», а это значит многое. Отсюда те еще не исследованные нами в достаточной степени черты современного буржуазного общества, вызывающие особую нетерпимость со стороны художественной интеллигенции, а сегодня уже не только художественной интеллигенции, но и значительной части научно-технической интеллигенции и миллионов молодежи в странах капиталистического Запада. Речь идет о вполне определенной стандартизации образа жизни и мышления, о стирании индивидуальных особенностей, об организованном манипулировании мыслями миллионов людей в направлении, нужном хозяевам капиталистической системы. Речь идет о конформизме этой системы, который сегодня становится одной из наиболее характерных ее черт. Речь идет, наконец, об авторитарности этой системы, о ее невероятно возросшей бюрократизации.

Порой мы как бы проходим мимо этих действительно существующих явлений и продолжаем толковать лишь о порожденном конкуренцией буржуазном индивидуализме, хотя на самом деле времена Жюльена Сореля давно прошли и в центре современного капиталистического общества отнюдь не яркая буржуазная индивидуальность, а сознательно выдвигаемая на первый план посредственность.

Здесь нужно сказать и вот о чем. Мы нередко встречаемся с попытками наших противников «переадресовать» критику буржуазности, содержащуюся в творчестве тех или иных писателей, объявив при помощи известных приемов, что заключенная в их произведении критика относится вовсе не к капитализму. Достаточно показателен здесь пример того, что происходило вокруг творчества Кафки. Стоило опубликовать произведения Кафки, подвергнуть его творчество серьезному критическому марксистскому анализу — и стало ясно: при всей неприемлемости для нас приемов художественного обобщения этого писателя, критический заряд большой взрывной силы, содержащийся в его произведениях, направлен именно против капитализма.

Вот еще пример, на мой взгляд, весьма любопытный. Едва ли не одно из первых мест в своем арсенале идеологами антикоммунизма отводилось такой социальной утопии, как книга Хаксли «Прекрасный новый мир»².

Но вот о чем сообщает в своей работе «Обнаженное общество» известный американский социолог Вейнс Паккард: эта книга запрещена, попросту изъята из большинства библиотек американских колледжей³. Происходит нечто поистине любопытное. Американская молодежь узнает пороки окружающего ее мира в произведениях, которые упорно рекламировались идеологами капитализма.

¹ В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 27, стр. 320, 321.

² Обстоятельный анализ этой книги содержится в статье В. Шестакова «Социальная антиутопия Олдоса Хаксли — миф и реальность». См. «Новый мир», 1969, № 7.

³ Вейнс Паккард. Обнаженное общество. Нью-Йорк. Издательство «Дэвид Мак Кей компани». 1964.

Не пора ли нам серьезней задуматься над тем, как вернуть по правильному адресу обвинения в конформизме и стандартизации общественной жизни. Может быть, особенно важно сделать это сегодня, когда осознание именно этих черт капитализма обуславливает протест против этой системы миллионов людей, в том числе и тех, кто в отличие от рабочего класса не подвергается непосредственной и очевидной форме эксплуатации. Это протест против стандартизации и против конформизма буржуазного общества, против всевластия капиталистической бюрократии и технократии, протест против разнузданной шпиономании, против слепой авторитарности капиталистической системы, против скуки и бесцельности существования, против иррациональной организации общественной жизни, протест против лживых апологетов этой системы, превращающей людей в слепых исполнителей («Университет должен воспитывать людей, способных исполнять и давать директивы», — пишет Керр).

Об остроте осознания этих черт современного капитализма можно судить хотя бы по одному из множества свидетельств. Это речь, произнесенная недавно одним из руководителей американской организации «Студенты за демократическое общество» (SDS) М. Савио на митинге, состоявшемся в университете Беркли, в том самом огромном «мультиуниверситете», руководителем которого является упомянутый выше г-н Керр:

«Американское общество в том стандартном представлении, которое оно о себе имеет, перестало быть интересным. Самое интересное, что можно сегодня обнаружить в Америке, это движение за преобразование Америки. Америка все более становится страной стерильного и автоматизированного отчаяния, интеллектуально и морально опустошенной страной. Этот хромированный рай потребительства хотел бы видеть, как мы подрастаем бравыми и хорошо воспитанными ребятами. Но значительная часть мужчин и женщин, выходящих сегодня на историческую сцену, доказывают свою готовность скорее умереть, чем подвергнуться процессу стандартизации и дать себя превратить в легко заменимые и ничего не значащие предметы».

Студенческое движение, в той или иной степени, с той или иной интенсивностью проявившее себя во всех странах Запада, стимулировало включение в повестку дня проблемы взаимосвязи между интеллигенцией и политикой. Сегодня мы являемся свидетелями вполне определенного и четко выявившегося процесса политизации как научно-технической, так и художественной интеллигенции в странах Запада.

Хотелось бы отметить существующее сегодня во многих странах Запада изменение подхода к проблеме творческих объединений интеллигенции, отказ от преобладавшей еще до недавнего времени тенденции к аполитичному, чисто синдикалистскому характеру подобных объединений.

Вот некоторые факты.

Возникший в мае 1968 года и (при всех своих ошибках) активно действующий сегодня Союз писателей Франции записал в своем уставе следующее требование: «По мере своих сил Союз намерен внести свой вклад в строительство нового общества социалистического типа, основанного на коллективном владении средствами производства и демократическом управлении ими, которое не подавлялось бы бюрократическим аппаратом и не ориентировалось бы лишь на одно потребление».

А правление Национального синдиката писателей Италии в июле 1969 года (перед съездом синдиката) выступило со следующим утверждением: «Перед лицом все ускоряющихся изменений структуры общества, затронувших также интеллектуальный труд и средства распространения культуры, мы ощущаем необходимость сегодня, через двадцать пять лет после создания нашего синдиката, пересмотреть его позиции и самую его функцию». На состоявшейся весной 1970 года ассамблее синдиката прямо стоял вопрос о праве писателя на забастовку и выдвигалось требование об участии писателей в издательской политике, в управлении средствами производства культуры.

Выдающиеся швейцарские писатели Фридрих Дюрренматт и Макс Фриш в знак протеста против действия руководства совсем недавно вышли вместе с двадцатью своими коллегами из Союза писателей Швейцарии, заявив, что эта организация лишает писателей возможности активной политической ангажированности.

Кстати, есть факты, говорящие о том, что в забастовках уже участвуют и писатели и ученые: забастовка литературных работников итальянского издательства «Сад-

жаторе», многомесячная забастовка ученых, работающих в CNEN (Итальянский центр научно-исследовательских работ в области ядерной энергии), борьба профессоров и студентов MIT (Массачусетский технологический институт в США) против осуществления важнейшего заказа Пентагона, связанного с ракетно-ядерной кассетной системой MIRV (а также с исследованием электронных средств обнаружения в условиях борьбы против партизан),— таковы лишь немногие примеры. О масштабах проекта MIRV можно судить хотя бы по тому, что к его осуществлению в MIT привлекалось свыше четырех тысяч научно-технических работников.

Если учесть неизмеримо возросшую роль научных исследований для всей экономической системы, резкий рост числа студентов в США, огромное значение университетов в осуществлении научно-исследовательских программ, в том числе программ Пентагона, то станет совершенно ясным, что борьба американских студентов не детская забава, а удар по одному из наиболее уязвимых невралгических узлов американского империализма.

Позволим себе здесь высказать лишь несколько кратких, поневоле схематичных соображений и по такому сложному вопросу, как так называемая «свобода творчества», «свобода художественного выражения» в условиях современного капитализма. Нам кажется необходимым более глубокий и аргументированный анализ того, во что превратились на деле эти лозунги. Система современного капитализма действительно «допускает» даже самые острые формы критики, выраженные средствами искусства. Вместе с тем происходит глубоко осознаваемый западными художниками процесс нейтрализации этой критики, придания ей характера безобидного и как бы несущественного; определенная гибкость современного капитализма позволяет почти мгновенное превращение направленной против него критики в товар.

В то же время мощнейшая система культурной индустрии, целью которой является манипулирование сознанием масс, повседневное воздействие на их сознание в интересах капитализма, создает невидимую, но весьма прочную преграду, изолирующую художника от масс, навязывающую массам свой «код прочтения» искусства.

Такой либеральный французский ученый, как Аллен Туррен, в своей последней работе «Постиндустриальное общество» говорит о «все возрастающем влиянии крупных общественных¹ и частных предприятий, определяющих содержание и формы культурных сообщений. Нет ли здесь самого полного подчинения моделям поведения, вырабатываемым верховной социальной организацией?»

...Дистанция между потребителем и производителем культурных ценностей, подчиненность потребителя экономическим, моральным и политическим императивам, в основе консервативным и мистифицирующим,— такова главная проблема².

«Свобода культуры» при одновременной ее нейтрализации есть та не лишенная гибкости форма политики, при помощи которой современный капитализм пытается обеспечить собственную гегемонию, превращая эту нейтрализованную и приглушенную свободу в попытки своего алиби. Об этом неплохо сказал на страницах издающегося Моравиа журнала «Нуови аргументи» поэт Дарио Беллецца: «Буржуазная демократия позволяет мне существовать, дает мне возможность стать той ее нейтрализованной противоположностью, которую она превращает в алиби, чтобы продлить свое существование».

Идеологи капиталистической системы, на деле осуществляя интеграцию интеллигенции в рамках существующего строя, поглощая, обезвреживая, нейтрализуя и превращая в товар заключенную в произведениях западных художников острую критику капитализма, в то же время стремятся использовать в своих пропагандистских целях лозунги «свободы художественного выражения», изображая эту свободу как одно едва ли не из главных «преимуществ» капиталистической системы.

Лидер итальянского неоавангарда Эдоардо Сангвинети, с которым нам не раз приходилось спорить по иным поводам, дает, однако, весьма любопытное и верное в основе объяснение целей такой нейтрализации критики: «Великая похвальба буржуаз-

¹ В данном контексте речь идет, по-видимому, об «огосударственных» предприятиях.

² Аллен Туррен. Постиндустриальное общество. Издательство Деноэль. 1969.

ного интеллигента «свободе культуры» есть нечто неотрывное от ее «нейтральности». Излишне говорить о том, что эта нейтральность оказывается лишь видимостью. Здесь уместно весьма жестокое определение: интеллигенту в буржуазном обществе платят за то, чтоб он изображал, даже разыгрывал роль свободного человека, более того, его с этой целью подталкивают пинками в зад»¹.

Позитивное значение процессов политизации в среде западной интеллигенции достаточно ясно, но приходится говорить и об ее отрицательных аспектах. Создавшееся положение многими западными художниками осознается как безвыходное. Ими утрачивается вера в какие-либо возможности революционного воздействия искусства. Отсюда рождаются ложные установки, получившие весьма широкое распространение. Сегодня раздаются ложные призывы к «отмиранию литературы», сегодня слышны голоса, призывающие к «смерти искусства».

Однако и сторонникам столь крайних отрицаний на деле никак не удастся избежать использования своих сомнительных находок капиталистической индустрией, почти мгновенно запускающей в производство все, что может послужить целям лучшего сбыта товара путем постоянной и направляемой замены одной «моды» другой.

«Смена моды», ставшая важнейшей экономической потребностью системы развитого государственно-монополистического капитализма, вынуждает к более расширительному толкованию самого понятия «мода». Конечно, моде следовали во все времена, но сегодня, в сущности, речь идет скорее о чем-то ином, чем традиционное представление о моде.

Прежде всего отметим исключительную кратковременность циклов, быстроту сменяемости «моды» (итальянский поэт и теоретик Ламберто Пиньотти пишет: «Когда я говорю о сегодняшнем дне искусства, я имею в виду текущие двадцать четыре часа»).

Но, быть может, важнее другое — «мода», в сущности, перестала быть «модой», стала политикой, стала средством массивного социального воздействия. Понятие «мода» из сферы потребления перенесено не только в область эстетики, но и в область идеологии. Применительно к обществу такого типа вполне уместен разговор об «идеологической моде». Резкость и внезапность смены «моды» во всех сферах, стремление к массовому характеру воздействия такой смены становится важным фактором общественной жизни.

Весьма любопытно явление «возврата моды», так называемый «ремейк» («гетаке»), должно быть, отчасти обусловленное ограниченностью возможных вариантов. В области потребительской моды, не говоря уже о «макси» юбок и пальто, упомянем в этой связи о моде на автомобиль «старых времен» (oldtimer). В области идеологической внезапно возникает, например, мода на Вальтера Беньямина, немецкого теоретика искусства тридцатых годов, или «самая последняя» мода на Ницше, приведшая к огромному числу переизданий.

Нас ничуть не удивило бы, если б на смену всем авангардистским новациям завтра эстетическая мода вернулась бы к традиционному роману и к натуралистической живописи. И какой удивительно новой показалась бы тогда фраза «маркиза вышла из дому в пять часов», сотни раз приводившаяся для доказательства невозможности романа в наши дни. Вносимые модой изменения — это прежде всего изменения формы. К слову, исследователи отмечают, что в такой ведущей отрасли потребительской индустрии, как автомобилестроение, уже ряд лет не производится коренных конструктивных изменений, а большая часть изменений направлена лишь к внешней новизне модели. В период с 1956—1960 годов в американском автомобилестроении расходы на изменение моделей, составляющие лишь часть расходов по обеспечению сбыта, равнялись 25 процентам от продажной цены машины. Следовательно, изменения направлены в первую очередь к увеличению возможностей продажи и на самом деле нужны они капиталистам, хотя ценой колоссальных затрат и сложной научно разработанной системой рекламы потребителя убеждают, что они нужны как раз ему.

Именно в этих целях капитализм стремится максимально использовать художников и писателей — «неоэксперименталистов».

¹ «Ремесло поэта». Издательство Перичи. 1965.

Недавно в США (Лос-Анджелес) была разработана программа, названная «Искусство и технология», финансируемая десятками миллионов долларов. В этой программе принимает участие двадцать шесть крупнейших корпораций, в том числе «Американ цемент», «Локхид Эркرافт корпорейшен», «Бэнк оф Америка», «И. Б. М.», «Кайзер стил корпорейшен», «Джет препальшен лэборатори», «Интернешнл кемикл», «Нуклеар корп.» и другие. На основе этой программы уже получены немалые субсидии такими известнейшими художниками поп-арта, как Ольденбург и Раушенберг — он работает по заказам электронной промышленности (исследовательский центр в Сан-Хосе), что же до знаменитого новатора Дюбуффе, то он почему-то предпочел «Американ цемент компани».

Итак, художнику «разрешается» непосредственное, и добавим — весьма хорошо оплачиваемое, участие в самом процессе капиталистического производства. Необходимость непрерывной замены одних изделий другими, порой лишь внешне от них отличающимися, определяет особое значение изменений формы, окраски, внешних очертаний предмета. И делают это художники.

К ощущению абсурдности, иррациональности всей системы современного капитализма у многих художников Запада добавляется ощущение собственной приниженности, ощущение бездейственности протеста, заключенного в их творчестве, недовольство собственной ролью, чувство бесполезности собственной работы в условиях, когда критикующее капиталистическую систему произведение этой же системой превращается в товар, функционирующий в рамках, отведенных ему системой, на фоне средств массового внушения, подавляющих критику и заглушающих любой голос протеста. Художники отлично видят, казалось бы, незримую стену, воздвигнутую между их критическим искусством и массами, отлично знают средства и приемы «обезвреживания» заключенной в их искусстве критики.

Нет нужды говорить о том, насколько необходим серьезный марксистско-ленинский анализ всей этой проблематики сегодня, когда лицемерная установка «все дозволено» — а дозволено потому, что безопасно, — столь часто используется апологетами капитализма в той острой идеологической борьбе, которая ведется ими против стран социализма, против социалистической культуры.

На фоне этой борьбы становится понятней известная распространенность среди западной интеллигенции, как научно-технической, так и художественной, левацко-экстремистских извращений марксизма-ленинизма. Тут мы встречаемся и с безоговорочным подчеркиванием спонтанности революционного действия, «гверильи» («партизанской борьбы»), и с гиперболизированным ложным подходом к вопросу о стихийности революционного действия, и с многим другим.

В непосредственной связи с нашей проблематикой находятся идущие от левацкого экстремизма попытки извратить ленинское учение о культуре, требующие самого серьезного отпора. Ленинское учение о культурном наследии, ленинский подход к проблемам культуры, ленинская теория культурной революции сегодня приобретают всемирно-историческое значение.

Отрицание культуры, признание примата спонтанного действия, отказ от культурного наследия — как глубоко чужды марксизму-ленинизму эти, к сожалению, распространенные сегодня в среде западной интеллигенции, особенно среди молодежи, среди студенчества, псевдолозунги.

И уж совсем печально глядеть на то, как с самоубийственных позиций «антикультуры» выступают люди, чья принадлежность к самой культуре несомненна. А с этим сегодня на Западе сталкиваешься нередко. Даже Жан-Поль Сартр с неким одобрением говорит о французских студентах, которые сегодня хотят «изменить мир, а не понять его».

За всем этим стоит глубоко чуждый марксизму, чуждый ленинской теории разрыв функции познания и функции преобразования мира, непонимание активного характера познания, его неразрывной связи с преобразованием мира. Эта связь, столь четко выраженная в одиннадцатом тезисе о Фейербахе, нашла затем развитие в ленинской диалектике революции.

«Вздор», — так метко и кратко охарактеризовал Ленин статью идеолога «Пролеткульта» Плетнева, призывавшего к немедленному разрушению буржуазной культуры

прошлого. Но трижды вздором являются попытки прикрывающихся сегодня ультра-революционной левой фразой уничтожителей культуры, которые идут намного дальше путаников из «Пролеткульта», ибо стремятся не только разрушить культуру прошлого, но отрицают и культуру настоящего и культуру будущего.

Отказ от культуры, отказ от разума — вот жертва, приносимая на алтарь невежества, на алтарь фанатизма кривляющимися буржуазными снобами. «Все мерзости, которыми неизбежно сопровождается жизнь деклассированных выходцев из верхних общественных слоев, провозглашаются ультрареволюционными добродетелями... Трудно сказать, что преобладает в теоретической эквилибристике и в практических затеях Альянса — шутовство или подлость!»¹ — вот как беспощадно оценили духовных предтечей нынешних западных «левых» экстремистов Маркс и Энгельс в своей крайне актуальной сегодня работе «Альянс социалистической демократии и международное товарищество рабочих», сто лет тому назад направленной против анархизма.

«Какой прекрасный образчик казарменного коммунизма»², — пишет в той же работе К. Маркс о бакунинских статьях, содержащих и столь модный сегодня лозунг «ультралевых» «потреблять как можно меньше».

Сегодняшние западные «ультрарадикалы» пыжятся, стараясь выглядеть ультра-современными революционерами, а нам за всей поднятой ими шумихой явственно слышен недавно отгремевший грохот барабанов антикультурной «революции».

Что же до художника, наносящего полосы белой краски в пустыне, то ко всему сказанному нами о причинах его нетерпимости хотелось бы добавить лишь несколько полных «праведного гнева» строк из романа американского писателя Джона Чивера. К слову, свою нетерпимость Джон Чивер сумел выразить в превосходном реалистическом романе. И в этом, представляется нам, ответ и возражение художнику в пустыне.

«К черту яркие лампы, при которых никто не читает книг, нескончаемую музыку, которую никто не слушает, рояли, на которых никто не умеет играть!.. К черту этих хищников, что скармливают всю океанскую рыбу норке затем лишь, чтобы нацепить ее мех своим женам на шею! К черту их пустующие полки для книг, на которых покоится один лишь телефонный справочник, переплетенный в розовую парчу! К черту их лицемерие, ханжество, безукоризненное белье, похоть и кредитные карточки! Да будут они прокляты за то, что сбросили со счетов безбрежность человеческого духа, выщелочили все краски, запахи, все неистовство жизни!»³.

¹ К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 13, стр. 426.

² Там же, стр. 414.

³ Джон Чивер. Буллет-Парк. «Иностранная литература», 1970, № 7, стр. 75.



ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ

Ц. ДМИТРИЕВА

★

МУЖЕСТВЕННЫЙ ТАЛАНТ

Последняя военная зима в Москве. Отопление работает даже не в четверть силы, и радиаторы едва-едва прогревают отсыревшие стены. Тускло светит строго лимитированное электричество.

...11 января 1945 года Николай Семенович Тихонов принес на заседание редколлегии журнала «Знамя» исписанную полудетским почерком ученическую тетрадку — стихи никому не известной Волянской Галины Евгеньевны. Тетрадка пришла в самый канун нового, 1945 года в «Литературную газету» на имя Н. С. Тихонова с припиской: «Если он жив...»

Выбор адресата не был случайным. Голос Н. С. Тихонова, поэта-воина, звучал из блокадного Ленинграда на всю страну. Он отзывался в сердцах миллионов читателей. Врачу из города Нальчика Волянской была близка поэзия Тихонова. Посылая свои стихи, она ждала от него ответа: может ли, должна ли писать дальше.

Хорошо помню это заседание послевоенной редколлегии журнала «Знамя», послевоенной, хотя война еще не кончилась. Но в предвидении конца войны из Ленинграда, где он провел всю блокаду, отозван Всеволод Вишневский, оговоривший, однако, для себя право принять участие в решающих боях на главном направлении. С Ладоги отозван Ан. Тарасенков, не снявший еще морской формы; в редколлегию введены Н. С. Тихонов и самый молодой подполковник среди писателей — Константин Симонов...

Тихонов читал одно за другим стихи Волянской. А мы, мы вместе с поэтом проходили по полям сражений, хоронили убитых друзей (у кого их не было?), представляли, как над ними поднимается «из могильной пыли гореваная горечь-польнь», провожали эшелоны с близкими, прощались с молодостью, надеялись на скорую победу. Стихи «дошли». Они заставили оглянуться, увидеть, что «мы не прежние». Каждого из нас война сделала не только старше, но в чем-то мудрее, а в основном, в главном, в любви к родине — лучше, богаче. Кто из нас не родился заново «под густой орудийный гром» войны?

Не меньше взволновали всех и элегические стихи «Степь», «У нас на родине», «Этой весной» и полные тоски и ожидания строки стихотворения «Суховой». У каждого оставались еще близкие на войне. И на исходе ее, в преддверии грядущей победы, особенно мучительно было ожидание.

Так много дней. Так много верст и дней.
Кричи, и плачь, и бейся — все равно!
Лишь степь да степь. Польнь да суховой.
Все сожжено. Песком замечено...
Где ты сейчас? Живой иль неживой?
Лететь к тебе, помочь и защититъ,
Встать над тобой, как тополь над травой,
Принять удар. С собой тебя закрыть.
Ты там, где смерть. Ты там, где смерть и дым.
Что впереди? Дождусь тебя иль нет?
О, лишь бы знать, что встреча впереди,
Без жалоб я ждала б десятки лет.

О, лишь бы знать!.. На все хватило б сил.
 Ты жив, ты будешь жить. О, лишь бы знать!
 Тревоги жар мой мозг испепелил.
 Знать. Дверь открыть. Увидеть и обнять.
 О, лишь бы знать! Тревога все сильней.
 Горька полынь, и кровь моя горька.
 Все степь да степь. Жестокий суховой.
 Полынь. Песок. Мертвящая тоска.

В своем сопроводительном письме врач Волянская сообщала, что в 1943 году она уже посылала стихи в редакцию журнала «Знамя».

Всеволод Вишневский встревожился. Как могло произойти, что эти стихи прошли незамеченными?..

— Проверьте, пожалуйста, — обратился он ко мне.

После заседания редколлегии я перелистала все папки с ответами авторам — никаких следов стихов и письма доктора Волянской. Но, перебирая страницы переписки с авторами, я заметила, что почти отсутствовали ответы на стихи, которые шли в редакцию большим потоком. Оказалось, стихотворный «самотек» принял во время войны такие размеры, что при Гослитиздате, в систему которого тогда входили «толстые» журналы («Знамя» и «Октябрь»), была создана специальная литературная консультация.

Долго листала я дела литконсультации за 1943 и 1944 годы. Наконец-то! Письмо рецензента.

Уж не знаю, каким холодным, равнодушным человеком надо было быть, чтобы в качестве примера «несовершенных» стихов привести именно стихотворение «Суховой».

Хорошо, что у автора стихов мужества было не занимать и ответ не обезоружил писательницу.

Хорошо и то, что на сей раз стихи попали к большому поэту — Н. С. Тихонову. Он сразу послал в Нальчик ободряющую телеграмму, а затем написал ей: «В Ваших стихах живет та поэзия, которая так нужна сейчас, поэзия, откровенно говорящая о главном, о чувствах, которым свойственна высокая человечность, предельная искренность и страсть...»

Отмечая стиливую «чувственность стиха», которая сообщает осязаемость изображаемому, Тихонов писал Галине Евгеньевне: «Я верю, когда Вы пишете о войне, я люблю, когда Вы любите, Вы меня заставляете томиться в ожидании, когда я читаю «Суховой», или испытывать величайшее волнение, читая простое «Порванное письмо». Я вижу Вашу жадность ко всему живому, Вашу честность в работе над стихом». Он предсказал Волянской счастье «большого признания и широкой известности».

Предсказание Н. Тихонова сбылось, хотя писательница Галина Николаева (псевдоним, который избрала доктор Волянская) достигла успеха не в поэзии, а в прозе. Но могла ли стать Г. Николаева тем известным — и не только в нашей стране, но и за рубежами ее — писателем, каким она стала, если бы не была поэтом? Разве лучшие страницы романов «Жатва», «Битва в пути», «Рассказов бабки Василисы про чудеса», «Нашего сада» могли быть написаны не поэтом?!

Заканчивая свое письмо, Тихонов — отчетливо представляю его усмешку — написал: «А я не умер, я жив. Меня не так легко оказалось свалить с ног. Ни трех-четная блокада Ленинграда, где я был все время, ни голод, ни снаряды, ни бомбы, ни пули, видите, не убили меня. Мы еще погуляем немного...»

Поддержка Н. С. Тихонова, Вс. Вишневского, К. М. Симонова, Ан. Тарасенкова и жены Вишневского, художницы Софьи Касьяновны Вишневецкой, во многом предопределила литературную судьбу Галины Евгеньевны Волянской.

«Ваши стихи — чудесные. Я сама только что вернулась в Москву, прослужив всю блокаду и дальше на Балтике. Мне бесконечно близки Ваши стихи. В них в п е р в ы е зазвучали слова женщины (в лучшем смысле этого слова), пережившей все ужасное и все п р е к р а с н о е в войне. Какое-то у Вас удивительное свое видение, и вместе с тем Ваше видение настолько широкое, что оно вызывает ответ-

ное дрожание, ответную слезу в наших сердцах. И вместе с тем это большое, настоящее мастерство», — писала С. Вишневецкая.

До самых последних дней сохранила Галина к С. К. (так привыкли звать друзья Софью Касьяновну) чувство самой нежной дружбы и привязанности.

«У меня сейчас чувство большого облегчения, — ответила она С. К. Вишневецкой. — Наверно, так чувствует себя утка, которую долго держали на земле и вдруг пустили в озеро».

Всеволод Вишневский также писал: «Стихи Ваши произвели сильное впечатление. Некоторые товарищи переписывают их от руки. Поэтесса Маргарита Алигер говорила мне, что, если Вы приедете в Москву, она поможет Вам устроиться... Н. Тихонов посылает Вам вызов в Москву (Н. С. Тихонов в ту пору был генеральным секретарем Союза писателей. — Ц. Д.)... Творчество Ваше сильно, интересно... У Вас свой сильный голос, ясная правдивая постановка тем, непринужденная свободная манера речи, свободный выбор форм... радует культура стиха и постоянное раздумье, человеческая, хорошая простота, открытость...»

Заканчивая свое письмо, Вишневский советовал Николаевой не погружаться в Москве в узколитературный мир, не отрываться от жизни народной... «Простая жизнь, право, лучше. Я знаю это по опыту, дышишь на фронте, в поездках. Вот и сейчас: уезжаю на Берлинское направление».

Война еще не кончилась, и совсем не просто было вызвать в ту пору автора в Москву. Вс. Вишневский и Н. Тихонов приняли все меры, чтобы добиться вызова доктора Волянской из Нальчика.

...Весна 1945 года была в разгаре. Мы, редакционные работники, вместе со всем советским народом жили в атмосфере всеобщего подъема. Писатели-фронтовики, считая, что они заслужили право участвовать в решающей схватке с гитлеровской Германией и сказать свое слово о той правде, которую им открыли война и подвиг советского воина, снова отбыли на фронт. Уехали Всеволод Вишневский, Александр Твардовский, Петр Павленко, Константин Симонов, Илья Сельвинский, Александр Бек, Борис Горбатов и многие другие.

Со всем недавно вышла вторая книга журнала (февральская) с лирикой Г. Николаевой.

«Кто эта женщина-боец... для которой «и в отчем доме дома нет»?» — спрашивали читатели. Мы отвечали скупой, что Волянская Галина Евгеньевна — врач-фронтовик, была контужена во время плавания на санитарном судне «Композитор Бородин», сформированном в Горьком. В 1942 году судно совершило до десяти рейсов, увозя раненых из-под Сталинграда в Горький, Саратов, Куйбышев, Астрахань. Сейчас Волянская работает в Нальчике в госпитале.

Мне трудно ныне вспомнить, было ли это в конце апреля или в самом начале мая. Скорее все-таки это было в конце апреля. В обеденный час секретарь редакции ушла обедать. Анатолий Кузьмич Тарасенков «разносил» техреда за опоздание верстки очередного номера, из его кабинета, даже через закрытую дверь, доносился «серьезный» разговор. Я оставалась одна в приемной, когда в комнату вошла молодая женщина с болезненно смуглым лицом, в широкополой летней шляпе, в пальто с широкими буфами на рукавах. Наряд этот меня удивил, хотя превратности войны приучили нас ко многому. Из-под шляпы свисали заплетенные от самых висков толстые косы, подвязанные над ушами, и это придавало приходшей какой-то инфантильно-претенциозный вид, который никак не вялся с нашим строгим временем.

Женщина внимательно посмотрела на меня чуть косящими глазами, словно угадывая ход моих мыслей. В глазах ее сверкнула не то растерянность, не то вызов, и, нарушив молчание, она произнесла:

— Я — Галина Николаева.

Как мало соответствовал облик этой провинциалки созданному нами мысленно портрету врача-воина-поэта! Мы ведь не знали, каких усилий стоило Галине Евгеньевне собрать это одеяние, чтобы приехать в Москву в те трудные для нее годы.

За несколько дней до ожидаемого прибытия Г. Николаевой Тарасенков попросил меня взять ее к себе. Я согласилась. С того весеннего дня, когда Галина впервые появилась в нашем доме, миновало много лет, пока к ней пришла та «широкая известность», которую некогда предсказал ей Н. Тихонов. И все эти годы (1945—1950) она знала, что в Москве у нее есть дом, куда она может всегда приехать, есть дружеская семья, которая не покривит перед ней душой.

Сколько дней провели мы с ней, утомленной войной, болезнью, неустройством личной жизни. Нелегко и непросто было стать, а главное, оставаться другом Галины Николаевой. Ее переменчивый нрав, нетерпчивый ко всякой неискренности, приспособленчеству, болезненная реакция на критику причудливо сочетались с детской наивностью, любознательностью и... женским кокетством.

Родившись в Западной Сибири, Галина училась в Барнауле и Новосибирске в годы, когда в школах господствовал «дальтон-план» — бригадный способ обучения. Она хорошо знала русскую классику, ее любимым поэтом был Лермонтов, но всю жизнь была она не в ладах с грамматикой, не говоря уже о синтаксисе. И тем не менее ее литературным языком нельзя не восхищаться, он еще ждет своего исследователя. Но писала она поспешно, не дописывая, обрывая слова, фразы, и трудно приходилось «знаменской» машинистке Нине Леопольдовне Мушкиной, которая одна умела расшифровывать скоропись Галины Николаевой и была по существу ее первым критиком.

Надоев вслушиваясь в литературные разговоры, Г. Николаева должна была решить для себя, каким путем идти дальше. Она приглядывалась к «старшим» поэтам — Твардовскому, Тихонову, Берггольц — и к таким же «молодым», как она сама, опаленным пожаром войны, в одно время с ней пришедшим в литературу.

Это была пора расцвета Семена Гудзенко, что «был пехотой в поле чистом» и впервые появился в редакции в солдатских кирзовых сапогах; и Александра Межирова, вмерзавшего в лед Синявских болот; Юлии Друниной, что «пришла из школы в блиндажи сырые...»; и Сергея Орлова, и Михаила Луконина, и Алексея Недогонова, и Сергея Наровчатова...

Мы полюбили их за чистоту и взволнованность поэтической речи, за высокий гражданский накал их поэзии, за ее задушевность и лиричность. Мы цитировали полюбившиеся нам стихи, а Галина ревниво спрашивала о каждом новом писателе, имя которого впервые слышала: «Он хороший? Она хорошая?»

Какой же была сама Галина Николаева?

Не просто разобраться в том сложном сплетении человеческих и писательских качеств, какое представляла из себя Галина Николаева.

Сама она писала о себе самокритично: «Я ведь тоже со всячинкой, порой крутенько поперчена...» А в одном из ранних своих стихотворений говорила:

Мы знали все. Мы пили полной чашей.

Мы люди дальних каменных дорог.
Чем круче склон, тем сердцу веселее!
Пусть говорят: путь труден и далек.
Я улыбнусь: мы все преодолеем!

Для того, чтобы оценить подвиг «преодоления», совершенный Галиной Николаевой, достаточно вспомнить, что многие годы тяжелый сердечный недуг подтачивал ее жизнь. А она работала, писала «Жатву», «Битву в пути», такую отмеченную ярким талантом книгу, как «Рассказы бабки Василисы про чудеса», начала роман о физиках. А писать — это значило для Г. Николаевой погружаться в гущу жизни, больной совершать поездки на целину, по колхозам и заводам, вникать в сущность общественных процессов, познавать человеческие характеры, ощущать пульс жизни страны.

Одержимость, с какой могла работать Галина, мы хорошо узнали, когда она «моталась», по ее собственному выражению, по колхозам Кубани, Московской, Свердловской и других областей. Когда роман «Жатва» уже пошел в печать, она

за три недели переписала заново последнюю его часть (треть романа). Часами лежала она в кровати, полузакрыв глаза, обдумывая «ходы» и детали, а потом садилась и до трех часов ночи писала... И снова переделывала, и снова писала...

Работала она иступленно.

Не горячка я, напротив.
Горьким словом не клейми,
По заботе, по работе
Молчаливую пойми.

В своем раннем стихотворении «Разговор с читателями» (1944) Галина Николаева так сформулировала для себя нравственную «сверхзадачу»:

Что же самое важное?
Цель поставить высокую,
Волю иметь железную,
Верить — все поборю.

Быть в сраженьи отважною.
К чести быть очень строгою.
Это самое важное.
Правильно я говорю?

«Быть в сраженьи отважною...» — это Галина Николаева умела.

Нелицеприятная, решительная, она умела сказать правдивое критическое слово и в адрес маститых литераторов, когда молчали другие, и обрушить свое негодование против нерадивых руководителей, ставших на путь очковтирательства.

Фальши, мещанского снобизма, приспособленчества и равнодушия Г. Николаева не выносила органически. Даже тяжелая болезнь не притупляла ее принципиальной непримиримости. Отсюда и ее повышенная душевная ранимость.

Она бывала доверчивой и нежной, внимательной и заботливой, но бывала и колючей, нетерпимой.

Эти качества своего чисто женского характера она придала и своим героиням: и Авдотье с ее душевной тягой ко всему прекрасному; и озорной разноглазой Фроське, покоренной перспективами, которые ей открыла жизнь; и безоглядной в своем чувстве к Бахиреву, но целеустремленной в своем труде Тине; и мужественной в борьбе с благодушием и равнодушием Насте Ковшовой. Но особенно дорога и близка ей была бабка Василиса с ее милой душой, такой русской «в ее самоотверженной доброте и жестокой правдивости...».

Прожив почти два месяца в Москве, Г. Николаева вернулась в Нальчик. «Очень хочется писать, — сообщала она. — Кончаю писать статью в «Медицинский работник» о Елизавете Васильевне, о той женщине, про которую Вы обязательно велели написать. Видите, я Вас слушаюсь даже заочно!..»

Уже из Сагурамо, куда Г. Николаева уехала по путевке грузинских писателей, она писала:

«...у меня есть чувство вины перед Вами, Вы были таким действенным, хорошим другом, а я, с моим невозможным характером, иногда была резкой, несмотря на все мое чувство к Вам... и если вообще я отношусь наплевательски к тому, что обо мне думают, то по отношению к Вам это совсем не так. Отсутствие Ваших писем меня прямо угнетало. И я с таким облегчением вздохнула, когда получила Ваше письмо...»

У меня впечатления садятся где-то очень глубоко, очень резко, в каком-то слишком ярком и оттого неясном свете и только со временем выплывают на поверхность в настоящей своей окраске.

Так было с военными впечатлениями, и о войне я стала писать через год после пережитого...»

22 сентября 1945 года мне и С. Д. Разумовской — своему постоянному редактору в «Знамени» — Г. Николаева сообщила о высылке ею рассказа «Гибель командарма». Этим рассказом она дебютировала уже в качестве прозаика, и прозаика отменного.

Я бережно храню письмо Эм. Казакевича, написанное спустя два года и подаренное мне Галиной. Вот текст этого письма, датированного 13 августа 1947 года:

«Уважаемая Галина Евгеньевна! К стыду своему, я только после нашего кратковременного знакомства прочитал Ваш рассказ «Смерть командарма»... И должен Вам сказать, что я был тронут и очарован этим чудесным рассказом.

Это действительно превосходная вещь. Незабываема та река, и тот тонущий пароход, и тот мальчик с винтовкой, и та женщина, все понявшая и все почувствовавшая. И прекрасен автор, стоящий за всем этим, — автор строгий и чувствительный, почти плачущий и уверенно-спокойный.

Не знаю, что Вам дал рассказ при его появлении на свет. Но я знаю, что этот рассказ останется одним из самых волнующих отражений недавно минувшего великого времени. И я Вам предсказываю: что бы Вы ни написали еще — а я надеюсь, что Вы много еще хорошего напишете, — эта маленькая «Смерть» останется в той большой литературе, в которую не влезут иные большие книги, ныне прославляемые повсеместно.

...Знайте, что я буду с живейшим интересом и беспрестанным вниманием следить за Вашей работой, которая так восхитила меня.

Я кончаю роман о последних неделях войны.

С уважением Эм. Казакевич».

Письмо это — дань новому таланту — примечательно и для самого Казакевича. Автор «Звезды» ощутил не только уважение к таланту Г. Николаевой, но и творческую близость. Их герои принадлежали к одному поколению советской молодежи, жизнь которой, как и у их создателей, была окрашена революционной романтикой, любовью к Родине и жадной героической.

Для героини этого рассказа источником сил в самые трудные минуты, когда она призывала на помощь мысли о муже, было счастливое довоенное прошлое.

«Муж был красивый, смуглый, веселый... Он был инженер и прораб... мог дышать только в атмосфере стройки... Кроме того, он был ругатель и плут... Совсем разные люди, они были необходимы друг другу, как воздух».

Так было в рассказе, но сложнее в жизни.

23 мая 1946 года Галина писала: «Ко мне приехал муж уже около двух месяцев, и вся моя жизнь перекувырнулась. Я занимаюсь домашним хозяйством, а в тех условиях, в каких я сейчас живу, это очень трудно».

Галина жаловалась: от мужа «очень сильно отвыкла и не сразу привыкаю. А он от меня совсем не отвык. Он простак, страшно жизнерадостный, говорит громовым голосом, любит соленую шутку и чудный муж по заботливости — он мне дома все делает, даже пол бы мыл, если бы я дала. До войны, когда жилось легко и у меня самой был такой же веселый характер, мы очень подходили друг к другу. Теперь я другая, и мне странно, что он тот же. Но живем мы очень дружно. Мои литературные успехи его огорчают, а тем, что я хвораю, он очень доволен. Он любит, когда у меня глупый и беспомощный вид, — тогда он счастлив. Когда я «вумная» и самостоятельная, он не в своей тарелке и смотрит на меня тревожно. Вообще он милый на редкость, хотя я все еще не до конца к нему опять привыкаю».

Новое письмо пришло уже из Одессы, где Николаева собиралась обосноваться вместе с мужем. По договору с одесским театром она приступила там к работе над пьесой. Но весь накопленный материал был уже исчерпан в «Лирике», в книжечке стихов «Сквозь огонь» и рассказе «Гибель командарма». Литература — дело строгое и требовательное, оно требует полной отдачи. Здесь на скорую руку не сработает. За новым материалом надо было «охотиться». А жизнь «безумно трудна»... Медицинская работа оставлена, и никакой материальной базы по существу нет. А тут окружение из молодых поэтов и артистов с их внешне беззаботной жизнью. Что-то напишет она теперь? В каком направлении пойдет ее дальнейшая творческая работа?

Никогда никому ни словом не обмолвилась Галина о своих трудностях, не попросила помощи. Гордость ли, ущемленное ли самолюбие — пьеса не поставлена, новые рассказы не даются, но она ничего не писала о своих жизненных и творческих неудачах.

Так прошло почти два года.

Снова появилась Галина Николаева в нашем доме в начале лета 1947 года, загоревшая, с ходу начала рассказывать об одесских поэтах, как бы камуфлируя свою душевную сумятицу. Нетрудно было понять, что она внутренне смущена творческим «простоем» в течение целых двух лет.

В ту пору я работала в журнале в отделе очерка.

— Где вы собираетесь жить? — спросила я.

— Переезжаем в Горький.

— Поезжайте в тамошние колхозы, присмотритесь к их жизни. Пойдите на Горьковский автозавод, познакомьтесь с передовыми людьми. Накопите материал. Напишите о них. Напишите серию очерков. Мы их напечатает.

Галина уехала в Горький. Предстояло пройти через суровый послевоенный быт в городе, в котором прошла ее молодость. А тут болезнь и смятение: личная жизнь не налаживается. И неужели она не оправдала надежд, возложенных на нее Тихоновым, Вишневым и другими ее литературными друзьями? Уже не один рассказ вернулся к ней из редакции обратно. Очерки? А как они пишутся, эти очерки?

Осенью 1947 года в Ялту, где я отдыхала, из дому мне переслали письмо Галины:

«Посылаю Вам один из моих очерков... На мой взгляд, просто исключительно интересный по материалу... Пользуясь Вашей добротой, прошу прочесть и ответить, чего он стоит, на Ваш взгляд, как написан и нельзя ли превратить его в максимальное количество денег, которые позарез нужны».

Но тут же, в приписке, проступает неуверенность в завтрашнем дне: «Я, наверно, скоро вернусь к своей медицине».

26 сентября снова письмо: «Привет из Вашего дома! Я уже три ночи ночевала у Вас. Завтра уеду».

Присланный очерк, на мой взгляд, «стоил» многого. И, как показали события, он действительно сыграл поворотную роль в писательской судьбе Галины Николаевой. Это был очерк «Колхоз «Трактор». Да, его не зорно было напечатать в центральном «толстом» журнале. В нем ощущалось и глубокое проникновение в суровую послевоенную жизнь колхоза, затерянного в северных лесах, о которых некогда писал Мельников-Печерский, и поэтическое изображение этой жизни. Галина Николаева нашла на золотую жилу, из которой затем черпала интересный материал для своего творчества. В глухомани, где некогда стояли раскольничьи скиты, она нашла прекрасных людей, раскованных новым укладом советской жизни.

«Я сейчас еду в район, в колхоз, о котором я сделала очерк, — пишет она 7 ноября, — ...о котором пишу большую монографию по заказу Министерства с. х. ...»

«...У меня к Вам просьба... Можно ли заключить договор и получить деньги? Я посылаю лист бумаги с моей подписью, если Вас не затруднит, если это вообще можно, то мне это было бы нужно очень...»

Он лежит передо мною, чистый листок с подписью «Г. Волянская (Николаева)», так и не использованный.

Вместе с редактором отдела очерка Георгием Сергеевичем Березко мы горячо рекомендовали «Колхоз «Трактор» редколлегии журнала. Но, к нашему удивлению, очерк, не вызвав особого восхищения, прошел по членам редколлегии и застрял у Вс. Вишневого.

Дважды на редколлегии поднимался вопрос об очерке, но то первый номер был уже «укомплектован», то второй — тематический — посвящен тридцатилетию

Советской Армии... Наконец, при обсуждении плана третьего номера опять встал вопрос об очерке Г. Николаевой.

— Так почему же его не печатают? Где он? — спросил Н. С. Тихонов.

Вишневецкий, пригнув голову к столу, буркнул:

— Он у меня.

На следующий день он вернул уже ранее подготовленный нами к печати очерк с резолюцией: «В № 3». Наконец можно было телеграфировать Галине, что очерк пойдет. Что это значило для нее, видно из письма, адресованного «всем, всем, всем» с поименным перечислением причастных и не причастных к публикации очерка людей:

«Дорогие друзья! Кого мне обнимать и целовать? Наверно, всех сразу. Я бы вас сейчас просто задушила от радости. Так неожиданно и притом в день моего рождения, как по заказу...

Я проклинаю свой характер. Я решила, что вы его забраковали, как и очерк о Куратове, и очень сердилась на себя (конечно, не на вас) за то, что не умею разобратся в том, как пишу, и не умею сносно написать о том, что мне очень, очень дорого... Я еще не раз была в «Тракторе», очень сжилась с колхозом. Сейчас много работаю над не то романом, не то повестью и попутно не то поэмой, не то циклом абсолютно лирических стихов о колхозной гидростанции.

Что получится — черт меня знает, всего можно ожидать, можно ожидать и отчаянно плохой вещи. Пока, конечно, я в восторге от написанного, так как оно еще только-только из меня выскочило.

Факт тот, что я теперь отнюдь ничего не высасываю из пальца. Материала чудесного, удивительного уйма. И факт также то, что нигде я не чувствую себя так хорошо, как в этих северных колхозах. Весь склад людей и жизни мне близок и мил. Надеюсь, если у меня хватит характера посидеть в колхозах «Трактор», «Тошта» и других еще три-четыре месяца... я напишу что-то очень взволнованное и влюбленное...»

Это были первые подступы к роману «Жатва».

«Колхоз «Трактор» вызвал неожиданно громкий резонанс. Газета «Правда» в трех номерах перепечатала очерк полностью (31 марта, 1 и 2 апреля 1948 года).

Галина могла вздохнуть полной грудью. Работа не только не пропала даром, но и упрочила ее общественное и писательское положение: «Литературная газета» назначила Г. Николаеву своим специальным корреспондентом по Горьковской области. Но произошло и другое. Знакомство с колхозной действительностью с новой силой пробудило в Галине Николаевой те гражданские чувства, которыми была отмечена ее лирика.

Приезды Николаевой в Москву участились, а значит, и наше общение с ней. Опыт политотдельской и райкомовской работы моего мужа, мое участие в работе шефских организаций и создании первых колхозов в Московской области, журналистская работа сына в отделе внутренней жизни «Литературной газеты» — из всего умела Галина извлечь «крупницы», которые интересовали ее. Но главное было, конечно, в ее поездках по колхозам Горьковской области, а затем по Кубани — и в трудные послевоенные 1947—1948 годы, и позднее.

В этих поездках рождался первый вариант романа «Жатва» — «В лесу». 8 октября 1948 года Николаева писала:

«Посылаю рукопись романа. Он еще сделан вчерне, но я очень твердо верю в то, что я его сделаю, что вещь будет нужная, «работающая». И я его люблю.

Я посылаю одновременно личные письма Тихонову и Вишневецкому с просьбой прочесть. Это мне важно для того, чтобы дорабатывать, зная суждение людей, которым я во многом очень верю...

Я жила все лето в Урене. Ездил и писала как окаянная. Было очень хорошо».

В письме от 15 октября снова она сообщает:

«Послала роман, то есть, вернее, черновой его вариант. В нем многое надо доделать и изменить, но я в нем уверена. Толк с него будет...»

...пожалуйста, сделайте, чтобы Вишневский и Тихонов и прочие скорее прочли его, по возможности. Приеду, привезу еще три экземпляра и все пущу по рукам. Всех выслушаю, никого не послушаюсь и сяду доделывать. Еще один-два месяца, и кончу».

«Всех выслушаю, никого не послушаюсь» — это тоже была Галина.

«Б перекидку» мы прочитали роман всей семьей. Радость наша была велика. При всех несомненных огрехах (а их было немало), Галина Николаева утверждала себя этим романом как прозаик. Ее свежий, яркий, поэтический голос, умение увидеть и извлечь на поверхность новые явления жизни, обаятельный, чисто русский образ советской крестьянской женщины Авдотьи-«Ващурки», которую радовал каждый луч солнца, — всего этого не могли перекрыть незадачливость городской линии в романе, неслаженность отдельных сюжетных узлов и налет бытовизма, который явно ощущался в описании северной деревни.

Прочитав роман, я передала его на суд Вишневского.

Доброжелательный, но взыскательный редактор, Вс. Вишневский, отметив «глаз, талант автора», способность к типизации явлений жизни, но упрекал ее в том, что она «не туда идет, не то видит, не то пишет!..». «Главное, — писал он, — это высокая мораль народа, разум, выдержка, трудовое упорство — вот что отличало народ России и привело к победе и новому подъему страны... Роман о крестьянах должен передать труд крестьян, колхозников. Задача эта важна. Брался за тему крестьянства Бальзак... Многие иностранные и русские авторы давали труд, тяжелый, рабский... А вот показать труд колхозников! Как это важно и нужно!..»

Заканчивалось его письмо в редакцию так:

«Ничего автору «навязывать» нельзя... Пусть Галина Николаева прежде всего хорошо обдумает данный отзыв. Пусть внутренне решит: как она может поступить дальше.

Есть ли возможность дальнейшей работы? Безусловно!»

С автором заключили договор, авансировали роман и командировали Галину Николаеву в уральский колхоз «Красный Октябрь», которым руководил один из умнейших вожakov колхозного строительства дважды Герой Социалистического Труда и депутат Верховного Совета СССР Петр Алексеевич Прозоров. У этого человека, умудренного опытом жизни, Галина многому научилась. Их связала крепкая, многолетняя дружба.

Работа над романом продолжалась... 17 ноября 1948 года Николаева сообщила: «Мне очень работается это время. Наметила ряд новых сцен. Наново переосмысливаю образ секретаря райкома... С романом мне так хорошо работается, что если так будет и дальше, то доделаю и переделаю его совсем скоро, в два-три месяца».

При той яростной одержимости, с какой умела работать Галина Николаева, она могла назначать столь короткие сроки, но реальная обстановка и жизнь удлиняли их, заставляли писательницу отвлекаться на очерки для «Литературной газеты» и для газеты «Правда», которая привлекла автора очерка «Колхоз «Трактор» в свой писательский актив.

Столкнувшись с реальной действительностью в колхозах Горьковской области в трудные 1947—1948 годы, Николаева увидела там не только «розового коня» и яркую гамму красок осеннего плодородия в овощехранилище колхоза «Трактор», услышала не только песни девушек. Она увидела многое такое, о чем не так-то легко и просто было написать «правдивыми горячими словами».

В одной из бесед она рассказала нам о трудном положении колхозов Горьковской области. Что делать?

— А если пойти к редактору газеты «Правда»?

— Но я не знаю его.

— Но зато он знает вас.

Вернулась она под вечер, часов в семь, возбужденная, усталая, но довольная.

Уехав из Москвы, она снова писала:

«У меня какое-то двойное восприятие людей: одно — обычное, житейское, другое — часто независимое от первого, невольное и подсознательное — писатель-

ское. И часто со мной случается так, пока я непосредственно рядом с людьми, я воспринимаю их обычно, как все, а немного погодя, стоит мне отойти от них, они выплывают в сознании совершенно по-новому, и детали, которых я, казалось бы, не заметила, вдруг ярко выплывают в сознании, и тогда образ человека вскрывается неожиданно для меня глубже и острее, чем я сама думала».

В начале января 1949 года, заканчивая работу над романом, Галина радостно сообщает о переменах, наметившихся в жизни колхозов той области, с которой она была связана творческими узами.

«Недавно в областной газете было опубликовано правительственное постановление о мерах помощи колхозам Горьковской области. Для меня это большая личная радость. Удивительно и чудесно видеть, как те чаяния и надежды, которые три-четыре месяца назад я слышала от колхозников, осуществлены так полно, широко и конкретно. Помните мой разговор с Поспеловым и его записи? Почти все, о чем он спрашивал и записывал, вошло в постановление. И многое вошло сверх этого. Помощь шире, конкретнее, продуманнее, чем можно было ждать. И снятие, и отсрочки недоимок, и помощь скотом и машинами, и т. п. В какой стране еще возможно подобное?»

Эта «личная радость» имела существенное значение для Николаевой, писавшей роман о колхозной деревне на материале Горьковской области. Не только придирчивые редакторы, сама жизнь вносила коррективы в роман.

Серьезно и прочно (как все, что она делала) Галина Николаева вникает в проблемы колхозной деревни. В очерках «Черты будущего», «В школе колхозных вожаков», «Пьявицы» из Горьковского сельэлектро» и других она смело ставит животрепещущие вопросы соблюдения внутриколхозной демократии и организационно-хозяйственного руководства колхозами.

Помню, какого шума наделало появление в «Литературной газете» статьи Г. Николаевой «Пьявицы» из Горьковского сельэлектро». «Да как она посмела?» — раздавались иные голоса. А она посмела. Посмела разоблачить разного рода очковтирателей. В очерке «Временщики» на посту председателя колхоза» она вскрывала серьезные недостатки в подборе руководителей колхозов. Тема подлинной демократии в руководстве коллективным хозяйством продолжала волновать ее до самой смерти.

Я не очень исправный корреспондент, и Галина в шутку угрожала мне: «Имейте в виду, что я Вам пишу как «официальному лицу», и если не получу своевременного и полного ответа, то подниму вопрос о, «нечутком отношении» и «неумении работать с молодыми авторами»! Да! Эх, то ли дело Толенька (Ан. Тарасенков. — Ц. Д.). Ей-богу, вы, все вместе взятые, просто-таки не стоите его пальчика. Я, конечно, шучу, но доля правды есть. Чуткость и отзывчивость Толи к «подающим надежды» исключительна, это черта по-настоящему «большого» человека. Письмо его ко мне подробное, горячее, прямое, с умением и обрадовать от души и обругать напрямик, с быстротой отклика — великолепно!»

Галина была права: «лично» и «срочно» Ан. Тарасенкова вошли в быт редакции как непрременный элемент общения с авторами. Никогда рукопись, заслуживающая того, не оставалась без точного и исчерпывающего ответа Анатолия Кузьмича.

Как и все мы, он тоже обрадовался роману Г. Николаевой, послал ей письмо, заключив его возгласом: «Молодец! Молодец! Молодец!»

В романе уже не оставалось главы, которая, по собственному утверждению Николаевой, не была бы переработана. Но основные линии еще не были додуманы, не был протянута скрепленный стержневой идеей сюжет.

«Январь поезжу, в феврале сяду писать, в марте думаю кончить», — писала она в очередном письме. Но реальная действительность и новые процессы, происходившие в деревне, неизбежно удлинляли сроки работы.

Правда, в апреле 1949 года Николаева ознакомила уже новую редколлегия со вторым вариантом своего романа, названного «На крутом перевале», выросшего с 312 до 450 страниц. Обсуждение этого варианта в редакции происходило

в большой комнате главного редактора, за столом которого сидела Николаева в сдвинутой набок шляпе, с вызовом, но внимательно вслушиваясь в выступления товарищей, самые доброжелательные, но все же требовательные. После обсуждения романа в редакции Николаева снова отправилась в поездку по колхозам, теперь уже на Кубань, в колхозы Краснодарского края.

«...Я объездила пол-Кубани,— писала она мне в июле — августе 1949 года. — Многие дни жила в машине. Интересно, масштабно, хорошо, довольна поездкой и очень благодарна за нее Кожевникову. Передайте ему от моего имени спасибо за поездку. Не знаю, будет ли толк для романа, удастся ли, но для себя я очень довольна...

Очень просветлело на душе. Очень. Но надо сказать, что попутно я убедилась в полной типичности тех процессов, которые я описываю в романе, и в том, что процессы эти могут быть более или менее ярко выражены, протекать короче или длительнее, ярче или бледнее, но они типичны.

Вывод — коренная перестройка романа не нужна. Нужна просветленность, и все. Эта душевная просветленность у меня есть сполна, не знаю, сумею ли я ее реализовать, но думаю, как-то она должна реализоваться».

Не сразу, но исподволь Николаева пришла к пониманию того, что в теме партийного руководства подъемом сельского хозяйства «гвоздь» романа: «...так говорит жизнь, а у меня об этом ни полслова. Уже введением этой темы роман как-то организуется, получается стержень, хотя на эту тему и не очень напираю. Мало ее знаю, и все же она дает многое».

Она радуется тому, что «нашла чудесного секретаря райкома... Прелесть. Я его видела всего три дня, знаю мало, но есть хоть одна живая, отправная точка — тоже какая-то крупница для романа...». Ведь если удастся найти образ настоящего секретаря райкома, пишет она, «не страшны никакие самые страшные описания трудностей». Секретарю райкома она постарается придать черты нового своего знакомца, который «много и с увлечением рассказал мне, как начинал подъем района именно с подъема парторганизации и как это было ему трудно».

Социальный поиск стержня романа продолжается почти три года.

И если основная тема романа «Жатва» — как ее определяла для себя писательница: «борьба с пережитками в сознании людей» — первоначально сводилась к преодолению частнособственнических инстинктов у колхозников Первомайского колхоза, то в окончательном варианте тема эта получила обобщающее социальное звучание, преломилась через характеры героев. Две противоборствующие жизненные философии органично выражены во многих образах «Жатвы». Готовя роман к изданию отдельной книгой, Г. Николаева донесла ряд сцен, характеризующих новые качества Василия Бортникова, его духовное и политическое самосознание. В конце романа он предстает как человек, стоящий на пороге своих новых возможностей.

Вся третья часть романа — линия МТС и главы, связанные с ней, написаны уже в процессе подготовки к печати этой третьей части, после поездки писательницы в колхозы Загорского района Московской области, где она изучала процесс укрупнения колхозов, процесс, подсказанный самой жизнью и широко освещавшийся тогда в газетах. В то время он не нашел еще отражения в художественной литературе, и в этом плане «Жатва» была первым романом, где этот процесс исследовался.

В основе творческой работы Г. Николаевой лежал огромный труд постижения нового жизненного материала.

«Ведь вопрос не только в овладении мастерством в первой большой вещи моей,— писала уже в 1949 году Г. Николаева,— но и в какой-то перестройке всей психики. Ведь до «Трактора» я и деревни-то не видела с детства, и заново зажить ее жизнью, впитать ее в себя и воплотить все это в «рекордные» сроки...»

И так было не только с романом «Жатва», но и с «Битвой в пути», и с романом о физиках.

Более года, будучи тяжелобольной, она занимается напряженной работой, готовя себя к встречам и беседам с физиками. Конспектируя изученный мате-

риал, она пытается по-своему осмыслить парадоксы физики. А материал этот — от популярных брошюр и биографических документов до учебников по физике для высшей школы и оригинальных монографий по современным проблемам физики. Она встречалась с академиками Л. А. Арцимовичем, не только большим ученым, но и весьма интересным и острым на язык человеком, с Д. И. Блохинцевым, В. И. Векслером, Б. М. Понтекорво и с молодыми учеными.

Уже вполне подготовленной входит она в Институт атомной энергии имени Курчатова, осматривает термоядерную установку «Огра», присутствует на экспериментах, проводимых на грандиозных ускорителях в лабораториях Объединенного института ядерных исследований. Ученых поражала осведомленность Галины Евгеньевны в серьезных и сложных дискуссиях по философским проблемам квантовой механики.

Возвращаясь из Дубны, Галина с большим увлечением рассказывала о своих новых друзьях.

Но даже обращаясь к теме современной физики, к жизни советских ученых, Г. Николаева не упускала из виду и другой стороны нашей жизни — проблем колхозной деревни. «Эти, казалось бы, несовместимые в романе вещи, — говорила она, — в моей душе необходимо и органично сливаются. Я не могу психологически оторваться от русской деревни...» Свою любовь к деревне, к земле Г. Николаева пронесла через всю свою недолгую жизнь. И в своем герое Василии Бортникове по существу она ценила главным образом любовь к колхозной земле за ее ширь, простор и красоту, за то, что «вся его жизнь входила в нее корнями... несмотря на то, что земля была скупая, «неродимая», Василий любил ее, как любит жених несговорчивую невесту за самое упорство ее характера». Глубокими корнями срослось и творчество Николаевой с русской деревней, с колхозной действительностью, с русской землей.

Творческая работа после успеха «Жатвы» все больше захватывала Галину, вовлекая ее в атмосферу кино и театра. «Жить в полжизни» она не могла и не хотела. А здоровье все ухудшалось и ухудшалось.

Соприкоснувшись с незначкомым ей ранее миром кино и театра, Галина и здесь проявила себя не новичком, а художником, твердо знающим, чего она хочет, и непримиримо отстаивающим свои творческие идейные и эстетические принципы.

Наши встречи становились более редкими. И все же на читку первых глав нового романа «Битва в пути» вместе с А. Н. Макаровым, А. К. Тарасенковым и другими была приглашена и я.

— Почему не придете навестить меня? — иной раз звонила она.

А я, не представляя себе всей серьезности ее болезни, отшучивалась:

— Нянчу внука...

В феврале 1961 года мы отметили пятидесятилетие Г. Николаевой, не ведая, как скоро она от нас уйдет.

Давно миновали времена, когда молодая поэтесса Николаева признавалась:

Надо мной слова смеются,
Словно ртуть, когда прольешь.
Разольются, разбегутся,
И никак не соберешь.

Только предельной скромностью можно объяснить ее запись в «Нашем саду»: «Я не талантлива. Я только способна...»

Страстно влюбленная в природу, тонко чувствующая все ее «переливы», в предвидении весны, в марте 1961 года Галина Николаева начала вести запись «событий» в саду. Поначалу это были чисто календарные заметки о новых посадках, агротехнические советы, скупые наблюдения над весенним пробуждением природы. Но уже к концу 1961 года и особенно в 1962 году писательница все снова и снова возвращается к своему «календарю».

«Наш сад» готовила к печати я уже после смерти писательницы. Приходилось сталкиваться с двумя-тремя вариантами записей, относящихся к одному

и тому же дню: первоначально зафиксированное в короткой заметке затем дополнялось, литература обогащалась, углублялось.

Наблюдения над вечным и каждый раз по-новому увиденным пробуждением природы, над неповторимыми красками весны, лета, осени, зимы, над совершенными формами, рождаемыми природой, — все это приводило писательницу к раздумьям о красоте жизни, о красоте людей.

Работа Галины над «Нашим садом» шла параллельно с «Рассказами бабки Василисы про чудеса». Стремясь создать подлинно народный характер бабки Василисы, Николаева особенно упорно работала над словом, исписывая тетради народными поговорками, фольклорными речениями, определениями, метафорами, синонимами.

Напряженный труд над языком виден и в записях «Нашего сада». Они были для писательницы своего рода этюдами, эскизами в самом высоком смысле этого слова, перерастая порой в законченные новеллы. В описания природы органически вплетаются мысли об искусстве, мысли о добре и зле, стихи...

Жизнь щедро оделила Галину Николаеву. Талант позволил ей испытать всю радость и все муки творчества. Она узнала «счастье большого признания и широкой известности». Жадность ко всему живому, удивительная способность проникать в тайны природы и находить тончайшие нюансы в ее окраске, удивительная «созвучность времени» — все это сохранилось у писательницы Николаевой до конца ее жизни.

Всю свою творческую жизнь она стремилась к тому, чтобы в своей прозе добиться того «дрожания сердца», которое есть в музыке, в стихах. «Или у прозы задачи другие?» — задумывалась она, тут же опровергая себя ссылкой на творчество других советских прозаиков, находя это «дрожание сердца» в лучших страницах М. Шолохова, А. Фадеева, К. Паустовского, у С. Антонова.

Этим «дрожанием сердца» отличаются стихи Г. Николаевой, к которым она снова обратилась в последние годы своей жизни. В них наиболее полно выражается поэтическое «верую» и творческий темперамент Галины Николаевой.

Когда стихи становятся
стихами?
Когда они прострелены,
как знамя.
Когда в них ритмы ленинского
шага.
Когда в них смелость, правда
и отвага.
Когда звучит в них:
«Третья готовность!»
Когда сквозь них
гудит и рвется «завтра».
Когда для строф и строчек
поголовно
Нужна отвага первых космонавтов.

Этой отвагой обладала Галина Николаева. Эта отвага живет в ее творчестве и в памяти о ней.



НА ЗАРУБЕЖНЫЕ ТЕМЫ

МЭЛОР СТУРУА

★

ОГНИ АЛЬКАТРАЗА

— **Ж**уда? На Алькатраз? А на Луну вы, случайно, не хотите? Кассир вылез буквально по пояс из своей будки и уставился на меня полу-возмущенным-полуиздевательским взглядом.

— Я хорошо заплачу.

— Хорошо заплатите? За что? За страховку судна? За лечение экипажа? Быть может, вы и судебные издержки возьмете на себя? Послушайте, мистер, на кой черт вам сдался этот кусок скалы? Хотите — прокатим вас под «Золотыми воротами» и оклендским Бэй-брнджем, хотите — заглянем на Остров сокровищ или Остров ангелов? Можно сгонять и на военную базу Президио. Но Алькатраз...

«Золотые ворота» и Остров сокровищ звучали заманчиво. Гипнотизировало Президио.

— Ну что ж, если «Бэй круиз» бессильна, придется обратиться за помощью к «Голд коуст круиз», — с наигранным равнодушием заметил я, пытаюсь сыграть на знаменитых «волчьих законах конкуренции».

Но мой собеседник бровью не повел. Он втянул обратно свое туловище в раковину будки и, видимо, окончательно списав меня со счетов, процедил:

— Валяйте.

Зазывала «Голд коуст круиз», к которому я обратился, не стал иронизировать по поводу полета на Луну, хотя и воззрился на меня как на свалившегося с Луны.

— Страховая компания «Хэртфорд» объявила, что аннулирует все полисы у тех, кто осмелится лазить на Скалу¹. Понятно?

— Понятно, — отозвался я. — Но как же быть?

— А вы полюбуйтесь на Скалу в телескоп. Все удовольствие десять центов.

Выкрашенные в серебристый цвет телескопы выстроились, словно бутафорские пушки, вдоль каменной балюстрады, отгораживающей от океана знаменитый Фишермэнс воф (Рыбачий причал) Сан-Франциско. «Взгляните на Алькатраз — федеральную тюрьму — сквозь мощный телескоп», — предлагали металлические дощечки, аккуратно прибитые к туловищам гигантских окуляров.

Десять лет назад во время первого посещения «Багдада на заливе», как величают Сан-Франциско туристические проспекты, я смотрел на Алькатраз сквозь точно такие же телескопы, но только не с Фишермэнс воф, а с Телеграфного холма, украшенного безобразной мемориальной вышкой «Койт-тауэр» и еще более безобразным памятником Христофору Колумбу. Тогда на Алькатразе и впрямь была федеральная тюрьма — самая суровая, для самых отпетых. За ее решетками пребывала почти вся галерея гангстеров во главе с грозой Чикаго Аль-Капоне и шефом «Корпорации убийств» Луи Лепке по прозвищу Бухгалтер (он и был бухгалтером смерти — его «корпорация» отправляла на тот свет людей по заказу и за соответствующую мзду). Здесь коротали свой век Роберт Стаут, убийца, ставший за годы пребывания на Алькатразе выдаю-

¹ Скала — прозвище Алькатраза.

щимся орнитологом, и Джордж Барнс, он же Пулемет Келли, впервые окрестивший директора ФБР Гувера «джимэном»¹, то есть «человеком правительства».

Статистика повествует, что за двадцать девять лет существования тюрьмы на Алькатразе с нее было предпринято всего четырнадцать побегов, в которых участвовали тридцать девять узников. Двадцать шесть из них были схвачены стражей, семь убиты, а остальные шесть утонули, не справившись со стремительным течением, бьющим по Алькатразу из-под «Золотых ворот». Тюрьма охранялась ничуть не хуже, чем Форт-Нокс, где покоятся золотые запасы Америки. Тем не менее в 1963 году ее прикрыли. По финансовым соображениям. Федеральные власти в лице покойного Роберта Кеннеди, бывшего тогда министром юстиции, подсчитали, что содержание одного преступника на Алькатразе обходилось в год дороже, чем пятилетнее обучение студента в Гарварде — самом привилегированном университете Соединенных Штатов. Получалось, что гангстеры продолжали грабить страну, даже находясь за семью тюремными замками.

Закрыв островную каталажку и раскассировав ее обитателей по менее прожорливым тюрьмам, правительство решило пустить Скалу с молотка, чтобы возместить хотя бы часть понесенных им убытков. Алькатраз был предложен штату Калифорния. Но самый богатый штат Америки не пожелал приобщить к своим обширным владениям двенадцать акров развалин, не имевших притягательного стажа Колизея. Тогда совет попечителей острова, созданный для упорядочения его будущего, передал Алькатраз в порядке эксперимента в аренду «самому богатому американцу» — техасскому миллиардеру Ханту. Мистер Хант вознамерился установить на острове Статую свободы. Восточное побережье Америки имеет ее. А чем западное побережье хуже восточного? — «обосновывал» свой каприз мистер Хант. По его замыслам западная Статуя свободы должна была превзойти своими размерами восточную. У подножия будущей статуи Хант повелел открыть игорный дом, разумеется, также самый большой в Америке. Но мистер Хант явно перебрал. Его техасская бесцеремонность шокировала калифорнийцев. Затем последовали неприятные запросы в Конгресс. Запахло скандалом и разоблачениями, и совет попечителей неприкаянного острова счел за благо поспешно отказать от своего эксперимента.

Спор о будущем Алькатраза затягивался. Остров пустовал, если не считать нескольких сторожей, оставленных при тюрьме как бы по инерции, наподобие солдат, которых забыли снять с караула в Помпее, когда раздразили Везувий...

Но была среди соискателей Скалы еще одна группа людей, о намерениях которой федеральные власти даже не подозревали. Люди эти не носили громких титулов самых богатых американцев. Зато они были самыми древними, потомственными американцами — индейцами. Вступили они на Алькатраз, как вступают в законное наследство.

Однажды ночью — дело происходило в ноябре 1969 года — к островку пристали индейские пироги и китайские джонки, и отряд краснокожих, предводительствуемый Ричардом Оксом из племени мохауков, двадцатипятилетним студентом «Стейт колледжа» в Сан-Франциско, поднялся на берег.

Колонисты первым делом сорвали щит, на котором было написано: «Вход воспрещен. Собственность государства». На оборотной стороне щита они вывели красной краской новый текст: «Осторожно. Вход воспрещен. Индейская собственность».

— Вы не имеете права! Это федеральная земля! — пытался протестовать один из сторожей, Джон Харт.

— Имеем, старина, имеем, — наседали на него Ричард Окс. — Договор, заключенный в 1868 году между твоим правительством и моим народом, разрешает индейцам занимать пустующие федеральные земли.

Джон Харт, видимо, и слыхом не слыхал ни о каком договоре, но тем не менее решил не ввязываться в международно-правовой диспут. Нежданные пришельцы были настроены воинственно. Под бой тамтамов они совершили ритуальную пляску победы и, как бы подводя итог пререканиям со стражей, укрепили над тюремными воротами плакат: «Эта земля — наша земля!»

¹ «Джимэнами» гангстеры называли федеральных агентов, чтобы отличить их от полиции штатов и городов.

Харт знакомился с новыми хозяевами острова. Церемонией представления дирижировал Ричард Окс.

— Это Эмилиано — из племени апачей, — говорил он нараспев. — А это Большая Голова — навахо, Острая Стрела — мохаук, Волчий Глаз — пуэбло, Длинный Нож — ирокез, Медвежья Челюсть — сиу, Зменная Шкура — хопи, Мускусная Крыса — семинол, Порезанный Палец — альгонкин, Хитрый Волк — чернокожий, Светлая Вода — шошон, Воробьиная Лапка — юта, Острый Нос — шайен...

Было их всего восемьдесят человек. И представляли они двадцать пять различных индейских племен...

Следующий день был объявлен «днем декларации». Текст декларации, написанный на огромной медвежьей шкуре, провозглашал Алькатраз собственностью «коренных жителей Америки по праву первооткрытия». Колонисты великодушно обещали правительству выплату компенсации. Размер ее устанавливался в двадцать четыре доллара. (Именно за эту сумму в 1692 году Питер Минют купил у индейцев племени канарси остров Манхэттен, на котором сейчас высятся центр Нью-Йорка.) Колонисты обещали также сохранить в неприкосновенности жилища сторожей, учредив с этой целью специальный департамент по резервациям. Сами сторожа приравнивались к аборигенам острова. Декларация провозглашала: «Мы предоставим коренному белому населению Алькатраза часть земли в его пользование, а опеку над ней будет осуществлять индейское правительство в лице «Бюро по делам белых племен». И будет эта опека осуществляться до тех пор, пока восходит солнце, пока реки впадают в моря. Мы обеспечим аборигенам соответствующий образ жизни. Мы дадим им нашу религию, наше образование, наши обычаи, чтобы помочь им подняться до нашего уровня цивилизации, чтобы вырвать их и всех их белых братьев из состояния дикости и варварства». Декларация объявляла вне закона безработицу и провозглашала право на труд для всех сторожей, болтавшихся без дела на Алькатразе.

Трудно сказать, чего было больше в декларации — горечи или юмора? Во всяком случае, одному из сторожей, Гленну Додсону, она пришлась по душе. Он выразил готовность служить новым хозяевам и даже вспомнил, что в его жилах тоже течет индейская кровь. Зато калифорнийский сенатор Джордж Мэрфи¹, бывший киноактер и казнокрад, пришел в неописуемую ярость.

— Это безобразно, которое может создать опасный прецедент, — возмущался он. — Сначала индейцы заявляют о своих правах на Алькатраз, а затем, того глядишь, появятся кто-либо еще и предъявят претензии на всю Америку! Так дело не пойдет.

Сенатор Мэрфи явно передергивал. Претензий на Америку никто не предъявлял.

Поначалу власти отнеслись к захвату Алькатраза как к шутке, не очень уместной, не очень вежливой, но все-таки шутке. Они предложили индейцам покинуть остров и назначили соответствующую дату отбытия «первооткрывателей». И вдруг выяснилось, что индейцы не намерены шутить и тем более покидать остров.

Недавно «шутники», захватившие Алькатраз, отметили первую годовщину своего пребывания на Скале. Они устроили пресс-конференцию, на которой изложили план превращения острова в индейский культурный центр и университет под названием «Буревестник».

* * *

Вот уже более года, как над Скалой развевается знамя мужественных хозяев земли, «открытой» Колумбом. Алькатраз стал символом борьбы индейского населения Америки за свободу, человеческое достоинство и равноправие. Все это время мною владела мечта побывать на легендарном острове, познакомиться с его удивительными обитателями, раскурить с ними трубку мира и, конечно, написать о них. И вот Алькатраз передо мной, всего лишь «по ту сторону улицы», как говорят местные рыбаки. Но он по-прежнему недоступен, словно между нами весь Тихий океан, а не узкая голубая лента залива.

— Потолкайтесь среди рыбаков. Авось кто-нибудь из них рискнет и согласится взять вас на Алькатраз, — посоветовали мне.

¹ На промежуточных парламентских выборах 1970 года Мэрфи потерпел поражение.

— А где их найти?

— На причале, напротив «Ди Маджио».

«Ди Маджио» оказался таверной на Джефферсон-стрит, принадлежавшей Джо Ди Маджио, бейсбольному идолу Америки, одному из мужей киноактрисы Мэрлин Монро. От таверны тянулись в несколько рядов параллельно друг другу деревянные причалы. Они напоминали зубья гигантских граблей, запущенных в морскую лазурь. По обе стороны причалов, словно вычесанные этими граблями соломинки, болтались рыбачьи шхуны. У тружеников моря был мертвый час. Они разбрелись по окрестным тавернам — кто в «Ди Маджио», кто в «Тарантино», кто в «Кастаньолу», — пили пиво, закусывали креветками с лимоном и перченым томатным соусом, лениво перебрасывались отдельными фразами, но в основном молчали. Болтливость характерна для рыбаков-любителей, а не для профессионалов.

Я подошел к группе рыбаков, завтракавших, сидя на перилах причала. Они ели сосиски, упрятанные в гигантские караваи французского хлеба, и отхлебывали виски из горлышек бутылок, обернутых бумажными пакетами. Поздоровавшись с рыбаками и пожелав им хорошего аппетита и улова, я сразу же приступил к делу. Они слушали меня не перебивая. Затем одним рыбак, вытирая руки о брезентовую робу, сказал:

— Никто из нас не возьмется переправить вас на Алькуатраз, мистер. Во-первых, береговая охрана не пропустит, — он выразительно кивнул в сторону высившейся в двух шагах от причала штаб-квартиры приморской полиции, обрамленной ракушками белоголубых катеров. — Во-вторых, индейцы не разрешат вам подняться на остров, а нам — пришвартоваться к нему. В-третьих, подобное путешествие чревато лишением шкиперских прав и лицензии на рыбную ловлю. Так что для нас игра не стоит свеч. Кусок хлеба дороже куска скалы, мистер.

Рыбак кончил загибать пальцы-аргументы и взглянул на меня. По-видимому, на моем лице было написано такое отчаяние, что он сжалился и протянул мне виски.

— За наше общее здоровье, мистер!

Я сделал глоток и скорбно уставился на бутылку.

— Но ведь кто-то же ездит на Алькуатраз? Кто-то же возит им еду и питье? — Это были уже не вопросы, скорее — мысли вслух, вызванные ассоциативно видом рыбачьей трапезы.

— На остров ходит капитан Джим Маккормик. Индейцы зафрахтовали его шхуну...

— Где этот капитан? Где эта шхуна? — воскликнул я, перебивая говорившего.

— Шхуна болтается у причала неподалеку от таверны «Рыбачий грот». А Джими, наверное, загорает в своем кубрике.

Я стал поспешно прощаться.

— Да вы не торопитесь, мистер. «Рыбачий грот» в пяти минутах ходьбы отсюда. И Маккормик от вас не уйдет...

Но я уже бежал в сторону «Грота», спотыкаясь о небрежно пригнанные доски деревянного настила пирса.

— Название шхуны — «Прозрачная вода», мистер! Запомните — «Прозрачная вода!» — неслось мне вслед...

«Прозрачная вода» мерно покачивалась в гигантском пятне расплывшегося мазута. Я спустился по железной лестнице и прыгнул на борт шхуны. Рыбаки не ошиблись — шкипер Джим загорал в своем кубрике. Он лежал на нарах под портретом, на котором была изображена циклопических размеров женская нога, увитая фантастическими цветами.

— Капитан Джим Маккормик? — осведомился я с преувеличенным подобострастием.

— Он самый. В чем дело? — недовольно отозвался шкипер.

Я начал было излагать свою просьбу, но Маккормик тут же прервал меня:

— Без разрешения организации «Индейцы всех племен» я не имею права взять вас ни на борт шхуны, ни тем более на Алькуатраз.

— Но, быть может, в порядке исключения, — промямлил я, многозначительно вытаскивая бумажник из заднего кармана брюк.

— Никаких исключений. Видите вот этих? — Шкипер указал кивком головы в сторону двух атлетически сложенных индейцев.

Индейцы играли в карты, сидя на голубых пластиковых мешках, туго набитых бельем и одеждой. Они были в синих джинсах и такого же цвета куртках, украшенных на спине красной вышивкой — скрещенными томагавками.

Взглянув на широченные плечи индейцев, перечеркнутые крест-накрест томагавками, я понял, что вести переговоры со скиниером бесполезно. Оставив его загорать под циклопической женской ногой, я подсел к парням и, улучив минуту, когда один из них принялся тасовать колоду карт, поспешно представился и с места в карьер стал объяснять цель моего визита на борт «Прозрачной воды».

— О'кэй, о'кэй! Мы сотрудники службы безопасности острова, — сказал тот, кто тасовал карты. — Джимми прав. Попасть на Алькатраз можно только с разрешения «Индейцев всех племен». Выдадут разрешение — валяйте обратно. Но только предупреждаем: не шибко надейтесь получить его. Вход на Алькатраз посторонним строго воспрещен. Мы уходим к Скале через два часа.

Штаб-квартира «Индейцев всех племен» находилась на противоположном конце порта Сан-Франциско, у пирса № 40. Поймав такси, я бросился туда. И тут мне наконец повезло. Я понял это каким-то шестым чувством, как только вошел в обширное складское помещение без окон и увидел за единственным столом, стоявшим в углу, молоденькую девушку изумительной красоты, словно сошедшую со страниц дореволюционных изданий Фенимора Купера. На девушке были такие же джинсы и куртка, как и на «сотрудниках службы безопасности», игравших в карты на борту «Прозрачной воды». Над головой девушки висели портреты знаменитых индейских вождей прошлого: Унглхе Цута — Красной Рубаки, Хинматона Валаткита — Чифа Джо и Макфхия Лута — Красного Облака. Лица их были гордые, взгляды — надменные. Казалось, вожди с некоторым удивлением и неодобрениемзирают на девушку за столом. В их времена «скво» занимались домашним очагом, а не делами племени, тем более «всех племен».

На другой стене склада была укреплена огромная картина, выполненная масляными красками. Она изображала Алькатраз, на вершине которого стоял индейский воин. Фигуру воина неизвестный художник написал в аллегорической манере. Она напоминала Статую свободы и как бы полемизировала с ней. Вместо остроконечных клиньев нимба голову индейца украшал убор из перьев. Вместо факела в поднятой руке — томагавк.

Девушка, листавшая в момент моего появления какие-то бумаги, подняла голову и вопросительно посмотрела на меня. В который уже раз за это суматошное утро я принялся излагать свою просьбу.

— А вы действительно из Москвы? Неужели там тоже слышали про Алькатраз? — Девушка с удивлением рассматривала мои «верительные грамоты», которые я выложил перед ней на стол эдаким эффектным веером: корреспондентские карточки, выданные редакцией, полицейским департаментом Нью-Йорка, пресс-службой ООН, Ассоциацией иностранной печати, а также вырезку моей корреспонденции об Алькатразе «Добровольные узники», напечатанной в «Известиях» 8 декабря 1969 года.

— А мы с вами, между прочим, коллеги, — сказала девушка. — Я не только член совета «Индейцы всех племен», но и сотрудник журнала «Алькатраз нью-слеттер», который начал выходить вскоре после захвата острова. Зовут меня Венесса, а фамилия моя Мэнкиллер.

Девушка улыбнулась. Не мог сдержать улыбки и я. Грозная ее фамилия — Мэнкиллер (человекоубийца) — никак не вязалась ни с ее нежным обликом, ни с ее романтическим именем — Венесса.

— Тем более, Венесса, вы должны помочь мне. — Утопающий хватался за соломинку.

И Венесса, дай бог ей счастья, не подвела своего коллегу из Москвы. Она выписала мне пропуск на Алькатраз, который обычно выдается только индейцам. За двадцать с лишним газетных лет немало пропусков побывало в моих руках, пропусков, открывавших путь и на важнейшие международные конференции, и в такие недоступные места, как, например, золотохранилища Английского банка. Но быть обладателем подобного «сезама» мне еще ни разу не доводилось. Пропуск представлял квадратный кусок белого картона. В верхних его углах были изображены голова индейского воина и индейская хижина, в нижних — орел и бизон. Кроме того, Венесса дала мне подписать заявление, гласившее: «В связи с тем, что мне разрешено посетить Алькатраз, я обещаю не предъ-

являть никаких претензий ни к правительству Соединенных Штатов, ни к кому-либо еще в случае получения увечий во время поездки на остров и пребывания на нем». Я поспешно поставил свою подпись, сняв тем самым всякую обузу с совестливой души Вашингтона. (Представители госдепартамента в Сан-Франциско отказались даже обсуждать вопрос о возможности моей поездки на Алькатраз, хотя он и лежит в открытой для советских журналистов зоне. Подозреваю, что их отказ был продиктован отнюдь не заботой о неприкосновенности моей личности.)

Пока Венесса оформляла бумаги — пропуск для меня, индульгенцию для Вашингтона, — я знакомился с штаб-квартирой «Индейцев всех племен». Внешне она напоминала ломбард или скупку в бедном городском квартале. Кругом — до самого потолка — были навалены всевозможные предметы: одежда, обувь, кухонная утварь, посуда, музыкальные инструменты, детские игрушки, медикаменты, матрацы, подушки, спортивный инвентарь, книги, ведра, лопаты, гамаки, консервированные продукты питания, сигареты, ящики кока-колы, брикеты шоколада... В помещении негде было повернуться. Все было заставлено и забито вещами за исключением узенькой «тропинки», которая вела от двери к столу, где сидела Венесса.

— Алькатразу помогает вся страна. И не только индейцы. Мы получаем посылки отовсюду и ото всех — от белых, негров, мексиканцев, пуэрториканцев. Получаем больше, чем нужно. Поэтому часть вещей переправляется на остров, а остальное отсылается наиболее нуждающимся племенам.

Венесса вышла из-за стола. Она говорила, прислонившись к арфе с облупленной позолотой (интересно, кто ее прислал и почему?). А я, слушая Венессу, думал о том, что «ломбард» на пирсе № 40 в Сан-Франциско особого свойства — люди сдают в него не вещи, а долг сопричастности, и получают взамен не деньги, а чувство общности. Даже за эту вот никому не нужную трогательную облупленную арфу.

Поблагодарив от души Венессу и еле удержавшись, чтобы не расцеловать ее в обе щеки, я помчался обратно к причалу «Рыбачьего грота». «Прозрачная вода» по-прежнему мерно покачивалась в гигантском пятне расплывшегося мазута, а ее шкипер Джим Маккормик тоже по-прежнему загорал в своем кубрике. Индейцы со скрещенными томагавками на куртках уже не резались в карты, а грузили на борт шхуны пятигаллонные бутылки с питьевой водой. Они обращались с гигантскими сосудами с такой нежностью, которой обычно удостаиваются только новорожденные младенцы и динамитные шашки. Для Алькатраза проблема воды — вопрос жизни и смерти. Но об этом несколько позже.

— Разрешение получено! — крикнул я индейцам, размахивая над головой заветным пропуском.

— О'кэй. Через пятнадцать минут отчаливаем! — отозвались они.

Кроме меня, шхуны дождалась женщина с детьми — двумя взрослыми девочками и мальчуганом в тенниске, на которой была оттиснута вся четверка знаменитых битлзов.

— Вы тоже на Алькатраз? — спросила меня женщина. Но по ее глазам я понял, что спрашивала она о другом. «Разве вы тоже индеец?» — говорили эти раскосые глаза.

— Да, на Алькатраз. Я журналист из Советского Союза.

— Советский Союз. Ведь это очень далеко? — спросила опять женщина.

— Очень далеко, — согласился я.

— И мы издалека. Живем в Саутгэмптоне, на Лонг-Айленде, а сами из племени команчей. Это все мои дети. Никто из нас еще никогда не ступал на свободную индейскую землю. Вот я и везу их на остров. Старики говорят, что это принесет им счастье.

Малыш с битлзами на груди внимательно слушал свою мать. Девочки застенчиво косились в сторону.

Перед самым отплытием шхуны на пирсе появилась Венесса. Перегнувшись через поручни, она крикнула индейцам, указывая на меня:

— С этим джентльменом все о'кэй! Его можно брать! Когда приедете на остров, скажите Пронзенному Стрелой, чтобы он отвел его к Чарли! — Затем, повернувшись ко мне, Венесса сказала: — Это на всякий случай. Пронзевный Стрелой — начальник службы безопасности Алькатраза, человек очень осторожный, и как бы чего не вышло. А Чарли — член совета управляющих. Он вам все расскажет и покажет.

Я вновь стал благодарить Венессу, не поленившуюся пересечь ради меня полгорода. В это время к нам подошла какая-то дама и, обращаясь ко мне, произнесла на чистом русском языке:

— Я бывшая сотрудница департамента переводчиков при ООН. Мне тоже хотелось бы поехать вместе с вами на Алькатраз.

— К сожалению, я не ведаю выдачей пропусков, сударыня.

— Ну, а вы? — обратилась женщина к Венессе, переходя на английский.

— Такие вопросы решает совет «Индейцев всех племен», — уклончиво ответила она, взглянув на мое несколько вытянувшееся лицо.

— Но ведь шхуна уже уходит.

— Ничего, поедете в следующий раз.

Не берусь утверждать на все сто процентов, но столь драматическое появление бывшей русской переводчицы из ООН на причале у «Рыбачьего грота» вряд ли было исключительно «игрой случая».

Наконец шхуна выбралась из портового лабиринта и, набрав скорость, ринулась навстречу океану. Нас стало обдавать солеными брызгами. Девочки спустились вниз, чтобы не замочить свои праздничные платья, а малыш с битлзами, впившись в подол матери, глядел расширенными от испуга и восторга глазами на шалости Тихого, или Великого. Все дальше отодвигался Сан-Франциско, белокаменный, вскарабкавшийся на тысячи холмов. Все ближе становился Алькатраз, красностенный, свивший себе гнездо на вершине одинокой скалы.

— Приехали! — крикнул шкипер, гася мотор.

Индейцы начали подтягивать шхуну к железной лестничке, ввинченной вдоль скалистого обрыва. Я уже карабкался по ней, когда за моей спиной раздался голос:

— Здесь с нами белый из России. Венесса просила отвести его к Чарли!

Затем уже над моей головой кто-то произнес:

— Добро пожаловать на Алькатраз — свободную и независимую индейскую территорию!

Я запрокинул голову и увидел полуобнаженного гиганта. Это был Пронзенный Стрелой.

* * *

Так вот ты какой, Алькатраз, Исла де лос Алькатрасес — Остров Пеликанов, как назвал тебя первооткрыватель — лейтенант испанской армии Хуан Мануэль де Айала. «Осторожно. Индейская собственность» — предупреждал огромный плакат над пристанью.

— Чарли вы найдете в штабе, — сказал Пронзенный Стрелой, проверив мой пропуск. Мускулистой рукой, татуированной от кончиков пальцев по самое плечо, он указал в сторону небольшой деревянной сторожки, припаянной к скале и наполовину свисавшей над океаном.

Чарли сидел за столом и просматривал какие-то бумаги. Я представился, и мы обменялись рукопожатием. Некоторое время мы молча изучали друг друга, как мне показалось, со взаимным любопытством, а затем, не сговариваясь, засмеялись.

— Вы президент Алькатраза? — спросил я его.

— У нас на острове нет ни президентов, ни королей, ни вождей, — ответил Чарли. — Алькатразом управляет совет из семи человек, который переизбирается каждые девяносто дней.

— Почему так часто?

— А потому, что все должны принимать участие в управлении, учиться ему. В этом смысле наш остров — школа.

— У меня на родине говорят — «кузница кадров», — улыбнулся я.

— Кузница — это правильно. Кузница — это подходит, — согласился Чарли.

Поймав мой взгляд, скользнувший по двум тщательно выутюженным черным костюмам, подвешенным к столбу, который стоял посреди комнаты, Чарли сказал:

— На всякий случай. Если власти надумают возобновить переговоры. Но пока в костюмах нет надобности. Пока мы обходимся вот этим. — Чарли погладил свою куртку со скрещенными томагавками.

Нашу беседу прервал Пронзенный Стрелой.

— Чарли, ребята все выгрузили. Ждут тебя.

Чарли оперся руками о стол и с огромным усилием приподнялся.

— Подай костыли,— сказал он Пронзенному Стрелой. У него были парализованы обе ноги.— Я скоро вернусь, а вы пока осмотрите остров. Я пришлю Алвина, чтобы он проводил вас.

Чарли и Пронзенный Стрелой ушли. В ожидании обещанного гида я стал прохаживаться по комнате. Штаб у защитников Алькатраза был замечательный. На стене висел черный телефон. Под ним красными буквами было написано: «Горячая линия с Вашингтоном». Ирония подписи заключалась в том, что власти, стремясь отрезать остров от внешнего мира, лишили его электричества и всех средств связи. Черный телефон красноречиво молчал.

Слева от телефона к стене был прикреплен лист белой бумаги с написанным от руки текстом Билля о правах свободной индейской территории Алькатраз. Его стиль намеренно переключался с Декларацией независимости. Даже почерк имитировал готическую вязь «отцов основателей», хранимую под пуленепробиваемым стеклянным колпаком в холле Вашингтонского Национального архива. Последний параграф билля гласил: «Алькатраз — идеальный символ. Он — тюрьма, подобно индейским резервациям. Он свободен, как ветер. Отсюда мы сделаем первый шаг от крайнего отчаяния к надежде на лучшую жизнь».

Под ватманом стоял попирт из грубо сколоченных досок. На нем лежала раскрытая огромная конторская книга. Чья-то решительная рука перечеркнула в ней красными чернилами графы прихода и расхода и прочую бухгалтерскую канитель. Вместо них были вписаны четыре новых деления: имя, фамилия, адрес, племя. То была книга посетителей Алькатраза. Остров стал местом паломничества американских индейцев, их Меккой. Около двадцати тысяч человек побывало здесь в течение первых десяти месяцев. Я листаю шершавые страницы книги. От них веет ароматом куперовских романов. Звучные имена, экзотические названия племен — ирокезы, могиране, сиу, апачи, навахо, хопи, шошоны, шайены... Это индейский Антей прикасается к земле-матери, чтобы набраться сил.

Увлечшись изучением книги, я не заметил, как в комнату вошел парнишка лет пятнадцати — шестнадцати. Он остановился у порога и терпеливо ждал, пока я подниму голову.

— Алвин?

— Да. Чарли сказал мне, чтобы я показал вам остров.

— Ну, тогда пошли. Впрочем, одну секунду. Вот только распишусь в книге...— Я вынул из кармана ручку, но вдруг заколебался.— А мне можно?

— Думаю, что да,— ответил Алвин, испытующе глядя на меня. Он, видимо, понял причину моей нерешительности.

Я снова склонился над книгой. Имя. Фамилия. Все в порядке. Адрес — Москва. Племя. Племя? Я задумался, водя ладонью по шершавой бумаге. Затем написал — коммунистическое...

К тюремным корпусам вела узкая полуобвалившаяся лестница. Ее ступени напоминали изъеденные цингой зубы сказочного чудовища. Мы осторожно карабкались по ним. Впереди Алвин, позади я. Мальчик был гибок, как кошка, и, как кошка, лениво грациозен. И глаза его были полузакрыты, как у кошки. А длинные черные волосы перехватывала красная лента, струившаяся по лбу, словно сабельное ранение. Алвин родился в Неваде, но считает себя коренным жителем острова, поскольку находится на нем с первого дня оккупации.

Мы миновали сторожевую вышку. На ней развевался флаг — государственный флаг Алькатраза, знамя «Индейцев всех племен». На лазурном фоне полотнища были вышиты красными нитками вигвам, а над ним — сломанная пополам трубка мира. «Нет мира над индейскими хижинами» — слышалось в шелесте знамени.

— Это мы водрузили его,— сказал Алвин. В полузакрытых глазах мальчика — гордость. Он отсалютовал флагу...

Тюремные ворота были распахнуты настежь. Над ними распростер крылья Американский орел, вырезанный из дерева и выкрашенный в черный цвет. В когтях он держал герб США с девизом «Страна свободных». Орел скорее напоминал стервятника. Впрочем,

и свобода в Америке напоминает нечто иное. Прибитый над входом в тюрьму бывшими хозяевами Алькатраза и умышленно оставленный в неприкосновенности нынешними, герб США выглядел злой пародией на самого себя.

Мы переступили тюремный порог. По обе стороны коридора в три этажа громоздились железные клетки. Этажи соединялись между собой винтовыми лестницами, тоже железными и тонкими, как штопор. Наконец-то я увидел воочию эту бесконечную панораму тюремных тростников, знакомую по бесчисленным гангстерским кинофильмам. Но камеры были пусты. Гангстеры вслед за пеликанами покинули остров. Надзиратели не вышагивали по мостикам, бегущим вдоль железных клеток. Не громыхали засовы, не звенели цепи, не звучала команда. Кругом тихо, как в космосе.

Я взглянул себе под ноги. На цементном полу, усеянном гравием, осколками стекла, обрывками бумаги, щепками и тряпьем, огромными красными буквами написано: «Будь решительным. Не страшись никаких жертв. Преодолевай любое препятствие ради достижения победы». Несколько поодаль нарисован двухметровый кулак. «Вся власть краснокожим!» — провозглашала подпись под ним.

— Это дело наших рук. Мы разукрасили тюремный пол во время первого пау-вау¹, проходившего здесь сразу же после захвата острова,— сказал Алвин.

Я собрался было просить его показать мне камеры, где сидели Аль-Капоне, Пулемет Келли и другие знаменитые обитатели Алькатраза, но, увидев надписи на полу, прикусил язык. Стало как-то неловко соваться со всей этой пошлой гангстерской экзотикой к мальчику, витавшему в совершенно иных эмпиреях.

Впрочем, над некоторыми железными клетками значились имена их жильцов, старательно выведенные белой масляной краской. Правда, звучали они несколько странно: «Президент Никсон», «Вице-президент Агню», «Экс-президент Джонсон», «Министр внутренних дел Хиккел»², «Директор ФБР Гувер», «Мэр Сан-Франциско Алиото», «Губернатор Калифорнии Рейген», «Федеральный судья Хоффман», «Глава «Бюро по делам индейцев» Джексон»... Были тут и общие камеры для наблюдательских советов ряда корпораций, главным образом электрических компаний, хищнически захватывающих воду у индейских резерваций. Над одной камерой художник изобразил целующихся голубков. «Для Дэвида и Джули»³ — значилось под ними.

— Это не прошлые, а будущие обитатели Острова дьяволов⁴,— решил на всякий случай просветить меня Алвин. Он говорил совершенно серьезно.

Я от души расхохотался.

— Здесь нет ничего смешного. Мы будем судить их за геноцид.

Я поперхнулся. В устах мальчика, почти еще ребенка, слово «геноцид» прозвучало как-то особенно зловеще. Дети его возраста обычно не знают этого слова. Но Алвин уже знал его. И не только понаслышке. Глаза моего гида еще больше сузились. Красная лента, струнившаяся по лбу мальчика, словно сабельное ранение, еще больше заалела. По крайней мере мне так показалось. Я потупил взор и уперся в надпись на цементном полу: «Будь решительным. Не страшись никаких жертв. Преодолевай любое препятствие ради достижения победы».

— Здесь нет ничего смешного, Алвин,— сказал я после минутного неловкого молчания...

* * *

Варварское истребление индейцев — одна из самых жутких страниц в истории Америки. Более ста лет назад, в 1869 году, комиссия, учрежденная президентом Грантом, разразилась покаянным документом, в котором говорилось: «История отношений между нашим правительством и индейцами представляет позорный ряд нарушенных договоров и неисполненных обещаний... История отношений между индейцами и белым пограничным населением представляет собой, как правило, отвратительную цепь насилий, убийств, грабежей и неправды с нашей стороны и, как исключение, дикие взрывы отпора со стороны краснокожих».

¹ Пау-вау — индейский совет.

² Ныне Хиккел уволен в отставку.

³ Самая знаменитая в США республиканская супружеская чета. Дэвид — внук президента Эйзенхауэра, Джули — дочь президента Никсона.

⁴ Остров дьяволов — тюрьма Алькатраза.

Покаявшись и заглушив голос совести, белые цивилизаторы вновь принялись за старое. Так, по приказу губернатора Аризоны были перебиты все апачи, не пожелавшие покинуть свои родные очаги, объявленные «умиротворенной территорией». Генерал Крук, руководивший этой кровавой экзекуцией, говорил. «Хуже всего в этих операциях то, что приходится воевать против людей, на стороне которых право». Но на стороне палачей была сила. А право палачи никогда не уважали.

Еще в начале XIX века, в 1802 году, индейские племена получили заверение от президента Томаса Джефферсона в том, что их права будут уважаться. «Братья, ваш отец, президент, будет во веки веков вашим другом. Он будет защищать вас, своих краснокожих детей, от плохих людей», — говорилось в президентском послании, выдержанном в покровительно-пренебрежительных лицемерных тонах. Но на протяжении всего девятнадцатого столетия «плохие люди» только и делали, что драли кожу с «детей» Томаса Джефферсона. Американская кавалерия физически уничтожала индейскую нацию, американская администрация добивала ее морально и духовно. Путь первой был усыян трупами, путь второй — живыми трупами. Первая создавала кладбища, вторая — резервации.

Сто лет спустя после самобичеваний президента Гранта из Белого дома раздались почти аналогичные слова другого президента Соединенных Штатов: «Первые американцы — индейцы — наиболее изолированное меньшинство в нашей стране. Начиная с их первых контактов с европейскими поселенцами, американские индейцы то и дело подвергались угнетению и насилию. Их лишали земли предков и права быть хозяевами своей судьбы. Их история — это частые агрессии белого человека, нарушенные договора и постоянное отчаяние». Затем следовал пассаж, напоминавший джефферсоновское обещание более полуторавековой давности, хотя и не такой цветистый, без отца-президента и его краснокожих детей. «Особые отношения между индейцами и федеральным правительством зиждятся на священной обязанности правительства Соединенных Штатов и имеют чрезвычайную моральную и законную силу», — торжественно провозглашал Никсон. Он, разумеется, не упомянул о том, что первый договор между правительством и индейцами был заключен еще в 1778 году и тоже имел «чрезвычайную моральную и законную силу», настолько чрезвычайную, что индейцы до сих пор гнутся под ее бременем.

Послание Конгрессу о положении коренных жителей Америки, открывших ее за двадцать пять тысяч лет до Колумба, составлено хитроумно. Так, например, индейцам племени таос-пуэблос возвращались 48 тысяч акров земли в штате Нью-Мексико, отнятых у них «без всякой компенсации» в 1906 году. А как насчет остальных земель, господин президент? Не вдаваясь в глубь веков, укажем, что в 1897 году индейцы владели 146 миллионами акров земли. К 1970 году в их руках осталось всего 56 миллионов. Вернуть 48 тысяч акров из украденных 90 миллионов — это и есть, по Никсону, благодеяние.

Впрочем, иметь землю еще не значит жить на земле. До 1970 года индейцев как самостоятельную этническую группу даже не считали нужным включать в бюллетени переписи населения. Поэтому никто не знает точно, каково их число на сегодняшний день. Согласно приблизительным данным, 452 тысячи индейцев живут в резервациях и еще 200 тысяч в городах. В 1700 году индейское население Америки доходило до трех миллионов человек. Да, геноцид собрал свою страшную жатву: и в долине Огайо, где полегли племена шоуни, и на тракте Джорджия — Оклахома, усыянном трупами ирокезов, и на просторах Южной Дакоты, в скалах которой высечены гигантские гордые профили великих американских президентов, — короче, везде, куда проникли штык, библия и доллар — эта далеко не священная троица.

Давным-давно сгнил в гробу генерал Кастер, прославившийся зверским истреблением индейцев, но в трагической судьбе краснокожих мало что изменилось. Средняя продолжительность жизни индейца — 44 года (белого американца — 71 год). Детская смертность у индейцев в два раза выше, чем у белых, а безработица — в десять раз. 40 процентов всех индейцев — безработные. В наиболее бедных резервациях их число доходит до 80 процентов! Средняя заработная плата индейского населения на 75 процентов ниже стандартного прожиточного минимума. 90 процентов их домов считаются

непригодными для жилья. Кто-то умудрился подсчитать, что средняя индейская семья продельвает в день одну милю пешком, таская воду для своих домашних нужд.

А просвещение? 42 процента индейских детей из поступающих в среднюю школу не заканчивают ее. Пятиклассное образование — вот их обычный предел. Иногда их школы расположены в сотнях миль от резерваций, и индейским детям приходится тратить больше времени на переезды, чем на занятия.

Кино и телевидение по-прежнему пекут фильмы о «хороших парнях» — ковбоях, первых поселенцах, солдатах — и «плохих парнях» — индейцах. Первые по-прежнему истребляют вторых, и потоки крови заливают экраны — от гигантских панорамных до миниатюрных транзисторных. Весной 1969 года я был в Лос-Анджелесе на ежегодной церемонии присуждения «Оскаров». Роскошное здание «Музыкального центра», где проходило вручение знаменитых золотых бесполох статуэток, пикетировала группа индейцев. В руках пикетчиков были плакаты. «Прекратите изображать нас убийцами, дикарями и животными», — значилось на них. Жюри Американской академии киноискусства по-своему прислушалось к этому призыву. Главный «Оскар» был присужден Джону Уэйну, отправившему к праотцам не одну сотню индейцев за свою долгую кинематографическую карьеру.

Тяга индейцев к образованию огромна. Очень важно иметь в виду, что на сегодня из каждых десяти индейцев шестерым меньше двадцати лет (по рождаемости индейцы вышли сейчас на первое место в США: она у них в два с половиной раза выше средней). Наши представления о вождях и старейшинах, степенно раскуривающих трубку мира и вершащих судьбами племен на своих пау-вау, безнадежно устарели. Когда я был на Алякатразе, в совет из семи человек, управлявший островом, входили наш знакомый Чарли Дана, двадцатишестилетний индеец из племени чоктау, уроженец штата Оклахома и бывший секретарь Центра американских индейцев в Сан-Франциско; семинал Эл Миллер, студент Сан-Францисского колледжа; сиу Джон Труделл, студент того же колледжа; калифорнийский индеец Вернон Конвей, двадцати четырех лет; баннок Ла Нада Мипс, студентка университета Беркли, двадцати двух лет; сиу Стелла Лич, молодая медицинская сестра, и шауни Джуди Скрейпер, студентка Вашингтонского университета.

— Подъем национально-освободительного движения среди индейцев и переход от пассивного сопротивления к радикальным акциям во многом объясняется резким омоложением наших племен, — рассказывал мне Чарли. — Клоунаде стариков, способствовавших превращению индейцев в туристический аттракцион для белых, приходит конец. Для нас «великий белый отец» стал «великим хонки», то есть «великим барменом из грязного салуна». А тех индейцев, кто не поддерживает нашу борьбу, мы называем «дядя Том-Том»¹. Нам до смерти надоело играть роль услужливого Тонто при Лоун Рейнджере²... Наши предки умели молчать с достоинством. Но сейчас этого уже мало. Старики побаиваются раскачивать пирогу. Как бы, чего доброго, не перевернулась. А ведь сейчас даже кричать с достоинством недостаточно. Нужны дела. А для них нужны образованные люди. «Великий хонки» не дурак. Он сообщает что к чему.

Слушая Чарли, я невольно вспоминал тех учителей, что предлагают индейским школьникам писать сочинения на тему «Почему мы счастливы с тех пор, как в Америке высадились пилигримы?». Операция по «промыванию мозгов», как называют ее, преследует цель — держать в рабском повиновении племена краснокожих.

В одном из учебников по истории можно прочесть следующее: «Все племена американских индейцев в ходе своего кочевничества проживали в течение нескольких поколений на замерзших просторах Аляски. Это умертвило их ум, убило в них всякое воображение и чувство инициативы». Подобные расистские бредни отравляют сознание индейцев, парализуют их волю. Они и впрямь страшнее алкоголя и наркотиков. Когда посещаешь резервации, то ужасаешься не столько нищете, царящей в них, сколько заботности проживающих там индейцев. Многие из них не осмеливаются поднять на тебя глаза, а тем более пожать протянутую руку. Ведь ты — белый, то есть существо высше-

¹ По аналогии с «Дядей Томом» — презрительной кличкой, которой негры награждают своих соплеменников, смирившихся с рабской участью.

² Персонажи из кино- и телевизионных серий о белых поселенцах и индейцах.

го разряда. Миннесотский сенатор Уолтер Мондейл, один из немногих на Капитолии, кого искренне заботят судьбы индейского населения (он избран почетным вождем племени чиппева), считает, что школы в резервациях «содержат элемент катастрофы», ибо там индейцам прививают мысль об их неполноценности.

— Первое, чему их обучают в школах, это то, что они всегда были, есть и будут проигрывающей стороной,— говорит Мондейл.

Другой сенатор — Эдвард Кеннеди, возглавляющий подкомиссию по делам образования индейцев, признает, что «наша политика в области просвещения американских индейцев представляет для них национальную трагедию».

Индейцев, посещающих американские университеты, чрезвычайно мало. Их можно по пальцам пересчитать. Даже в Беркли, наиболее либеральном, учатся всего несколько десятков индейцев.

Незадолго до поездки на Аляскатраз у меня была встреча с Джеком Эллардом, возглавляющим департамент информации университета Беркли. В живописных техасских сапогах и умопомрачительной рубашке, Эллард опрокидывал все самые дерзкие представления об ученом муже. Он скорее напоминал исполнителя стилизованных ковбойских песенок из какого-нибудь ночного клуба Лас-Вегаса. И кабинет Элларда в «Спроул-холле» не имел ничего общего с традиционной «кельей ученого». Стены его были украшены старинными фотографиями покорителей «дикого Запада» и плакатами. На самом большом из них было изображено пурпурное сердце, взрезанное посередине лезвием безопасной бритвы. Подпись под рисунком гласила: «Забота о всех людях — попытка для отдельной личности». По-видимому, этой пытаемой отдельной личностью и был сам Джек Эллард.

Я попросил мистера Элларда показать мне данные о национальном составе студентов Беркли. Данные были доставлены в его кабинет через две три минуты расторопной секретаршей. В них, между прочим, говорилось, что из 28 тысяч учащихся лишь 52 — индейцы. А вот из Гонконга было 354 студента, с Тайваня—288. Я обратил внимание Элларда на эти «пропорции». В ответ он только пожал плечами, согбенными в заботах о всех людях.

Не следует думать, что такое положение со студентами-индейцами объясняется исключительно материальными трудностями (в Беркли обучение бесплатное). Индейцы, вынуждены расплачиваться куда более высокой ценой — своим достоинством и национальными особенностями. В Америке вы можете встретить, хотя и весьма редко, индейца — доктора наук или крупного технического специалиста. Но это люди, утратившие, как правило, связь со своим народом, скрывающие свою родословную, стыдящиеся ее. Они живут и вращаются в мире «белых». Они не индейская интеллигенция, а американская интеллигенция индейского происхождения. Это люди довоенного поколения, люди преклонных лет. Отчаявшись добиться возрождения своего народа, они ограничились борьбой за личное благополучие.

Радикальная индейская молодежь не желает следовать их примеру. Вот почему так резко возросло за последнее время количество «дропаутов»¹ среди студентов-индейцев. После двух-трех лет обучения они бегут из университетов, распознавая в них духовные резервации. Далеко не случайно, что в Билле о правах, принятом «Индейцами всех племен», значительное место занимает требование создания индейского национального университета и культурного центра. В прокламации «Почему мы захватили Аляскатраз» на этот счет сказано следующее: «Нашим родителям запрещалось говорить на родном языке. Их загоняли в школы-интернаты и подвергали насильственной ассимиляции. наших родителей заставляли приобщаться к «цивилизации», помахивая перед их носом в качестве приманки долларовыми бумажками... Одна из причин, толкнувшая нас на захват Аляскатраза,— это трагедия индейского студенчества в университетах и колледжах. Мы не желаем, как наши родители, проходить через интеллектуальную мясорубку «великого хонки». Мы не желаем, чтобы нас толкли в общеамериканской ступе и плавили в общеамериканском тигле. Нашим мозгам нужно знание, а не промывание...»

¹ Дропаут — студент, покинувший колледж до окончания полного курса обучения.

Несколько лет назад, путешествуя по Бирме, я столкнулся с племенем, женщины которого имели неестественно удлинненные шеи, украшенные железными обручами. Чем больше обручей, тем длиннее шея. Их начинают носить с раннего детства и не снимают до самой смерти. Впрочем, снять обручи с шеи женщины значит убить ее. Дело в том, что с годами шейные позвонки и мышцы атрофируются от бездействия, ибо тяжесть головы поддерживается исключительно обручами.

Воспоминания о женщинах этого бирманского племени как-то непроизвольно пробудились во мне во время знакомства с индейскими резервациями. Они словно обруч на шее краснокожих, жизнь с которым означает рабство, а расставание — смерть. Первая резервация была основана в Соединенных Штатах в 1853 году. Сейчас число резерваций доходит до трехсот, и в них проживает, как мы уже писали, 452 тысячи человек, то есть подавляющее большинство американских индейцев. Резервации находятся в ведении «Бюро по делам индейцев», которое в свою очередь является департаментом министерства внутренних дел США. Среди служащих бюро число самих индейцев не превышает пяти процентов. Это в основном или подсадные утки, или представительская этнография, сборище тех самых «дядей Том-Томов», которых столь сильно и заслуженно презирает радикальная индейская молодежь.

Согласно федеральному законодательству, бюро обязано помогать индейцам «в достижении лучшей жизни». Оно ведает делами просвещения, медицинского обслуживания, охраны «договорных земель и вод» — короче, регламентирует любой и каждый шаг индейца от колыбели до могильной плиты, скрупулезно расписанный в 489 параграфах 363 законоположений, касающихся резерваций. Без разрешения бюро индеец не может, например, продать принадлежащий ему кусок земли. Зато бюро может отнять у него детей и передать их или в интернат, или на воспитание приемным родителям — белым. Либеральные критики величают подобную систему «чрезмерным патернализмом». Мне она напоминает железные обручи на удлинненных шеях бирманских женщин. Полная зависимость порождает полную беспомощность. Люди начинают цепляться за кандалы рабства как за спасательный круг.

Роберт Беннет, первый индеец из племени онеида, назначенный в 1966 году президентом Джонсоном на пост главы бюро, после почти пятилетнего пребывания в шкуре «дяди Том-Тома» вынужден был выйти в отставку, заявив: «Администрация полностью игнорирует нужды индейцев».

История о том, как республиканская администрация подыскивала преемника Беннету, заслуживает того, чтобы остановиться на ней несколько поподробнее. Облава продолжалась более полугодом, но каждый раз охотники за скальпами возвращались с пустыми руками. В вигваме, именуемом министерством внутренних дел США, царила растерянность.

— Неужели мои предки настолько постарались, что перебили их начисто еще до нашего прихода в Вашингтон? — терялся и терзался в догадках министр Хиккел.

Затем он снова рассылал во все края своих самых прославленных следопытов.

Иногда последние возвращались на Потомак с добычей. Но ликования по этому поводу бывали недолгими. Допросив пленников, их тут же отпускали на волю. Дичь по своей кондиции явно не устраивала министра, и охота продолжалась.

Кого же искали следопыты на пост главы бюро — марсианина? Нет, индейца. Так в чем же дело? Или охота в резервациях запрещена? Нет, индейцы не бизоны, поэтому охотились на них и в резервациях. Но безуспешно.

— Индеец, да не тот, — упавшим голосом говорили бледнолицые чиновники из министерства внутренних дел, когда им демонстрировался очередной Монтигомо Ястребиный Коготь.

Им нужен был не просто индеец, а индеец-республиканец, да еще такой, который согласился бы занять пост главного «Том-Тома». А это все равно что отыскать иголку в стоге сена при полном солнечном затмении. Конечно, можно было не мудрствуя лукаво назначить на этот пост белого. Но республиканская администрация не захотела отступить от предыдущей — демократической, при которой вышеназванное бюро возглавлял индеец. Пропагандистская ценность подобной затеи была вполне очевидна и для внутреннего потребления (своему человеку индейцы будут доверять охотнее) и для внеш-

него (смотрите, мол, как мы печемся о развитии самостийности индейцев). Однако, как назло, все кандидаты или оказывались демократами, или отказывались прислуживать.

Но вот наконец судьба улыбнулась охотникам. Им посчастливилось отыскать индейца-республиканца, согласного занять декоративный пост в Вашингтоне. Нашли его в совершенно неожиданном месте — в Гринич-Виллидже, районе нью-йоркской богемы. В связи с этим в министерство внутренних дел посыпались звонки: откуда взялись индейские племена в Гринич-Виллидже и не является ли, чего доброго, найденный там кандидат битником или хиппи?

Ответ гласил: нет, не является. Зовут последнего из могикан Луис Брюс. Ему сейчас шестьдесят три года. Живет он на Десятой стрит в Нью-Йорке и имеет солидную молочную ферму в Ричфилд-Спрингс. Кстати, назвал я его последним из могикан не ради красного словца и не под влиянием литературных ассоциаций, связанных с романами Фенимора Купера, которыми мы все зачитывались в детстве. Во-первых, мистер Брюс и впрямь принадлежит к племени могикан, а во-вторых, он действительно один из последних.

— Моя индейская кровь и принадлежность к республиканской партии представляет редчайшее сочетание, — сказал Брюс на пресс-конференции. — Пожалуй, я один из немногих индейцев-республиканцев в Америке. Недаром для того, чтобы найти меня, понадобилось более шести месяцев охоты.

Брюс родился в резервации Онондага. Отец его был вождем племени. Настоящее имя последнего из могикан — Агвелиус, что по-индейски означает «быстрый». Надо сказать, что республиканизм Брюса-Агвелиуса носит весьма своеобразный характер. Так, в 1952 году он поддерживал кандидатуру Эйзенхауэра на пост президента, но одновременно обещал резервации и выступал против политики Эйзенхауэра по индейскому вопросу.

— Индейцы не желают быть гражданами второго сорта. Они хотят сами решать свою судьбу, — говорит Брюс.

Несмотря на своеобразие республиканизма Агвелиуса-Быстрого, министр решил не привередничать. Где гарантия, что ему удастся найти другого? И потом, какое значение имеют убеждения последнего из могикан! Ведь его роль в Вашингтоне исключительно декоративная, так сказать, этнографическая. Политикой по-прежнему заправляют бледнолицые братья.

— Дела, творящиеся в резервациях, ужасны и печальны. Мы создали монстра, — говорит Луис Брюс.

Монстр этот в свою очередь создает в резервациях голод, безработицу, болезни. На Аляктразе я встретился с Деннисом Хэстингсом, индейцем из племени омаха. Деннис сбежал на остров из резервации, находящейся в штате Небраска, выстроил себе небольшой вигвам с видом на мост «Золотые ворота», как он грустно шутит, и стал членом «Индейцев всех племен».

— Недавно я вновь посетил свою резервацию. Хотел повидаться с матерью. Боже, что там творится! Только за последний месяц умерло тринадцать человек. И знаете, от чего? От простуды и других болезней, от которых в наше время люди уже не умирают...

Президент Никсон в своем послании Конгрессу предложил ассигновать на нужды здравоохранения в резервациях десять миллионов долларов. Служба Белого дома сообщает, что вожди индейских племен буквально обрывают президентский телефон благодарственными звонками. Когда я рассказал об этом Хэстингсу, он злобно рассмеялся:

— Жаль, что телефон на Аляктразе отключен — наша «горячая линия» с Белым домом не работает, — а то бы я выложил им свою благодарность.

Мы сидели перед вигвамом Хэстингса. Стоявший рядом Чарли Дана, опираясь на один костыль, чертил другим по гравию какие-то цифры

— Говорят, что Бюро кормит индейцев. Враки. Это индейцы кормят Бюро. Вот смотрите, — Чарли указал резиновым наконечником костыля на вычерченные им цифры, — пятнадцать тысяч дармоедов из Бюро получают ежегодно около четырехсот миллионов долларов в качестве заработной платы. Было бы куда лучше разогнать их и поделить эти миллионы между индейцами. А никсоновских грошей нам не выдать, как скальпов марсиан. Его послание еще должно быть одобрено сенатом, где заседают джентльмены, мало чем отличающиеся от генерала Кастера.

Чарли как в воду смотрел. Помните — 48 тысяч акров земли, возвращенные племени таос-пуэблос? Клинтон Андерсон, сенатор-демократ от штата Нью-Мексико, который в прошлом уже дважды блокировал аналогичные законопроекты, пообещал провалить и этот никсоновский билль.

К вигваму Хэстингса подкатил на велосипеде Пронзенный Стрелой.

— Угощайтесь,— сказал он, ставя перед нами два картонных ящика — один с кока-колой, другой с шоколадными батонами.

Мы взяли по банке коки. К шоколаду никто не притронулся.

— За успех вашего дела,— сказал я, чокаясь своей банкой с банками индейцев.

— Спасибо. За успех,— отозвались Пронзенный Стрелой и Хэстингс.

— Простите за коку, но на Алькатразе употребление алкогольных напитков в общественных местах строжайше запрещено,— произнес Чарли. Он не извинялся. Просто объяснял.

— Понятно,— смущенно пробормотал я.

Алкоголизм — бич резерваций. Когда-то «великий хонки» расплачивался спиртом за индейские земли. Теперь многие индейцы, не имея земли, пьют с горя, чтобы забыть. «Мы пытаемся утопить в вине наше рабство. Мы свободны только тогда, когда пьяны»,— говорит Билл Пенсоньо, председатель Национального совета индейской молодежи. Алкоголизм способствует росту самоубийств. В резервациях число самоубийств в три раза выше, чем в среднем по Соединенным Штатам, а в некоторых — даже в десять раз. Всю Америку потрясла история шестнадцатилетнего мальчишки из резервации Форт-Хилл (штат Айдахо), повесившегося в тюрьме. За два дня до этого он рассказывал сенатору Роберту Кеннеди о своем безвыходном житье-бытье в резервации. Сенатор не успел помочь ему. Впрочем, не успел помочь и самому себе.

Зато «Бюро по делам индейцев» не сидело сложа руки. Поскольку многие индейцы ездят пить в города и гибнут в автомобильных катастрофах, возвращаясь домой в кетрезвом состоянии, необходимо открыть пивные бары и винные лавки в самих резервациях, решили «гуманисты» из Бюро. И открыли. Число алкоголиков и самоубийц возросло еще больше. Так, на Среднем Западе в одной резервации, где проживают около пяти тысяч человек, 44 процента мужчин и 21 процент женщин — алкоголики, подвергавшиеся арестам. А сколько их, не «подвергавшихся»? Алкоголизм и вызванная им волна самоубийств почти полностью положили конец существованию племени кломатов в штате Орегон. Да, «великий хонки» — «великий бармен из грязного салуна» — денно и ночью помогает индейцам «в достижении лучшей жизни».

Резервация — это концлагерь. Разница состоит лишь в том, что она не обнесена колючей проволокой. Здесь нет ни сторожевых вышек, ни прожекторов, ни овчарок. Никто не держит тебя под замком. Ты волен идти на все четыре стороны, куда заблагорассудится. Более того, индейцу, покидающему резервацию, выдается денежное пособие в размере 600 долларов и бесплатный билет в один конец до места назначения. Затем Бюро списывает его в расход и умывает руки.

Многие индейцы бегут из резерваций. Я уже говорил, что вне их пределов в Соединенных Штатах живут двести тысяч краснокожих. Они сосредоточены, как правило, в больших городах: в Лос-Анджелесе — 60 тысяч человек, в Сан-Франциско — 20 тысяч, в Фениксе — 12 тысяч, в Чикаго — 15 тысяч, в Миннеаполисе — 12 тысяч и так далее. Но бежать из резервации значит быть убитым при попытке к бегству, хотя, конечно, никто тебе в спину не стреляет. Помните бирманских женщин с железными обручами на шее? За серьезную провинность с них снимали обручи. Они становились совершенно беспомощными, ибо не могли ходить. Женщины ложились на землю и умирали от голода и жажды. Отпуская индейца из резервации, власти как бы снимают с него невидимые обручи. Он вступает в новый, большой, неведомый и враждебный мир совершенно незащищенным. У него нет ни образования, ни профессии, ни средств к существованию. Большой город сначала давит на его психику, а затем раздавливает морально и физически. Беглец попадает из огня в полымя. Он вливается или в ряды безработных, или в мир преступников, алкоголиков, наркоманов, начинает попрошайничать. Женщины идут на панель. Обычно индейские кварталы в больших городах не столь компактны, как негритянские гетто. Но там, где они создаются, их называют резервациями. Это — островки крайней нищеты, равной которой в Америке не сыскать.

Индеец — дитя природы. Его привязанность к земле носит почти мистический характер.

— Земля — как мать. Деревья — как братья. Птицы в небе, рыбы в воде — друзья твои. Они дают тебе жизнь, кормят тебя, доставляют радость, — мечтательно говорит Том Кук, мохаук из Нью-Йорка.

Но земля и вода нечто большее для индейца. Они — символы свободы. Сложилась эта символика, так сказать, от обратного. Что отнимали всю жизнь у индейцев? Землю и воду. Сначала первые поселенцы — колонизаторы, затем последние проходимцы — монополии. Недаром в опустевшей тюрьме Алькатраза им отведены общие камеры.

Не миновала эта символика от обратного и мрачную скалу в заливе Сан-Франциско. Сразу же после захвата Алькатраза индейцами власти лишили остров воды. Под лицемерным предлогом ремонта они отбуксовали баржу с резервуарами, которые обычно время от времени пополнялись, одни — свежей питьевой водой, другие — технической. «Ремонт» затягивался. Запасы воды, имевшиеся на острове, подходили к концу. Тогда индейцы обратились к некоему Томасу Хэннону, генеральному менеджеру коммунальных служб Сан-Франциско, с требованием ускорить ремонт. Хэннон, которому, видимо, надоело ломать комедию, прямо сказал им, что никакой воды они не получают, что у него имеется приказ свыше, запрещающий подачу воды на Алькатраз.

Весть об этом бесчеловечном акте властей моментально распространилась по всему западному побережью. Дэвид Рислинг, президент просветительской ассоциации индейцев Калифорнии, охарактеризовал это как «еще одну форму геноцида». Прогрессивная общественность Америки была возмущена. Группа инженеров и техников обратилась к правительству с предложением отремонтировать злополучную баржу на добровольных началах и за свой счет. Ответом им был грубый отказ. Катера приморской полиции установили «континентальную блокаду» острова, зорко следя за тем, чтобы никто не провозил воду на Алькатраз. Расчет властей был прост — взять защитников скалы измором. Но последние не дрогнули.

— Мы скорее умрем, чем сдвинемся с места! — заявили они.

И тут в Вашингтоне призадумались. На горизонте замаячило нежелательное международное паблсити. Некоторые индейские вожди вдруг вспомнили о существовании Организации Объединенных Наций. Общая ситуация также складывалась неблагоприятно для «великого хонки». В печать только-только просочились сведения о кровавой резне в Сонгми. И вот на самом вашингтонском вершине решили проявить «чувство меры» — имея на руках трагедию в Сонгми, не приплюсовывать к ней заморенный жаждой Алькатраз. Впрочем, «чувство меры» было проявлено властями в весьма умеренных дозах. Они так и не возвратили баржу, не отремонтировали резервуары, не возобновили снабжение острова водой. Они лишь сняли с Алькатраза «континентальную блокаду», разрешив индейцам доставлять на остров на свой страх и риск необходимый минимум питьевой воды.

Шхуна, на которой я добрался до Алькатраза, тоже везла воду. Пятигаллонные бутылки украшали этикетки: «Альгамбра — свежая ключевая вода. Пей сколько влезет, на доброе здоровье. Многие врачи рекомендуют по восемь стаканов в день».

Позже я спросил Чарли, что это значит.

— В бутылках никакая не «альгамбра», а самая обыкновенная вода из-под крана, — ответил он. — От «альгамбры» в ней одни этикетки да тара. Что же касается дозировки, рекомендуемой врачами, то в наших условиях она звучит как издевательство.

Другой член совета острова, Джон Труделл, добавил:

— Алькатраз — классический микрокосм индейской действительности. Воду у нас похищают всюду. Попутешествуйте по резервациям Калифорнии, Монтаны, Нью-Мексико и убедитесь сами. А что они сделали с племенем пейутов в западной Неваде? Знаменитое Озеро пирамид, кормившее их испокон веков, почти совсем высохло. Электрические компании отводят из него воду для своих предприятий, не считаясь с пейутами, с их правами и нуждами. Экологический баланс озера непоправимо нарушен. Гибнет знаменитая форель, единственный источник существования пейутов.

К нам подошел парень в рубашке, чем-то напоминавшей малороссийскую. Некоторое время он молча прислушивался к разговору, а затем сказал:

— Не могли бы ли вы, мистер, по возвращении в Нью-Йорк подать от нашего имени жалобу в ООН на «Пибоди коул компани»? Эта компания забирает питьевую воду у резерваций племен хопи и навахо в северной Аризоне. Воду канализуют в Неваду для снабжения электричеством Лос-Анджелеса и Феникса. Хозяева компании обманным путем добились согласия у совета племен, который не ведал что творит и не представлял последствий сделки, на которую его толкнули люди из «Пибоди». Теперь у нас нет ни воды, ни электричества. Сам я член молодежной экологической группы, организованной индейцами Аризоны и Невады. Мы пишем петиции, обиваем пороги судов и правительственных учреждений, разъяряем своим соплеменникам нависшую над ними угрозу, пытаемся растормозить белую общественность. Но что мы можем поделать против весельных компаний, против Лос-Анджелеса, который растет, как гриб, и засасывает воду, как губка?

Пожалуй, ни один город не вызывает такой ненависти у индейцев, как Лос-Анджелес. Этот самый динамичный из американских городов и впрямь растет не по дням, а по часам. Он уже обогнал Чикаго, вышел на второе место в Соединенных Штатах и начал наступать на пятки Нью-Йорку. Лос-Анджелес — средоточие наиболее современных видов промышленности с уклоном в электронику, аэродинамику, ракетостроение. Потребности города в электроэнергии гомерические, а естественных водных резервуаров у него нет. Поэтому Лос-Анджелес хватается за воду и электричество где только может, шелкая походя, как орехи, беззащитные индейские резервации.

— «Пибоди коул компани» не исключение, — поддержал Чарли парня в мало-российской рубашке. — Я могу назвать вам две сотни других корпораций во главе с «Дженерал дайномикс», которые хозяйничают в резервациях. Дело ведь не только в воде. По закону земля, принадлежащая резервациям, не облагается налогами на недвижимость. Вот это и соблазняет бизнесменов. Да и рабочая сила в резервациях почти что даровая, бесплатная. Я знаю одну компанию, которая расплачивается с индейцами, нанятыми ею на тяжелые земляные работы, чем бы вы думали? Зубной пастой!

Многие думают, что захват индейских земель или скупка их по дешевке — дело далекого прошлого. Как бы не так. Этот процесс, вернее грабеж, продолжается по сей день. Например, сравнительно недавно инженерный корпус вооруженных сил США отобрал у племени сенек значительный кусок земли, чтобы возвести на ней плотину. Власти штата Нью-Йорк приобрели за бесценок землю у племени тускарор для построения искусственного водоема. Громкий скандал разразился вокруг Аляски. Ее жители — индейцы, эскимосы и алеуты — ведут упорную борьбу против захвата их земель властями, начавшегося после того, как в 1959 году Аляска была провозглашена американским штатом. Ее коренные жители пытаются отстоять свой край, ссылаясь на то, что Соединенные Штаты не покупали Аляску у России в 1867 году, а лишь приобрели права на взимание налогов и на управление территорией. Дело жителей Аляски представляют многие виднейшие юристы страны, в том числе бывший член Верховного суда США Артур Голдберг и бывший генеральный прокурор Рамсей Кларк. Индейцы, эскимосы и алеуты соглашаются продать правительству 90 процентов земли за 500 миллионов долларов при условии, что им гарантируют неприкосновенность оставшихся десяти процентов — около 40 миллионов акров. Но правительство методически сгоняет их с насиженных мест, не помышляя ни о какой компенсации.

Борьба индейцев в защиту своих земель и водоемов пользуется все более растущей симпатией у американской общественности, в особенности среди студенческой молодежи. Конечно, она ведется давно. Но раньше ее как-то «не замечали». Однако сейчас, когда загрязнение окружающей среды приняло в Соединенных Штатах грандиозные масштабы и стало одной из главных проблем, причем не только экономической, но и политической, белые американцы начали заново «открывать» американцев краснокожих, начали учиться у них любви к природе, умению жить в гармонии с ней. В Билле о правах свободной территории Алькатраз можно прочесть следующие строки: «Каждый день, выходя в море на лодках, мы видим воду, замутненную мусором и отбросами. И наши сердца наполняются печалью. Воздух, окружающий нас, загрязнен. За ним не видно солнца. А ведь солнце дарует нам жизнь. Без солнца земле грозит смерть. Разрушение природы означает разрушение человека».

— Когда мы впервые высадились на Алькатраз, остров напоминал гигантский мусорный ящик, — говорит Джон Труделл. — Кругом все было загажено. Растительность вытоптана. Ни один из тридцати пяти туалетов не действовал. Мы драили Скалу, как корабль. Но возникла проблема — куда девать мусор, железный лом, отходы? Тюремные власти поступали просто — сбрасывали все в океан. Но мы не можем так делать. Запросили береговую службу, чтобы присылала регулярно баржу-мусоропровод. В ответ получили издевательский отказ. Захотели провезти на остров мусороуборочный «пикап» — не разрешили. Ведь мы для них не люди, а человеческие отбросы.

И тем не менее новые хозяева Алькатраза кое-как управлялись. Остров постепенно колонизировался. Женщины привели в божеский вид тюремную кухню и столовую, отделенные друг от друга железной решеткой. Снова заработали огромные медные чаны, в которых когда-то варили баланду для гангстеров. На покрытом цементом дворе, где прогуливали заключенных, устроили детскую площадку — загончик с песком, качели. Правда, для этого пришлось убрать колючую проволоку, что стоило немалых трудов. Тюремный госпиталь, как наиболее приспособленный для жилья, стписали пожилым. Им же достался блок для особо опасных преступников — в нем сохранились нары, железные, с дырочками, выкрашенные в веселый зеленый цвет.

— Мы отвели этот блок старикам еще и потому, что они безграмотные и надписи на стенах не будут оскорблять их, — сказал мне Алвин, когда мы путешествовали вместе с ним по Алькатразу.

Алвин был прав. Образцы тюремного фольклора, запечатленные на века для будущих поколений на стенах блока, выглядели настолько смачно, несмотря на выцветшие краски и чернила, что спать под их сенью человеку грамотному было бы и впрямь неудобно.

Молодоженам достались карцеры, или «холлы», как они именовались на жаргоне их бывших обитателей. В этой разрядке тоже был свой резон. В Алькатразе все камеры хотя и на замке, но нараспашку. Они не имеют четвертой стены. Их заменяет решетка. Исключение составляют карцеры. Кроме того, молодожены, еще не обремененные семьей и семейным скарбом, вполне могли обходиться «однокомнатными квартирами» с минимумом удобств — умывальник, параша, вделанные в стены стол, стулья, нары.

Наконец, новые обитатели Алькатраза объединили в лучших традициях Сессила де Милля часовню и кинозал и устроили на их месте нечто вроде парламента.

И лишь обшитый дубом роскошный оффис начальника тюрьмы остался неиспользованным. Члены совета — руководящая семерка — категорически отказались занять его. Во-первых, давила символика, чувство которой столь сильно развито у индейцев. А во-вторых, советники хотели жить, как все, без привилегий и помпы.

Обо всем этом мне поведал мой островной Вергилий — Алвин, с которым я плутал по семи кругам тюремного ада. Я уже не застал преобразенный Алькатраз. Меня встретила мрачная, пустая, ветшающая суперкаталажка. Не дымились медные чаны на кухне. Не копались в загончике с песком дети. Вместо качелей висели обрывки веревки. Не судачили старики в блоке для особо опасных преступников. Не ворковали по карцерам молодожены. Не заседал парламент под сенью креста и экрана. Длинная рука «великого хонки» и здесь достала индейцев. Лишив остров воды, власти спустя некоторое время прекратили подачу электроэнергии. Тьма и холод завладели Алькатразом.

Защитники острова не сдавались. Они медленно отступали, ведя тяжелые арьергардные бои. С материка были привезены работающие на бутановом газе «печи Колемана» — для отопления — и керосиновые лампы — для освещения. Несколько позже на пожертвования индейских племен, живущих в районе Сан-Франциско, были куплены два небольших генератора. Однако сражаться с холодом и мраком гигантской тюрьмы эти генераторы, печи и лампы, конечно, не могли. Тем более что на Алькатразе почти все время дуют пронизывающие ветры, от которых негде укрыться.

И вот обитатели острова, покинув тюрьму, переселились в двухэтажное черное и неказистое здание, где раньше помещалась тюремная стража. Его назвали «Айра Хэйес хаузом», то есть «Домом Айра Хэйеса», в честь индейца, морского пехотинца,

легендарного героя второй мировой войны, водрузившего американский флаг над Иво-Джимой.

— Сейчас наше положение значительно осложнилось,— говорит Чарли.— Дело не в отсутствии электричества как такового. Его нет и в большинстве резерваций. Так что мы к этому уже давно привыкли. Но без электричества нет рефрижераторов, а без рефрижераторов — свежей пищи. Остров сидит на одних консервах. Здесь негде охотиться, и рыба ловится плохо. Стариков мы уже отправили на берег. Осталась одна молодежь. Но у многих дети. Сейчас на Алькатразе около тридцати ребятишек. Месяц назад у одного из наших советников родилась двойня — мальчики. Мы отметили это событие как большой праздник. Ведь они не только первые индейцы, родившиеся на Алькатразе, но и первые за многие века индейцы, родившиеся свободными на свободной земле. Однако детям нужен не только воздух свободы. Нужны вода, молоко, свежие фрукты, овощи.

— Главное, вода. Без электричества мы еще как-нибудь обойдемся. Но отсутствие воды в определенных условиях равносильно смерти,— добавляет Джон Труделл.

Эти «определенные условия» однажды чуть было не погубили остров. В начале июня под покровом ночи на Алькатраз высадилась группа неизвестных. Пронзенный Стрелой до сих пор не может простить себе эту оплошность. Неизвестные подожгли маяк, дом начальника тюрьмы и тюремный флигель, в котором индейцы оборудовали свой госпиталь. Тушить пожар было нечем. Ценою огромных усилий колонисты изолировали очаги огня, но сами здания спасти не удалось. Я видел их пепелища. Они служат грозным напоминанием о том, что «великий хонки» не расстается с надеждой выкурить индейцев с Алькатраза.

— Тень террора непрестанно витает над нами, в особенности над членами совета,— рассказывает Чарли.— Наши семьи, живущие на материке, стали мишенью постоянных угроз и прямого насилия. А что они сделали с Ричардом Оксом?!

Ричард Окс, герой штурма Алькатраза, автор его Декларации независимости и Билля о правах, уже с апреля месяца лежит в одной из больниц Сан-Франциско. Он был зверски избит опять-таки «группой неизвестных». Окса доставили в госпиталь в безнадежном состоянии. На нем не было ни одного живого места. Лицо — кровавое месиво, отбитые внутренности, переломанные конечности. Как он выжил, одному богу известно. А его медленное исцеление — тоже чудо.

Но беда не ходит в одиночку. Расисты привели в исполнение одну из своих самых мерзких угроз — убили дочь Окса маленькую Ивонну. Память о ней, об этой невинной жертве «великого хонки», бережно хранится жителями Алькатраза. И невозможно без слез наблюдать за детьми острова, когда они, взявшись за руки, водят хороводы и поют песню об Ивонне, написанную индейским поэтом Джерри Утесом Онеидой:

Мы скорбим о гибели девочки,
Мы бьем в барабаны из радуги,
И наши голоса доходят до солнца,
Доходят и ночью и днем.
Наши руки замкнуты неразрывной цепью,
И наш танец будет длиться вечно,
И вечно мы будем оплакивать тебя —
Девочка, ребенок, сестра, песня.
Мы плачем по тебе,
И по тебе скорбят
Земля, птицы, цветы и люди...

Под постоянным страхом смерти живут и родные Чарли — мать и шестеро сестер, родные и близкие других членов совета острова.

— С ними обращаются, как с заложниками,— говорит Чарли.— Мы не напрашиваемся на индейское Сонгми, но и отступать тоже не собираемся. Рано или поздно они придут на остров. Мои предчувствия никогда меня не обманывали. Нас уже объявили преступниками и заговорщиками. Мы вне закона.

— Намерены ли вы сопротивляться?

— Сопротивление будет. Какие оно примет формы, предсказывать не берусь. Но в одно верю свято — они могут убить нас, но не наш дух.

На Алькатразе нет оружия. Пронзенный Стрелой и его дружина располагают лишь томагавками, вышитыми на их куртках. Остров «демилитаризован» индейцами сознательно, чтобы не дать федеральным властям повод для вторжения. Официальные лица и реакционная печать упорно распространяют слухи о том, что индейцы якобы создали на Алькатразе подземный арсенал, что каждую ночь на острове устраиваются пьяные оргии, что в колонии процветает проституция и вандализм, что в суда, проходящие мимо острова, швыряют бомбы и так далее.

— Все это гнусная ложь,— говорит Чарли.— Общественность симпатизирует нам. Поэтому власти добиваются дискредитации обитателей Алькатраза, их правого дела. Там, наверху, понимают, что если клеветническая кампания против нас увенчается успехом, им легче будет расправиться с нами. Никто не вступится, не посочувствует.

Однажды — дело было в конце августа — какая-то яхта с туристами подплыла к острову, и ее пассажиры стали насмехаться над индейскими ребятами, игравшими у пирса. Один из них, разозлившись, схватил свой самодельный лук и выпустил из него стрелу в обидчиков. Стрела упала в воду, не долетев до яхты. Власти немедленно уцепились за этот инцидент и раздули его до размеров грандиозной морской баталии. Разбирательством «дела о стреле» занялось непосредственно министерство юстиции.

И вот тогда индейцы действительно пустили в ход оружие — оружие смеха. Они устроили церемонию «всеобщего и полного разоружения» Алькатраза. Церемония открылась выступлением члена совета острова Ла Нады Минс.

— Насилие не наш образ жизни,— сказала она.— Вот лук, из которого была выпущена злополучная стрела. Других стрел на острове нам обнаружить не удалось. Правда, мы конфисковали два игрушечных пистолета. Поскольку они вызывают приступ паранойи у правительства Соединенных Штатов, наш совет решил провести всеобщее и полное разоружение острова и выбросить в океан все имеющиеся на Алькатразе военные игрушки.

Затем Ла Нада Минс передала лук и револьверы Чарли, и он с торжественным выражением на лице швырнул их в воды залива Сан-Франциско. Кругом все засмеялись. Только владельцы оружия плакали и молили вернуть его им. Однако мольбы сторонников «гонки вооружений» оказались тщетными.

История с затоплением игрушек стала известна на западном побережье, а вскоре через газеты о ней узнала и вся страна. Юмор индейцев был оценен по достоинству. Их стрела попала в цель, а министерство юстиции — в дурацкое положение. «Дело о стреле» пришлось прекратить...

Власти применяют против обитателей Алькатраза политику кнута и пряника. «Континентальная блокада» сопровождается хитроумным дипломатическим маневрированием. Смысл его на первый взгляд может показаться несколько странным и неожиданным — Вашингтон хочет узаконить владение Алькатраза индейцами! Министерство внутренних дел, «Бюро по делам индейцев», власти штата Калифорния только об этом и мечтают!

Еще в марте 1970 года правительство предложило индейцам следующий план: Алькатраз передается им в аренду на пять лет за символическую мзду в один доллар. По истечении этого срока аренда будет автоматически возобновляться. Более того, индейцам начнут платить сто тысяч долларов ежегодно «за содержание и обслуживание маяка». Что же касается самой территории острова, то на ней будет разбит «Индийский национальный парк-музей».

Обитатели Алькатраза решительно отвергли этот план.

— Почему? — спросил я Чарли.

— А потому, что он начисто перечеркивает смысл и идею захвата острова. Мы пришли на Алькатраз как его законные владельцы. План Вашингтона превращает нас из владельцев в арендаторов. Мы пришли на Алькатраз, чтобы зажечь факел национально-освободительной борьбы, а нам предлагают присмагивать за маяком. Мы пришли на Алькатраз в знак протеста против системы резерваций, а нам предлагают создать еще одну — образцово-показательную.

— Парк-музей,— возмущается Ла Нада Минс.— Идиллический уголок, почти что рай, по которому предупредительные индейские гиды будут водить любопытных тури-

стов и показывать им этнографию и экзотику краснокожих — статуи и маски, томагавки, и трубки мира, и, конечно же, головные уборы вождей. Как все это противно! Ведь мы не музейные экспонаты, а живые люди. Да и нашим предкам памятники не нужны. Память о них — в наших сердцах. А если кого-либо интересуют головные уборы индейских вождей, то мой им совет: путь пошлются по кабакам и барам. Сейчас стало модным украшать их портретами «чифов», индейскими религиозными символами, туалетами, утварью. Еще совсем недавно на дверях этих заведений можно было прочесть: «Собакам и индейцам вход воспрещен!» Лично мне подобные надписи кажутся менее оскорбительными, чем пивные бочки, украшенные статуями индейских богов.

— «Великий хонки» привык все решать за нас,— перебивает Чарли экспансивную Ла Наду.— Так было в прошлом. Так продолжает оставаться и по сей день. Разве мистер Хиккел удосужился приехать к нам и спросить, чего мы хотим, чего добиваемся? Он, видите ли, опасается, как бы переговоры с «Индейцами всех племен» не привели к международному признанию Аляктраза! Бред, скажете вы? Нет, это не бред, а образ мышления колонизатора. Он сам придумывает законы и сам вершит по ним суд. До 1924 года индейцы даже формально не были полноправными гражданами Соединенных Штатов. Гражданство нам даровали, впрочем, как и само название — индейцы. Кто-то заблудился в океане в поисках Индии, а расплачиваться за это приходится нам. Ну, ладно, черт с ним, с названием. Теперь вот обещают даровать свободу. На своих условиях, разумеется. Но ведь свобода, которую даруют, да еще к тому же обставляют всевозможными условиями, уже не свобода! Она напоминает мне решетки на тех окнах тюрьмы Аляктраза, которые имеют форточки. Вы их, наверное, видели: стальные прутья, выгнутые вовне, чтобы форточка могла открываться. Так вот, мы хотим разбить решетки, а дядя Сэм — сатане он дядя, а не мне — милостиво соглашается лишь слегка погнуть их. Парк-музей — это форточка. Стаги, знаете ли вы, как называется разработанный министерством внутренних дел план реокупации Аляктраза? Операция «Парк»! Десантные баржи давно стоят наготове у Острова сокровищ. Ждут только приказа... Операция «Парк»! Неплохо придумано, а?

* * *

Начало смеркаться. Жизнь на острове стала постепенно замирать. Угомонилась детвора. Взрослые разбрелись по домам. Причал опустел. Пронзенный Стрелой объехал на велосипеде свои владения, проверил посты. Затем он уселся на раскладушку, разложенную перед сторожевой будкой, и принялся чинить сетку баскетбольной корзины. В руки ему тыкались щенята, видимо, просили дать поесть чего-нибудь. Их родители — две немецкие овчарки устрашающих размеров — стояли несколько поодаль, зорко наблюдая за Пронзеным Стрелой и своими детенышами. Ушла Ла Нада. Через несколько минут начинался очередной вечерний репортаж радио «Свободный Аляктраз», и ей надлежало просмотреть информацию, шедшую в эфир.

На пирсе остались Чарли и я. Уложив свои безжизненные ноги на костыли, прислоненные к балюстраде, Чарли сосредоточенно молчал, разглядывая их не то с сожалением, не то с укоризной. Молчал и я. Волны равномерными и несильными шлепками бились об остров.

— Древняя индейская легенда гласит, что возрождение нашего народа начнется с острова, расположенного в пасти залива на Западе,— неожиданно произнес Чарли.— Аляктраз полностью отвечает описанию этого острова.

— Ты веришь в легенды, Чарли?

— Я верю в мудрость народа. Аляктраз — лишь наконечник копья. Им вполне мог стать любой другой остров и на Западе и на Востоке. Им вполне мог стать любой клочок индейской земли пусть не в пасти залива, а посреди пустыни. Главное в том, что копье наконец поднято...

Поднятое копье. Мне вспоминается знаменитая статуя Фрэйзера «Конец тропы». Она изображает индейского воина на коне. Всадник и лошадь уперлись во что-то непреодолимое. Позади проигранное сражение — впереди рабство и смерть. Безнадежность сковала их члены, пригнула всадника к гриве коня, а коня — к земле. Это конец тропы.

Дальше ехать некуда и незачем. Некогда грозное копьё беспомощно свисает вниз, готовое вот-вот выскользнуть из обесилённых рук индейского воина.

Джеймс Эрл Фрэйзер изваял «Конец тропы» в 1915 году для Международной тихоокеанской выставки в Сан-Франциско, посвященной открытию Панамского канала. После окончания выставки статуя, оставленная без внимания, медленно разрушалась. Крошился гипс, обнажался проволочный каркас. Сам скульптор хотел, чтобы его воина отлили в бронзе и поставили на холме Президио, господствующем над заливом Сан-Франциско, в память о жестоком истреблении индейцев американского Запада. И вот недавно, в конце 1970 года, статую приобрёл и реставрировал музей истории Запада «Ковбой — холл славы» в Оклахоме. Дирекция музея обратилась к президенту с просьбой объявить статую национальным памятником, учитывая её «символическое значение».

Да, скульптура «Конец тропы», размноженная в тысячах копий и в сотнях тысяч литографий, символична. Резец Фрэйзера как бы подводил итог свершениям сабли Кастера. Кто мог предположить, что индейский воин вновь выпрямится в седле и поднимет копьё? Кто мог предположить, что у тропы, заведшей его в тупик, будет продолжение? Кто мог предположить, что на смену медленному угасанию в резервациях придет стремительно распространяющийся пожар национально-освободительной борьбы и некогда смиренные «Том-Томы» с вызовом ударят в боевые тамтамы?

Алькатраз стал законечником поднятого копыя, стал новым символом веры для индейцев, полюсом притяжения для их трехсот разобщенных и раскиданных по всей Америке племен. Пример Алькатраза заражает и заряжает. В Сизэттле индейцы атакуют Форт-Лоутон, в Нью-Йорке — остров Эллис. Они высаживают свой десант на острове Гремучей Змеи среди калифорнийского озера Клиа-Лейк и захватывают маяк национального лесного заповедника Гайаваты в Мичигане. Вспыхивают волнения в другом национальном парке — Маунт-Лэрсене и в индейских гетто Миннеаполиса. Проходят бурные демонстрации в Денвере и Кливленде. Апачи из резерваций Джикариллы и навахо из резерваций Рама изгоняют белых чиновников и провозглашают самоуправление. Племя чипева создает «индейский патруль» — парни в красных куртках неотступно следят за действиями полиции, «наводящей порядок» в резервациях, и не дают ей спуска. В штате Вашингтон племя тулаликов завладевает лососевым заповедником, когда-то принадлежавшим ему. «Нас низвели до уровня дикарей. Даже у медведей в лесу больше прав, чем у индейцев в резервациях», — говорил Джанет Макклауд, возглавлявшая поход тулаликов на заповедник. В штате Мэн племя пассамаводли воздвигло баррикады на автострате, проходящей по территории его резервации, и перекрыло движение транспорта.

Конец тропы? Нет, начало борьбы! Борьба обещает быть жестокой, тропа — извилистой. Но индейский воин поднял копьё и, что, быть может, еще важнее, поднял голову. Недаром на маяке Алькатраза — один подле другого — укреплены два плаката. «Верните индейцам то, что им принадлежит!» — требует первый. «Я горжусь тем, что я — индеец!» — провозглашает второй. Потомки первых американцев не только изгоняют колониальных чиновников из своих резерваций; они выдавливают из самих себя рабов, капля по капле.

Конец тропы? Нет, конец терпению!

Пронзенный Стрелой продолжает чинить сетку баскетбольной корзины и вполголоса напевает:

Этим летом вернусь
В отчий вигвам,
Спрячу голову в убор из перьев
И стану стариком...

Я и Чарли некоторое время прислушиваемся к пению Пронзенного Стрелой. Затем Чарли трогает меня за плечо и, кивая головой в сторону поющего, говорит:

— Не верь ему. Не вернется он в отчий вигвам ни этим летом, ни будущим. И голову не спрячет в убор из перьев. И стариком не станет. Если умрет, умрет молодым. Старики уповали на горы. Пересидим за ними бледнолицых, переживем их, учили они нас. Но нам больше не сидится. И есть ли смысл переживать других, если ты сам не живешь, а прозябаешь?

Чарли снимает руку с моего плеча и решительно повторяет:

— Нет, не вернется он в отчий вигвам!

— Не вернется,— искренне соглашаюсь я, глядя на полуобнаженного гиганта, на его изумительно бугрящиеся мускулы и широкую, в татуировках грудь.— Конечно, не вернется!

Уже совсем стемнело, когда шкипер Джим Маккормик привел «Прозрачную воду» в последний рейс на Алькатраз. Я попрощался с Чарли, прикрепил к куртке Алвина значок с видом московского Кремля, хотел было сказать им несколько полагающихся в подобных обстоятельствах слов с пожеланиями успехов в борьбе, но, убоявшись пошлости, промолчал и неловко заторопился к скалистому обрыву, у которого болталась шхуна. Пронзенный Стрелой, отложив в сторону баскетбольную корзину, стоял над железной лестничкой, отбирая пропуска у отъезжающих. Он делал это с таким выражением лица, словно пересчитывал скальпы.

— Поехали? — спросил его шкипер.

— Поехали,— отозвался Пронзенный Стрелой.

Сан-Франциско летел нам навстречу мириадами мерцающих огней. Они ползли с пляжей, карабкались по холмам и уходили в небо, сливаясь со звездами. Проектора с военных баз Президио и Окленда занимались рутинной аускультацией горизонта. Было просто невозможно вырваться из этого электрического очарования. Мы проскочили мимо городского пирса, уходящего в океан гигантской запятой. Он был полон людей, удивших рыбу. Они сидели неподвижно, как камни.

Здесь шхуна развернулась, и я на какое-то мгновение очутился лицом к лицу с Алькатразом. Остров был погружен в чернильную тихоокеанскую калифорнийскую мглу. Лишь у восточного выступа Скалы слабо светились окна. Наверное, в «Доме Айры Хэйеса»,— подумал я.

Шкипер выровнял «Прозрачную воду», и Сан-Франциско вновь полетел нам навстречу мириадами мерцающих огней. Но его электрическое очарование безвозвратно исчезло. Город выглядел чудовищно разбухшим вампиром.

* * *

«Куда? На Алькатраз? А на Луну вы, случайно, не хотите?» — вспомнил я саркастическое замечание кассира из «Бэй круиз». До чего же усложнились в наше время критерии прогресса и цивилизации! Как раз в ту самую ночь, когда индейцы, предводительствуемые Ричардом Оксом, высадились на Алькатраз, космический корабль «Аполлон-11» доставил на Луну первых людей. История, оказывается, несмотря ни на что, еще не разучилась шутить.

Другое дело, что ее шутки уже не вызывают смеха..

Сан-Франциско — Нью-Йорк.



С. С. СМЕРНОВ

★

МЕСЯЦ В ПЕРУ *

ИНКИ

Ишло время нашей поездки в Куско — город, который четыре века назад был столицей империи инков. Лежит он в глубине Кордильер, на высоте трех тысяч четырехсот метров над уровнем моря, в долине, которую со всех сторон обступили горы. Все время полета мы почти не отрывались от иллюминаторов — внизу под нами развертывались картины, полные сказочного величия и суровой красоты. Горы, могучие и хмурые, то оголенные — красновато-желтые, то темно-зеленые — покрытые густым лесом, громоздились от горизонта до горизонта. По лабиринтам глубоких ущелий извивались реки, и даже отсюда, с высоты, было видно, что они стремительные и бурные. Кое-где горы раздвигались, уступая место нешироким зеленым долинам, и виднелись тесно сгруппированные домики деревень с поднимающимися над ними куполами храмов. И рядом — зеленые поля, порой взбирающиеся по горному склону лестницей террас.

Самолет стал снижаться. Впереди зазеленела долина, а за ней открылась густая россыпь красных черепичных крыш.

В Куско мы приехали как гости местного университета, хотя была пора студенческих каникул. Нас встречали ректор и преподаватели — Уилберт Салас и Карлос Нуньес, ставшие нашими неразлучными спутниками и гидами во всех путешествиях вокруг Куско. Внешне чем-то похожие друг на друга — оба невысокие и плотные, — они, видимо, были друзьями. Только Нуньес с большой, коротко остриженной головой и в темных роговых очках казался более серьезным и солидным, а подвижной, энергичный Салас то и дело сыпал остротами и шутками.

Ректор тут же уехал, сказав, что мы вскоре встретимся за обедом, а Салас и Нуньес повезли нас в небольшой туристский отель, скромно приютившийся на узенькой, как квартирный коридор, улочке неподалеку от центра. Они тут же уехали, пообещав вернуться через два часа.

Мы сидели в моем номере, обмениваясь первыми впечатлениями, как вдруг раздался стук в дверь и на пороге появился молодой человек явно индейского типа. Он извинился и спросил: те ли мы русские, что приехали из Советского Союза? Это был один из руководителей местной федерации профсоюзов. Он сказал, что в вестибюле отеля ждут руководители и активисты профсоюзных организаций Куско, которые пришли приветствовать советских гостей. Они понимают, что мы устали с дороги, но просят разрешения зайти на две-три минуты лишь взглянуть на нас и сказать свое «добро пожаловать».

Их было человек двадцать пять. Они шли по коридору гуськом с торжественно взволнованными лицами. Поочередно они подходили к каждому из нас, молча пожмали руку и крепко обнимали. Эти молчаливые рукопожатия и объятия были красноречивее любых слов — столько братского тепла и сердечности ощущалось в них. Пока в торжественной тишине длилась эта сцена, у меня и у моих товарищей от волнения подступал ком к горлу.

* Окончание. Начало см. «Новый мир» № 1 с. г.

Это были рабочие люди, бедно одетые, в стоптанных башмаках, с большими бугристыми ладонями, со следами нужды и лишений на изможденных лицах, молодые и старые, мужчины и женщины. Глаза у них радостно и растроганно светились, потому что они видели нас, гостей из той далекой страны, которая для каждого из них, рабочих людей, была примером и воплощением надежд на лучшее, справедливое будущее. И мы сами, видя эти обращенные на нас восторженные взгляды, вдруг почувствовали свою значительность — не личную, а общественную, гражданскую — и с какой-то особой остротой постигли ответственность и важность своей миссии.

Они стояли, молча и неотрывно глядя на нас. Большинство их, видимо, было чистокровными индейцами — смуглые удлинённые лица, черные с блеском волосы, орлиные носы. Молодой руководитель заторопил наших посетителей, сказав, что мы должны отдыхать с дороги, и вся церемония повторилась в обратном порядке — гости обнимали каждого из нас и один за другим скрывались за дверью. Хотя мы больше так и не видели никого из них, мы не раз вспоминали молчаливое и прочувствованное «добро пожаловать», каким встретили нас в первый час приезда хозяева этой древней земли.

Днем был обильный и вкусный обед с ректором и профессорами университета в загородном ресторане на открытом воздухе, обед с чинными тостами в начале и с веселыми, непринужденными шутками в конце. После этого нас снова отвезли в отель на отдых, а вечером повели в городской Дом культуры, где мы снова смотрели перуанские народные танцы.

Обзор города был назначен на следующий день. Салас и Нуньес не хотели слишком загружать нас в первый день, так как непривычному человеку надо сначала акклиматизироваться в Куско. Три тысячи четыреста метров над уровнем моря — это не шутка! И хотя на первых порах влияние этой высоты не очень заметно, оно вскоре неизбежно сказывается. Не то что ощущаешь разреженность воздуха — правда, иногда хочется лишний раз сделать вдох, но, в общем, это не так уж беспокоит. И сердце как будто не болит — просто начинаешь чувствовать, что оно у тебя есть, не больше. Высота — вернее, недостаток кислорода на этой высоте — проявляет себя иначе. Пусть даже ты хорошо отдохнул, нормально выспался и утром встал свежим и полным энергии, но пройдут три-четыре часа — и появится такая усталость и апатия, слово ты все время занимался изнурительной физической работой. И делаешь все через силу, с трудом преодолевая охватывающую тебя сонливость. Говорят, что через несколько месяцев приездные приспособляются и чувствуют себя вполне сносно, но нам проверить это не довелось: мы прибыли в Кордильерах всего неделю. Впрочем, столько интересного повидали мы за эту неделю, что коварное влияние высоты ни в коей мере не могло омрачить впечатления от нашей поездки.

Прилетев из Лимы в Куско, попадаешь сразу в другой мир. Нынешняя и древняя столицы Перу разительно не похожи друг на друга. Лима бурлит потоками машин, пестрыми толпами пешеходов, вечно спешит, куда-то несется и днем и ночью. Куско в сравнении с нею — тихий, провинциальный город. Лима — жаркая, залитая горячим солнцем. Куско, окруженный хмурыми горами, часто видит над собой такое же хмурое, дождливое небо; здесь к вечеру бывает довольно прохладно, а ночью даже холодно. В Лиме ее прошлое — старые дома, дворцы и соборы — уже задавлено новым, современным и лишь едва заметно проступает сквозь него. Куско, особенно в центральных кварталах, — это хорошо сохранившийся старый город типичной испанской колониальной архитектуры, с домами под красной черепицей, с балконами по фасадам, с внутренними дворами, открытыми галереями и колоннадами. Облик современной Лимы определяют многоэтажные стеклбетонные здания. Над Куско господствуют церкви, множество старых церквей и соборов, колокольни и купола которых четко вырисовываются на фоне гор.

Но разница между этими городами сильнее всего заметна на уличной толпе. Поток пешеходов в Лиме обезличенно космополитичен, как в любой другой американской или европейской столице, в этом потоке стирается индивидуальность лиц и костюмов. В Куско с его ста тысячами жителей народу на улицах, конечно, гораздо меньше, зато и лица горожан куда приметнее. Здесь преобладает индейский тип, национальные индейские костюмы. Толпа красочна: пестро расшитая шерстяная одежда, яркие шляпы, накидки — пончо — и вязаные сумки, переброшенные через плечо. Попад на улицу

Куско, нельзя не почувствовать, в какой древней и своеобразной стране находишься. Никакие толпы туристов, главным образом североамериканских, не могут ослабить этого впечатления, а туристов в Куско предостаточно — недаром этот город называют археологической столицей Южной Америки. Просто туристы тут в отличие от Лимы не растворяются в уличной толпе, не сливаются с нею — их всегда отличишь от местных жителей.

Утром Салас и Нуньес заехали за нами на незаменимом для путешествий по горным дорогам «лэндровере» — машине типа нашего «ГАЗ-69». Через несколько минут мы были на центральной площади города, называвшейся, конечно же, площадью Оружия, над которой высоко вознес свои две колокольни кускинский собор.

Но начали мы не с собора, а с раскинувшегося тут же, неподалеку от него, прямо на мостовой, утреннего рынка. Это было красочное зрелище — груды алых помидоров, золотистого крупного лука, оранжевой моркови и такие же разноцветные одежды индейцев, приехавших из окрестных горных деревень. Старая индианка с темным, морщинистым лицом дымила трубкой над кучей привезенного на продажу зеленого перца, а рядом, старательно отбирая стручки покрупнее, склонилась молодая женщина в домашних красно-белых пончо и юбке, босоногая, несмотря на утреннюю свежесть. Из пестрого полотнища, концы которого связаны узлом на груди, за спиной женщины торчала головка черноволосого младенца. Дальше — ларьки с разношерстным городским ширпотребом для крестьян, лотки с сувенирами для туристов, больше всего типичной для Куско и его окрестностей черной керамики — приметные «кускинские» бычки, крутоугогие, свирепого вида, с блестящими бусинками вместо глаз.

Куско — город церквей. В давнем прошлом центр религии Солнца, он с приходом испанских завоевателей стал католическим центром Перу. Богомольные конкистадоры и фанатики-монахи, захватив «капище сатаны», как они называли языческий Куско, старательно разрушали все храмы и дворцы инков и застраивали город церквями и соборами. Сейчас здесь несколько десятков католических храмов, где днем в прохладном полумраке увидишь лишь двух-трех благочестивых прихожан да туристов, любующихся кружевной резьбой позолоченных деревянных алтарей и потемневшими от времени картинами на стенах.

В Куско — своя школа религиозной живописи, очень своеобразная и глубоко реалистическая. Из чисто внешних признаков для нее характерны обильное использование позолоты и почти неперенное присутствие на полотне цветочков — букетов или гирлянд. Такие картины обычно заключены в большие резные рамы, почти всегда с орнаментом в виде ветвей и листьев, типичным для колониальной испанской живописи. Стоя перед картинами этой школы, часто замечаешь в лицах Христа, мадонны и святых характерные индейские черты, а нимб вокруг головы богородицы порой походит на солнечный диск — след древней религии, неведомо как ускользнувший от зоркого глаза отцов церкви и святой инквизиции.

На центральной площади стоит еще один католический храм — церковь Ордена иезуитов, рядом с которой находится здание бывшей иезуитской школы, где теперь размещается часть факультетов Кускинского университета. Салас и Нуньес привели нас на университетский двор, окруженный каменной галереей с колоннами. Двор был пуст, а аудитории закрыты: ведь были студенческие каникулы и это старинное здание казалось заброшенным, тем более что часть колоннады лежала грудой каменных обломков — года два назад университет пострадал от землетрясения и пока еще восстановлен не полностью.

Кордильеры, как известно, одна из самых «тряских» областей земного шара. Мощные сейсмические бури то и дело прокатываются по странам Южной Америки на всем протяжении этой длинной горной цепи, и мы часто читаем в газетах о бедствиях, причиненных подземной стихией в Перу, в Чили, в Боливии, в Эквадоре. То, что произошло в прошлом году в северных горных провинциях Перуанской республики, было одним из самых катастрофических землетрясений, когда-либо случившихся на земле. К счастью для Куско, очаг его находился далеко и бедствие не тронуло этот район, но вообще жители города за время его существования не раз испытывали сильные землетрясения, сопровождавшиеся и разрушением домов, и человеческими жертвами. Одна из главных городских святынь, хранящихся в соборе, — раскрашенная статуя

Христа — согласно поверью, призвана защищать Куско от землетрясений. Когда начинаются подземные толчки, эту статую выносят на площадь, и толпа верующих во главе со священниками возносит молитвы «сеньору де лос Темблорес» (владыке землетрясений).

Древние инки, строя дворцы и храмы, учитывали испытания, которые предстояли этим зданиям. Постройки их отличались необыкновенной массивностью, и не столько подземная стихия, сколько испанское завоевание доконало памятники великой империи Тавантинсуйю.

Попав в Куско и в первый раз пройдя по его улицам, испытываешь недоумение: где же прежняя столица инков, неужели от нее так ничего и не осталось? Перед тобой типичный колониальный испанский город, в котором, как кажется сначала, ничто не напоминает о его давнем, доколумбовском прошлом. Но свернешь в узкую улочку, где едва проедет машина, — и с удивлением останавливаешься у первого же дома. На высоте второго-третьего этажа это обычный колониальный дом — беленый, краснокрышый, с кованой решеткой на окнах, с балконами-беседками. Но метрах в двух от тротуара — побеленная стена, глухая, без окон, стоит под непривычным углом, наклонена внутрь дома и сложена из больших, гладко обгесанных серых камней. Никаких следов скрепляющего их цемента нет, но камни так плотно пригнаны друг к другу, что между ними не просунешь и лезвия ножа. Эта непривычная глазу кладка когда-то была частью здания, возведенного древними каменщиками, а испанцы использовали ее как основание для своей постройки.

В соседней улочке такие же наклонные стены поднимаются уже по обеим ее сторонам. А если пройти от центральной площади несколько кварталов туда, где высится одна из самых знаменитых церквей Куско — храм Святого воскресения, то можно увидеть, что одна стена этой церкви тоже построена из тяжелых каменных плит, идеально плотно пригнанных друг к другу, да так, что они образуют правильную полукруглую поверхность. Эта стена — остаток глазного святилища инков — храма Солнца — Кариканчи. Церковь Святого воскресения построена на фундаменте этого монументального сооружения древних перуанцев. Святые отцы, разрушив ненавистное им «прибежище дьявола», отнюдь не побрезгали использовать фундамент и стену храма Солнца при сооружении церкви. Практично отнеслись они и к другим остаткам инкских зданий. Главный городской собор стоит на мощном фундаменте бывшего дворца Инки Виракочи, а основанием иезуитской церкви на Пласа де Армаз служит фундамент храма Змей. Прочная каменная кладка, на которую опираются церкви, надежно защищает их от землетрясений.

Какого высокого мастерства достигли инки в строительном деле, мы поняли, лишь когда увидели крепость Саксайгуаман.

Она стоит на горе у северной окраины города, господствуя над ним. Вероятно, современный фортификатор не нашел бы лучшего места для укрепления, прикрывающего подступы к Куско. И крепость эта действительно сыграла важную роль в борьбе Манко Капака Второго с испанцами. Осадив Куско, его армия сумела завладеть крепостью и обрушивала оттуда на испанцев, оборонявшихся в центре города, град камней и стрел. Иногда индейцы пускали горящие стрелы и поджигали тростниковые крыши домов так, что коккистадоры оказывались в кольце пожаров и едва не задохнулись от дыма. Они поняли, что погибнут, если не отобьют у противника крепость. Но отбить ее штурмом было невозможно. И испанцы прибегли к хитрости — тайком обошли ее и проникли внутрь. Захват крепости дорого обошелся завоевателям, но, отбив Саксайгуаман и укрепившись там, они смогли выдержать осаду инков и дожидаться подкрепления.

Циклопические стены крепости выглядят сейчас так, словно ни время, ни землетрясения не властны над ними. Они производят впечатление необыкновенное, едва ли не более сильное, чем пирамиды египетских фараонов. Три могучие стены, концентрическими кольцами опоясывающие холм на разной высоте, сложены, подобно пирамидам, из каменных глыб в десятки и сотни тонн весом каждая. Но пирамиды построены из гигантских плит правильной прямоугольной формы, которые, как кирпичи, укладывались друг на друга. Глыбы же, лежащие в стенах Саксайгуамана, различны по форме — четырех-, пяти- и шестиугольные, а в одном месте я увидел и сфотографировал каменный монолит с девятью углами. По размеру они тоже неодинаковы: самые большие до-

стигают метров двенадцати в длину и пяти-шести в ширину, при полутора-двухметровой толщине. Во всех трех стенах крепости, нижняя из которых тянется на довольно большое расстояние, уложено свыше ста тысяч таких каменных глыб. Их вырубали в каменоломнях где-то далеко в Кордильерах и доставляли сюда по крутым горным дорогам, по мостам, переброшенным через бурные реки. Страшно подумать, сколько невысказанного человеческого труда вложено в это сооружение. А ведь оно создано народом, не знавшим механизмов, обладавшим лишь примитивными инструментами. Не удивительно, что эта крепость, как говорит предание, строилась восемьдесят лет (с 1440 по 1520 год) и ежегодно на постройке работало двадцать тысяч человек.

Но самое поразительное в том, что эти многотонные, многоугольные глыбы пригнаны своими поверхностями одна к другой настолько тщательно, что лежат плотнее, чем кирпичи в стене современного дома. Как это удалось сделать инкским каменщикам — остается загадкой. Да и с точки зрения военно-инженерного искусства крепость построена отлично. Ее внешняя нижняя стена зигзагами опоясывает холм, чтобы нападающие всегда были бы под угрозой флангового обстрела гарнизоном из пращей и луков. Если врагу все же удавалось взять штурмом эту стену и ворваться в первый ярус крепости, защитники ее со второго и третьего яруса прицельно поражали неприятеля камнями и стрелами. А если невозможно было удержать и второй двор, у гарнизона Саксайгуамана оставалась еще высокая верхняя площадка третьего яруса. Подготовленная к обороне, эта крепость поистине могла быть неприступной, и ее строители не повинны в том, что она не выполнила своего предназначения в борьбе против завоевателей.

СВЯЩЕННАЯ ДОЛИНА

Километрах в тридцати к северу от Куско Кордильерское плато, на котором стоит древняя столица Перу, как бы рассечено глубоким восьмисотметровым провалом. Это долина, когда-то промытая быстрой и бурной рекой Урубамбой.

Среди окрестных суровых гор просторная долина Урубамбы выглядит оазисом. Берега реки поросли лесом, вокруг городков и деревень раскинулись поля и фруктовые сады. Климат здесь мягкий, ровный, резко отличающийся от капризного, изменчивого климата Куско. Вот почему с давних времен Инка и придворная знать облюбовали это место для своей летней резиденции. Тут были построены дворцы и храмы, и часть года Инка и его приближенные проводили здесь. Долина Урубамбы потому и называется Священной.

Долина эта была, видимо, одним из важных сельскохозяйственных районов империи. Поля маиса и картофеля не только занимали низину по обоим берегам реки, но и поднимались широкими ступенчатыми террасами по склонам ближних гор. Эти террасы крестьяне обрабатывают и сейчас. А по заливным лугам и по горным пастбищам бродили стада лам. То был обильный, плодородный край, таким он остается и в наши дни.

Теперь Священная долина стала еще и туристической достопримечательностью Перу. Машины богатых североамериканских путешественников и комфортабельные автобусы туристских фирм каждый день отправляются туда из Куско. Уютные отели в городках над Урубамбой в летние месяцы забиты туристами; среди развалин инкских дворцов, храмов и крепостей жужжат кинокамеры, щелкают фотоаппараты; толпы иностранных гостей осаждают местные ярмарки и базары, где торгуют ковриками, шапками и домашними туфлями из мягкого меха ламы, куклами в национальных индейских костюмах, яркими пончо, глиняными быками, маленькими медными церковками со звенящими колокольчиками на башенках. Тут на площадях происходят красочные религиозные процессии и народные пляски, которые, судя по всему, не столько традиционны для местного населения, сколько служат приманкой для туристов.

Мы отправились в Священную долину из Куско утром. Асфальтовое шоссе тянулось сначала вдоль железной дороги, потом пересекло ее и свернуло на север. Оно вилось у подножия некрутых округлых гор — то голых, то лесистых, — иногда переваливало через их склоны и вело нас из долины в долину, часто резко отличавшихся одна от другой. Из желтой, почти бесплодной низины, поросшей чахлыми колючками, мы,

переехав склон горы, попадали на зеленые луга с яркими желтыми цветами или алыми маками. Погода была тоже под стать этому изменчивому пейзажу — то жарко пригрело солнце, то вдруг наплывали низкие серые тучи и начинал лить дождь.

Но вот вдаль показались уже высокие, припорошенные снегом вершины. Дорога круто вильнула и вывела нас на край глубокого обрыва. Внизу, почти на километр ниже нас, зеленела Священная долина инков. Видна была голубая лента реки в серых галечных берегах, квадраты маисовых полей и в густой темной зелени садов белые стены и красные черепичные крыши домов города Урубамбы. Дорога, спускаясь все ниже по крутому склону, выписывала замысловатые петли. Салас, энергично крутивший баранку, посмеиваясь, сказал, что такую дорогу тут принято называть Брижитт Бардо — ее неожиданные резкие повороты напоминают причуды капризной красавицы.

Мы благополучно спустились в затененный высокими деревьями городок и остановились во дворе комфортабельного туристского отеля. Был час обеда, и мы поели на застекленной веранде ресторана. Салас торопил нас — предстоял еще немалый путь.

За городом дорога повела на запад, вдоль по течению Урубамбы. Протяжно гудя и разбрызгивая лужи, наш «лэндровер» проскакивал через индейские деревушки. Босоногие темнолицые мальчишки, игравшие на асфальте, с криком и хохотом разбежались в стороны, а грязные и лохматые деревенские собаки с яростным лаем гнались за машиной.

Горы по обоим берегам реки становились все выше и заметно сближались. Мы подъезжали к каньону Урубамбы — горловине Священной долины, где река, стесненная скалистыми громадами, сужается и, бешено вскипая, уже несется вскачь. Шоссе теперь шло по самой кромке каменистого берега. Вскоре мы въехали на площадь городка Ольянтайтамбо — конечную цель нашего сегодняшнего путешествия.

В самом городке сохранились остатки построек инков. Но главное — он стоит у подножия высокой горы, на вершине которой находится знаменитая инкская крепость Ольянтайтамбо, сооружение не менее грандиозное, чем кускинский Саксайгуаман. С этой крепостью связана легенда о военачальнике Ольянтае, послужившая материалом для единственного известного нам театрального произведения инков. Фольклорная драма «Ольянтай», созданная на языке кечуа, была впервые записана, а потом переведена испанцами.

Содержание ее таково. В царствование Инки Пачакутека из простолудинов выдвинулся благодаря своей необыкновенной одаренности молодой человек Ольянтай, ставший военачальником. Дочь Инки — Кузи Койльор — и Ольянтай полюбили друг друга. У них родилась девочка Има Сумак. Инка, узнав об их святотатственной любви, заточил Кузи Койльор в пещеру, но своего любимца Ольянтая не казнил, а изгнал.

Став взрослой девушкой, Има Сумак, гуляя по дворцовым садам, слышала стенания, доносившиеся из пещеры, и не знала, что это страдает ее родная мать. Между тем тоскующий о любимой Ольянтай, находясь в крепости Ольянтайтамбо, поднял мятеж и задумал идти походом на Куско. В это время умер Пачакутек, и новый Инка — его сын Тупак Юпанки — отрядил против восставших войско под командой одного из своих военачальников. Тот прибегнул к хитрости — притворился, что тоже изгнан Инкой. Ольянтай, радуясь союзнику, устроил в его честь пир. Когда защитники крепости, охмелев, заснули, коварный военачальник ввел в Ольянтайтамбо свое войско и, захватив Ольянтая, препроводил его в Куско. Но Има Сумак уже проникла в тайну заточения матери. Она бросилась в ноги новому Инке, умоляя освободить мать. Благородные чувства взяли верх в душе Инки — он простил мятежного Ольянтая, назначил его правителем Куско и соединил узами брака с освобожденной из темницы сестрой.

Эта поэтичная драма пользуется большой популярностью у перуанцев. Она часто ставится на сцене, по ее мотивам создана опера. А крепость Ольянтайтамбо, уже сама по себе интересная как неприступное военное укрепление, овееяна к тому же романтикой этой легенды.

От окраинных домов городка, теснящихся у подножия горы, вверх по крутому склону гигантскими полутораметровыми ступеньками поднимались поля-террасы, сейчас поросшие только травой. Сбоку, рядом с этими великанскими ступенями, шла

обычная лестница для пешеходов, бесконечно длинная, которую мы одолели не без труда. Потом следовали развалины каких-то зданий — видимо, казарм, — и наконец на вершине высилась сама цитадель. Подобно каменным глыбам Саксайгуамана, гранитные плиты Ольянтайтамбо весят около двадцати тонн каждая. Вырубали их в каменоломнях, отстоящих отсюда на несколько километров. Можно представить себе, сколько подвижнического труда и изобретательности потребовалось строителям крепости, чтобы доставить и установить здесь эти монолиты.

Гранитная стена высотой в семь метров защищает вершину только с одной стороны — там, где склон горы, по которому мы поднимались, делает ее доступной для людей. С остальных трех сторон гора отвесно обрывается в долину Урубамбы, и, наверно, даже современные скалолазы со всем альпинистским снаряжением не сумели бы одолеть эти каменные обрывы. Не приходится удивляться тому, что Ольянтайтамбо всегда считалась неприступной крепостью. Испанцы на собственном опыте убедились в этом во время войны с Манко Капаком Вторым. Когда Инка вынужден был снять осаду с Куско, он укрылся именно здесь, в Ольянтайтамбо, и отсюда его войска совершали набеги на гарнизоны испанцев и на их обозы. Франсиско Писарро, решив покончить с противником, послал к Ольянтайтамбо сильный отряд, приказав ему овладеть крепостью. Но ее гарнизон в отличие от защитников Саксайгуамана не дал захватить себя врасплох, и конкистадоры, попытавшиеся скрытно взобраться наверх, встретили отпор. Штурм оказался безуспешным и принес испанцам такой урон, что отряд, преследуемый инками, вынужден был поспешно отступить. Больше завоеватели уже не пробовали овладеть Ольянтайтамбо, хотя Инка впоследствии сам покинул это укрепление и ушел вниз по течению Урубамбы в глубь недоступных гор, туда, где находится легендарный Мачу Пикчу.

ПОТЕРЯННЫЙ ГОРОД ИНКОВ

Мачу Пикчу — символ древней славы Перу и гордость современных перуанцев. Перуанец гордится Мачу Пикчу так же, как русский — Кремлем, как грек — Акрополем, римлянин — Колизеем, египтянин — пирамидами. Правда, сами инки называли свою последнюю столицу Вилкабамбой. Мачу Пикчу называется гора, на крутом склоне которой раскинулся город. Под именем Вилкабамбы он и упоминается в испанских летописях времен завоевания.

Если инкская столица Куско связана с именем родоначальника инков Манко Капаком Первым, то Вилкабамба была связана с именем Инки Манко Капака Второго и его сыновей — Сайри Тупака, Тито Кузи и Тупака Амару, которые один за другим стали жертвами испанских завоевателей. Ими завершилась история инкской империи, и страна надолго стала испанской колонией.

Когда Манко Капак Второй, бежав от испанцев и подняв народ на освободительную войну против завоевателей, потерпел неудачу, он ушел с остатками своих войск вниз по течению Урубамбы в глубь кордильерских теснин. Испанцы не раз пытались захватить Инку в его горном убежище, но оно оказывалось неприступным для них. От служивших им индейцев испанцы узнали, что Инка обосновался в городе Вилкабамба, подступы к которому прикрывает крепость Виткос, где стоят войска Инки.

Манко Капаку наследовал его сын Сайри Тупак, который, уступая уговорам своих родственников, пошел на примирение с испанцами и, покинув Вилкабамбу, поселился в Священной долине, где вскоре умер. Молва утверждала, что он был отравлен по приказу испанских властей. Опасаясь участи брата, его преемник Тито Кузи уже не покидал своего горного убежища. Хотя он принял христианство, но у себя в Вилкабамбе по-прежнему выполнял обряды религии своих предков. Тем не менее он разрешил двум монахам-августинцам построить церковь вблизи Виткоса и проповедовать христианское учение среди индейцев. В рассказах этих монахов содержится единственная примета, говорящая о местонахождении Виткоса: рядом с крепостью стояла одна из святынь инков — огромный белый камень, — у подножия которой бил подземный ключ. С этого камня жрецы приветствовали восход солнца, а рядом с этим камнем находился небольшой языческий храм. Монахи сожгли храм, вызвав гнев Инки и его приближенных,

и едва избежали смерти. Не раз они пытались уговорить Инку допустить их в Вилкабамбу, но Инка отделивался обещаниями. Оба монаха впоследствии погибли.

Последний инка — Тупак Амару, младший брат Тито Кузи, — царствовал недолго. Испанские власти решили покончить с непокорными индейцами, и против Инки был послан большой отряд. Испанцы сумели пройти каньон Урубамбы, спустились вниз по реке на плотах через пороги и водопады и штурмом взяли крепость Виткос. Тогда Инка бежал из Вилкабамбы в глубь тропических лесов, населенных дикими племенами. Как ни труден был этот поход для европейцев, они упрямо шли за ним по пятам. В конце концов поставленный перед угрозой голодной смерти Инка предпочел сдаться в плен и в 1572 году был казнен испанцами в Куско. Но ни во время погони за Тупаком Амарой, ни впоследствии, когда сопротивление прекратилось, завоеватели так и не нашли горной столицы инков, и Вилкабамба оставалась почти три с половиной столетия легендой, подобно нашему граду Китежу.

В прошлом столетии некоторые путешественники пробовали искать ее, но безуспешно. В первом десятилетии нашего века молодой историк из Йельского университета (США) Хирам Бингам, изучавший историю освободительных походов Боливара, совершил поездку в перуанские Кордильеры и там познакомился с развалинами инкских поселений. Его заинтересовала загадка Вилкабамбы, и он решил искать ее. В 1911 году он возглавил Перуанскую экспедицию, снаряженную Йельским университетом, в которой участвовала группа ученых разных специальностей. С помощью перуанских властей экспедиция исследовала трудно доступную область между реками Апуримаком и Урубамбой и открыла обширный горный район, неизвестный прежним путешественникам и не занесенный на географические карты. Хирам Бингам и его спутники нашли там остатки нескольких инкских поселений, но ни одно из них не могло быть Вилкабамбой.

Наконец в бассейне Урубамбы им удалось отыскать развалины крепости Виткос. Примета, некогда сообщенная августинскими монахами, оказалась вполне верной — неподалеку от полуразрушенных стен крепости лежал большой белый камень, нависавший над источником. Значит, сравнительно близко отсюда должны были находиться и остатки Вилкабамбы.

В июле 1911 года экспедиция разбила лагерь на дне глубокого ущелья, заросшего густым тропическим лесом, на берегу Урубамбы. От местных индейцев Бингам узнал, что по соседству, на склонах гор Мачу Пикчу и Уайна Пикчу, стоят в почти непроходимой лесной чаще какие-то древние постройки. Бингам уговорил одного из них проводить его к этим развалинам. После часа пути по сносной дороге им пришлось на четвереньках пробираться через переброшенный над водопадом скользкий мостик из полудюжины шатких бревен, а потом часа полтора карабкаться по крутому склону горы среди зарослей, кишевших ядовитыми змеями.

На высоте семисот метров над рекой они увидели на небольшой поляне хижину. В ней жили два индейца, возделывавшие поля-террасы, оставшиеся со времен инков. Они подтвердили, что совсем неподалеку от их жилища в лесу действительно есть развалины. Сопровождаемый индейским мальчиком, Бингам обогнул выступ горы, и перед ним открылась длинная лестница полей-террас, поднимающаяся почти до самой вершины Мачу Пикчу. Это уже было свидетельством того, что поблизости находится древнее поселение. Пробравшись по одной из террас, они углубились в чащу. И тут Хирам Бингам понял, что он стоит на пороге важного открытия: сквозь сплошные заросли здесь и там поднимались стены строений. Их каменная кладка была типично инкской. Большие каменные плиты, ровно обтесанные, плотно пригнанные друг к другу, составляли мощные стены дворцов и храмов, лестницы с гранитными ступенями вели из одного яруса города в другой. С трудом продираясь через заросли, Бингам переходил от здания к зданию и вдруг увидел перед собою полукруглую стену, разительно похожую на такую же стену в Куско — часть знаменитого храма Солнца — Кариканчи. Видимо, эта постройка тоже была храмом Солнца. Бингам вспомнил, что старые испанские хроники сохранили предание перуанцев о том, что храм Солнца с полукруглой стеной Манко Капак Первый сначала построил в своей горной столице, а уже потом в Куско. Вслед за тем еще одно здание снова заставило ученого подумать о первом Инке.

Он увидел среди множества других храмов один с длинной стеной, обращенной к востоку, в которой были три больших окна. А народное предание, записанное в испанских хрониках, говорило, что храм именно с такой необычной трехкоконной стеной тот же Манко Капак Первый велел поставить в городе, который служил столицей инков до Куско. Значит, поселение, остатки которого лежали сейчас перед ним, могло быть самой древней столицей инков. Но, осматривая другие его здания, Бингам с несомненностью видел, что они достроены или даже целиком возведены уже в эпоху последних инков — их отличала менее тщательная каменная кладка. Судя по этому, найденный город скорее был Вилкабамбой. И еще одна догадка мелькнула у ученого. А не могло ли случиться так, что тесный испанцами Манко Капак Второй, уйдя в глубину Кордильер, выбрал для своей резиденции тот самый город, который когда-то служил столицей Манко Капаку Первому? Тогда все становилось на место. Последняя столица инков оказывалась в то же время их древней столицей, и руины этого города сейчас лежали перед ним.

Сначала это было лишь догадкой. С осторожностью истинного ученого Хирам Бингам назвал поэтому открытый им город Мачу Пикчу — по имени горы, на склоне которой он находился. Это название так и закрепилось, хотя дальнейшие исследования подтвердили предположение Бингама. Найденный им город был и Вилкабамбой, и первой столицей инков. Освобожденный от плена тропических джунглей, скрывших его более чем на три века, он стал уникальным памятником истории Перу и археологическим чудом всего американского континента.

Нынешнему посетителю Мачу Пикчу уже нет нужды преодолевать долгую и изнурительную дорогу, карабкаться по тропкам над пропастями, переползать через дороги и водопады Урубамбы по шатким и скользким бревнам. Шесть десятилетий нашего стремительного века, прошедших с того дня, когда здесь появился Хирам Бингам, превратили эту почти неприступную кордильерскую глушь в один из самых многолюдных туристических центров страны. Вдоль реки теперь пролегали асфальтированное шоссе и узкая колея железной дороги.

По совету Саласа и Нуньеса мы выехали утренним поездом, чтобы к вечеру вернуться в Куско. Через три часа пути — сперва зигзагообразного, а затем непрерывных подъемов и спусков по прямой — мы въехали в глубокий каньон Урубамбы. Вскоре поезд остановился на станции Мачу Пикчу. Мы выбрались из вагона, пересели в автобусы и по узкой извилистой дороге направились вверх.

Покружив над пропастями, дорога вывела нас на широкий уступ горы, где стояло двухэтажное здание отеля, а перед ним выстроилось десятка полтора машин и автобусов. Вокруг кишели туристы, звучала разноязыкая речь.

— Где же город? — недоуменно спросил я, оглядываясь вокруг.

— Потерпите, сейчас увидите, — улыбнувшись, ответил Салас.

Он куда-то исчез и минут через пять вернулся с плотным брюнетом, любезно приветствовавшим нас. Это был Мануэль Бальон, известный перуанский археолог и хранитель заповедника Мачу Пикчу. Он решил сам сопровождать советских гостей и повел нас по крутой тропе. Мы вышли на неширокую площадку и замерли, ошеломленные.

Вокруг громоздились горы, крутобокие, серо-зеленые, хмурые. Разодранные их вершинами облака мутно-белыми ключьями сползали по склонам; может быть, из-за этого серое, с редкими просветами небо казалось очень близким. И совсем рядом с нами лежал город — удивительное, казавшееся почти невероятным в первозданном хаосе гор творение человеческих рук. Прямо перед нами, почти до самого скалистого гребня, поднималась длинная лестница с гигантскими ступенями полутораметровой высоты и внизу, на первой ступеньке, пестрыми букашками ползали туристы. Мы уже знали, что ступени — поля древних обитателей этих мест, и что на каждой из аккуратно обложенных камнями террас лежит метровый слой плодородной земли, которую снизу из долины люди в корзинах на своих плечах принесли сюда по немыслимым горным тропкам.

А по другую сторону лестницы за террасами-полями, где сейчас росла только низкая трава, тремя большими уступами располагался на склоне горы сам город — каменные клетки тесно прижавшихся друг к другу бескрытых домов, храмов, складов, узкие

лабиринты улиц, короткие и длинные марши каменных ступенек, ведущие с уступа на уступ, полуразрушенные крепостные стены, окружавшие когда-то все поселение.

Город из серого камня был плотью от плоти гор. Изредка сквозь зелень проступали серые пятна скал, хотя цепкая тропическая растительность ухитрялась опутывать их даже на совершенно отвесных склонах. И в то же время город был резким контрастом всему окружающему, дерзким вызовом диким горам и ущельям, великолепным торжеством над ними.

Очищенные от густых зарослей здания и улицы Мачу Пикчу притягивают к себе полчища туристов — Мачу Пикчу стал одним из чудес света.

В мире есть немало удивительных руин — памятников труда и искусства наших давних предков. Где-нибудь в Гималаях, на Памире или в тех же Кордильерах можно отыскать горные пейзажи не меньшей красоты и первозданной дикости. Но именно сочетание рукотворного и суровой, величавой природы делает Мачу Пикчу единственным, неповторимым местом на нашей планете. С каким-то странным и неожиданным для себя чувством внезапного открытия вы постигаете, что и город, и гигантская лестница сделаны людьми, такими же, как вы сами, безмерно маленькими рядом с исполнинскими горами и бездонными пропастями и все же победившими их. Будто невидимая, но неразрывно прочная нить вдруг протягивается от этих каменных коробок инкских жилищ и храмов, от ступеней ведущей к небу лестницы к вам, к нынешнему поколению людей, летающему высоко над землей в реактивных самолетах, вырвавшегося в космос, ступившему на почву Луны, проникшему в недра атомного ядра. Нить, тянущаяся через века и уводящая куда-то во временные дали будущего. И восторженная гордость за сына земли, за человечество, за свою принадлежность к нему вспыхивает в вашей душе мгновением истинного счастья. Уже за это чувство, за эту счастливую гордость самопознания и самоутверждения люди наших дней должны быть благодарны потерянному и возвращенному им городу инков, перуанскому чуду — Мачу Пикчу.

Три или четыре часа мы бродили по его улицам. Город вблизи производит не меньшее впечатление, чем издали. Места на уступах горы было немного, и он построен очень экономно, даже тесно: дома, храмы, дворцы плотно жмутся друг к другу, а улицы и лестницы очень узки, так что кое-где с трудом могут разойтись два человека. Построенные на крутом склоне кварталы города и отдельные здания связаны между собой главным образом лестницами. Их в Мачу Пикчу больше сотни — коротких и длинных, а одна из них тянется сверху почти от седловины горы до начала глубокой пропасти и насчитывает сто пятьдесят ступеней. Вдоль этой лестницы проложен и главный акведук, ведущий к многочисленным каменным бассейнам и наполнявший их от источника, пробивающегося из-под земли где-то на середине горы.

Множество построек привлекает здесь внимание восхищенных посетителей. Если трехколонная стена храма, сооруженного Манко Капаком Первым, составленная из тяжелых, многотонных монолитов, поражает своей мощью, то храм Солнца с его полукруглой стеной заставляет любоваться благородным изяществом пропорций, ювелирно кропотливой работой каменщиков. Возле храма Солнца и соседних с ним зданий, имевших тоже явно религиозный характер, на открытой каменной площадке стоят солнечные часы инков — одни-единственные, не разбитые завоевателями. Они высечены из громадной глыбы гранита. Высокий вертикальный выступ, как и столетия назад, отбрасывает свою движущуюся тень на основание плиты, выполняя роль хронометра с вечным заводом.

Как ни надежно укрыла природа Мачу Пикчу, как ни прочно защитили его почти со всех сторон Кордильеры отвесными каменными стенами и глубокими пропастями, все же инки подготовили свою столицу к любым неожиданностям. На вершинах гор были построены наблюдательные башни, развалины которых сохранились до сих пор. Часовые, дежурившие там, видели местность на десятки километров вокруг и вовремя могли оповестить о приближении врага. Единственная ведущая к городу дорога была труднопроходимой, и на самом тяжелом ее участке, там, где она проложена по отвесной стене над бездонной пропастью, прикрывалась небольшим каменным укреплением, которое горсточка воинов могла успешно защищать против целой армии противника. Но если бы даже каким-нибудь чудом вражеским войскам удалось прорваться, они встретили бы дальше массивные городские ворота и высокие стены, протянувшиеся от

пропасти до пропасти с обеих сторон города и вдобавок защищенные вырытым перед ними рвом. С военной точки зрения Мачу Пикчу был настоящей твердыней. А если вспомнить, что в нескольких километрах впереди него находилась сильная крепость Виткос, где Инка держал свои главные силы, то можно сказать, что оборона горной столицы была организована отлично. И все же, когда Виткос пал под натиском испанцев, Инка Тупак Амару почему-то не заперся в Вилкабамбе, не стал ее защищать, а предпочел бежать вниз по течению Урубамбы в тропические леса. То ли хотел он сохранить святыни предков от поругания захватчиками, то ли уже не надеялся одолеть сильного врага. Во всяком случае, первое ему удалось — испанцы так и не проникли в Вилкабамбу, и джунгли вскоре надолго укрыли это горное гнездо инков от человеческих глаз.

Несколько часов хождения по улицам города утомили нас не столько физически — мы устали от впечатлений, от этого неослабевающего ощущения чуда. Поздно вечером вернулись мы в Куско.

ОЗЕРО ТИТИКАКА

Озеро с таким забавным для русского уха названием лежит на юге Перу среди обширного кордильерского плоскогорья, поднятого на высоту около четырех километров. Это нешуточная высота, и даже в красочных туристских проспектах, призывающих посетить Титикаку, говорится, что люди с не совсем здоровым сердцем должны посоветоваться с врачом, прежде чем ехать туда. Титикака — самое высокогорное из всех судоходных озер мира. Оно раскинулось на площади более восьми тысяч квадратных километров, и его акватория делится почти пополам между Перу и Боливией. На перуанском берегу озера лежит университетский город Пуно. Сюда мы отправились из Куско по железной дороге.

Мы ехали целый день. Изредка в стороне виднелись какие-то серые и даже издали казавшиеся бедными деревушки. Городков по дороге было мало, и все они начинались непроходимо грязными окраинами с непросыхающими, застоявшимися лужами, гнилостный запах которых ветер заносил в открытые окна поезда, с жалкими, дощатыми халупами бедняков, с босоногой оборванной ребятней, разногласо галдящей и шлепающей по грязи. Потом за окраинами тянулись длинные скучные заборы фабрик с торчащими над ними закопченными трубами и наконец появлялся «центр» — две-три асфальтированные улицы, застроенные однообразными невысокими каменными домами, и колокольни собора или церкви, господствующие над городком. Поезд на несколько минут замирал у платформы выбеленной станции, кишашей торговками-индианками, снова трогался, и все проплывало перед глазами в обратном порядке — чистенький унылый «центр», длинные фабричные заборы, грязные лужи окраин. Насколько можно было судить из окна вагона, народ здесь жил очень бедно и приметы неустроенности человеческой жизни были печальным контрастом картинам роскошной природы, открывавшимся нам, как только поезд вырывался из очередного городка на зеленый простор долин.

Солнце уже скрылось за синеватым изломом гор, отодвинувшихся куда-то далеко к горизонту, и закат ярко расцветил легкие облака на краю неба, когда, отражая эти краски, вдали блеснула полоска воды, с каждой минутой растекающаяся все шире и шире. Это и было озеро Титикака. Вскоре мы уже ехали по его берегу, и впереди появился город Пуно, раскинувшийся амфитеатром над голубым заливом.

На вокзале, как и в Куско, нас встречали ректор и несколько преподавателей местного университета. Было уже темно, когда любезные хозяева устроили нас в небольшом туристском отеле.

Надо признаться, чувствовали мы себя прескверно — сказывались и перепады высоты в поезде, и четырехкилометровый уровень самого Пуно, и усталость от дороги. Но мы были еще и голодны. Поэтомy, как ни тянуло нас в постель, отказываться от ужина не хотелось. Мы вспомнили, что кто-то из встречавших нас сказал, будто Титикака славится форелью. К нашему разочарованию, в ресторане отеля форели в тот вечер не оказалось. Официант назвал нам другой ресторан в центре города, где эта

рыба обычно бывает в меню. По его словам, до центра отсюда было недалеко, и мы решили идти.

— А может быть, ближе сходить в порт? — спросил я. — Уж в портовых ресторанах форель обязательно будет.

— Господа, в порт не ходите ни в коем случае, — поспешно сказал официант. — Вечером там небезопасно. Да и в городе не сворачивайте в темные улицы.

То, что в Южной Америке бандитизм — дело обычное, мы уже знали. И в Чили и в Колумбии — в столицах и в провинциальных городах — коллеги нас предупреждали: «В эти кварталы не заходите даже днем — зарежут...», «Вечером по этой улице не гуляйте — ограбят...», «Следите за карманами — обворуют...»

Выйдя из гостиницы, мы убедились, что с вечерним Пуно шутить не приходится. Тускло освещенная редкими фонарями улица, ведущая к центру, казалась почти безлюдной. Но в полумраке у домов, куда едва достигал отблеск фонарей, здесь и там стояли группы оборванцев с такими разбойничьими физиономиями, что встретиться с ними в безлюдном переулке — и руки сами собою поднимутся вверх. Однако отступить не хотелось, да и в конце концов мы с Робертом были достаточно рослыми и крепкими мужиками. С Ниной, прижимавшей к груди сумку с деньгами и билетами, мы храбро двинулись вперед.

Центральная площадь города, освещенная так же тускло, находилась в кварталах четырех от отеля. Ресторан, который мы искали, оказался на соседней улице. Там стоял гомон, густо висел табачный дым и не было ни одного свободного столика. Не было и форели. Оставалось вернуться в отель, поужинать тем, что есть, и скорее добраться до постели: высота Пуно сказывалась все ощутимее и противная тошнота все более одолевала нас. Мы вышли из дверей ресторана, и тут на нас налетела маленькая, худенькая, черная, как жук, девушка лет двадцати.

— Вы — русские? Вы — советские товарищи? — взволнованно спрашивала она по-русски. — Наконец я вас нашла. Я была у вас в отеле, и мне сказали, что вы пошли в этот ресторан...

Она говорила с сильным акцентом, от волнения путала русские слова с испанскими, но, в общем, все, что она хотела сказать, было понятно. Девушку звали Юлией, лишь несколько месяцев назад она вернулась в Пуно из Москвы, где два года училась на филологическом факультете Университета имени Ломоносова. Ей пришлось бросить учение — умерла ее мать, а брата посадили в тюрьму за участие в партизанском движении, отец остался один, и она вернулась, чтобы ухаживать за ним. О нашем приезде она узнала из местных газет и очень хотела принять нас у себя дома. Но мы уже едва волочили ноги, и ни о каких гостях не могло быть и речи. Услышав наш отказ, Юлия горестно всплеснула руками и горячо принялась упрашивать нас:

— Пожалуйста, я очень, очень вас прошу! Я так обязана Советскому Союзу, советским людям. Меня два года бесплатно учили, кормили, лечили, когда я была больна. Я никогда этого не забуду. Пожалуйста, дайте мне хоть чем-нибудь отплатить вам за вашу доброту, за все, что вы для меня сделали!

Она говорила громко, на всю улицу, привлекая внимание немногочисленных прохожих. Мы были глубоко тронуты искренним волнением девушки и пообещали ей прийти завтра, если только позволит программа, составленная принимавшим нас университетом.

И тут мы увидели, что с противоположной стороны улицы к нам направляются двое полицейских. Я решил, что их привлекли громкие возгласы Юлии и что мы сейчас получим нагоняй за нарушение общественного спокойствия.

Один из полицейских — капитан — подошел к Нине.

— Вы — советская делегация? — спросил он.

Получив утвердительный ответ, он и сопровождавший его сержант поочередно пожали всем нам руки.

— Слушай, — доверительно переходя на «ты», сказал капитан Нине. — Меня послал алькальд¹. У нас тут всякое бывает. Если что случится, звони мне по телефону. Вот номер.

¹ Алькальд (исп.) — мэр города.

После чего он, а за ним и сержант снова пожали нам руки и не спеша, с достоинством удалились.

Трогательная забота местных властей о нашей безопасности не ограничилась этим: к нам даже приставили охрану. Два дня, которые мы пробыли в Пуно, в холле второго этажа отеля, где были наши комнаты, сидел на старом кожаном диване солдат с автоматом. Это вовсе не было наблюдением, а только охраной нашей безопасности в отеле и ни в чем не стесняло нас.

Мы хорошо выспались и проснулись вполне свежими и бодрыми — от вчерашнего недомогания не осталось и следа.

Утром часа два ездили по городу. Признаться, Пуно не произвел на нас особого впечатления — обычный провинциальный портовый городок с тридцатью тысячами жителей. Его главное украшение — озеро. Голубое в этот безоблачный день, оно раскинуло свою спокойную гладь к самому горизонту, где сквозь тонкую дымку чуть-чуть темнел — боливийский — берег. Мы колесили по городским улицам, где нам показывали то старые, то новые здания, но взгляд прежде всего обращался к озеру, по которому скользили моторные лодки и небольшие катера. Когда машина наша начала спускаться с горы к пристани, мы сразу воодушевились, предвкушая удовольствие от прогулки по озеру.

Сопровождавший нас служащий университета нанял у пристани небольшую лодку с подвесным мотором. Мы сели, и лодочник — флегматичный молодой индеец — принялся яростно дергать за шнур, стараясь завести мотор. Тот чихал, фыркал, но не заводился. Индеец, сняв с мотора крышку, покопался в нем и снова безуспешно пытался его завести. Индеец повторял обе операции с хладнокровной методичностью. Мы со спортивным интересом следили за происходящим: кто же возьмет верх — человек или мотор? Победил человек. В тот момент, когда наш спортивный интерес иссяк и мы с вождением стали поглядывать на соседние лодки, мотор наконец завелся.

День был чудесным. Солнце грело довольно жарко, но над озером веял приятный свежий ветерок, такой легкий, что даже не трогал рябью поверхность воды. А вода отсвечивала почти неестественным лазурным цветом, словно ее покрывал густой слой яркой масляной краски.

Город, такой обычный вблизи, отсюда смотрелся совсем по-другому, и его светлые домики, беспорядочно рассыпанные по горам, выглядели веселыми и нарядными.

Слева от нас проплыл какой-то безлюдный скалистый островок — беспорядочное нагромождение огромных гранитных глыб. Наш сопровождающий сказал, что в древности здесь находилась одна из главных религиозных святынь инков — храм, от которого теперь осталась лишь груда камней. Дальше за островом начинались густые заросли тростника — целые тростниковые леса, разделенные то широкими, то узкими протоками.

Наш гид стал рассказывать об одной из главных достопримечательностей озера Титикака и всего Перу, неизменно посещаемой туристами.

Предание говорит, что в давние времена, когда инки далеко раздвинули пределы своей империи, где-то на юге среди покоренных ими народов оказалось небольшое индейское племя урос. В отличие от других племен, склонившихся перед силой оружия, урос проявили упорство, и хотя войско их было наголову разбито, они отказались признать власть инков и подчиниться им. Инки прибегли к испытанному способу усмирения непокорных — к насильственному переселению их на исконные земли империи. Племя пригнали к озеру Титикака и поселили на его берегах. Но и это не помогло — с поражающей завоевателей твердостью маленький народ, оторванный от родной земли, бросил вызов могущественному Инке, заявив, что работать на победителей не будет. Тогда Инка отдал своим войскам приказ — истребить мятежное племя. Почти все мужчины, женщины, дети были перебиты, но нескольким семьям все же удалось спастись. Они уплыли по озеру куда-то в зеленые чащи тростниковых зарослей, построили себе из этого тростника плавучий остров и поселились на нем. Они живут там и доньше.

Как ни подготовлены были мы этим интересным рассказом к зрелищу, которое нас ожидало, но когда наш лодочник, проплывав с полчаса по лабиринту протоков, при-

вел наконец свое суденышко к острову племени урос, мы вышли на берег, пораженные открывшейся перед нами картиной.

Собственно говоря, это нельзя было назвать берегом. Лодка ткнулась носом в плотную кучу набросанного на воду тростника. Лодочник первым перешагнул через борт, и, к нашему удивлению, тростниковая масса не провалилась под ним. Тогда вылезли и мы. Сначала нога ушла вниз, будто увязая в стеблях, но тут же почувствовала опору. Сделали шаг, другой — тростник прогнулся под ногами, как плотный дерн на болоте, но выдержал тяжесть. Иногда между стеблями просупала вода, но, в общем, мы шли посуху.

На тростниковой поверхности острова стояли домики, сложенные из связок тростника, с такими же тростниковыми крышами — скорее шалаши, чем дома. Мы заглянули в такой шалаш и увидели постеленные на тростниковом полу толстые тростниковые маты. У тростникового берега на воде покачивались странные лодки — они тоже были связаны из длинных пучков тростника и похожи на тот построенный из папируса корабль «Ра», на котором Тур Хейердал с товарищами не так давно совершил свое знаменитое плавание из Африки через Атлантический океан. Кстати, говорят, что тростниковые лодки племени урос — самые устойчивые в мире, они никогда не опрокидываются. Они бывают и парусными, но вместо паруса на мачте укрепляют опять же тростниковую циновку. Крохотными тростниковыми лодочками тут же торгуют, назойливо хватая за одежду туристов, чумазы, оборванные мальчишки.

Единственный дощатый домик на острове — это начальная школа. Но она построена совсем недавно. До последнего времени урос жили очень изолированно и почти не имели контактов с жителями побережья. Эта замкнутость трагически сказалась на судьбе племени — оно вырождается и вымирает: урос осталось всего несколько десятков человек.

Мужчины, видимо, где-то работали или уплыли на рыбную ловлю, которая составляет их главное занятие. Мы видели на острове только женщин и детей. Пожилая индианка, сидя на куче тростника перед шалашом, ощипывала курицу. Когда я сфотографировал ее, она встала, подошла и протянула руку, требуя плату. Пришлось дать ей монету. Тотчас же подбежала откуда-то древняя и очень грязная старуха и тоже стала выпрашивать подаяние. Получив монету, она попросила сигарету. Со всех сторон приставали мальчишки, успокоившиеся только после того, как каждый из нас купил у них по тростниковой лодочке.

Ощущение вопиющей бедности, грязи и нищенства было тягостным, и хотелось поскорее уехать отсюда. Правда, наш гид уверял, что эта бедность показная — для туристов, а на самом деле урос сейчас живут не так уж плохо. Не знаю, верно ли это, но было грустно сознавать, что некогда гордый, непокорный народ, который не могла сломить жестокость завоевателей, превратился теперь в горсточку нищих попрошайек и грязных оборванцев. Становилось стыдно за свой век, за современную цивилизацию, которая каждый день является на этот плывущий остров нищеты в образе богатых туристов, прилетающих в самолетах из далеких стран.

Я думаю, урос — единственный на нашей планете народ, не владеющий ни малейшим клочком земли. Страшно представить себе, что на протяжении веков люди рождались, вырастали и старились на этом большом тростниковом плоту. Да и можно ли назвать их жителями земли? Ведь они возвращаются на землю только после смерти: умерших жителей тростникового острова соплеменники везут на берег и там хоронят.

Когда мы, вернувшись в Лиму, рассказали Хенаро Корнеро Чека о впечатлениях от острова урос, он горько усмехнулся:

— Для меня урос — это образ всего нашего Перу. Их судьба — это судьба большинства наших крестьян. Они хоть и живут на земле, но, так же как урос, не владеют ею и получают свой клочок только после смерти.

Правда, сказано это было еще до объявления той земельной реформы, которая сейчас проводится в Перу. Будем надеяться, что она изменит к лучшему положение безземельных крестьян, в том числе и племени урос.

На следующее утро мы познакомились с университетом. Здание его построено недавно и занимает обширную территорию на склоне горы у окраины Пуно. Очень похо-

жий на другие новые университеты, которые нам приходилось видеть в городах Латинской Америки, он состоит из комплекса невысоких, большей частью одноэтажных, зданий простой и строгой современной архитектуры и спроектирован так, что каждому факультету отведен отдельный корпус. В центре этого комплекса высится трехэтажное главное здание, где помещаются ректорат с канцеляриями, библиотека и читальня, актовый и спортивный залы и прочие общеуниверситетские помещения.

Лабораторные комнаты и аудитории очень продуманно размещены и хорошо оборудованы. Видимо, неплохо организован и быт учащихся. Но было непривычно ходить по пустым коридорам и помещениям: каникулы еще не кончились. Хотя нас сопровождали ректор и несколько преподавателей, все же университет без студентов подобен телу без души, и что-то унылое и неестественное было в безлюдии этих зданий, всегда наполненных веселым гомоном, шумом и смехом молодежи.

В одном из корпусов к нашей группе присоединилась женщина, заговорившая с нами на странной смеси русского и украинского языков. Оказывается, и в Пуно отыскалась наша землячка. Она была родом из Тарнопольской области и несколько лет назад приехала в Перу к мужу. Теперь она преподавала русский в языковой академии при университете.

Университет в Пуно — единственное из перуанских высших учебных заведений, где создана такая академия. Среди прочих языков в ней изучают и русский. Никаких учебников тут нет, и преподавателю приходится самому сочинять для студентов импровизированные грамматику и словарь. Судя по тому, как разговаривала наша новая знакомая, ее студенты получали весьма отдаленное представление о языке Пушкина и Толстого. Она говорила скорее на украинском, чем на русском, да еще на том наречии, которое свойственно западным областям Украины, с многочисленными вкраплениями польских, чешских и даже латинских слов. Но нам сказали, что до нее русскому учил студентов какой-то чех, гораздо хуже владевший нашим языком. Действительно, когда нам показали составленный им и отпечатанный на машинке маленький испанорусский словарь, мы буквально покатались от хохота, читая, как забавно перевирает он правописание наших слов. Хотя, в общем-то, смеяться было нечему: бедность не порок. Что могли сделать руководители академии, если, кроме этой западной украинки, русский язык в Пуно, и то с грехом пополам, знала только Юлия, недавно приехавшая из Москвы? Где же им было взять других преподавателей? Мы от души посочувствовали им и обещали по возвращении в Москву прислать учебник русского языка для испанцев и кое-какую литературу. Обещание свое мы выполнили.

Когда мы бродили по университетскому городку, к нам подошла группа студентов и с ними наша недавняя москвичка Юлия. Они попросили нас прийти вечером в студенческий клуб, чтобы встретиться с молодежью. Однако наши университетские хозяева заявили, что это невозможно: вечером в доме ректора ужин в честь нашей делегации, а оттуда мы должны были уехать уже на вокзал, к поезду. Очень огорченные, ребята ушли.

И все-таки встреча с ними состоялась — они подстерегли нас. Дорога к дому ректора шла мимо университета. Когда мы, уже затемно, ехали на ужин, преграждая машине путь, на шоссе вышло несколько темных фигур, и мы невольно вспомнили полицейского капитана. Шофер все же остановил машину, но, как нам показалось, с тревогой вглядывался в приближающихся людей. Это были студенты во главе с той же Юлией. Они перехватили нас и попросили зайти всего на десять—пятнадцать минут в ближайший университетский корпус, где собрались члены студенческого клуба имени Хосе Карлоса Мариатеги — они просто хотели увидеть и приветствовать советских гостей. Отказать им было невозможно, да и ведь мы могли опоздать к ректору минут на пятнадцать. Сопровождавший нас профессор согласился подождать в машине, и вслед за студентами мы взобрались по каменистому откоосу горы к белешему над дорогой зданию.

Нас привели в небольшую аудиторию. Десятка два студентов и студенток встретили нас бурными аплодисментами. Над доской во всю ее длину протянулся старательно написанный на бумаге печатными русскими буквами лозунг: «Доврэ пожэлованиэ прэдставитэли русского народа!» У дальней стены на столике стояли стаканы и три

бутылки перуанской водки, на окне — открытый патефон с приготовленной на диске пластинкой.

Отзвучали аплодисменты, и все эти молодые люди стали чередой подходить, пожимая руку каждому из нас. Они делали это так же прочувствованно и истово, как профсоюзные активисты из Куско. Потом Юлия произнесла короткую приветственную речь, а я от имени нашей делегации поблагодарил молодежь. Студенты поднесли нам трогательные маленькие сувениры и увлекли к столу, где один из юношей уже разлил по стаканам водку.

Кто-то пустил в ход патефон, и в комнате раздалась звуки «Интернационала». Все замерли со стаканами в руках, со строгим, торжественным выражением на лицах и стояли, пока звучал гимн. И опять, как в тот раз в Куско, мы почувствовали перехватывающее горло волнение. Не только для тех рабочих людей из древней столицы инков, но и для этих перуанских студентов мы были посланцами страны Надежды, символом великой идеи, которую воспевал звучащий сейчас гимн пролетариата Земли. Как обязывает нас это высокое доверие и как нелегко быть достойным его!

Мы выпили, и нас безропотно отпустили, проводив к машине веселой, шумной толпой. Так была подготовлена и организована вся церемония нашего приема, что она заняла ровно пятнадцать минут. Потом в доме ректора, где собралось много гостей и было вполне непринужденно и весело, нам все вспоминались эти четверть часа, проведенные в университетской аудитории в обществе молодых последователей Хосе Карлоса Мариатеги.

Около полуночи мы были уже на вокзале и заняли свои места в спальном вагоне. Рано утром поезд пришел в Арекипу — второй по величине город страны, который был заложен, как и Лима, тем же Франсиско Писарро. Мы успели поездить по его улицам, с домами, построенными из розового и белого камня, и полюбоваться главной достопримечательностью этого города — тремя вулканами, которые в отдалении высоко вздымают над зеленой долиной свои конические вершины, увенчанные снежными шапками. Потом был аэропорт и двухчасовой полет до Лимы, где нас уже ждали неизменные Вюлета Валькарсель, Бети и Манолс.

А потом еще была поездка в Икитос, город на берегу «царицы земных рек» — Амазонки.

НА АМАЗОНКЕ

Бассейн Амазонки — это север страны, зона сельвы, тропических лесов, занимающих огромные пространства. Город-порт на Амазонке — Икитос — это административный и торговый центр северной области. Конечно, если ехать на машине через Кордильеры до того места, где начинается Амазонка, а потом спуститься вниз по реке к Икитосу на пароходе, было бы куда интереснее, но мы подсчитали, сколько это займет времени, и огорчились: меньше чем за неделю такое путешествие не совершить. А у нас оставалось всего четыре дня. Пришлось лететь в Икитос и обратно самолетом.

День выдался пасмурный. Самолет, как всегда полный североамериканскими старушками и старичками, взлетев, сразу окунулся в облачное молоко и долго пробивался к голубому небу. Кордильеры были плотно заволочены тучами. Потом облака стали прорезиваться, внизу в просветах проплывали уже некрутые лесистые горы, а затем пошла равнина и зеленый океан сельвы, без конца и края раскинувшийся во все стороны до самого горизонта.

Нашу спбирскую тайгу тоже называют зеленым океаном — по площади она не уступает сельве. Но леса у нас совсем другие. Там все же видишь поляны, прогалины. Тут же нет ни клочка свободной земли — все покрыто буйной растительностью. Только реки прорезают кое-где этот сплошной, непроглядный лес, но и глядя сверху на реку, вы не увидите полосы берега: деревья не только подступают к его краю, они даже входят в воду с обеих сторон. И пусть над сельвой сверкает солнце и голубеет безоблачное небо — что-то жуткое, пугающее есть в этой необъятной лесной стихии.

Только тот, кто побывал в сельве, кто смотрел на этот лес не сверху, с самолета, а снизу, с земли, стоя под его зелеными сводами, — может представить себе, что значит

прокладывать через него дорогу. Влажной духотой, банной испариной исходит тропический лес. Частые грозовые ливни насыщают его влагой, которую не успевают всасывать растения, и каша жидкого лёсса, похожая на густой суп-пюре, покрывает землю. Эта необыкновенно родючая почва плодит несметные полчища растений. Травы, кусты, деревья, переплетаясь корнями, ветвями и стеблями, сражаются между собой не на жизнь, а на смерть под землей, на земле и над ней и в погоне за светом, за солнцем судорожно стараются вырваться вверх, обогнать в росте соседей, забить, задушить их. Но света мало, а солнца совсем нет, в лесу стоит сумрак — ветви огромных деревьев наверху ведут такую же бешеную борьбу за солнечные лучи и густо сплетены, образуя сплошной зеленый потолок. Длинные, гибкие, как змеи, лианы, зеленые стебли каких-то вьющихся растений оплетают стволы и ветви деревьев, тянутся от дерева к дереву, ниспадают до земли. Они на каждом шагу преграждают вам путь, и сквозь этот лес надо прорубаться почти как сквозь стену. А пока вы прорубаетесь вперед, медленно, с трудом отвоевывая каждый десяток метров пути, за вашей спиной дорога, проложенная вами, снова начинает зарастать, и вскоре от нее не остается и следа.

Лес этот полон жизни. В его чаще неслышно крадется по раскидистым ветвям деревьев ягуар или леопард. Притаившись на ветке, замер, подстерегая добычу, удав. Высоко наверху в непроницаемой для взгляда зеленой путанице листвы слышны крики обезьян и попугаев. Травы и кусты кишат ядовитыми насекомыми и змеями.

Это лес роскошный и страшный, поражающий богатством своей жизни и враждебный человеку. Индейцы, населяющие районы сельвы, очень бедны и ведут трудное, полуголодное существование. Сельским хозяйством тут заниматься нелегко: свирепые тропические ливни то и дело смывают плодородный слой земли вместе с посевами на полях. Но богатые плантаторы наживают здесь большие состояния: бананы и другие фрукты, каучук, корица, хинин приносят им огромные доходы.

Наш трехчасовой полет подходил к концу, и самолет быстро снижался над сельвой. Уже можно было различить отдельные деревья, кроны королевских пальм, высоко вознесенных над другими зелеными верхушками; яркими желтыми пятнами выделялись среди зелени какие-то цветы. Появились вырубки. Потом на вираже самолета показалась широкая серая полоса реки и раскинувшийся по ее берегу довольно большой город.

Было даже непривычно, что на этот раз нас никто не придет встречать — мы везли с собой только рекомендательное письмо к одному из работников местного Дома культуры.

Шофер такси привез нас в лучший отель города — «Турист», стоявший на берегу Амазонки. Недавно построенный, он был вполне комфортабельным, с автоматическими лифтами, с просторными холлами, с баром, декорированным под индейскую хижину, крытую пальмовыми листьями, с «эркондишн» в номерах, это было очень приятно в душливой, влажной жаре.

Было воскресенье. Дом культуры, куда мы должны были передать рекомендательное письмо, оказался закрытым, и мы весь день бродили по улицам.

Икитос с его ста тысячами жителей — весьма оживленный городок. Его главная торговая улица Хирон Лима со множеством магазинов и лавчонок до поздней ночи полна народу, а с наступлением темноты расцветивается неоновыми вывесками и рекламами. Центр застроен невысокими каменными зданиями незатейливой архитектуры, а на окраинах и в кварталах, прилегающих к речному порту, преобладают деревянные дома, типичные для этой тропической зоны, — они подняты над землей на сваях для защиты от сырости и от ядовитых насекомых и змей. В портовых кварталах весь день царит суета, бьют гудки пароходов, трещат моторы катеров, громко перекликаются матросы и грузчики, бойко торгует пестрый рынок, заваленный грудами фруктов — пудовыми гроздьями бананов, кучами апельсинов и какими-то невиданными у нас, в Европе, плодами. Там бродят в толпе, цепким взглядом ошупывая прохожих, мрачные оборванцы с красными от непробудного пьянства глазами, зловеще поблескивающими из-под обтрепанных полей сомбреро, там у порогов хижин на ступеньках лестниц, ведущих в дома, флегматично сидят старухи индианки с бронзовыми морщинистыми ли-

цами и голопузые ребятишки ползают в пыли, там нищета странно сочетается с какой-то бесшабашно-веселой беспечностью.

Днем мы облюбовали себе на центральной площади города небольшой ресторанчик, где довольно вкусно и дешево кормили. Ресторан был «бизнесом» большой семьи: тучный, осанистый папа стоял за стойкой бара, мама, видно, командовала на кухне, время от времени появляясь в зале, чтобы окинуть его хозяйским оком и дать указания двум девушкам — своим дочерям, — ловко и быстро обслуживавшим посетителей.

Утром на следующий день мы нашли в Доме культуры человека, которому было адресовано рекомендательное письмо из Лимы. Его звали Маноло. Это был коренастый, очень темпераментный молодой человек. Сначала он повел нас в редакцию городской газеты, где мы дали короткое интервью, а затем по телефону условился о свидании с заместителем ректора университета, имея в виду устроить нам встречу со студентами. Однако в университете нас встретили непривычно холодно. Заместитель ректора с ледяной вежливостью выслушал горячие тирады Маноло и подчеркнуто-безразлично заявил, что еще не кончились каникулы и если сеньоры из Советского Союза желают выступить перед студентами, то им надо приехать, когда возобновятся занятия. Тогда мы с такой же холодной вежливостью объяснили заместителю ректора, что отнюдь не настаиваем на такой встрече, а пришли сюда по приглашению, переданному нам Маноло, и готовы выступить перед студентами, если к нам обратится с такой просьбой руководство университета, как это бывало в других городах страны. Но так как, судя по всему, необходимости в подобной встрече нет, это облегчает нам жизнь — мы приехали в Икитос прежде всего для того, чтобы познакомиться с городом, побывать в сельве и совершить поездку по Амазонке. Нам остается только пожелать сеньору всего хорошего.

Мы поднялись. Но тут заместитель ректора вдруг спохватился и в уже совершенно другом тоне заявил, что, конечно, он считает очень важной встречу студентов с советскими писателями и постарается устроить ее, хотя учащиеся только начинают съезжаться к началу семестра. Он обязательно сегодня же известит Маноло, когда и где будет эта встреча, а пока предлагает нам машину с тем, чтобы мы поехали на ней в сельву и познакомимся с сельскохозяйственными фермами университета, расположенными там. Это совпадало с нашими планами, и мы условились, что отправимся в сельву после обеда. Попрощались мы уже менее холодно, но и без той теплоты, какой обычно сопровождалась наши визиты в другие университеты.

В назначенный час к отелю подъехал старенький «лэндровер». Мы проскочили через город, миновали оживленно шумящий порт и по неровной, ухабистой дороге втянулись в лес. Плотная высокая стена зелени — путаница густой листвы и змееподобных лиан — стояла по обе стороны проселка. Горячий ветер доносил оттуда влажный аромат растений, резкие крики птиц, монотонный стрекот цикад. Отделяя эту зеленую стену от дороги, и справа и слева была... ограда из колючей проволоки. Этот дикий лес оказался аккуратно разгороженным, разделенным на участки, принадлежащие компаниям или плантаторам. Он лишь впроголодь кормит коренных жителей-индейцев, но приносит солидные барыши тем, кто поставил его эксплуатацию на широкую ногу. Здесь заготавливают древесину, в том числе дорогостоящее красное дерево. Здесь растут каучуковые деревья, добывают корицу.

Мы долго ехали вдоль колючей проволоки, пока не открылась широкая поляна, вырубленная в сельве, и разбросанные на ней деревянные строения животноводческих ферм. Это был опытный участок сельскохозяйственного отделения университета. По тропкам, протоптанным в густой высокой траве, нас принялись водить от фермы к ферме, с гордостью показывая упитанных коров, розовоносых мычащих телят, жирных, раскормленных свиней.

Потом нас привезли в университетский лесопитомник. Он раскинулся под сенью высоких деревьев слегка прореженного леса на берегу реки — одного из притоков Амазонки, впадающего в нее в нескольких километрах отсюда. Мы прошли меж длинных рядов каких-то саженцев, миновали стоявшую под навесом лесопилку и по желтым пальмовым доскам, источавшим запах свежей древесины, спустились к берегу реки, широкой и полноводной. Но она была не такой быстрой, как Амазонка, и вода в ней

казалась прозрачной, зеленовато-голубой, а на том берегу, отражаясь в спокойной глади, во всем буйстве зелени поднимался тропический лес, свободный от колючей проволоки, первозданно дикий, непролазный, как века назад. Вглядываясь сквозь листву нависших над водой ветвей в глубину темнеющей с каждым метром его сумрачной чаши, стараешься представить себе это бесконечное лесное море изнутри на всем огромном пространстве в тысячи и тысячи квадратных километров, и тебя охватывает леденящая сердце жуть, как при попытке вообразить расстояние до мерцающей над твоей головой в ночном небе дальней звезды. В зеленых глубинах сельвы есть области, куда еще не проникли люди, и до самых последних лет случалось — уходят туда научные экспедиции и исчезают бесследно и безвозвратно. И поныне в неисследованных чащах сельвы живут первобытные индейские племена, никогда не видевшие белого человека.

Мы возвратились в Икитос к вечеру. И тут неожиданное происшествие сразу вернуло нас в будничную действительность сегодняшней, опутанной невидимой колючкой и разгороженной земли.

Еще в первый день приезда мы обратили внимание на человека, сидящего в вестибюле отеля, хотя у него была совершенно невыразительная паружность, которую очень трудно запомнить или описать. Он внимательно читал газету и по временам, словно обдумывая прочитанное, опускал на колени газетный лист и рассеянно поглядывал в нашу сторону. Сначала мы решили, что это один из постояльцев. Но он неизменно оказывался в вестибюле, когда мы спускались вниз, а потом два или три раза мы заметили его позади нас во время прогулок по городу. Мы тоже стали незаметно наблюдать за ним и вскоре убедились, что он следит за нами. Скрывать нам было нечего, и сам факт слежки не вызывал ни удивления, ни раздражения — полиция как-то должна оправдывать свое существование, а мы ведь были, наверно, первыми советскими людьми, приехавшими в Икитос. Пусть себе следит на здоровье — в конце концов нас это ничуть не беспокоило, а только забавляло. В сельву «читатель» — мы так прозвали его — за нами не ездил. Но когда мы вернулись, он уже был на обычном месте. Мы взяли у портье ключи и ожидавшую нас записку от Манола, в которой он сообщал, что зайдет за нами в восемь — в лекционном зале университета был объявлен вечер поэзии Роберта Рождественского, — и поднялись к себе. Но не прошло и пяти минут, как ко мне в дверь постучали. Пришли Нина и Роберт в сопровождении молодого парня в куртке хаки. Он предложил нам взять паспорта и следовать с ним в полицейский участок. Это уж совсем не походило на трогательную заботу о нашей безопасности в Пуно. Но мы не могли не подчиниться местным властям и направились в участок: впереди — сопровождавший нас полицейский, за ним — мы втроем, а в некотором отдалении — «читатель», усердно притворявшийся, что никакого отношения к нам не имеет.

К счастью, полицейский участок оказался недалеко. Нас провели по крутой деревянной лестнице в просторное помещение на втором этаже. У стен стояли скамьи, а за барьером, перегородившим комнату пополам, сидели за столами полицейские чины. Наш конвоир взял у нас паспорта и ушел к начальству. Мы присели на скамью у барьера. Напротив сидели два угрюмых оборванца. Еще один оборванец спал, привалившись боком к стене. Ярко накрашенная, в вызывающе короткой мини-юбке молодая мулатка нервно курила — профессия ее была ясна с первого взгляда. За барьером с кого-то снимали дознание. Мимо нас сновали полицейские и штатские. С возрастающим раздражением мы ждали. Только через полчаса, когда мы уже готовы были заявить протест, появился наш провожатый и повел к начальнику участка — молодому человеку с нахальными глазами, перед которым на столе лежали наши паспорта. Пригласив садиться, начальник спросил у каждого из нас фамилию и придирчиво сверил ее с паспортом. Потом последовали вопросы: «Цель вашего приезда в Перу?», «С кем вы встречались в Икитосе?», «Есть ли у вас кинокамеры и фотоаппараты?» Последний вопрос казался особенно нелепым — наш отель наводняли североамериканские туристы, увещанные с ног до головы всяческой съемочной аппаратурой. Тем не менее мы удовлетворили любопытство полицейского и добавили, что цель нашей поездки в Перу должна быть ему известна, если он читает газеты, — в них были опубликованы и интервью с делегацией, и сообщения о наших встречах с членами правительства.

Судя по тому, какое озадаченное выражение появилось на его лице, начальник

полиции газеты читал далеко не регулярно. Но в состоянии растерянности он пребывал с минуту и тут же вышел из положения.

— Сеньора и сеньоры,— торжественно обратился он к нам.— Как вам известно, наши страны установили между собой дипломатические отношения... Поэтому мы решили пригласить вас и спросить: какую помощь мы можем оказать вам здесь, в Икитосе?

Теперь озадачены были мы. Привести нас почти под конвоем в участок, продержав полчаса вместе с бродягами и проститутками только для того, чтобы предложить помощь! Это была поистине полицейская вежливость. Мы решили поймать его на слове.

— С удовольствием воспользуемся вашей любезностью. Завтра мы хотим совершить поездку по Амазонке и будем благодарны, если вы предоставите нам для этого полицейский катер.

Просьба застала его врасплох. Он замялся, пообещал принять меры и завтра ровно в восемь утра позвонить нам в отель. Вручив нам паспорта, он проводил нас до двери.

Мы вернулись в отель. В вестибюле на прежнем месте сидел «читатель», а у стойки портье ждал Маноло.

Когда в Лиме мы, смеясь, рассказали друзьям о том, как нас в Икитосе водили в полицию, они понимающе переглянулись. Оказывается, этот город считается в Перу цитаделью консерватизма и реакции, и власти его, видно, не очень-то были доволны приездом советских людей.

Как и следовало ожидать, в восемь утра не последовало никакого звонка. Тогда Маноло повез нас куда-то в пригород, и там мы нашли моторную лодку.

«Царица земных рек» Амазонка — под стать лесному океану, среди которого она течет. Это река могучая и страшная. Даже здесь, в верховьях, от берега до берега будет добрый километр. А потом она тянется почти на четыре тысячи километров через Перу, Колумбию и Бразилию, вбирая все новые реки, и приносит в Атлантику такую массу воды, что в нижнем ее течении даже с середины не увидишь берегов. Недаром ее зовут река-море.

Вода в Амазонке мутная, серовато-желтая, течение стремительное, полное бурливых водоворотов. Как ни жарко на ее берегах, это не та река, при взгляде на которую хочется раздеться и поплавать в прохладных волнах. Да и вообще купаться и плавать в Амазонке нельзя: это может стоить жизни. Даже самый опытный и сильный пловец не в состоянии бороться с ее стремительным течением. Но главное препятствие — не течение. В Амазонке живет рыба, которую называют «карибе» или «пирайя». Небольшая по размеру — в среднем с ладонь,— она ходит по реке большими стаями. У нее острые мелкие зубы и выдвинутая вперед сильная нижняя челюсть. Рыба эта — злобный хищник, она не просто кусает, а отхватывает куски мяса у человека или животного, попавшего в воду. Сотни и тысячи карибе набрасываются на свою жертву, и в несколько минут от нее остается лишь обглоданный скелет.

Есть еще один опасный обитатель амазонских вод — электрический угорь. Это черная змеевидная рыба длиной с полметра. Если вы проплываете поблизости от нее, она нагрядает вас электрическим разрядом напряжением в сто сорок вольт. Даже на земле такой электрический удар ошеломяет, а в воде он ощущается гораздо сильнее, и можно на несколько секунд потерять сознание, а этого вполне достаточно, чтобы захлебнуться.

Понятно, нам хотелось только проехать по реке, поглядеть берега, где сельва подступает к самой воде. Мы знали, что где-то поблизости от Икитоса у речек, впадающих в Амазонку, расположены живописные индейские деревни, жители которых — и мужчины и женщины — носят лишь набедренные повязки — подобие короткой юбочки из волокон каких-то растений. В этих деревнях сохраняется примитивный индейский быт, и делается это, разумеется, по соглашению с туристскими агентствами ради экзотики — туда они возят своих любопытных клиентов. Это как бы живые музеи, доход от эксплуатации которых частично получают и сами экспонаты. Но нам так и не довелось попасть в эти заповедники тропической экзотики. Едва мы отчалили от берега, как

наплыли низкие тучи и начал сеять противный мелкий дождь. Зеленые берега сразу потускнели и уже не казались такими живописными и яркими. Когда же мы вышли в Амазонку, где течение заметно прибавило скорости нашему суденышку, дождь превратился в ливень. Укрыться в лодке было негде, и мы сразу же промокли до нитки. Мутно-желтая поверхность реки рябилась и пузырилась. Однообразная, непроницаемая для глаз стена зелени тянулась по обоим берегам, и лишь изредка на вырубленных полянках виднелись избушки на курьих ножках — дощатые домики на сваях, покрытые пальмовыми листьями. Вдобавок начал барахлить мотор. Лодочник выбрал на правом берегу большой свайный дом, перед которым над водой чуть поднимался маленький дощатый причал, подогнал к нему лодку. От причала крутая лестница вела прямо к открытым дверям дома. Лодочник предложил нам немного обсушиться, пока он починит мотор.

В доме была небольшая «универсальная» лавка. Всеми делами ее заправляли пожилая индианка и ее дочь — девушка лет пятнадцати. Полки были заставлены консервными банками и бутылками с пестрыми этикетками, сбоку на прилавке лежала вяленая рыба; распяты на «плечиках», висели дешевые яркие рубашки, женские кофточки, белье.

Хотя было не холодно, но от реки тянуло свежим ветром, и мы слегка продрогли в своей насквозь мокрой одежде. Решено было принять меры против простуды, и мы тут же, закусывая рыбой, распили бутылку перуанской водки, угостив и лавочницу, и нашего лодочника. Через полчаса дождь начал стихать, и мы решили ехать дальше. Но опять, едва только лодка достигла середины реки, с неба хлынули новые потоки. Все вокруг заволочило такими серыми тучами, что мы поняли: поездка непоправимо испорчена.

Лодочник причалил прямо к крутому глинистому откосу возле нашей гостиницы. Взять от нас деньги он категорически отказался, заявив, что программа путешествия не выполнена. Нам оставалось только пригласить его к себе, чтобы угостить русской водкой и вручить несколько московских сувениров.

Утром мы улетели в Лиму, а оттуда на родину. Каждый день, проведенный нами на земле Перу, был для нас днем каких-то открытий. Все было неожиданно и интересно в этой стране — ее разнообразная, богатая и величественная природа, ее романтическая и суровая история, ее полный надежд и добрых предвестий сегодняшний день.



ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Ю. СУРОВЦЕВ

★

СЕГОДНЯШНИЕ РУБЕЖИ

Большое событие в общественной жизни страны — столетие со дня рождения Владимира Ильича Ленина — советские ученые-гуманитарии встретили новыми научными работами, многие из которых вносят значительный вклад в развитие философии, социологии, социальной психологии, истории, эстетики и т. д. Конечно, не остались в стороне и литературоведы. Помимо авторских книг, посвященных многограннейшей, неисчерпаемой теме «Ленин и художественная литература», «Ленин и искусство», появилось немало трудов коллективных — сборников, специально подготовленных к юбилею или представляющих собою материалы научных конференций, которые к этому юбилею были приурочены. Сразу же упомяну некоторые из таких сборников, поскольку на работы, в них вошедшие, я здесь главным образом и буду опираться. Это: «Наследие Ленина и наука о литературе» (Л. «Наука». 1969), «Ленин и искусство» (М. «Наука». 1969), «Ленинское наследие и литература XX века» (М. «Художественная литература». 1969), «Ленинизм и литература» (на украинском языке, Киев. «Наукова думка». 1969), «К. Маркс и актуальные вопросы эстетики и литературоведения» (М. «Наука». 1969).

Пафос этих сборников — в творческом, все более углубленном изучении наследия классиков марксизма-ленинизма во имя все более точного и основательного объяснения собственно литературоведческих, эстетических проблем. Обращение к великому наследию необходимо как в силу современной мировой идеологической ситуации, так и в силу закономерных внутренних потребностей роста нашей науки: две стороны, тесно соприкасающиеся, взаимно друг друга обуславливающие. Характерная особенность этих

сборников состоит в том, что в них четко (четче, нежели когда-либо прежде) выявляется стремление наших ученых использовать все методологическое богатство марксистско-ленинской теории.

В статье «Ленинские принципы развития социалистической художественной культуры» редактор киевского сборника И. Дзеврин справедливо подчеркивает, что «принципиально важное значение для разработки проблем эстетики, прежде всего проблем теории и практики социалистического реализма, имеют идеи ленинизма в целом, а не только непосредственно литературные и эстетические высказывания Ленина. Кстати, подлинно научное осмысление этих последних тоже с необходимостью предполагает включение их в широкий контекст всей философской и социально-политической системы положений ленинского учения». Столь же симптоматично для сегодняшнего «мирочувствия» наших литературоведов суждение редактора ленинградского сборника А. Бушмина: «Было бы нескромным и преждевременным заявить, что мы уже в достаточной мере постигли и творчески претворили в своих работах ленинские принципы научного анализа. Внимание литературоведов пока направлено преимущественно на освоение прямых высказываний Ленина по вопросам литературы; впрочем, многое и здесь нами сделано далеко не с должной обстоятельностью. Что же касается философских, социологических, исторических, публицистических работ Ленина, не имеющих с предметом литературоведения непосредственной связи, то они под углом зрения задач науки о литературе изучаются недостаточно, отрывочно, от случая к случаю, а между тем могут много дать нам не только в общеобразовательном, но и в мето-

дологическом отношении, в деле овладения ленинскими принципами анализа общественных явлений».

Подобная установка обусловила многообразие конкретного содержания названных мной коллективных трудов. Здесь мы находим большое число статей историко-литературного характера (на материале истории русской классической литературы XIX века, советской литературы, литератур Запада); здесь есть работы, главная и важная цель которых состоит в том, чтобы систематично очертить гигантский круг проблем культуры, непосредственно поставленных и решаемых в произведениях Ленина и Маркса (таковы статьи В. Кружкова и А. Карягина в сборнике «Ленин и искусство», Г. Фридлендера в сборнике «Наследие Ленина и наука о литературе», А. Мясникова в сборнике «Ленинское наследие и литература XX века»); в этих коллективных книгах углубленно разрабатываются отдельные вопросы, разрабатываются так, однако, что исследование приобретает опять-таки общепедагогическое методологическое значение (упомяну для примера статью Г. Куницына, анализирующую историческое развитие понятия «партийность» в ленинских произведениях разных лет, — она напечатана в сборнике «Ленин и искусство»; статья В. Гусева о социологии народного творчества — в ленинградском сборнике).

Впрочем, я рискую утомить читателя перечислениями. Но нужно отметить — хотя бы вот так, перечислительно — то ценное в данных сборниках, на чем я, к сожалению, не смогу остановиться в своей статье и на что тем не менее хочу, пусть бегло, обратить внимание читателя: «энциклопедизм» сборников — их важное достоинство.

У нас же речь пойдет лишь об одной — однако общей для всех названных коллективных трудов — теме: о методологических поисках в сегодняшней теории художественного творчества. Причем статья моя — это заметки по поводу прочитанного, наблюдения и размышления, навеянные сборниками, а не сколько-нибудь полный анализ их содержания.

1

В последние годы советские ученые, руководствуясь марксистско-ленинскими принципами эстетики, внесли немало методологически ценного в изучение специфики художественно-образного мышления. Исследова-

ние этой проблемы должно объяснить природу многозначности художественного образа. Наша наука, опираясь на диалектико-материалистическую гносеологию, утверждает, что эта многозначность не сводится к одной лишь субъективной авторской воле, как думают и сегодня многие эстетики-идеалисты и художники-практики модернистского плана, а коренится во взаимосвязях субъекта, отражающего мир, с объективным богатством содержания этого мира. Эту нашу исходную позицию можно обозначить как «точку зрения жизни» — отнюдь не случайно именно так называется одна из статей, вошедшая в сборник «Ленинское наследие и литература XX века».

Характерной чертой нынешнего этапа изучения художественной специфики является все более настойчивая разработка, все более научно-основательный анализ того, какую действительную роль играет творческий субъект в художественном отражении мира, в воссоздании и «пересоздании» реальности, «входящей» в произведение искусства. Это — проблема творческой активности писателя, художника; именно под углом зрения данной проблемы наша сегодняшняя критика часто рассматривает литературный процесс последнего десятилетия в его целостности и в тех или иных отдельных его сторонах.

Эта проблема исследуется и чисто теоретически, что для нас здесь более всего интересно.

Ю. Боров в работе «Ленинская теория отражения и борьба вокруг проблем гносеологии образного мышления» пишет: «Художественная мысль, как и всякая иная, есть субъективный образ объективного мира. Но, помимо этой общей диалектики субъективного и объективного, есть и особые ее проявления, присущие только художественному образу. В искусстве сама неповторимая личность творца, наряду с жизненными наблюдениями, становится строительным материалом художественного образа» (сб. «Ленинское наследие и литература XX века»). Может быть, эта формулировка не вполне безупречна: так, словечко «наряду» вряд ли правомерно, коль скоро речь идет о «жизненных наблюдениях» той же творческой личности, а не кого-либо еще, но она фиксирует существо дела — субъектно-объектную природу художественного отражения действительности.

Художественная субъективность действует на всех «ступенях» творческого про-

цесса: от первых жизненных наблюдений, от обнаружения темы как своей темы (Горький очень точно и глубоко сказал, что «тема — это идея, которая зародилась в опыте автора, подсказывается ему жизнью, но гнездится во вместилище его впечатлений еще неоформленно и, требуя воплощения в образах, возбуждает в нем позыв к работе ее оформления»¹) до окончательной «шлифовки» произведения. На всех ступенях творческого процесса заявляет о себе и объективная сторона связи: субъект—объект. Она заявляет о себе прежде всего как цель творчества, творческой деятельности автора, и в неразрывном единстве с этим, как очень важный, необходимый момент содержания того, что художник хочет сказать людям. «Если бы дело заключалось только в личности художника, то искусство было бы лишь портретированием и автопортретированием,— подчеркивает Ю. Борев в другой своей работе.— Тогда оно никому не было бы пушно. Сила искусства в другом. Настоящий художник берет не только свой личностный, а и общественно-исторический опыт отношений, т. е. необходимое, устойчивое, важное для массы людей, и придает ему личностную форму» (статья «Маркс и гносеология образного мышления» в сборнике «К. Маркс и актуальные вопросы эстетики и литературоведения»).

Сама диалектическая природа искусства — во всех его видах и жанрах, искусство как особой формы общественного сознания и как особой творческой деятельности,— сама эта природа отрицает асоциальные, «деидеологизирующие», субъективистские методы ее изучения.

Говорят, что вне «личностной формы», вне «души художника», то есть его идеалов, пристрастий, оценок людей и мира, искусство вообще не может существовать. Так оно и есть. Но что это значит, если не то, что художественная деятельность пронизана социальностью, идеологичностью в каждом своем «атоме», от начала и до конца образного творчества?

Для большинства авторов рассматриваемых нами сборников субъектно-объектная диалектика художественного творчества — реальный факт и исходный пункт в исследовании специфики искусства. Это стоит отметить как освоенное нашей коллективной эстетической мыслью, стоит

хотя бы потому, что взгляды, игнорирующие подобную связь субъекта и объекта, разрывающие ее «во имя» того или другого компонента, не вовсе исчезли из эстетической науки и литературно-критической практики. Но такой разрыв есть уже эстетический пережиток. Цепкий, но тем не менее — пережиток.

Конечно, исходный пункт исследования потому и называется исходным, что с него надо начинать, но им нельзя ограничиться. Движение литературоведческой мысли сейчас все чаще характеризуется стремлением использовать в своей области исследовательские навыки и результаты других смежных наук. Один пример. Ю. Борев в упомянутых работах о гносеологии образного мышления, особенно в статье, напечатанной в сборнике «К. Маркс и актуальные вопросы эстетики и литературоведения», интересно вводит в свои размышления материал психологических исследований Л. Выготского, А. Леонтьева, С. Рубинштейна, тбилисской школы психологов и других. Этот материал привлечен и М. Вольским, автором статьи «Специфика художественной деятельности» в сборнике Московского университета «В. И. Ленин и некоторые вопросы истории и теории эстетики» (выпуск 3).

Сегодняшнее многообразие методологических подходов к такому специфическому явлению, как искусство, обусловлено не только процессами «стыковки» различных дисциплин — процессами, показательными для нынешнего развития наук вообще, оно определяется многообразием самого предмета, его, как часто говорят теперь, полифункциональностью. Искусство в самом деле есть и познание действительности, и оценка ее, и особая духовная, психическая деятельность, фиксирующаяся в особом «материальном», предметном продукте, и средство коммуникации, своеобразный язык. Поэтому и оправданно различие исследовательских подходов к искусству. Украинский критик М. Острик справедливо отмечает, что, «как и в каждой науке, в литературоведении специфические факты и проблемы не могут быть исследованы одними только «родными» приемами, поскольку и сами эти приемы, в конце концов, основываются на разных областях знаний...» (сб. «Ленинизм и литература»).

Тут нам пора вернуться к тому, о чем говорилось в начале статьи. Наша наука, как мы сказали, сегодня особенно активно стре-

¹ М. Горький. Собрание сочинений в 30-ти томах. М. 1953, т. 27, стр. 214.

мится опереться на марксистско-ленинскую теорию во всей полноте ее содержания, стремится использовать в своей деятельности и непосредственно литературоведческие, и социологические (социально-психологические, социально-культурные), и философские ее положения. Понятно, что литературоведы и искусствоведы вновь и вновь обращаются к таким ленинским работам, как «Партийная организация и партийная литература» или статьи о Льве Толстом. Литературоведы и искусствоведы вновь демонстрируют неисчерпаемую глубину и актуальность ленинского учения о «двух культурах» (в сборнике «Ленин и искусство» Г. Недошивин, например, интересно раскрывает значение этого учения в статье о современной западной художественной культуре) или ленинского анализа трех этапов освободительного движения в России (тут я выделил бы прежде всего работу Б. Мейлаха в сборнике «Наследие Ленина и наука о литературе»).

Такие темы традиционны — в хорошем смысле слова — для нашей науки о литературе и искусстве. Но вот А. Бушмин поставил перед собой задачу, казалось бы, весьма далекую от собственно искусствоведения. Его статья в ленинградском сборнике называется «Принципы научного анализа в работе В. И. Ленина «Материализм и эмпириокритицизм». Перед нами — опыт изучения того, как логика философской мысли Ленина запечатлевается в оригинальной и глубоко продуманной композиции ленинской книги. Что же, отнести эту статью к чисто философской литературе? В общем, это тоже можно сделать. Но не случайно А. Бушмин дал своей статье подзаголовок «Наблюдения литературоведа». Автор убедительно показал, «что изучение образцов диалектического мышления в ленинских произведениях, постижение строгой логики ленинского научного анализа и ясности ленинского изложения вопросов — дело первостепенной важности для человека, занимающегося исследовательской работой в любой области знания». О литературоведении нашем А. Бушмин говорит немало резких слов, находя, что «пренебрежение к логике аналитического процесса и изложения результатов исследования, бесструктурность научного текста, беллетристическое многословие, засоряющее мысль, или литературоведческая заумь, маскирующая отсутствие мысли, остаются все еще распространенным явлением». Можно, наверное, более оптимистично отнестись к нынешнему

состоянию дел в нашем литературоведении, но в целом критический пафос автора, я полагаю, и оправдан и полезен. Главное же то, что А. Бушмин сумел связать исследование философского содержания «Материализма и эмпириокритицизма» с эстетическими вопросами, входящими в круг проблем специфики искусства — таких, скажем, как соотношение субъективного и объективного в искусстве, проявление партийности в художественной сфере, проблема творческой индивидуальности и т. д.

В методологических поисках, проясняющих пути изучения искусства, А. Бушмин не одинок. Так, С. Вайман (сб. «К. Маркс и актуальные вопросы эстетики и литературоведения») убедительно рассмотрел «Святое семейство» как произведение, очень много дающее нам для понимания исторического своеобразия реалистической художественной типизации. Историк русской литературы Е. Куприянова в своей статье «В. И. Ленин о диалектике и понятие историко-литературного процесса» (сб. «Наследие Ленина и наука о литературе») оперирует не только историческими произведениями Ленина, но становится исследователем гносеологической теории, изложенной в ленинских «Философских тетрадах», — она хочет, воссоздавая ход ленинской мысли, применить приемы ленинского гносеологического анализа к изучению историко-литературного процесса и специфики образного мышления. А литературовед-«западник» М. Кургинян внимательнейшим образом прослеживает методологию экономического и политического анализа империализма у Ленина с тем, чтобы попытаться «перевести» эту методологию в область теоретического исследования структуры современного романа (статья «Империализм, как высшая стадия капитализма» и проблемы западноевропейского реализма XX века» в сб. «Ленинское наследие и литература XX века»).

Многообразие методологических подходов к искусству, методических приемов изучения его проблем и явлений следует оценить, в общем, положительно. Я выражаюсь так осторожно не без оснований. И сегодня существуют определенные издержки увлечения той или иной «нетрадиционной» методологией. О них стóит сказать, стóит подумать над ними.

Оставим в стороне семиотику (это особая тема — «семиотика и искусство», к тому же

ее нынешнее «вторжение» в литературоведение не зафиксировано в «составе» сборников, о которых идет речь). Но вот, например, идея, согласно которой произведение искусства есть структурная модель действительности. Идея, достаточно популярная, и в данных сборниках встретить ее можно часто.

Ю. Боров, как я уже говорил, дал немало ценного, рассматривая искусство и со стороны психологического анализа творческой деятельности, и со стороны анализа познавательной его функции. С этой последней стороны он стремится показать «принципиальную метафоричность» образного познания. «Не всякий образ есть метафора, — утверждает исследователь, — но всякая образная мысль тяготеет к метафоричности, тяготеет к сопряжению далеко отстоящих явлений, тяготеет к взаимоподсвечиванию, взаимосвечению, взаимораскрытию явлений друг через друга, к взаимному отражению явлений друг в друге». Допустим, что это в принципе, в широких пределах, так и есть, хотя употребленное Ю. Боровым сравнение художественного образа со сфинксом («сфинкс есть сопряжение человека и льва») относится, я думаю, больше к картинности авторского слова, чем к существу его мысли. Но чем обосновывается эта принципиальная метафоричность?

Ю. Боров выводит ее из «коренного свойства материального мира», из того, что, как подчеркивал В. И. Ленин, в самом фундаменте материи заложено свойство отражения. Эту мысль Ленина нельзя понять правильно вне его положения об универсальной связи явлений материального мира и отражающих эту связь понятий, категорий и т. д. Художественная метафоричность сама по себе, вне творческого субъекта, о «правах» и «обязанностях» которого Ю. Боров здесь говорит, в этой связи не коренится. Между тем Ю. Боров делает такой вывод: «Все явления и предметы взаимоотражаются друг в друге; вот это коренное свойство материального мира и определяет структуру образной мысли». В итоге у Ю. Борова получается следующее: художественный образ не простое копирование мира (безусловно, так!) и не повторение его форм (разумеется, хотя бы уже потому, что образ есть духовное, простите за невольный каламбур, образование), художественный образ надо понимать «как структуру, копирующую структуру реальных взаимоотно-

шений явлений действительности» (сб. «Ленинское наследие и литература XX века»).

Это последнее суждение Ю. Борова вызывает возражение. Исследователь утверждает активность субъективного пересоздания действительности, справедливо отрицая натуралистическое повторение ее в деятельности художника, — почему же тогда художественный образ своей структурой должен копировать структуру реальных явлений? Или слово структура здесь спасает? Вряд ли так. Отражение в искусстве не есть копирование предмета ни в его внешности, ни в его структуре. Постигание структуры — да, но не копирование.

Кроме того, всякий ли художественный образ (исторически всякий, индивидуально всякий) по своей структуре соответствует структуре явлений действительности? Если не всякий, а, скажем, только реалистический, то какую структуру копирует образ романтический или — страшно произнести — какой-либо модернистский? Если же всякий, то остаются, стало быть, открытыми вопрос о степени соответствия двух структур и вопрос о специфичности структуры художественной.

Наконец, коль скоро мы не приемлем вульгаризаторскую схематику, но стоим, оказывается, за признание гносеологического подобия структуры действительности и структуры художественного образа, то каким путем мы сможем тогда опровергнуть, например, точку зрения автора «Социологии романа» Люсьена Гольдмана, утверждающего, что реалистический роман реалистичен лишь в том смысле, что его «структура аналогична основной социальной структуре», и на этом основании объявляющего модернистский роман «по-современному» реалистичным?¹ Кстати, такой ход мысли широко распространен в самых различных модернистских течениях, вплоть до абсурдизма: картина мира, мол, бессвязна, нелогична, хаотична, но это лишь потому, что сам мир сегодня безумен; внешнего подобия у нас нет, а внутренние структуры-де соответствуют друг другу. Мы опровергаем такую точку зрения (о ней будет речь и дальше) тройко. Во-первых, мир и сегодня не хаотичен, как не был он хаотичен вчера и позавчера; его «состояния», его социальные структуры меняются, но меняются законо-

¹ См. об этом в статье Е. Евниной «Марксизм и современное французское литературоведение» («К. Маркс и актуальные вопросы эстетики и литературоведения»).

мерно. Во-вторых, лишь извращенному сознанию, извращенной идеологии мир представляется хаотичным. Наконец, в-третьих, — и это есть именно эстетическая критика и вульгаризации и модернизма — между искусством и жизнью существуют взаимоотношения, вовсе не идентичные отношению копии к оригиналу.

Не будет беды, если назвать художественный образ структурной моделью действительности. Но только тогда не будет, если вы не утверждаете обязательного подобия между двумя этими структурами, разными и по характеру, и по строению, и по самим плоскостям, в которых они существуют и должны анализироваться. Проблема исторической правды, добытой художником, автором той или иной художественной «модели» мира, проблема степени глубины его художественного отражения жизни ставится в ложные условия для исследования, если исследование интересуется аналогиями структур, и только ими. Тут легко войти и в царство формалистической, и в царство вульгарно-социологической методологии, которые — пойдем, наконец, это! — друг без друга жить не могут, питают друг друга.

Я говорил о том, что М. Кургинян внимательно и тонко исследует работу В. И. Ленина «Империализм, как высшая стадия капитализма». Автор убедительно показывает, как ленинский анализ экономической и духовной жизни при империализме идет от явлений к сущности, обнажает внутренние законы, внутреннюю структуру империализма. Автор ставит благую и далеко не банальную задачу «перенести» этот метод в область изучения художественной культуры Запада эпохи империализма, более всего в область изучения западноевропейского реалистического романа, его структурной художественной формы. Но интересные конкретные наблюдения автора в этой части работы существуют вне зависимости от первой части, где речь шла о ленинской методологии. Дело не в ожидании прямых связей, от чего справедливо предостерегает автор и себя, и своих читателей, — дело в том, что «новаторскую», «объемную», «двуслойную», «углубляющуюся», «открытую» композиционную структуру романа XX века (так характеризует ее М. Кургинян) вообще, я думаю, нельзя вывести из анализа экономической сущности империализма.

Мы можем и должны говорить о том, что наука (экономическая, социальная) и искус-

ство, стремящиеся к истине, идут в одном направлении, взаимно обогащают друг друга, но если выводы науки соответствуют структуре действительности, «совпадают» с ней и в этом совпадении проверяется правильность и глубина научной «модели», то в структуре художественного произведения структура действительности не копируется.

Между тем у автора мы постоянно наталкиваемся на такие обобщающие формулировки: «Специфическое соотношение между сущностью и видимостью продолжает оставаться (все более и более осложняясь) неотъемлемой чертой современного империализма. Отсюда значение той повздорской, двуслойной, открытой структуры, предполагающей косвенные формы изображения, которая, несмотря на те или иные противоречия и отходы, утверждается современным реализмом — социалистическим и критическим»; «Чувство современности, которое всегда отмечается как характерная черта лучших произведений писателей и критического, и социалистического реализма, проявляется не просто в актуальности и остроте их тематики (что верно, то верно. — Ю. С.). В основе этого свойства — достигаемое перестройкой всей художественной структуры воспроизведение специфического разрыва между явно видимыми противоречиями современной действительности и тем, что остается под спудом...». Или взять такие формулировки (по конкретному поводу, но с тем же обобщающе-методологическим прицелом): «Разъединение диалога и сонгов (у Брехта. — Ю. С.) призвано... раскрыть глубоко замаскированное противоречие, столь характерное для империализма; — ненормальность, уродливость, трагизм отделения человека от подлинно человеческого содержания»; «Структура романа (у Голсуорси. — Ю. С.) оказывается адекватной структуре отражаемой в нем стадии развития общества, с присущей ей специфической расстановкой сил старого и нового» и т. п.

Не слишком ли прямо, не механистично ли прочерчиваются связи — и по отношению к конкретным произведениям (в эстетическом анализе их, повторяю, автор дает много ценного), и по отношению к движению художественной формы, и по отношению вообще к специфике искусства?

На деле автор идет не от анализа действительности к о т р а ж е н и ю ее в искусстве, а от наблюдений над художественными структурами, которым присваивается роль обозначать структуры социальные.

Показав сходство некоторых художественных исканий реалистов социалистических и «критических», автор, оставшись в плоскости структурно-моделирующего подхода к искусству, не раскрыл их различия. Когда речь заходит об отделении реализма от модернизма, тогда М. Кургинян говорит о различиях в «художественной концепции действительности». Но как это делается? М. Кургинян полагает, что «водораздел между реализмом и модернизмом не может быть, очевидно, обоснован сколько-нибудь убедительно без показа различий именно в «средствах и приемах»... Иные подходы переводят проблему в сферу собственно идеологического спора». Но разве не ясно, что вне последней сферы вообще не может быть анализа действующих, практически функционирующих «средств и приемов»? Исключить идеологию из анализа художественных структур нельзя. По своей природе художественное сознание есть своеобразная, но идеология.

Обратимся теперь к интересной работе Е. Куприяновой «В. И. Ленин о диалектике и понятие историко-литературного процесса». Автор серьезно размышляет о возможности применения ленинских диалектико-познавательных идей к познанию (литературоведом) исторического движения литературы. Но самую смену направлений, реально существующих в истории русской литературы, их реальные взаимоотношения исследователь объясняет тоже во многом логистически, умозрительно. Здесь цитаты из «Философских тетрадей» «работают» у Е. Куприяновой лишь внешне. На это, кстати, уже было обращено внимание¹.

Итак, модель моделью, структура структурой, но без анализа конкретной исторической действительности и конкретных — идеологически различных — ее отражений в общественной мысли и в искусстве не уловишь ни специфики искусства в целом, ни процесса его реального бытования и движения, ни его реальных воплощений в том или ином произведении.

Если искусство не осмысливается идеологически, социально-конкретно, то нетрудно дойти и до крайних пределов увлечения своей мыслью.

Увлеченный идеей связи искусства с жизнью и понимая эту связь примерно в ду-

хе совпадения «структур», хотя и не употребляя этого слова, Н. Федь, например, трактует конфликт «сатирических комедий, в которых нет положительных героев», как процесс простого «переноса» в искусство конфликтов жизни. Делает он это так: «Подтверждение тому — реальная действительность, в которой порой жизненные противоречия приобретают четко выраженные признаки неподдельной фарсовости и нелепости». И приводится письмо Энгельса Марксу о событиях во Франции 1851 года, о «лародии на 18 брюмера». В стороне автор оставляет ни много ни мало позицию Энгельса, которая обусловила характеристику и оценку данных событий как «великолепной комедии». Для Н. Федя же они — просто пример того, «как, в сущности, незначительное, сталкиваясь с еще более мелким, полностью саморазоблачается и выглядит не только жалким, но и умерительно смешным»¹.. Работа художника, стало быть, проста: «моделируй» (то бишь — копируй!) эту «полностью саморазоблачающуюся» действительность и получай «Ревизора» и «Смерть Тарелкина»!

2

Здесь я хочу сделать некоторое отступление в сторону... Как бы в сторону.

Читающий статью Н. Федя не может не обратить внимания на то, как, в сущности, вольно использует автор упомянутое выше письмо Энгельса. Вольно и в то же время догматично. Он вырывает цитированные суждения из энгельсовского контекста и «заталкивает» их в контекст собственный. Работа довольно грубая, и случай, надо сказать, почти уникальный сегодня. Почти уникальный.

Против начетнических толкований (а начетничество есть особый вид неточности!) наши ученые выступают сегодня не только в общей форме декларативного осуждения, но и конкретно. Имеет общеподушительный смысл, например, возражение А. Мясникова против достаточно распространенного мнения, будто «Маркс утверждал только художественный метод Шекспира и отрицал — Шиллера» (для такого вывода контекст известного Марксова письма Лассалю о его трагедии «Франц фон Зикинген» «неважен», а на самом деле, как доказывает А. Мясни-

¹ См. В. Глухов. «Философские тетради» В. И. Ленина и проблема внутренних закономерностей литературного развития («Филологические науки», 1970, № 3).

¹ Н. Федь, «Конфликты и характеры в комедийном искусстве» в сб. «Социалистический реализм и проблемы эстетики». М. «Искусство». 1970.

ков, он важен чрезвычайно). Поучительно опровергает Б. Мейлах неверную интерпретацию ленинских слов об «архискверном Достоевском» (в письме к Арманд, не Достоевскому посвященном) якобы «как обобщающую оценку писателя»: опять, показывает Б. Мейлах, дело заключается здесь в «игнорировании конкретного исторического фона и контекста».

Мне представляется убедительным, как Ю. Андреев (статья «Некоторые проблемы становления социалистического реализма в свете ленинской теории отражения») оспаривает упрощенную трактовку и бездумное перенесение на процесс художественного творчества ленинского положения о том, что диалектический путь познания истины идет «от живого созерцания к абстрактному мышлению и от него к практике». «Направленность этой цитаты,— подчеркивает литературовед,— в целом не в том, чтобы неизбежно разграничить ступени познания, оставив «живому созерцанию» роль лишь начального материала... такое абсолютное разграничение не соответствует марксистско-ленинской теории познания вообще и вопиюще неверно по отношению к художественному познанию (сб. «Наследие Ленина и наука о литературе»). Добавим, что такое разграничение «теоретически» обосновывает иллюстративность.

Забота о точности цитирования и толкования классиков марксизма-ленинизма должна быть у нас постоянной.

В. Кружков (в сб. «Ленин и искусство») взял немецкий (оригинальный) текст воспоминаний Клары Цеткин о Ленине и выяснил, что слова Ленина, пересказанные Кларой Цеткин, те самые сотни раз цитированные слова о том, что художник «имеет право творить свободно, согласно своему идеалу, независимо ни от чего», в оригинале звучат несколько иначе, а именно: «Каждый художник и всякий, кто себя таковым считает, претендует на право (nimmt als sein gutes Recht in Anspruch) творить свободно согласно своему идеалу, будь этот идеал на что-нибудь годен или нет (mag das pip etwas taugen oder nicht)»¹. Различие, как видим, немаловажное, и точный перевод этой фразы делает намного более логичной и естественной связь ее с последующей, тоже известной, принципиально важной мыс-

лю Ленина о том, что коммунисты не могут сложить руки, объективистски относиться к тому, как развивается художественный процесс.

Вот вам и «примелькавшаяся» цитата..

Право, вдумываться в то, что ты читаешь, а тем более цитируешь из произведений классиков марксизма-ленинизма.— необходимо!

Кто не знает ставшего знаменитым места из письма В. И. Ленина Инессе Арманд (от 24 января 1915 года) о том, что в романе весь гвоздь в индивидуальной обстановке, в анализе характеров и психики данных типов?

Помните? И. Ф. Арманд хотела написать популярную брошюру для женщин-работниц, где, в частности, пожелала выдвинуть «требование (женское) свободы любви». Ознакомившись с кратким планом брошюры, присланным ему Инессой Арманд, Ленин посоветовал автору это требование «вовсе выкинуть», ибо «выходит... буржуазное требование»¹. В следующем письме² он разъясняет этот совет: «Скажите, что буржуазные дамы понимают под свободой любви? (В первом письме Ленин говорил о свободе от «серьезного в любви», от «деторождения», о «свободе адюльтера».— Ю. С.). Вы этого не говорите. Неужели литература и жизнь не доказывают, что буржуазки именно это понимают? Вполне доказывают! Вы молча признаете это».

И. Арманд выдвинула контрдоводы, в частности и такой: мол, мимолетная связь может быть чистая, с любовью, и она выше брака без любви. В. И. Ленин показал нелогичность подобных контрдоводов, хотя «и мимолетная связь-страсть может быть грязная, может быть и чистая». Казус чистой связи-страсти «возможен, конечно». Но если этот казус привлекает внимание человека, изучающего «классовые типы», то тут жанр популярной брошюры не подходит.

И далее — следует суждение о романе: «Если брат тему: казус, индивидуальный случай грязных поцелуев в браке и чистых в мимолетной связи,— эту тему надо разработать в романе (ибо тут весь гвоздь в индивидуальной обстановке, в анализе характеров и психики данных типов)».

Замечание Ленина, безусловно, шире контекста данной переписки его с И. Арманд,

¹ «Ленин и искусство», стр. 69—70; ср. «В. И. Ленин о литературе и искусстве», изд. 3-е, дополненное. М. «Художественная литература», стр. 662—663.

¹ В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 49, стр. 51.

² См. там же, стр. 54—57.

но вне этого контекста мы не поймем и широкого значения ленинского суждения.

И. Стебун в статье «Ленинская теория отражения и художественная правда» (сб. «Ленинизм и литература») сетует на то, что некоторые критики игнорируют этот контекст. К сожалению, сам он тоже его игнорирует. Суждение Ленина о том, что эту тему надо разрабатывать в романе, И. Стебун продолжает от себя уже так: «...ибо только в художественном отражении, вся суть которого в индивидуальной обстановке, в «анализе характеров и психики данных типов», казус, индивидуальный случай, может раскрыться в своей сущности как индивидуальное проявление бытия».

Минуту внимания!.. Сказанное критиком лишь внешне похоже на то, что сказано у Ленина! Неточность, методологически показательная, не одному И. Стебуну принадлежащая, достаточно часто встречающаяся.

Об индивидуальном казусе (а не о каком-то «проявлении бытия») Ленин говорит применительно к роману, а не вообще к «художественному отражению». Сюжетный казус не впрямую, не «в лоб» может проявить существенные стороны классовых, социальных типов, их взаимоотношений — эта мысль много дает нам для понимания специфики жанра романа. Но можно ли с плацдарма этой мысли воспарить к выводу о том, что в художественном отражении вообще «вся суть» в индивидуальной обстановке и т. д.?

Искусство, говорят, есть единство общего и индивидуального. Так-то оно так, но в том ли смысле, в каком Ленин говорит и о казусе и о путях индивидуализации в романе (казус лишь один из таких путей)? Если «приподнять» цитату до уровня закона в искусстве вообще (да еще приписывать такую абсолютизацию Ленину), тогда — будем логичны — все искусство мы и ограничим казусами реалистического романа.

Нельзя произвольно поворачивать эту мысль Ленина вообще к «художественному отражению», ко всякой индивидуализации, которая при этом объявляется синонимом художественной специфичности. Конечно, художественный образ дает нам «общее» в форме «особенного», но индивидуальная обстановка, анализ индивидуальных характеров, «единичность» и прочее — все это присуще вовсе не любым произведениям искусства, более того, не каждому из его видов, методов, исторических эпох развития. Од-

нако это не всегда учитывается в теоретических рассуждениях о специфике искусства...

И еще негативный пример, тематически из другой, как говорится, оперы, но обнаруживающий ту же тенденцию произвольного, неточного толкования суждений классиков марксизма-ленинизма.

В ленинградском сборнике «Наследие Ленина и наука о литературе» Л. Ершов и А. Хватов в работе «О национальных традициях в советской литературе» много раз возвращаются к известной мысли В. И. Ленина о том, что существуют две культуры в каждой национальной культуре и что демократические и социалистические элементы (и традиции) марксисты берут в противовес буржуазным, в противовес буржуазному национализму каждой нации. К сожалению, далеко не все выводы, которые делают отсюда два исследователя, точны.

Изложив эту ленинскую мысль, Л. Ершов и А. Хватов пишут тут же: «Однако это не означает, что Ленин не признавал единства национальной культуры в ее глубинных проявлениях». Ленин, безусловно, «признавал» единство национальной культуры. Но вот что это значит — «глубинные проявления»?

В какой-то степени авторы статьи делают понятным для читателя свое толкование этих «глубинных проявлений», когда они заявляют, например: «Ясное понимание того, что новая Россия должна усвоить тысячелетние итоги мировой и национальной культуры, — вот что составляет основу ленинского учения о культурной революции, которое имело для судеб нашей литературы такое же основополагающее значение, как и принцип партийности». Вдумаемся в это! «Усвоение» прошлой культуры оказывается фактором, существующим наряду с партийностью (имеется в виду, очевидно, коммунистическая партийность)? С этим нельзя согласиться.

Не просто «усвоить» культуру прошлого, а переработать, развить лучшие ее образцы, традиции, результаты «с точки зрения миросозерцания марксизма и условий жизни и борьбы пролетариата в эпоху его диктатуры»¹ — так ставил вопрос В. И. Ленин в 1920 году. «Пролетарская культура = коммунизм»², — писал он в другом месте. Марксистское, коммунистически-партийное

¹ В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 41, стр. 462.

² Там же, т. 51, стр. 299.

миросозерцание — вот действительно основа, идеологическая основа осуществления культурной революции как в целом, так и в той ее (очень важной) части, которая касается усвоения прогрессивного опыта прошлого.

Неопределенность выражения насчет «глубинных проявлений» единства национальной культуры — не случайная или небрежная формулировка. Л. Ершову и А. Хватову в данной статье дело представляется не так, что «социально-классовое» существует в «национально-историческом», а так, будто существует оно вроде бы рядом с «национально-историческим».

Справедливо выступая против теории элитарности искусства и за развитие художественных вкусов народа, Л. Ершов и А. Хватов характеризуют это развитие следующим образом: вкусы народа надо «совершенствовать, углублять, а не разрушать (очень верно! — Ю. С.), не прививать нечто такое, что противоречит изначальным (!), исторически сложившимся идеалам прекрасного, ставшим достоянием народа, запечатленным в памятниках искусства, которые выдержали суровую проверку временем». «Изначальные» — что опять-таки имеется в виду? Фольклорные идеалы? Вряд ли так, или вряд ли только они. Но разве не ясно, что история воспитывала народ противоречивым опытом. в том числе противоречивым опытом культуры, и что совершенствование народных вкусов предполагает, как свою важную часть, преодоление всего того в этих вкусах, что «в нас ушедшим рабьим вбито»?

И далее.

Л. Ершов и А. Хватов по понятным мотивам отрицают «установки вульгарных социологов», отрицают, в частности, такие понятия, как «дворянский реализм», «пролетарский реализм», «крестьянский реализм» (понятия, действительно топорные в вульгарно-социологическом контексте). Но наши авторы соединяют это свое отрицание с утверждением, будто «такие важнейшие слагаемые искусства, как язык и художественный метод, в равной мере могут обслуживать полярные классовые группировки».

Художественный метод наряду с языком и оба они в одной плоскости «слагаемых искусства»! «Дополковать» таким образом мысль о «двух культурах» и о единстве национальной культуры — это ли свидетельство литературоведческой точности?

3

Как может возникнуть мнение о том, что художественный метод нейтрален по отношению к «полярным классовым группировкам», к их объективным интересам, в том числе и эстетическим?

В своей статье Л. Ершов и А. Хватов повторяют довольно модную сегодня мысль, будто искусство, «имея определенное идеологическое содержание, не может быть сведено собственно к идеологии». Мысль, вроде бы выражающая заботу о специфике искусства. Но, спрашивается, какая форма общественного сознания сводится к идеологии? Философия? Этика? А главное, что это значит — свести или не свести ту или иную форму общественного сознания к идеологии? Не понимается ли при этом — пусть произвольная, — что идеология есть нечто чисто прагматическое, вне искусства, вне любой другой формы общественного сознания существующее и к ним лишь «прикладываемое»?

Духовное вообще — шире идеологического. Но по отношению к сфере социально-духовного, по отношению ко всем формам общественного сознания Ленин видел «основную идею» марксизма в том, что «общественные отношения делятся на материальные и идеологические. Последние представляют собой лишь надстройку над первыми...»¹. Так вот, в этом смысле искусство в целом идеологично. Нет никаких оснований видеть в тех его сторонах, которые схватываются понятием «художественный метод», нечто не идеологическое, а эстетическое. Здесь само противопоставление неправомерно.

Категория художественного метода — одна из коренных эстетических (и тем самым своеобразно идеологических) категорий. Конечно, определив таким образом плоскость рассмотрения ее, мы еще не вскрываем содержания понятия, но и определить данную плоскость важно, ибо в иной — внеидеологической — плоскости это содержание вообще обнаружить нельзя.

Метод социалистического реализма, говорит Б. Бурсов, «немыслим без идейной заданности». Здесь можно спорить об удачности слова «заданность». И к этому нужно добавить, что ни один метод без «идейной заданности» невозможен. Но важно другое. Б. Бурсов вполне прав, утверждая, что в со-

¹ В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. I, стр. 149.

циалистическом реализме «эта заданность такая, которая не уведит от правды, а, так сказать, наводит на нее»¹. Опираясь на это суждение, скажем, что «наведение на правду», конечно, исторически обусловленную, есть свойство всякого прогрессивного художественного метода, есть один из критериев его исторически обусловленной прогрессивности, а также один из важнейших идейно-эстетических критериев отделения прогрессивных методов от консервативных (с какими бы ухищрениями последние ни выдавали себя порой за методы новаторские).

Во всяком случае, «идейная заданность» существует внутри искусства как его неотъемлемое качество, свидетельствующее о своеобразно идеологической его природе, а не вне его, не в сфере какой-то самостоятельно существующей «идеологии», к которой, мол, «свести» искусство невозможно.

В последние годы наша наука все более усердно исследует содержание этого понятия. Категория метода стоит в перекрестье многих теоретических полемики. Их контекст очень многообразен и в каждом случае — особый. Но здесь важно отметить, что понятие «художественный метод» постоянно пульсирует в нынешних обсуждениях, которые тем самым заставляют мысль и непосредственно над теоретическим исследованием данного понятия.

Общее (во всяком случае, преобладающее) убеждение наших ученых заключается сегодня в том, что нельзя трактовать метод как сумму нормативных признаков, накладываемых на него извне. Этот превентивный предупреждающий вывод мы встречаем теперь очень часто у различных исследователей (нередко спорящих друг с другом по другим вопросам). Этот вывод полезен. Но, разумеется, недостаточен.

На каких методологических путях вести исследование многосложного содержания понятия «художественный метод»? На этот вопрос однозначного и всеми признанного ответа еще не существует. Критерии выяснения содержания этого понятия у разных ученых различны. Отнюдь не преодолен (и вовсе еще не ясно, следует ли его преодолевать) тот критерий различения художественных методов, который можно назвать гносеологическим, то есть когда метод выступает в качестве категории, фиксирующей особенности искусства как своеобразного

познания действительности. Искусство есть познание — и потому различие, скажем, реалистического и романтического методов с этой точки зрения вполне резонно: тут понятие метода не выступает как головная выдумка, а есть орудие изучения художественной практики, тут оно в самом деле «вытекает» из обобщения этой практики.

Но искусство не только познание. Оно есть оценка познаваемого, творческое преобразование действительности в идеальной, духовной деятельности, по своему реализуемой в особом продукте этой деятельности — произведении искусства; оно есть и особый «язык», особая система средств своеобразной коммуникации между людьми. Эти аспекты природы искусства и его функционирования подчас остаются в тени, если мы пользуемся традиционно гносеологическим критерием и только по нему определяем художественные методы.

В работе «Точка зрения жизни (Об идейно-эстетических принципах В. И. Ленина)» В. Щербина специально подчеркнул, что «в суждениях Ленина о явлениях литературы всегда сочетаются воедино моменты осмысления объективных процессов жизни с целеустремленной активностью человека, сознательно осуществляющего свои революционные созидательные стремления», что «Лениным категорически отвергались всякие виды вульгарного материализма, выпускающего из виду значение активности художника, представляющего процесс творчества как механическое копирование явлений» (сб. «Ленинское наследие и литература XX века»). Из субъектно-объективной природы искусства, из его полифункциональности и следует исходить в анализе понятия «художественный метод».

Рассмотрим одну из интересных сегодняшних попыток такого анализа. Это несколько уведет нас от тех сборников юбилейного года, о которых мы до сих пор говорили, но такой «отход» оправдан, поскольку в сегодняшней нашей эстетике вопрос, которым мы займемся, становится все более актуальным, да и в рассматриваемых здесь сборниках он, хотя и косвенно, затрагивается.

Неполноту только гносеологического подхода убедительно показывает, например, М. Каган. В своих работах последних лет он тоже настаивает на полифункциональной природе искусства; он выделяет, говоря более конкретно, четыре его функции: познавательную (гносеологическую), оценочную

¹ В. Вурсов, «Литература нашего века» в сб. «Революция. Герой. Литература», М. «Советская Россия». 1969.

(аксиологическую), созидательную (моделирующую) и «языкотворческую», коммуникативную (семиотическую). Понятие метода трактуется как «аналог» всех этих четырех сторон («установок») искусства, взятых в системном единстве; по М. Кагану, художественно-творческий метод по своей структуре есть, в сущности, модель структуры искусства¹.

Подобный методологический подход вызывает поддержку одних ученых и отрицательное отношение у других². Просто отбросить его представляется делом неподобающим. Я думаю, что сам путь исследования, намеченный М. Каганом и другими близкими к такой «множественной» методологии учеными, правомерен. Но пока еще констатация различных «установок» искусства преобладает над исследованием специфики каждой стороны и взаимодействия их.

Кроме того, зададимся следующими вопросами... Почему «аналог» многогранной природы искусства мы должны назвать художественно-творческим методом? Это ведь надо еще логически обосновать для того, чтобы одно понятие не выступало просто как второе название, синоним специфик. Или метод и специфика искусства одно и то же?

Далее. Пусть художественный метод («метод художественного созидания», как пишет М. Каган) есть структура «установок», пусть в аспекте историческом один метод различается от другого «соотношением образующих его элементов», когда выдвигается «на первый план то один из них, то другой», — все же поскольку эти «элементы», эти «установки» постоянны, то есть поскольку нет метода без этих четырех элементов, постольку должны быть и какие-то определенные взаимоотношения между ними внутри теоретически исследуемой структуры? М. Каган полагает, что исторически доминантой может становиться то одна, то другая «установка»: у реалистического метода, скажем, «грань гносеологическая», в классицизме и романтизме — «оценочная установка в структуре творческого метода», у футуристов, дадаистов и сюрреалистов — «созидательная» («языкотворческая») нико-

гда не была и не может быть доминирующей, считает М. Каган).

Я сильно сомневаюсь в этой схеме. Вряд ли, например, оценочная установка в реализме занимает подчиненное место, а «созидательная», моделирующая присутствует здесь (хотя бы только здесь) как некая другая, негносеологическая и неоценочная: в чем, как не в созданном художественном продукте, не в произведении, познание и оцененное только и воплощено, реализовано?

Не следует ли принять за основу всякой субординации «установок» понимание существа искусства как особого субъектно-объектного образования, то есть гносеологию и аксиологию «поместить» в особую теоретическую плоскость разговора и уже от нее идти к плоскости «моделирующей» и «языкотворческой»? Я думаю, что подобная субординация лежит в русле всей теоретической концепции М. Кагана. Свидетельство тому — недавняя философская работа М. Кагана «Опыт системного анализа человеческой деятельности», где также рассмотрены и проблемы полифункциональности искусства (см. «Философские науки», 1970, № 5).

Но тогда опять же: все ли четыре стороны искусства охватываются понятием «художественный метод»? И в чем особенность каждой стороны в том или ином методе? Ведь, например, аксиологические установки в романтизме XIX и в классицизме XVII—XVIII веков не только сходны (ибо «доминируют» среди других), но и различны: по тому, как они «доминируют», и, главное, по своему реальному историческому содержанию.

Всякая наука имеет систему своих категорий, которая позволяет уловить и выразить синхронность изучаемого предмета, его, так сказать, статическую логику, и его динамику, логику этой динамики.

Для исследования исторической динамики искусства, я думаю, очень важное значение имеет понятие «художественное направление». И связь этого понятия с категорией художественного метода.

На дискуссии, проведенной Институтом мировой литературы имени А. М. Горького АН СССР и Союзом писателей (доработанные участниками материалы ее и составили солидный том «Актуальные проблемы социалистического реализма»), И. Брагинский выступил против «догмы, состоящей в том, что реализм сводится лишь к художественному методу», а само понятие метода трак-

¹ См. М. Каган. Метод как эстетическая категория. «Вопросы литературы», 1967, № 3.

² Сравни, например, суждения А. Мясникова и Г. Поспелова («Актуальные вопросы социалистического реализма». М. 1969).

товал как «совокупность художественно-изобразительных средств». Социалистический реализм, по его мнению, «выражает... направленность советской литературы — то, что литература эта имеет социалистическую направленность (отсюда слово «социалистический») и что она воспитывает читателя в социалистическом духе художественной правдой (отсюда — «реализм»)». Критическое отношение к этой точке зрения было достаточно сильным. Во многих отношениях она действительно уязвима: во-первых, метод вовсе не обозначает «совокупности художественно-изобразительных средств» (так трактовали его разве что некоторые критики и литературоведы двадцатых — начала тридцатых годов); во-вторых, нельзя исследовать реализм и социалистический реализм вне понятия художественного метода. Что касается категории направления (а именно ее имел в виду, по существу, И. Брагинский, употребляя термин «направленность»), то в самом деле, как подчеркнул на этой же дискуссии М. Храпченко, «творчеству писателей, принадлежащих к тому или иному литературному направлению, всегда свойственны некоторые общие черты, характеризующие их подход к действительности. Следовательно, признание социалистического реализма направлением... не добавляет от необходимости изучать его особенности как творческого метода».

И все же возникновение точки зрения, выраженной нашим известным востоковедом И. Брагинским, симптоматично. Симптоматично, я думаю, в том смысле, что нельзя во всех случаях, говоря о социалистическом реализме ли, о романтизме, реализме и т. д., иметь их в виду только в качестве метода, брать это качество в отрыве от других сторон содержания этих понятий, и прежде всего — содержания их как историко-художественных направлений. У нас действительно существует привычка — не догма, а привычка — формулировать проблему взаимоотношений между методом и направлением таким образом, что получается, будто в процессе исторического движения искусства возникает сначала метод, а затем и вокруг него — художественное направление¹. Подобная формулировка, возможно,

¹ «Когда художественные принципы одного художника, его метод перенимают (?) другие... — читаем мы в популярной брошюре, — тогда создается объединение художников, возникают группы творцов, исповедующих близкие эстетические идеалы. пользуясь

имеет право на существование, когда мы остаемся в плоскости «статической» логики изучения искусства, но она обнаруживает свою неправомочность, когда мы начинаем исследовать историческую динамику искусства.

Категории «направление», «стилевое течение», «художественная группа», «индивидуальный стиль» и тому подобные необходимы искусствознанию более всего для того, чтобы уловить с их помощью и в них самих различные стороны реального исторического художественного процесса, его «атомы», «молекулы», «тела» и «конфигурации тел». Система взаимосвязей этих и подобных категорий должна выразить структуру реального исторического процесса, соответствовать ей. В этой системе категорий понятие «художественное направление» можно принять за «исходное». Оно выступает по отношению к искусству в качестве главной составляющей: искусство данной эпохи и есть совокупность, структура исторически обусловленных художественных направлений, процесс движения искусства есть процесс динамических взаимосвязей, конфликтов и смен художественных направлений. По отношению к другим категориям понятие «направление» выступает как понятие объединяющее: в смысле стиливом направление можно рассматривать как совокупность родственных стиливых течений, в смысле «организационном» — как совокупность родственных художественных групп, печатных органов и т. п.

Художественный метод не существует иначе, как метод того или иного направления (возможно, и нескольких направлений, но это надо выяснять конкретным анализом, равно как именно конкретным анализом следует ответить на вопрос: существуют ли направления без своего метода). Художественный метод есть «самосознание» направления, теоретическое (по проявляющееся в практике искусства!) осознание глубинных

щихся (очень характерное словцо! — Ю. С.) одним методом воссоздания жизни. Такие группы художников, возникающие часто даже в разных странах, и образуют новое направление в искусстве» (В. Петелин. Метод. Направление. Стиль. М. «Искусство». 1963). Именно такую логику мысли имел в виду (и критиковал на дискуссии) А. Мясников, когда говорил, что, по мнению людей, верящих в такую логику, «художественный метод складывается в сознании художника до написания им данного произведения».

принципов подхода художников данного направления к действительности, точнее — к человеческой проблематике ее. Как объяснить человека этой действительности, его состояние и его возможности — вот, мне кажется, сфера «действия» метода «внутри» направления.

«Первичность» направления не следует понимать плоско, вульгарно. Когда Горький говорил о социалистическом реализме как о «новом направлении», он связывал его с «высокой точкой зрения», с умением художников видеть человеческую действительность «с высоты достижений настоящего, с высоты великих целей будущего» («О социалистическом реализме»), то есть характеризовал направление и со стороны его, этого направления, метода. Точно так же, когда речь у Горького шла о «соцреализме... как методе», он связывал свои суждения о нем с «целями и задачами» советской литературы вообще, с ее реальными победами и неудачами, с ее практическим движением, в котором метод и может только «выявить себя» (письмо А. С. Щербакову от 19 февраля 1935 года). Для исследователя одинаково важно, таким образом, не отрывать метод от направления, не воспарять в такие заоблачные дали, что с подобной высоты реальная художественная практика видна уже как столь малая величина, которой можно «теоретически» пренебречь, а с другой стороны, важно не забывать и о том, что глубокое изучение данного направления предполагает обязанность изучать его и под углом зрения метода, ему присущего...

Я готов согласиться с Л. Якименко, когда он на упоминавшейся уже дискуссии говорил, что «написана история нашей литературы, но не написана еще история нашего творческого метода как такого понятия, в котором наиболее полно выражены новаторские устремления социалистического искусства». Но я уверен, что и Л. Якименко согласится со мной в том, что для создания такой книги наша наука неплохо подготовлена и что значительный бросок вперед сделан ею как раз в годы подготовки и проведения столетнего юбилея со дня рождения В. И. Ленина.

В самом деле, обратившись все к тем же сборникам, которые здесь рассматриваются, разве не увидим мы, что точнее и глубже стали наши представления о связи реализма советской литературы с предшествующим реалистическим (и не только реалистическим) опытом искусства и о новаторстве со-

циалистического реализма; разве не увидим мы, насколько шире и многостороннее стал сам подход к объяснению этого новаторства?

Социалистический реализм как многогранная реальность мирового историко-художественного процесса, как историко-культурный феномен, взятый и в качестве направления, и в качестве творческого метода (и в том и в другом качествах как феномен движущийся, изменяющийся, имеющий свою, уже очень большую историю), — изучается все более глубоко и разносторонне. Нам никоим образом нельзя переоценивать сделанного, но и недооценивать его тоже нельзя...

4

Рассматривая сегодняшнюю деятельность нашей эстетики и нашего литературоведения (то, как эта деятельность запечатлена в коллективных сборниках, приуроченных к ленинскому юбилею), нельзя не подчеркнуть одной из важнейших, органических ее особенностей — боевого, наступательного духа, бескомпромиссной полемичности по отношению к эстетике буржуазной. Вполне ясно, что эта бескомпромиссность продиктована самой идеологической природой нашей науки, к тому же действующей в обстановке острейшей борьбы идей в современном мире.

К углубленной критике абстракционистской теории, эстетики экзистенциалистов, теорий литературоведов-формалистов и т. д., — критике, ведущейся уже не один день и год (но не теряющей из-за этого своей актуальности), сегодня прибавляются сравнительно новые темы полемики: критический анализ феноменологической эстетики, разнообразных теорий техницизма, буржуазной концепции «массовой культуры», идеалистических истолкований аксиологии, эстетических «леворадикальных» воззрений, «мифологических» спекуляций в сфере искусства и эстетики и т. д. Нельзя не заметить увеличившегося внимания наших исследователей к монографическому, часто «портретному» анализу взглядов крупных современных буржуазных мыслителей-эстетиков, таких, как Ж.-П. Сартр, К. Г. Юнг, Х. Ортега-и-Гасет, Т. Адорно и другие.

Разумеется, я не беру на себя задачу рассмотреть все направления сегодняшней полемической деятельности наших ученых и о «количественной» стороне ее заговорил лишь для того, чтобы отметить характерную особенность нынешнего положения дел в дан-

ной области, а именно — широту «наступательных операций», многообразие форм и направлений наших полемических ударов по эстетике и практике модернизма. Есть, разумеется, и «точки пересечения» этих направлений, где полемика приобретает общеметодологический размах и значение.

Проблема «моделирования» искусством жизни, о чем в этой статье главным образом и ведется речь, — одна из таких узловых точек идейно-эстетической борьбы.

Я уже замечал выше, что для «подкрепления» модернистского образа мышления и чувствования его идеологи и апологеты наиболее часто выбирают сегодня идею, согласно которой субъективистский разрушительный пафос модернизма выражает собою хаос, распад, разложение современной «отчужденной», обезчеловеченной действительности. Как, мол, ни относиться к современному модернистскому искусству, как его ни оценивай, как его ни отвергай, а вот эту его функцию «модели» современности признать — де надо.

Сегодня наша наука убедительнее, чем когда-либо, показывает неверность данной точки зрения.

Она неверна прежде всего социальна, ибо сама нынешняя действительность буржуазного Запада отнюдь не исчерпывается силами отчуждения: наряду с ростом обезчеловечивающих тенденций, наряду с новейшими, все более разнообразными механизмами буржуазной дегуманизации, растут, развиваются, все сильнее и весомее заявляют о себе тенденции противоположного свойства, коренящиеся в социалистическом рабочем и демократическом движениях современности. Современному художнику Запада сегодня более, чем когда-либо прежде, есть на что опереться в борьбе за гуманизм. Если, разумеется, он хочет вести эту борьбу. Вот почему данная точка зрения на модернизм как «модель» современности неверна еще идеологически, поскольку модернизм, взятый как целое, как идейно-эстетическое направление духовной культуры, есть одно из средств, объективно, а часто и субъективно укрепляющих мир отчуждения.

А. Карягин (в сборнике «Ленин и искусство») убедительно показал, что модернизм выполняет эту задачу по-разному — то осознавая отчуждение и хаос как трагедию, из которой нет выхода (этот крайний пессимизм может содержать в себе мотивы сочувствия человеку, неизменно отягощенному

страданием); то как злой фарс, где бытие отождествляется с абсурдом (тут «разоблачается» всякий человек и всякое общество, якобы неизбежно античеловеческое); то как полный распад духа, его тотальное отрицание за «ненадобностью» (что мы видим в поп-арте и хэппенинге, скажем). Так или иначе, в большей или меньшей степени модернизм исказил лицо XX века.

Модернизм — это-то и есть модель «ужасной» действительности в целом или даже ужасных ее сторон?! Нет, в принципе было не так в истории модернизма, а сегодня уж тем более не так все это происходит. Если в модернистском искусстве и существует мотив субъективного отталкивания художника от обезчеловеченных сторон жизни (кстати, более сильный в раннем модернизме, а не в теперешнем), то это отталкивание в принципе также лишено позитивного, движущего человечество вперед содержания; такое отталкивание «субъективно субъективностью страха»¹.

Идеологическая, эстетическая неистинность модернизма как искусства, его враждебность подлинно гуманистическому искусству, враждебность «законам красоты» — что доказано современной марксистской наукой об искусстве — лишает модернистское искусство права и на признание его новаторства в области художественной формы. Хитрость самоапологетики модернизма состоит здесь в том — это хорошо показали А. Мясников (сб. «Ленинское наследие и литература XX века»), Д. Затонский (сб. «Ленинизм и литература») и другие, — что эта самоапологетика не столько доказывает свою силу, свое новаторство, сколько устойчиво уверяет, будто реалистическое искусство потеряло новаторский характер. Де, формы у реалистов не обновляются!

Между тем новаторство как явление историко-художественного процесса вообще не является суммой обновленных формальных «элементов». Новаторство специфически-художественной формы, то есть формы как органического художественного целого, не может возникнуть на базе модернистского, искажающего картину мира содержания, на базе ложной, исторически консервативной концепции мира и человека. В лучшем случае речь может идти о «технологической» разработке и известном обновлении элементов «языка» искусства, но взятых от-

¹ И. Маца. Проблемы художественной культуры XX века. М «Искусство» 1959

дельно от живой, функционирующей формы, от «речи» искусства (если употребить здесь понятия Ф. де Соссюра, различавшего «язык» и «речь»).

В этом случае, имея в виду элементы художественного языка, скажем, что в технологическую разработку его некоторые модернисты — но далеко не только и не столько они одни в XX веке! — сделали известный вклад.

Отметить (не преувеличивая и не абсолютизируя) то обстоятельство, что художники-модернисты сделали нечто полезное в области языка искусства и что это полезное в качественно переработанном виде используется немодернистами, благодаря чему достижения в указанной области и входят в общую структуру художественного прогресса, тогда как модернизм в целом движется в сторону, противоположную прогрессу, отметить все это — вовсе не означает удовлетворить правилу «справедливости», лежащей за пределами анализа искусства, не значит поддаться, так сказать, чувству нравственного снисхождения к противнику. Нет, тут действует другое правило: в произведениях искусства «технология» неразрывна с идеологией, но рассмотрена она, технология, может быть и относительно самостоятельно.

Сходным образом (хотя по конкретному содержанию проблема тут уже иная) можно полагать, что некоторые художники-модернисты заслуживают рассмотрения не только в качестве представителей модернизма, но и в качестве творческих субъектов, по результатам своей деятельности не сводимых к направлению (между прочим, это правомерно и по отношению к представителям любых других исторических направлений в искусстве¹). Мысль эта не нова, но ее справедливость от этого не уменьшается, тем более что в нашей критике модернизма еще бывает подобное сведение модернизма к «личностям».

Марксистская критика модернизма должна быть точной.

Точной по отношению к его течениям, к которым нельзя подходить одинаково, поскольку некоторые из них внутренне противо-

речивы в силу исторически и национально различных обстоятельств их возникновения и функционирования. Точной по отношению к его представителям, художественная деятельность которых не всегда адекватна «платформам» представляемых ими течений.

Мы говорили о том, что каждую историко-художественную эпоху можно рассматривать как определенную систему направлений (имея в виду большие направления, многоохватные творческие «потoki», ориентирующиеся на определенные — и тоже масштабные — идейно-эстетические идеалы). Современная художественная эпоха, как о том давно и настойчиво говорит наша наука, «состоит» из трех таких больших направлений: социалистический реализм, представленный различными художественно-стилевыми течениями; модернизм, который тоже объединяет различные течения, характеризуемые, однако, не только со стороны стиля; и между этими полюсами — направление искусства, которое одни ученые обозначают как просто «реализм XX века» (минус социалистический реализм), другие — как «критический реализм XX века», третьи — «демократический реализм» и т. п. Это деление, разумеется, приближенное, поскольку при общении такой степени широты «опускаются», например, национальные аспекты проблемы; в качестве уточняющих вводятся соображения, скажем, о социалистическом искусстве — понятии более широком, чем социалистический реализм, — о наличии различных переходных линий между социалистическим реализмом и современным «критическим» реализмом и между последним и модернизмом¹.

Но даже это приближенное деление в общем и целом оправдано реальным положением дел в современной западной культуре и более всего, конечно, полярным по отношению друг к другу положением социалистического реализма и модернизма в искусстве эпохи. Историческая эпоха выдвигает перед всеми своими направлениями те вопросы о мире и человеке, на которые они, эти направления, дают различные ответы. Принципы ответа — говоря обобщенно, широко — и определяют сущность данного направления, его отличие от других. Вопросы

¹ См. об этом, например, в статьях М. Храпченко (сб. «Актуальные проблемы социалистического реализма»), В. Ванслова (сб. «Социалистический реализм и проблемы эстетики»), А. Бушмина (сб. «Наследие Ленина и наука о литературе»).

¹ О различиях между критическо-реалистическим и модернистским искусством и «переходах» между ними интересны соображения, например, Г. Недошивина (сб. «Ленин и искусство»).

же общие, и эта общность вопросов и обуславливает историческую определенность данной эпохи, ее отличие от других историко-художественных эпох.

Острота борьбы между социалистическим реализмом и модернизмом все более углубляется. И в том и в другом направлениях резко поставлен вопрос об активности человека в мире, о возможностях человека изменить мир, сделать его более человеческим. Мы бескомпромиссно отвергаем попытки тех идеологов и эстетиков Запада, которые на основании общности вопроса сваливают в единую «кучу малу» художников, давших и дающих на него различные идейно-эстетические ответы, вплоть до ответов, противоположных друг другу. Одним из «пионеров» такой методологической «смази вселенской» выступил в шестидесятых годах ревизионист Эрнст Фишер. В 1964 году он выстраивал такой, например, ряд: «Эйзенштейн, Маяковский, Чаплин, Кафка, Брехт, Джойс, О'Кей-

си, Макаренко, Фолкнер. Леже, Пикассо», объясняя его следующим образом: «Я сознательно ставлю рядом имена социалистических и несоциалистических художников и писателей, потому что им присущ общий отказ от данного, поиски некоей новой образной книги мира. Их различает не метод, а перспектива (будто метод не зависит от «перспективы!» — Ю. С.)»¹. Мы говорим, что это путаница, запутывание мозгов с целями, весьма далекими от научных.

Научный же анализ утверждает социалистический реализм как направление, активно действующее в нынешней мировой идеологической, эстетической ситуации, утверждает его как силу, активно преобразующую структуру современной художественной эпохи — на благо искусству, на благо человечеству.

¹ Ernst Fischer. *Zeitgeist und Literatur*, Wien u. a. Europa-Verlag, 1964.



ИВАН ДРАЧ

★

ЛЕСЯ

Леся Украинка... Это нежное и звонкое имя принадлежит к самым дорогим именам моего народа, оно навсегда запечатлено в памяти каждого украинца — и не только украинца!

В истории украинского народа нет другого поэта, кроме Тараса Шевченко, который бы с такой же силой, с такой пронзительной чистотой выразил в своем творчестве думы народа, его гордое презрение ко всем и всяческим кастилам, его боевой дух и непреклонность:

Был мне дорог на картинках
Не надменный победитель,
Что, соперника повергнув,
Грозно требует: «Сдавайся!»

Нет, мой взгляд спускался ниже,
На того, кто, распростертый,
Рыцарским копьем пронзенный,
Говорил: «Убей — не сдамся!»

Говорят, в последний ее приезд в Киев в 1913 году ее видели согбенную и одинокую. Она налегала всем своим худеньким телом на одну ногу, переваливалась, еле держалась за спасительный посошок. Только удивительные огромные глаза светились на ее лице.

Леся Украинку (псевдоним Ларисы Петровны Косач) муки терзали сызмальства. С детства научилась она «сквозь слезы смеяться». Уже в десять лет появились первые признаки туберкулеза левой ноги, а вскоре и левой руки. Потом болезнь перекинулась на легкие и почки. В одном из писем 1912 года Леся называет свою жизнь постоянной войной с туберкулезом. За эту «тридцатилетнюю войну» она перенесла несколько сложных и болезненных операций, прикованная к постели, долго лежала в гипсе, ходила то с помощью костылей, то с помощью сложного и тяжелого аппарата на ноге. Лечилась в Крыму и Одессе, в Бессарабии и в Болгарии, в Германии и в Италии, в Египте и в Грузии. Постоянная неумолимая война тела и духа. С прозорливостью Кассандры она видела свою дальнейшую судьбу: «Мне кажется, что мне предстоит какая-то большая битва, из которой я выйду победительницей или совсем не выйду. Если у меня действительно есть талант, то он не погибнет,— ведь это не талант, когда он может погибнуть от туберкулеза или истерии. Пускай и допекают меня все эти беды, но зато, кто знает, не куют ли они для меня такое оружие, какого нет у других, здоровых людей».

Мать Леся, писательница Олена Пчилка, все сделала для того, чтобы ее любимая дочь выросла влюбленной в литературу, в родное слово, выросла глубоко образованной. Ребенком Леся изучает европейские языки, греческий, латынь, очень много читает, думает. В ее творчестве ясно ощутимы мотивы и сюжеты мирового искусства. «Город ее духа» стоит на перекрестке разных эпох, и если драмой «Каменный хозяин» она вступает в творческое соревнование со всеми создателями Дон-

Жуана до Тирсо де Молины включительно, то своей драматической поэмой «Одержимая» она «вызывает огонь на себя» всех создателей образа Марии Магдалины. Ее ранняя «Голубая роза» проникнута отдаленными дантовскими реминисценциями. Ее драматический этюд «На поле крови», где обличен Иуда, вызван к жизни рассказом Леонида Андреева «Иуда Искариот», а в одном из писем к Ивану Франко она признавалась, что именно его фигурой навеян образ скульптора среди пуритан в диких джунглях первых американских колоний (драма «В пуше»).

Семья Косачей жила в Киеве рядом с семьями писателя Старицкого и композитора Лысенко. Дружный круг этих трех семей был своеобразным бастионом украинской культуры в царстве реакционного мрака, валуевских циркуляров и шовинистического мещанства — ведь это было время, когда даже украинские песни разрешалось исполнять... лишь на французском языке.

«С Миколой Витальевичем Лысенко связаны у меня воспоминания с самых дорогих лет юности, в его доме было столько пережито незабываемого. Старицкий, Лысенко — эти имена для многих принадлежат только литературе и искусству, а для меня они всегда будут вызывать живые образы, как имена близких и родных людей, которым суждено никогда не умирать, пока живет наше сознание. Не знаю, будет ли кто-нибудь из младшего поколения вспоминать обо мне с таким чувством, как я теперь вспоминаю о Миколе Витальевиче и Михаиле Петровиче (я так их и вижу вместе)».

Высокоодаренная девушка все время была и под внимательной дружеской опекой своего дяди, известного социалиста-изгнанника Михаила Драгоманова. Письмо за письмом слал из далекой Софии профессор, наставляя свою племянницу; ее мировоззрение во многом сформировалось под влиянием Драгоманова. Богатую библиотеку своего дяди Лесья так просто и называла «дорогая моя Сибирь» — название многозначительное. Ведь там была запрещенная в царской империи литература. Лесья, приезжая в Софию, просиживала там часами.

Свое первое в жизни стихотворение «Надежда» начинающая поэтесса посвятила Елене Антоновне Косач, своей тетке, сосланной в Олонецкую губернию за революционную деятельность, — Лесе не было тогда и десяти лет. Вся последующая творческая жизнь поэтессы связана с освободительным движением своего народа. Ее чуткое сердце, ее отзывчивая душа, страстная и нежная, ее ум, глубокий и беспокойный, восхищали современников. М. Павлык писал М. Драгоманову о двадцатилетней Лесе: «Лесья просто ошеломила меня своим образованием и тонким умом... Я думал, что она живет только поэзией, но это далеко не так. Для своего возраста это гениальная женщина».

Иван Франко помог изданию ее первого сборника «На крыльях песен» и приветствовал его выход глубокой статьей. Он любовно следил за каждым творческим шагом Леси, а жизнеутверждающий пафос ее стихов был ему душевно близок: «Читая мягкие и расслабленные или холодно-резонерские сочинения молодых украинцев-мужчин и сравнивая их с этими бодрыми, сильными и смелыми и вместе с тем такими искренними словами Леси Украинки, невольно думаешь, что эта больная, слабая девушка — едва ли не единственный мужчина во всей современной Украине».

В феврале 1900 года Лесья приезжает в Петербург — в ее сумочке рекомендательное письмо от писателя Е. Чирикова к редактору «Жизни» В. Поссе. «Редактор «Жизни», — пишет она матери, — сам предложил мне писать в его журнал обзоры украинской литературы... И вообще отнесся ко мне превосходно, пригласил меня на вечернее редакционное собрание и вообще трактовал *en confrère* (по-братски)». В журнале печатался В. И. Ленин, беллетристику вел Максим Горький. Чехов, Чириков, Вересаев, Серафимович, Франко, Коцюбинский, Стефаник, Кобылянская — вот авторы этого прогрессивного издания.

Четыре статьи напечатала поэтесса в «Жизни» — «Два направления в современной итальянской литературе», «Малорусские писатели на Буковине», «Новые перспективы и старые тени», «Заметки о новейшей польской литературе». Кроме того, для публикации в этом журнале она подготовила статью «Современная общественная драма», запрещенную царской цензурой, и еще две — «Михаэль Крамер» и «Народничество в Германии», но журнал скоро был закрыт, а редакция разгромлена.

Уже один перечень статей, напечатанных в журнале и подготовленных к публикации, свидетельствует об удивительной разносторонности критического и литературоведческого дара поэтессы. Глубина анализа литературных и общественных явлений, яркая полемичность, страстность в изложении материала, эрудиция и раскованность — все эти качества ставили Лесю Украинку как критика, литературоведа и публициста в первый ряд прогрессивных деятелей того времени.

Смерть Драгоманова в Софии в 1895 году люто обожгла Лесю ощущением незаменимости потери, она же обострила в ней чувство взрослости — рождается чувство ответственности не только за себя, но и за все свое поколение, за своих товарищей:

Суровые вопросы там впервые
Передо мной вставали без прикрас;
Там говорили мне борцы передовые:
«Довольно нам, надеемся на вас,
Приходит ваш черед — безвестной молодежи...
Да только кто вы, где? Скорей ответьте нам!
Ужели голоса, что так на плач похожи,
Принадлежат не слабым детям — вам?»

...Упреки принимая,
Как у позорного столба, тогда
Стояла я, безмолвная, немая,
Не зная, что ответить от стыда...
Зачем молчите вы? Довольны ли собою,
И горькие слова не будят вас, не жгут?
Или раздавлены унылою судьбою?
Или пути иные вас влекут?..

В зимнем Минске 1901 года на руках Леси умирает любимый ею человек Сергей Мержинский. Эта минская трагедия пронизала всю жизнь художницы, вплоть до последних ее дней. Во многих ее произведениях — от драматической поэмы «Одержимая», созданной в разгар горя и страданий, в течение одной бессонной ночи, до «Каменного хозяина» включительно — можно почувствовать черные тени той скорби. Мержинский мало известен в исторической литературе, но по лирическим стихам Леси, по ее немногим скорбным письмам, по воспоминаниям друзей можно представить себе этого человека, человека исключительной чистоты и благородства.

«Сергей Константинович был активным членом одного из первых социал-демократических кружков в Киеве... Сергей Константинович был революционером-романтиком, горячей, пылкой натурой, исполненной альтруизма, горячей любви к людям, жаждущей подвига и борьбы. Болезненно впечатлительный, он страдал от всякого проявления насилия и несправедливости... был человеком очень начитанным, сам сочинял, а также обладал большим художественным вкусом и тонкой эстетической восприимчивостью», — писала о Лесине и своем друге В. К. Крыжановская-Тучапская.

В годовщину смерти Мержинского Леся пишет письмо одной своей знакомой — эти будто обугленные слова и сегодня жгут, потрясают силой горя:

«Вам странным показалось мое выражение, что я «хочу» помнить; я постараюсь объяснить его, насколько в силах это сделать при помощи одних только слов. Видите ли, у меня до сих пор всякое воспоминание о нем связано с болью, все равно светлое ли само по себе или мрачное, а между тем бывают дни, когда я мало вспоминаю, отвлекаюсь чем-нибудь, или меньше чувствую эту боль, я почему-то готова упрекать себя точно в какой-то измене. Отчего это? Ведь он просил памяти, а не мучения. Он любил свой «стоицизм» и не переносил «малодушия». Думая об этом, я начинаю приучать себя думать без боли, уверяя себя, что это малодушие недостойно его памяти, именно эта болезненная память, — так было сегодня, но это было еще больнее, иногда я думаю, что это всегда будет так, и вот тогда я и говорю, что даже при условии этого мучения я хочу, не только потому, что он просил, не только потому, что иначе не могу я (Вы совершенно правы, что я и не могла бы забыть, если бы я хотела), но именно сознательно хочу. Ведь если истинная любовь должна быть сознательна, то и память о ней должна быть такою».

Драматическая поэма «Одержимая», написанная в те скорбные дни, ознаменовала рождение замечательного драматурга. Эта вещь находится в отдаленной связи с евангельской притчей о Христе и Марии Магдалине, но сколько антихристианского огня и гнева в устах женщины, жертвенно преданной Христу!

Другая драма Леси Украинки — «Кассандра», драма противоборства двух философов: интуитивной, воплощенной в образе героини, и прагматической, которую представляет пророк-хитрец Гелен. Огненные очи Кассандры настолько выразительно воссозданы поэтессой, что угадываешь в них бездонные глаза самой создательницы: «Она предвидит беду и предсказывает ее, но никто ей не верит, ибо хоть она и говорит правду, но не так, как нужно людям. Она знает, что так ей никто не поверит, но иначе говорить не умеет; она знает, что ее слов никто не примет, но не может молчать, ибо душа ее и слова не подвластны ярму» (из письма Леси к О. Кобылянской).

В драме «Руфин и Присцилла» воссоздан конец императорского Рима — христианство и язычество сплетаются здесь в мертвой схватке. Руфин не может принять христианского учения, он слишком далеко видит его пагубную сущность, но и языческая вера чужда ему. Кровавая толпа, жаждущая казни христиан, — вот эпилог этой драмы. Лесья пишет твердой и беспощадной рукой — ее бесконечная война за человека продолжается с нарастающей силой.

Когда Лесья Украинка написала своего «Каменного хозяина», ее «хохлацкая дерзость» (слова Леси), с которой она рванулась в круг общечеловеческих проблем, задела многих шовинистующих недоброжелателей и своих «родных» радетелей, заботящихся только о литературе «для хатнього вжитку». В письме к известному ученому А. Крымскому 24 мая 1912 года Лесья говорит: «Я написала Дон-Жуана! Вот того самого, «всемирного и мирового», не дав ему даже никакого псевдонима. Правда, драма (опять драма!) называется «Каменный хозяин», так как идея ее — победа каменного, консервативного начала, воплощенного в Командоре, над раздвоенной душой гордой, эгоистичной женщины — донны Анны, а через нее и над Дон-Жуаном, «рыцарем свободы». Не знаю, конечно, что у меня получилось, хорошо или плохо, но скажу Вам, что в этой теме есть что-то дьявольское, таинственное, недаром она уже скоро триста лет мучит людей. Говорю — «мучит», ибо написано на нее много, а хорошего написано мало; может быть, на то ее и выдумал «враг рода человеческого», чтобы разбивались о нее подлинное вдохновение и самые глубокие мысли... Так или иначе, но вот уже и в нашей литературе есть Дон-Жуан, собственный, не переведенный; оригинальный тем, что его написала женщина (это, кажется, впервые случилось с этой темой)».

Очень интересен и последний замысел поэтессы, зафиксированный для будущих поколений матерью Леси, Оленой Пчилкой. Он, конечно, связан с предыдущими драмами писательницы и входит как еще один камешек в большую мозаику Лесино мира:

«В предместье Александрии живет семья греческая (эллинская) в то время, когда уже победила новая вера и в свою очередь стала притеснять и изгонять тех людей, которые веровали по-старому и любили древнюю науку.

Теокрит, глубоко образованный эллин, не христианин, любит писания древних, имеет целую библиотеку — собрание папирусов. Его дети, сын 17 лет и дочь 15-ти, тоже приучены к давним наукам, верны религии древних.

Ясный день, за полдень. Сын и дочь Теокрита сидят в своем среднем дворике, сын читает и рассказывает сестре. Приходит старик, сосед, очень возбужденный, и говорит детям, что их отца схватили в храме (на лестнице к храму); он посажен за то, что «распространял ересь», проповедовал мысли греческих философов, выступал против догматов христианской веры. Он говорил: «Нет рабов божьих — есть и должны быть люди, свободные телом и духом». «Ждите беды, — сказал старик. — Придут и в дом к вам: заберут все папирусы, уничтожат, сожгут, яко писания «еретические», «поганские».

Девочка в слезах, потом советуется с братом — что же делать. Решают, что нужно спрятать хотя бы самые дорогие писанные свитки... Ожидают вечера с волнением, успеют ли спрятать (короткая сценка). Ночью зажигают свечи в хранилище, собирают свитки. Идут, прячут в пустыне, прямо в песок. Ночь кончается, солнце встает. Оба встают на колени, припадая к земле. обращаются с мольбой к Гелиосу — сохранить их сокровища. Возможно, настанут лучшие времена. Возможно, кто-нибудь когда-то разыщет эти сокровища — и приобщится к мудрости великой.

— Гелиос! Спаси наши сокровища! Тебе и золотой пустыне вручаем их!»
Сколько в этой простой, безыскусной истории стонческого оптимизма! Сила могучей души Леси сказывается и в этом последнем замысле.

...Была она поэтом ненстых чувств. Открытость ее души, покоряющая искренность ее таланта захватывают, очаровывают: ведь каждый большой поэт еще и еще раз открывает нам мир, своими, нестертыми словами называя все вещи в этом мире. Была она поэтом разящего гнева. Понимание поэтической миссии как ежедневного подвига рождало слова строгие и огненные, неопределенность воспринималась как тяжкий грех:

Лучом прозрачным, буйными волнами,
Звездой летучей, искрой быстролетной,
Сияньем молний, острыми мечами
Хотела я вас вырастить, слова!..

Сражайте, режьте, даже убивайте,
Не будьте только дождиком осенним.
Сжигать, гореть должны вы, а не тлеть!

Большевистская «Правда» в 1913 году в своем некрологе назвала Лесю Украинку «другом рабочих». С этим высоким титулом поэтесса, чье столетие мы сегодня отмечаем, вошла в праздники и будни огромного мира, рожденного Октябрем. Вошла не как холодное изваяние, а как живой наш современник, у которого бездна работы впереди, у которого неукротимая творческая воля и неумирающая песня...



КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ

★

ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

Тамара Жирмунская. «Быть человеком не переставая». — **А. Бочаров.** По вспаханному. — **Евг. Евтушенко.** Помнить о том, что мертвые были...

ПОЛИТИКА И НАУКА

В. Шапко. Интересное исследование. — **Г. Лисичкин.** «Второсортные» граждане Америки. — **Р. Баландин.** Личность великого ученого. — **Винтор Магидсон.** «Экслибрис высшею печатью...»

Литература и искусство

«БЫТЬ ЧЕЛОВЕКОМ НЕ ПЕРЕСТАВАЯ»

Д. Кугультинов. Избранные произведения. В 2-х томах. Перевод с калмыцкого. Том 1. Стихотворения. 432 стр. Том 2. Поэмы. 448 стр. М. «Художественная литература». 1970.

В статье «Давнее и наше», вошедшей в книгу «Утоление жажды» (она издана в Элисте несколько лет назад), Давид Кугультинов рассказывает о своей встрече с прославленным народным певцом — джангарчи, настолько древним, что трудно определить его возраст: «Я спросил, сколько ему лет. Он пристально посмотрел на меня, хитро улыбнулся и сказал: «Мы с тобой ровесники». Я недоуменно пожал плечами, а он пояснил: «Видишь ли, сынок, не днем рождения, а днем смерти определяют возраст человека. Благодаря слову человеческому, которое делает давнее — нашим, я знаю то, что было с людьми до моего рождения, а что происходит при моей жизни — вижу сам, и ты это видишь. Значит, мы с тобой ровесники своему зрению. Но ты будешь старше меня, потому что я умру раньше тебя».

Любопытно, как действительный факт превращается в факт поэзии. Стихотворение почти дословно совпадает с прозаическим текстом, но под конец — и это показательно — делает решающий рывок, приобретая крылатость и завершенность:

«Кто жив — ровесник тот всего живого.
А мертвый? Мертвый — самый молодой!»
Почудилось, что молвил это слово
Не старец, а курган в степи седой.

(Перевод С. Липкина)

Я процитировала разговор поэта с джангарчи не только ради выразительного сопоставления. Человек и время — одна из насущных забот всей поэзии Кугультинова. Могущество человеческого слова — одна из опорных мыслей поэта. Собеседование с тем, кто воплощает народную мудрость, — один из излюбленных его приемов.

Время было доброжелательно к юному Кугультинову. Первые прочитанные книги, первые написанные стихи, первая публикация — пока, правда, в совхозной многотиражке... В четырнадцать лет личное знакомство с классиком калмыцкой литературы Баатром Басанговым, переводчиком великого эпоса «Джангр» Семеном Липкиным и известным художником Владимиром Фаворским, готовившим иллюстрации к этой книге. Давид принес на их суд свою повесть, написанную по-русски.

«Из вас может получиться писатель. Вы умеете думать и ясно видеть,— напуговал его Липкин.— А с языком у вас плохо, беден он у вас...»

Фаворский вспоминал, как учили ремеслу в годы его юности. Профессор опускал край полотенца в воду. Затем нужно было лепкой передать влажность мокрого края. На всю жизнь запомнил Кугультинов пожелание мастера — чувствовать слово, как художник чувствует дерево или камень.

Баатр Басангов, взявший шефство над юношей, однажды сказал ему: «Надо, Дава, дерзать! Ты напиши мне такое стихотворение, чтобы я мог предложить для перевода самому Пастернаку!»

Довоенные стихи Кугультинова очень лиричны. «Как воздух чист! Как ночь светла! Как степь родная расцвела!» — троекратно повторенный восклицательный знак говорит не только о впечатлительной, но и о несколько экзальтированной душе, возбужденной весной, красотой, любовью. Но порой в жизнерадостные стихи проникает тревожная нота. Поэт прислушивается к времени, к истории. Ни журчание ручья «в артериях сугробов», ни шум струи городского фонтана, ни брожение земного сока в спелых плодах не могут заглушить голоса домбры — этого единственного «орудия производства» литературных предшественников поэта. Девушкучангарчи слушают «смуглоликие» богатыри в кованых кольчугах. «Суровость воинской страды» — вот суть этой степной песни, в которой слушатели познают самих себя:

Припомнив радости и горести,
Им пела девушка о том,
Что пятен нет у них на совести,
А души чищены огнем.

(Перевод Я. Козловского)

Думаю, что не случайно проникновенным даром жангарчи поэт наделил именно девушку, да еще прекрасную собой. И в позднейших его творениях женщина («О, нежность! О, сама неправильность, изменчивость, наитье!..») почти всегда является носителем стихийной правоты, сердечной мудрости.

«Матери-степи» присягает в первый год войны девятнадцатилетний воин, матери-степи клянется он вынести все выпавшие испытания, еще не представляя себе их длительности и тяжести:

Степы Если Джангра и Хонгра
Я оскверню имена,—
Кровь мою в гной преврати.

О, степи
И, брезгуя мною,
Телс мое не прими
В лоно святое свое!

(Перевод Н. Матвеевой)

Пятнадцать последующих лет подтвердили эту клятву молодого калмыка Стихи и поэмы, написанные после 1955 года, и есть его главное «слово» в современной поэзии, слово, чищенное огнем и кровью, слово не мнимое, а действительное.

Диву даешься, как много создал поэт за двенадцать лет (последние вещи в двухтомнике датированы 67-м годом). К тому же это — лишь часть написанного, лишь то, что своевременно переведено на русский язык. Да стоит ли так спешить? — скажет иной. Ведь, говоря словами Леонида Мартынова, «отсталость наверсталась давным-давно». Слово поэта услышано, имя уже завоевано. Но торопливость Кугультинова не суетна — она, если угодно, философична, ибо он ежеминутно помнит, что:

Есть времени отрезок небольшой,
Который мы творим и лепим сами,
Хоть малое поддерживаем пламя
Всем разумом своим и всей душой!..

Впрочем, поэт в своем творчестве делает ударение не на «отрезке небольшом» — пусть даже конец этого отрезка сильно коллет сердце, а на утешительном человеческом свойстве творить и лепить время. Он верит, что «без людей, без мудрого их знания, нет времени, лишь пустоты зиянье. Когда ж оно людьми претворено, то Временем становится оно».

Кугультинов одушевляет Время. Время заодно с людьми, оно не движется вспять. Оно может застыть лишь на миг, обрушив грозу на человека или даже на целый народ. Это, конечно, горько, но не безнадежно. Спустившись «с высот сегодняшнего дня» в глубину веков, вникнув в жизнь воинственных предков, потревоженных археологами, поэт делится с читателем своим открытием:

И по ступеням, по щербатым,
В тот век, где расщепили атом,
Поднялся я — в наш трудный век...
...Я видел все, и рад сказать я,
Что находил противоядье
Любому яду
Человек.

Однако Время не только союзник человека, оно — и судья. «Повелитель Время» —

¹ Здесь и дальше переводы Ю. Фейман.

красноречиво назвал одну из лучших своих поэм Давид Кугультинов. Сказочны, почерпнуты из богатейшего восточного фольклора отрицательные герои этой поэмы — хан Хамбал и его нойон Хаджи. Их самодурство, тиранство, агрессивность какое-то время остаются безнаказанными. Не получая должного отпора, они начисто забывают, что есть «суд Времени, не знающий пощады», а он-то и раздражается над ними. Оптимистический взгляд автора на историю отчетливо выявлен в заключительных строках поэмы, где снова возникает образ мудрого Времени, «сквозь мрак и мглу» пролагающего счастливый путь прозревшим людям.

Фольклор питает многие произведения Кугультинова. Вероятно, он дает поэту не только идеи и характеры, но и твердую уверенность в бессмертии человеческого слова. Вслед за древним джангарчи поэт утверждает величие слова, которое «делает давнее — нашим», а наше — достоянием людей будущего. Творчеству, книге, поэтам Кугультинов посвятил едва ли не самые заветные свои стихи. Темы некоторых из них как будто банальны — во всяком случае, они на устах у многих коллег поэта.

Сколько стихов написано за последние годы о дуэли Пушкина, о вечном единоборстве гения и ничтожества, о мнимой гибели первого и мнимом торжестве второго. Кугультинов не сомневается в том, что душа Пушкина «убежала» глениа. Да, поэты правы — он где-то тут, рядом. «Вот только не порадует письмом», — замечает он между прочим. И наивная эта строка вдруг задевает читательское внимание:

И мог ли он, в ком клокотала кровь,
Благоразумно сберечь свой гений,
Предать себя, предать свою любовь,
Чтоб удлинить собранье сочинений?
Чтоб к бронзе прирастить еще вершок,
От мщенья отказаться?.. Нет, не мог!

Так неожиданно освещается вдруг трагедия на Черной речке. О Пушкине, Гоголе, Чехове Кугультинов пишет и в своих коротеньких эссе, радостно подчеркивая глубокую внутреннюю связь возрожденной калмыцкой и великой русской культур.

Из произведений, посвященных памяти Анны Андреевны Ахматовой, можно составить самостоятельную книгу. Полагаю, что двенадцатистишие Давида Кугультинова не затеряется среди ярких стихов других поэтов. Для него Ахматова — воплощение гармонии, а смерть отвратительно дисгармонич-

на. «Так страшно возле гроба красоты вновь убеждаться, что уродство живо»...

«Незапятнанная слава» больших поэтов волнует его недаром. Он знает, как шепочет нервы «струистый дым похвал», какие хитроумные силки расставляет на пути художника благополучие, сколько «прямых и тайных льгот» у секретного агента Зла — соблазна. А какой мучительный процесс — подспудное созревание таланта! «Дайте, дайте первую удачу! Пусть в себя поверит человек!» — закликает мастер, не забывший мороки ученичества.

Но в каких бы муках ни рождалось слово — ему суждено родиться. Очень чуткий к языку, написавший настоящее лингвистическое стихотворение о знаменательном совпадении якутского «кюн» — солнца и калмыцкого «кюн» — человек, Кугультинов ставит на одну доску «слово» и «разум», кстати, обозначившиеся по-гречески одним и тем же «logos». Похвала разуму — так определила бы я содержание многих стихов и поэм Кугультинова. Попранье разума еще ничего не приносило человечеству, кроме несчастий. Тысячу раз не прав философ, произнесший когда-то фразу: «Вам все простится, кроме превосходства ума... Так прячьте разум!» Тысячу раз правы предки поэта, накликавшие на врагов... затмение ума:

У стариков калмыков есть проклятье:
«Да станешь ты глупей, чем все собратья!
Когда же ты во всех хотонах шумно
Прославишься, как редкостный дурак,
Да прогневит тебя совет разумный!..
Пусть будет так!.. Пусть будет только так!»

«Да ведь все это давно известно! Где же тут мысль-открытие?» — заметит какой-нибудь скептический читатель. Ответу ему словами Гёте, под которыми наверно подписался бы и автор двухтомника: «Истину надо повторять постоянно, ибо кругом также постоянно проповедуются ошибки».

Я уже упоминала в начале статьи, что Давид Кугультинов любит вовлекать в свою поэзию мудрецов. Истинный мудрец — пражский профессор Густайнис, сосед Мусы Джалиля по камере, бичующий фашизм с гуманистических позиций. Есть свои мудрецы и в поэмах «Сар-Герел», «Равные солнцу», «Повелитель Время».

Воплощение народной мудрости — таким видит Кугультинов Владимира Ильича Ленина. Глядя на «Аврору», поэт задается отнюдь не праздным вопросом: «Да неужели

этих пушек порох, один, открыл пути для новой эры?!»

...Неужто порох?.. Не на этом месте ль
Умы России набирали силу?..
Радишев, светоносный Пушкин, Пестель...
И Ленин...

Мысль его в себе сгустила
Все то, к чему рвались веками люди...
И рухнул старый мир
под гром орудий.

До сих пор я говорила о Кугультинове, почти не касаясь его переводчиков. Вероятно, он первый заметил бы мое упущение. Естественно, что каждый из переводчиков одаряет поэта из той сокровищницы, что дана ему самому Семен Липкин, «рукоположивший» юношу в писатели, прежде всего «продувает» мысль подлинника, как бы шутя добивается афористичности. Новелла Матвеева мастерски обнажает «нерв» стиха, заостряет образ. Юрий Вронский убеждает предельной естественностью слова, фразы, интонации. По-своему интерпретируют калмыцкого поэта Д. Бродский, А. Големба, Л. Пеньковский, Я. Козловский, А. Николаев и другие. Добрым словом хочется упомянуть В. Луговского. Именно в его переводе было напечатано стихотворение «Высота», открывшее Кугультинову после дли-

тельного перерыва путь к читателю. Важно, что разнонаправленные усилия переводчиков не уничтожают своеобразия поэта (своеобразия, цементированного мыслью!), а лишь проявляют все стороны его дарования.

О Юлии Нейман, основном переводчике поэта, я хочу сказать более подробно. Нейман отлично передает по-русски двенадцатистрочные концентраты поэтической мысли. Удаются ей и лирические признания. Но лучше всего переводит она поэмы. Зримая пластика картин, богатство языка, бесконечная изобретательность, полифония — вот что характеризует талантливую работу переводчицы.

Более тридцати лет назад в Элисте произошел разговор трех маститых художников с калмыцким школьником, поразившим их своей явной недоужинностью. Все три преподали юноше некоторые хотя и не громкие, но необходимые заповеди словесного искусства. Основной же урок поэт получил от жизни, от времени. Творчество Кугультинова — обратный дар трем пронзительным учителям, требовательной жизни и сложному времени, в справедливую сущность которого поэт так свято верует.

Тамара ЖИРМУНСКАЯ.

★

ПО ВСПАХАННОМУ

Василий Соколов. Вторжение. Роман. М. «Советская Россия». 1963. 512 стр.
Василий Соколов. Крушение. Роман. М. «Московский рабочий». 1970. 591 стр.

Романы Василия Соколова изобилуют фразами, словно предназначенными для иронического цитирования: «Идут ноги. Идут и несут нагруженные сном головы»; «Только перестук сапог да говор от плеча к плечу бодрит колонну»; «Наталья была на семь лет старше своей сестры, но с годами эта разница сглаживалась»; она «следила за своей сестрой, не давая ей позволять ничего лишнего»; земля «рожала хлеба несносные»; «Первая гвардейская армия была надеждой и совестью главного командования».

Конечно, можно было бы просто посетовать на неряшливость языка, посоветовать автору почистить, исправить, снять подобные ляпсусы (хотя количество их превышает возможность простой «прочистки» текста). Но дело не только в них.

Мы начали разговор с этих языковых отрывков потому, что уже в первоэлементе литературы — слове — губительно отразилась поспешность, с которой В. Соколов подступился к созданию монументальной эпопеи о Великой Отечественной войне — к задаче необычайно ответственной и сложной.

Боронить — не пахать. Эту истину знает каждый земледелец и каждый художник. Нынче легко сочинить панорамно-описательный роман о войне: то, что мастерам-первооткрывателям доставалось кровью сердца, трудными творческими поисками, теперь за просто боронится по вспаханному. Все «секреты» романов такого типа нынче общезвестны: на несколько батальных эпизодов — обязательно одна-две зарисовки из жизни деревни (а еще лучше и города) в тылу; затем — основанные на мемуарах или

документах сцены из жизни самых «верхов» с мельком брошенными подробностями их частной жизни: наконец, картины партизанской борьбы и событий в немецком лагере, написанные на свободном парении авторской фантазии. К этим не переменным слагаемым добавляется несколько более или менее откровенных любовных сцен да парочка юмористических эпизодов для разрядки фронтového трагизма — и вот готово отвечающее установившимся канонам «широкое полотно».

Все это неукоснительно воспроизводится в романах В. Соколова, один из которых описывает события 41-го, а другой — 42-го годов. Фронтные эпизоды перемежаются сценами в деревне, на строительстве сибирского танкового завода, в партизанском отряде, в немецком батальоне — и, конечно же, в кабинетах Гитлера и его генералов, в Ставке Верховного Главнокомандования, на даче Сталина, в штабах фронтов. Слово бы мимоходом автор сообщает, что для Хрущева специально солили арбузы, что Жуков «пить был не охотник», что у Гитлера подавали «подчеркнуто простой, так сказать, хороший бургерский ужин с обыкновенными блюдами», а у Евы Браун «у глаз и возле губ легли усталые морщинки, особенно выделявшиеся при улыбке». Знакомимся мы и с юмористическими эпизодами вроде того, как при бомбежке ординарец свалился в колодец от страха, а старушка подумала, что там фриц, которого кинули с аэроплана заражать воду. В соответствующей пропорции появляются и «здоровые любовные чувства»: «Петр обхватил ее, приподнял и, неожиданно покорную и обмякшую, снес на скрипучую кровать», а солдат Бусыгин, глядя, как у стирающей женщины «упористо расставленные босые ноги тоже двигались, развалисто покачиваясь», начисто позабыл «все на свете — и стыд, и самого себя».

Но коль скоро в диалогии есть вроде бы все, что положено «панорамному полотну», то почему романы вместо того, чтобы радовать широтой авторского видения, оставляют тягостное чувство неудовлетворенности?

В том-то и дело, что внешняя простота конструкции романов «панорамного» типа удивительно коварна: за таким пестрым и на первый взгляд существующим независимо друг от друга сюжетным «разнотравьем» непременно должна вставать серьезная философская и художественная концепция, объемлющая картину гигантской схватки,

великого потрясения народной жизни. Без такой концепции изложение картин из истории не преобразуется в историческую картину, а любые красочные описания — и «верхов» и «низов» — не выходят за пределы заурядной беллетристики, а то и приобретают привкус невзыскательной сенсационности.

Только развитая философская идея, выявляющая себя и в судьбах героев, и в необходимых исторических эпизодах, и в присущих эпопее публицистических раздумьях, способна объединить разнородные жизненные пласты в поток органически развивающегося сюжета. Речь, разумеется, идет не о какой-нибудь натужно взращенной домостроительной философии, а о самобытности историко-художественного мышления, позволяющей не просто беллетризовать выхваченные из потока социальной жизни «характерные случаи», но проникнуть силой аналитической мысли в глубинные струи исторического процесса и бытия человека в критических для него ситуациях.

Романам В. Соколова как раз и недостает такой идейно-художественной концепции, которая определяла бы логическую закономерность сменяющих друг друга эпизодов и потребность выдвинуть на авансцену именно те или эти персонажи. Кажется, внимание автора устремлено лишь на то, чтобы не упустить какую-либо из нормативных «слагаемых» да соблюсти все внешние правила построения эпического здания.

«Панорамное полотно» обычно содержит лирико-публицистические отступления и рассуждения, в которых излагается его социально-философская проблематика. Есть отступления и в диалогии В. Соколова, но поскольку причиной их появления служит не органическая художественная надобность, а лишь стремление соблюсти правила, то они неминуемо оказываются вымученными и мелкими.

Нельзя же всерьез принимать за социальную философию сопоставление грозы и войны («схожесть между грозой и войной лишь внешняя, — указывает автор, — эти явления на самом деле рознятся как ночь и день...») или символическое уподобление страны дубу, пораженному молнией, но выдержавшему страшный удар («Дуб был живуч. Недаром в народе говорится: дуб крепнет на ветру...»). Столько же малосодержательно и авторское размышление о естественности всего сущего (рассуждение, прорастающее на этот раз из «бытовой» фак-

туры): «У каждого события, явления или предмета есть свое содержание; оно естественно. Звон посуды, как бы си не переливался и не имел разные звуки, остается звоном посуды, а не раскатом грома и выстрелом из пушки».

Беспомощны подобные сентенции, подобное цветистое изложение банальных истин. Беспомощны, но так ли они невинны? Обратимся к важной авторской тираде:

«Душою поля боя, механизмом его(?) движения являются молодые люди — солдаты. И только командиры, чувствующие пульс этого живого механизма и воюющие не числом, а умением, выигрывают сражения.

Такова природа боя.

Таков неумолимый закон войны».

Сколько сказано громких слов — и «природа боя», и «закон войны», да еще не простой, а «неумолимый»! Однако что значат слова «только командиры»? Что стоит за понятием «чувствующие»? Но разве умение воевать сводится только к способности чувствовать пульс «живого механизма»? В поспешности найденная общая формула оказывается на поверку бессодержательной декламацией.

Впрочем, таков, по-видимому, используя фразеологию автора, «неумолимый закон» искусства: где недостает содержательности, там начинает торжествовать звонкогосие. Вот автор пишет: «В ворота прорыва шли сотни танков, их вели по принципу: «Делай, как я!» Сам командующий танковой армией Романенко, командиры корпусов Родин, Танасчишин, Кравченко, Вольский вели танки в глубокий рейд...» Каков реальный смысл сказанного? Генералы сидели на месте водителей? Или находились в головных машинах, а все идущие в пределах прямой видимости танки повторяли их маневр? Или, наконец, самое простое: помянутые командиры не остались на КП фронта, а двигались вместе с вошедшими в прорыв соединениями?

Отсутствие самобытной идейно-художественной концепции естественно ведет автора к реминисценциям из других военных произведений (вплоть до прямой цитаты из Ю. Бондарева: полковник Шмелев «не хотел, не мог оставлять на той стороне батальоны, чтобы они, погибая, просили огня...»). Иллюстративный принцип, в основе которого лежит не внутренне обусловленное развитие характеров, а относительно произвольный конгломерат эпизодов, всегда чреват такой опасностью.

Не стоит удивляться и тому, что в данном случае главным принципом художественной организации материала оказываются прямолинейно лобовые противопоставления: контрасты поведения призваны подменить движение мысли. Начинается это со скрупулезного соотнесения всего, что происходит в двух Ставках, и доходит до самых малых бытовых подробностей. Там «Кейтель выгнулся всей спиной и глядел на фюрера из-под бровей заискивающе» — у нас, соответственно, Вознесенский, «совсем еще молодой, красивый... прямо и честно высказал сомнения». Там Паулюс «выезжать на передовые позиции откровенно побаивался», а завидев наши штурмовики, бежит в ближайший терновник, где в беспомысленности сваливается на носилки с раненым, — у нас «и Жуков, и Воронов, и позже приехавший Василевский, и командующие фронтами выйдут на боевые позиции, взбираются на простреливаемые высоты». Там жадному немецкому комбату на прощальный вечер перед отправкой на фронт подчиненные несут харчишки, потому что у этих бюргеров «издавна заведено идти в гости со своими закусками и винами», — у нас разливается хлебосольное застолье в доме у Костровых, куда, правда, тоже приносят водку и закуску, но от чистого сердца. Распутная жена немецкого майора на вечеру в своем доме выходит с лейтенантом на балкон, прижимается «вздрагивающим телом», податливо наклоняется, шепчет: «Я хочу тебя!» — а наша Вера, наоборот, обращается к лежащему с ней в постели любимому: «Пожалей... Я девушка... Не надо», — и тот жалеет.

Наверное, все это, взятое в отдельности, и справедливо, и как принято говорить, могло иметь место в жизни. Но под пером В. Соколова — увы! — оборачивается плоской, одномерной соотнесенностью, рассудочным выстраиванием в две шеренги; прочитав один эпизод, уже представляешь, как будет параллельный, по контрасту иллюстрирующий заранее заданные черты. И из-за такого упрощенного изображения всех этажей немецкого лагеря мелькает, умалывается подлинный трагический и героический подвиг советского народа в его беспримерном единоборстве.

Общеизвестно, что настоящая эпопея — это всегда исследование национальных истоков исторического движения, воссоздание в образах героев черт национального характера. В дилогии В. Соколова русская природа, русский быт, русское просторечье акку-

ратно используются для изображения колоритных «дедов», для «оживления» и расцветивания языка героев. Но национальное, коль говорить о нем всерьез, не может ограничиться чисто внешним антуражем, звонкими бубенцами областных речений: оно вырастает из определенной идейно-образной концепции всей вещи. А идея народной, национальной войны не стала для В. Соколова концепцией, способной организовать и сюжет, и расстановку героев, и характер лирико-философских отступлений. Каждая сюжетная линия движется своими конфликтами, и лишь немногие из них как-то соотносятся с судьбами нации, с проблемами отечественной войны.

Подчас романы «цепляют» весьма серьезные вещи: во «Вторжении» это отношение Гнездилова к незаконно репрессированному Шмелеву и его семье; в «Крушении» — не однажды уже поднимаемая военными романистами проблема «цены победы»: Шмелев не хочет безрассудно атаковать, а Ломов, саморазоблачающе высказавшись: «Не роняйте, полковник, слез! На войне жертвы не оплакивают», — бессмысленно губит дивизию.

Все это — штрихи романа компилятивно-го, в котором вскользь затрагиваются темы и «поветрия» военного романа, но нет желания углубляться ни в одну из них. Между тем полнота художественного познания действительности, народной жизни определяется прежде всего способностью добраться до глубины происходящего — взволновать силой первооткрытия, а не ограничиться еще одной иллюстрацией общеизвестного.

По этой причине не получился и русский национальный тип из Алексея Кострова, поставленного в центре романического действия и призванного воплощать народную стойкость, народную верность, народную чистоту. Автор и здесь не пашет, а боронит, явно тяготея к изображению лубочного военного удалца — из тех, что уже по звуку выстрела определяют место разрыва: «Когда вражеская пушка в деревне еще только сделала выстрел и снаряд с тонким посвистом полетел, Костров чутьем угадал, что разорвется он близко».

Поскольку Костров не живой самобытный характер, а лишь «носитель» положительных черт, то он и действует в романе вне реальных обстоятельств своего положения.

Кадровый военный, полковой комиссар Гребенников назначает командовать отря-

дом окруженцев сержанта «товарища Кострова», а себя лишь комиссаром при нем. И вот товарищ Костров уже надменно отчитывает выходящего из окружения в гражданской одежде генерал-майора: «Вот что, товарищ Ломов, бросьте эти замашки. Прежде чем снова командовать нами, снимите лапти. Наденьте военный мундир. Стыдно, товарищ генерал...»

Во второй книге автор производит своего героя в лейтенанты, затем сразу в капитаны, посылает на побывку в деревню, отправляет с делегацией на сибирский танковый завод и т. д. и т. п. Но ни продвижение героя по воинской лестнице, ни перемещение его по стране, необходимое автору для введения в сюжет картин тыловой жизни, не могут заменить глубинного постижения русского национального характера во всей его сложности и полноте. Это в равной степени относится и к солдату Бусыгину, шаблонно задуманному автором как некое дополнение к «серьезному» Кострову — этаким неунывака, балагур, силач и ухватистый малый; и к русской женщине Наталье, чьи мелодраматические любовные перипетии заняли в романе столь значительное место.

Не сумев создать истинно национальные типы, автор вместо естественного реалистического укрупнения эпических характеров прибегает к искусственной, лубочной гиперболизации. Таков дед Силантий, обороняющий «редут» на Мамаевом кургане в Сталинграде. Да, да, на том самом Мамаевом кургане, где бушевал железный смерч, где велись самые ожесточенные бои, существовал, оказывается, редут, в который превратил свою хибарку дед Силантий, обороняя его со снохой, внуком да прибившимися под его начало красноармейцами. К концу Силантий даже посылает сноху к Чуйкову «установить локтевую связь», и Чуйков распоряжается «все, что потребно для обороны этого дома, выделить, отпустить, назначить и держать с редутом локтевую связь». После этого дед уже выбрался «со своим небольшим гарнизоном на гребень (!) кургана». Стоит ли удивляться тому, что старик отбивает ночную атаку немцев на этаким манер: первого же немца он свалил ударом кувалды, «крякнул в свое удовольствие и начал ждать следующего... Потом Силантий отбивался наотмашь до тех пор, пока сухая деревянная рукоятка не сломалась и пудовая железная кувалда не вылетела с черенком на ту сторону ограды. Подхватив на руки камень, Силантий ждал, что теперь-то без-

боязненно полезут через ограду немцы, — не полезли, видно, увидали в этой кувалде мину замедленного действия и громадной взрывной силы». И этот сплошь состоящий из несурзаиц эпизод обороны редута стал чуть ли не центральным в описании сталинградских боев.

Под стать подобным фронтовым эпизодам и эпизоды партизанские.

Чтобы заманить в засаду карателей, командир отряда посылает партизана Жмычку внушить им, прикинувшись перебежчиком, заведомо ложные сведения. Получив такое смертное задание, Жмычка «пошел, ухмыляясь. И думал: «На гибель шлют... Ну что ж, раз надо — пойду». Впрочем, он ухмылялся недаром: легко, с помощью побасенок о партизанах, не стригущих бороды, а укорачивающих их топором сразу на аршин, он обманывает глупеньких немцев, а когда те, после разгрома в партизанском краю, врываются в камеру, чтобы расправиться с ним, то «огромная проделанная в плетневой стенке дыра — вот все, что осталось от проказы Жмычки». Но, может быть, слова «ухмыляясь», «проказы» — просто обмолвка, языковый огрех? Нет, это точное выражение того, как все, что в жизни совершалось благодаря сверхчеловеческому напряжению, героической готовности к самопожертвованию в поединке с коварным и жестоким врагом, предстает у В. Соколова забавными проказами, фарсом.

А с какой безудержной выдумкой нарисована круговая оборона здания, в котором находились раненые!

После долгих боев в пролом врываются немцы, захватив гарнизон врасплох. Углядев красивую медсестру Наталью, немецкий офицер на сносно русском языке тут же предлагает ей стать его любовницей, за что будут отпущены все остальные. Раненые отвечают гордым отказом: они не желают получить свободу такой ценой. Немцы уходят (!), затем присылают парламентария снова завлечь Наталью перспективами райской жизни: «Курорт... Имение... Браслеты...» Наталья всерьез — всерьез! — размышляет, не поступить ли ей своей женской гордостью ради спасения раненых. Но, конечно, отвращение к участи богатой любовницы возобладавало...

Читаешь эти эпизоды и невольно вспоминаешь лаконичный отзыв Чернышевского на книгу о лубочных похождениях солдата Сидорова во времена Севастопольской обороны: «Одна из многочисленных спекуляций,

рассчитывающих на патриотизм простонародья» Изменилась историческая обстановка, нет уже того «простонародья», которое было падко на подобные рассказы, но въедливые приемы лубка все еще, как видим, существуют, подменяя изображение героизма истинного, как в свое время солдат Сидоров подменял героев «Севастопольских рассказов» Л. Толстого.

Причем удельный вес этой наивной гиперболизации значительно возрос во второй книге дилогии: чем шире разворачивается историческая картина, тем отчетливее, видимо, ощущал автор потребность в «подпорках» для своих центральных героев, способных удерживать эпическое здание. Во «Вторжении» описание боев все-таки не выходило за пределы «допустимой» облегченности, при которой, к примеру, остатки роты легко выдерживают массированную атаку пехоты с танками. Я говорю «допустимая» в том смысле, что, царапнув сердце фронтовика, она, возможно, останется незамеченной теми, кто не знает, какова настоящая война. В «Крушении» автор уже то и дело прибегает к заведомо измышленным картинам.

А больше всего огорчает вот что. Рядом с этими лубочными картинками существуют сцены и материалы, заставляющие задумываться над такими серьезными вещами, как трагический исход нашего наступления на Харьков весной 1942 года или рождение в Ставке замысла контрнаступления под Сталинградом и т. д. Дед Силантий с кувалдой и драматичный спор Жукова со Сталиным о сроке проведения отвлекающей наступательной операции, немешкне «любовные парламентареры» в Сталинграде в октябре 42-го и зачитывание перед строем полного текста известного приказа № 227 — право, такое сосуществование выглядит дико, противостоит естественно, препятствует реалистическому познанию подлинных закономерностей нашей победы.

Но, может быть, следует освободиться от наивных лубочно-легендарных эпизодов — и все станет на свои места, останется в романах одно только чистое золото исторической правды? К сожалению, в искусстве так не бывает: то, что в этих эпизодах выявилось с ошеломляющей откровенностью, разлито «в меньшей концентрации» по всей повествовательной ткани. Описание трагических попыток Воронежского фронта ценой кровопролитных фронтальных атак ослабить нажим немцев на Сталинград соседствует

с тем, что в атаку солдаты «движутся упругим, гулким шагом», а дивизионный оркестр из девяноста трубачей (ох, уж эти раздутые штаты военного времени!) идет, «посверкивая медью», сразу за первой атакующей цепью. Беседа Сталина с Жуковым оснащается «бытовыми штрихами» наподобие того, что «Сталин сам откупорил бутылку сухого вина. Выпили молча, сразу налили по второй». Совсем как в сельской чайной...

И так на протяжении всего романа: сведения, почерпнутые из исторических документов, перемежаются с не всегда достоверными мемуарными сведениями, действия подлинных исторических лиц вплетаются в приключения «проказников», желание вникнуть в некоторые трагические перипетии войны совмещается с шаржем и мелодрамой. И это безнадежно компрометирует бла-

гой замысел автора соединить в едином художественном полотне изображение глубинных процессов народного бытия и реальный разворот исторических событий, судьбу человеческую и судьбу народную, воссоздать образ крупных полководцев, художественно воплотить противоборство двух систем — политических, военных, моральных.

Наша проза сделала за последние годы заметный шаг вперед в осмыслении исторического хода войны и истоков нашей победы. Но, как показывает диалогия В. Соколова, можно сделать и два шага назад, разменяв накопленные богатства на мелочишку банальностей. Опасность этого и заставляет выступить с критикой романов — хотя в них и содержатся некоторые удачные сцены и эпизоды.

А. БОЧАРОВ.

★

ПОМНИТЬ О ТОМ, ЧТО МЕРТВЫЕ БЫЛИ...

Габриэль Гарсиа Маркес. Сто лет одиночества. Роман. Перевод с испанского. «Иностранная литература», 1970, №№ 6, 7, 8.

Однажды на встрече с группой зарубежных писателей, приехавших к нам на очередной симпозиум, меня грустно поразило то, как представился один из гостей.

«Я написал двадцать два авантюрных романа, — бойко отрекомендовался он, — пять социальных и около десяти психологических...» Он так именно и заявил — «около десяти психологических».

Меня вообще повергает в недоумение попытка искусственного деления литературы на «рабочую», «деревенскую», «историческую», «военно-историческую» и т. д. Один критик даже выдвинул формулу особой «интеллектуальной» поэзии, не замечая очевидной тавтологии термина.

Большая литература не укладывается ни в какие рамки, ибо она является отражением живой, не укладывающейся ни в какие рамки жизни. Разве «Капитанская дочка» или «Война и мир» — только военно-исторические полотна? Разве можно «Моби Дика», «Пьяный корабль» и «Старик и море» зачислить в разряд литературной маринистики? Разве можно «Приключения Гекльберри Финна» отнести по ведомству «абитуриентской» литературы?

Содержание большой литературы — это всегда не просто конкретный материал, а

внутренняя тема, поднимающаяся над материалом.

Дать в руки Агате Кристи или Сименону материалы дела Раскольников — и мы получили бы всего-навсего квалифицированный детектив. Те, кого можно назвать только «бытописателями» или только «романтиками», только «обличителями» или только «трубадурами», к большой литературе не относятся, даже если и выполняют временные положительные функции. Большой литературе свойственна если не тематическая, то обязательно духовная энциклопедичность.

Этим качеством большой литературы обладает удивительный роман колумбийского писателя Габриэля Гарсиа Маркеса «Сто лет одиночества», прекрасно переведенный Н. Бутыриной и В. Столбовым.

Книга Гарсиа Маркеса реалистична и фантастична, авантюрна и бытописательна, социальна и психологична, она и «деревенская», и «рабочая», и «военно-историческая», она и философская, и откровенно чувственная. В отличие от анемичной структуры современных «антироманов» книга Гарсиа Маркеса полнокровна и, кажется, сама изнемогает от собственной плоти. Если бы этой книге можно было поставить градусник, то бешено прыгнувшая ртуть раско-

лотила бы ограничивающее ее стекло. Кажется, что после овсяной каши и диетических котлеток тебе наконец дали в руки сочную глыбу латиноамериканского «ломо».

В этой книге нет хилых, ковыляющих чувств — даже, казалось бы, низменные страсти исполнены возвышающей их силы. В этой книге искусственная челюсть, опущенная в стакан, покрывается желтенькими цветочками, девушка возносится на небо, увлекая за собой чужие простыни и тем самым вызывая возмущение владельцев, новорожденного со свиным хвостиком съедают рыжие муравьи, а мужчина и женщина любят друг друга в луже соляной кислоты. Веет проказами Тиля Уленшпигеля, буйством Франсуа Вийона, рассказами Мюнхаузена, пиршествами Гаргантюа, кличами Дон-Кихота. Язвительные сатирические картины, напоминающие «Историю одного города» Салтыкова-Щедрина, сменяются возвышенными интонациями старинных испанских «романсеро», колабрюньоновский эпикурейский оптимизм перебивается кафкианскими видениями, а на эротические декамероновские сцены падают мрачные тени дантовских призраков. Но это не мозаика литературных реминисценций, а мозаика самой жизни, объединяющая Гарсиа Маркеса и его предшественников.

Эта книга, несмотря на то, что она вошла на перегное всей мировой литературы, не пахнет бумагой и чернилами: она пахнет сыростью сельвы, горьким потом рабочей усталости и сладким потом любви, мокрой шерстью бродячих собак, дымящейся фритангой, амброй женской кожи и пороком. Эта книга матерится и молится, молодого горланит и по-старчески побряхтывает, устало мычит, как обесиленный буйвол, и вопит от горя, как мать над своими расстрелянными детьми.

«В те времена никто ничего не замечал, и чтобы привлечь чье-то внимание, нужно было вопить...»

Именно это и должно мучить любого художника — боль оттого, что столько страданий расплескано по планете, и страх оттого, если и вправду никто ничего не замечает. И долг художника — запечатлеть то, чего не замечает никто.

Один из героев Маркеса, бывший свидетелем расстрела рабочих банановых компаний и чудом уцелевший, возвращается домой. Но жизнь идет своим чередом, как

будто и не было расстрела «Официальная версия, которую тысячи раз повторяли и вдалбливали населению всеми имевшимися в распоряжении правительства средствами информации: «мертвых не было». И когда, потрясенный человеческим равнодушием, Хосе Аркадио Второй бормочет о том, что они все-таки были, то его не понимают или не хотят понимать.

«— Там было, наверное, тысячи три... — прошептал он.

— Чего?

— Мертвых, — объяснил он. — Наверное, все люди, которые собрались на станции. Женщина посмотрела на него с жалостью:

— Здесь не было мертвых...»

В этом забвении, отчасти искусно организованном, отчасти являющемся самозатуманиванием с целью не думать о чем-то страшном, что, не дай бог, может повториться завтра, Гарсиа Маркес видит одну из опаснейших гарантий возможности повторения кровавого прошлого. Люди, помнящие о вчерашних преступлениях, среди тех, кто забыл об этом или старается забыть, чувствуют себя изгоями, мешающими общей самоуспокоенности, и выглядят подозрительными маньяками в своем усердии напоминать.

Книга Гарсиа Маркеса — это попытка связать в единый узел все разорвавшиеся или кем-то расчетливо разъединенные звенья памяти. Память с выпавшими или устраненными звеньями — лживый учебник.

Как истинный художник, Гарсиа Маркес понимает, что история познается не только в политических сдвигах, поворотах или даже катастрофах, но и в быту, в самых интимных отношениях между людьми. Все философские концепции, так или иначе призывающие к изменению порядка вещей или к его сохранению, не ниспосланы откуда-то с заоблачных высей, а создаются дышащими, едящими, пьющими, любящими, ненавидящими людьми, и без изучения реальных бытия невозможно понять исходную точку человеческих заблуждений и надежд, надежд и заблуждений. Маркес лишен фрейдистского одностороннего толкования любого человеческого порыва как следствия того или иного сексуального комплекса, но он справедливо ощущает духовное и физическое в неразрывной связи. И в этом тоже сила его книги.

Радиус действия романа ограничен вымышленным городком Макондо, но в этом капельном городке отражается не только

история Латинской Америки, но в какой-то мере и история всего человечества.

Многое в романе может показаться слишком экзотичным для европейского читателя. Но крик какой-нибудь тропической птицы кажется экзотичным только тому, кто не привык к нему. Вслушайтесь в этот крик, европейцы, и вы услышите в нем ту же самую тоску, которая звучит в привычном для вас голосе серенького жаворонка или в голосе болотной выпи. У всех народов — разные исторические судьбы, но у всех народов одна и та же жажда любви и справедливости, и у всех эксплуатируемых народов схожие преграды на пути к осуществлению надежд: неразвитость сознания, разъединенность, раздробленность на миллионы одиночеств и происходящая от всего этого беспомощность перед безличным лицом перемалывающей людей машины бесчеловечности.

В Латинской Америке двадцать стран, где люди говорят на одном языке — испанском, и в то же время народам этих стран еще не удалось объединиться против общего врага — лицемерной эксплуатации, вооруженной до зубов военно-бюрократическими средствами. Это ли не символ того, какая титаническая работа предстоит всему разрозному человечеству, чтобы когда-нибудь заговорить на общем политическом языке и освободиться от общих угнетателей?

Волей-неволей Гарсиа Маркес противопоставил свою сагу о семье Буэндиа саге о Форсайтах, ибо правда о человечестве не только в Сомсе, переживающем свое одиночество за игрой в гольф, но и в Хосе Аркадио Буэндиа, от одиночества мечтающем превратить лупу в победоносное оружие, не только в элегантно страдающей Флер, но и в бывшей крестьянке — теперешней проститутке со спиной, стертой до крови после стольких клиентов. Но Гарсиа Маркеса нельзя обвинить в таком вульгарном социологизме, когда народные массы идеализируются и первобытность их инстинктов, их неграмотность возводится в некий культ, выдвигаемый как противовес «разложению цивилизации». Даже народную прославленную мудрость Гарсиа Маркес не превращает в фетиш. Гарсиа любит своих героев, но он беспощаден к их суевериям, к их невежеству, к их детской жестокости. И в этом смещении любви с трезвым пониманием необходимости духовной эволюции Гарсиа Маркес поразительно близок к такому вроде бы далекому от

него писателю, как Андрей Платонов, которого он, может быть, и не читал. Но тропическая птица и русский жаворонк могут петь одну и ту же песню, даже не слыша друг друга...

Все существо Хосе Аркадио возмущено, когда в Макондо появляется представитель правящей бюрократии — коррехидор и отдает свое первое распоряжение — покрасить все дома в голубой цвет в честь Дня независимости. Инстинкт свободы, заложенный в любом, даже самом неграмотном человеке, подсказывает Хосе Аркадио, что слепое подчинение бессмысленному распоряжению — это путь к потере самого себя. Но стремление неграмотного, не осознавшего себя человека к защите своей личности возможно лишь через познание самого себя и мира. Хосе Аркадио хочет перескочить через какие-то этапы познания непосредственно к действиям. Он пытается применить принцип маятника к плугу, к телеге, ко всему тому, что может принести пользу, но убеждается, что это безнадежно. Стараясь постигнуть тайну музыки, Хосе Аркадио разбирает пианолу и потом кое-как собирает ее. Но что же получается? «Колотя по струнам, натянутым как бог на душу положит и настроенным с завидной отвагой, молоточки срывались со своих болтов».

Хосе Аркадио отвратительна фальшь проведенных в Макондо выборов, подтасовка бюллетеней. Первое движение души — разбить пианолу политики, понять законы ее струн и молоточков и собрать ее заново так, чтобы она зазвучала, как ему хочется. Но не будет ли она играть еще более фальшиво, собранная заново неумелыми руками?

Впрочем, во все времена были люди, для которых главным было — ломать пианолы. Таков доктор Ногера, один из многочисленных героев романа Гарсиа Маркеса.

«Ногера был сторонником индивидуального террора. Его план сводился к согласованному проведению ряда индивидуальных покушений, которые, слившись в единый общенационального масштаба удар, должны уничтожить всех правительственных чиновников с их соответствующими семьями и в особенности их детей мужского пола, чтобы таким образом стереть с лица земли самое семя консерватизма...»

«Никакой вы не либерал, — говорит ему один из героев. — Вы просто мясник».

Я не могу не вспомнить о печальном конце воинственных замыслов доктора Ногеры.

«Доктора Ногеру волоком вытащили из дома, привязали к дереву на городской площади и расстреляли без суда и следствия. Падре Никанор пытался повлиять на военных своим чудом вознесения, но один из солдат стукнул его прикладом по голове. Либеральные веяния исчезли, воцарился молчаливый ужас».

Гарсиа Маркес показывает в своем романе все нарастающее ощущение невозможности жить в условиях экономического и духовного угнетения и в то же время ставит важную проблему человечества — проблему методов, при помощи которых человечество может изменить эти условия без жертв, становящихся бессмысленными, когда один вид несвободы заменяется другим.

А именно это и произошло, когда один из сыновей Буэндиа — Аркадио после очередной победы повстанцев был назначен комендантом Макондо.

«С самого начала своего правления Аркадио обнаружил большую любовь к декретам... Он ввел обязательную воинскую повинность с восемнадцати лет, объявил, что животные, оказавшиеся на улице после шести вечера, рассматриваются как общественное достояние... Заточил падре Никанора в его доме, воспретив выходить под страхом расстрела, и позволяя служить мессы и бить в колокола только в тех случаях, когда праздновали победу либералов... Аркадио продолжал сильнее и сильнее закручивать гайки своей ненужной жестокости и наконец превратился в самого бесчеловечного из правителей, которых видел Макондо». «Теперь они почувствовали разницу, — сказал как-то дон Аполинар Москоте. — Вот он — их либеральный рай...» И справедливо поступила мать Аркадио, Урсула, когда, явившись на городскую площадь в момент очередного расстрела, она отстегала просмоленной плетью своего зарвавшегося сына, чтобы ему было неподобно убивать людей под прикрытием красивых фраз.

Маркес показывает необратимый процесс перерождения руководителей повстанцев, если они позволяют своим адъютантам отделять их от народа символической меловой линией, если их борьба за свободу постепенно превращается в борьбу за власть. Такие руководители лишаются свободы сами, становясь узниками внутри обведенного мелом пространства. Таков один из центральных героев романа, полковник Аурелиано Буэндиа.

Полковник Аурелиано ужасался тому, что «приказы его исполнялись раньше, чем он успевал их отдать, раньше даже, чем он успевал их задумать, и всегда шли дальше тех границ, до которых он сам осмелился бы их довести». Его пугали молодые люди, которые верили в то, во что он давно потерял веру сам, и он «испытывал странное чувство — будто его размножили, повторили, но одиночество становилось от этого лишь более мучительным». Если когда-то его отцу являлся по ночам единственный убитый им человек — соперник в любви Пруденсио Агиляр, — то полковнику Аурелиано Буэндиа по ночам являлись сотни и тысячи убитых им или его солдатами, но все-таки он продолжал по инерции убивать, принося новые жертвы ненасытному молоху «пустой войны» и уже понимая, что он сам — будущая жертва. Расстреливая генерала Монкада, полковник Аурелиано Буэндиа говорит ему, убеждая в этом и самого себя: «Помни, кум... Тебя расстреливает революция».

Но генерал Монкада отвечает: «Если так пойдет и дальше, ты не только станешь самым деспотичным и кровавым диктатором в истории нашей страны, но и расстреляешь и мою куму Урсулу, чтобы усыпить свою совесть».

Полковник Аурелиано Буэндиа все же находит в себе мужество, чтобы признать свой моральный крах.

«Как-то вечером он спросил полковника Херинельдо Маркеса:

— Скажи мне, друг: за что ты сражаешься?

— За то, за что я и должен, дружище, — ответил Херинельдо Маркес, — за великую партию либералов.

— Счастливый ты, что знаешь. А я вот теперь разобрался, что сражался из-за своей гордыни...»

Полковник Аурелиано Буэндиа капитулирует. Он возвращается в ювелирную мастерскую и начинает делать для продажи золотых рыбок. Ему пришлось развязать тридцать две войны, уцелеть после четырнадцати покушений на его жизнь, семидесяти трех засад, расстрела, чашки кофе со стрихнином, порция которого могла бы свалить лошадь, вывалиться как свинье в навозе славы — и все для того, чтобы он смог открыть с опозданием на сорок лет преимущества простой жизни.

Но так называемая «простая жизнь» не спасение. Выйдя из порочного круга «пу-

стой войны», полковник попадает в другой порочный круг другой «пустой войны», он превращает монеты в золотых рыбок и снова превращает их в монеты. И только иногда полковник позволяет себе написать презрительное письмо правительству консерваторов или прорычать: «Это правление убожеств. Мы столько воевали, и все ради того, чтобы нам не перекрасили дома в голубой цвет».

Маркес убедительно показывает, что стремление разрушать без ясного осознания созидательных задач — бесплодно. Но бесплодно и стремление сохранять «статус кво», ибо наступает страшный процесс саморазрушения, и появляются всепожирающие рыжие муравьи. Бесплодно прятаться в древние пергаменты, выискивая там спасительную мудрость. Бесплодно выкрикивать веселый лозунг «Плодитесь, коровы,— жизнь коротка!» и устраивать лукулловы пиры. Бесплодно запирается от жизни, как Ребека, и ожидать любого, кто осмелится нарушить ее покой, с заряженным пистолетом. Бесплодно ломать кровати, пытаясь спрятаться в секс от беспощадного времени, как это делают представители младшего поколения Буэндия — Аурелиано Третий и Амаранта Урсула. Бесплодно накопительство, ибо время пережевывает все накопленное, как мул Петры Котес в конце концов пережевывает перкалевые простыни, персидские ковры, плюшевые одеяла, бархатные занавески и покров с архиепископской постели, вышитый золотыми нитями и украшенный шелковыми кистями.

Бесплодно и самоотречение Урсулы, надорвавшейся в заботах по сохранению дома и рода. «Ей хотелось позволить себе взбунтоваться, хотя бы на один миг, на тот короткий миг, которого столько раз жаждала и который столько раз отклады-

вала,— ей страстно хотелось плюнуть хотя бы один раз на все, вывалить из сердца бесконечные груды дурных слов, которыми она вынуждена была давиться в течение целого века покорности».

Маркес предостерегает от всех опасностей безответственного бунта, но в то же время и призывает людей «плюнуть хотя бы один раз на все». В этом и двойственность и одновременно цельность романа. Еще много политиканов подменяют подлинный социальный прогресс окраской домов то в один, то в другой цвет. Еще много Урсул корчатся от желания взбунтоваться хотя бы на миг, на тот короткий миг, который они столько раз жаждали и откладывали. Еще много зверских убийств совершается на земле, но рупоры лживой информации настойчиво вбивают в мозги граждан: «Мертвых не было».

Эксплуатируемое общество похоже на большую Фернанду, которая из-за невежества, страха и ханжества боится открыть врачам истинную причину своего недомогания, и поэтому ей так трудно помочь.

Маркес опасается выписать скоропалительный рецепт обществу, в котором он живет, но его диагноз беспощадно ясен: болезнь разъединенности. И все-таки Маркес верит в то, что человечество когда-нибудь вылечится от этой болезни и, духовно не сдавшись после столетий безостановочных ливней лжи и крови, размывающих фундаменты семейных крепостей, облегченно вздохнет.

«В пятницу, в два часа дня глупое доброе солнце осветило мир, и было красным и шершавым, как кирпич, и почти таким же свежим, как вода».

Но для того, чтобы эта пятница настала, будущие поколения должны помнить о том, что мертвые были...

Евг. ЕВТУШЕНКО.

★

Политика и наука

ИНТЕРЕСНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

Ф. М. Бурлацкий. Ленин, государство, политика. М. «Наука». 1970. 526 стр.

Эта книга сразу же заявляет о себе своим заглавием. Оно заинтересовывает авторским замыслом, который сформулирован в нем с такой краткой выразительностью.

Вопросы марксистско-ленинского учения о

государстве давно уже разрабатываются представителями самых различных общественных наук. Обширный список многочисленных исследований на эту объемную тему, которым сопроводил свою работу Ф. Бур-

лацкий, дает об этом достаточно определенное представление. Но попытка поставить и рассмотреть подобные вопросы в комплексе с более общими проблемами политической жизни общества в целом — а именно таков замысел автора настоящей книги — есть уже нечто новое, во всяком случае, не часто встречающееся в нашей научно-исследовательской литературе. Вот почему книга Ф. Бурлацкого, несомненно, привлечет к себе внимание своей проблематикой, представляющей большой интерес не только для ученых-специалистов, но и для самых широких кругов общественности.

В современную эпоху два взаимосвязанных явления в жизни человечества приобрели значение совершенно исключительное. Это — научно-техническая революция, изменяющая коренным образом производительные силы, и политика, которая становится делом все более растущей массы людей, вовлекаемых объективным ходом общественного развития в могучие социальные движения нашего бурного века. Конечно, оба эти явления сказываются по-разному в различных общественных системах, но возрастание их роли в жизни всех народов и человечества в целом — факт несомненный. Он-то и обуславливает особую актуальность, в частности, тех проблем, которые связаны с политикой, с развитием и взаимоотношениями классов, наций, государств, партий. Об этом сказано и в книге Ф. Бурлацкого. «Социальные революции, потрясшие до основания современный мир, — пишет автор, — образованные системы социализма, развал колониальных империй и образование многих десятков новых национальных государств, обострение и усложнение классовой, групповой и национальной борьбы на мировой арене, изменение технических средств взаимосвязи между народами и военно-технических средств, — все эти и многие другие факторы поставили в центр социальных сил, одновременно в центр внимания исследователей внутреннюю и международную политику в ее самых разнообразных аспектах».

Объективным следствием такой могучей исторической тенденции явилась растущая всюду потребность теснее связать политику с наукой, усилить научную обоснованность политических решений и действий. Буржуазия, ее партии, идеологи и вожди не в состоянии полностью реализовать подобную потребность. Решение такой задачи по плечу только рабочему классу, его авангарду — коммунистическим партиям, вооруженным

марксизмом-ленинизмом — единственным учением, которое дает подлинно научную методологию, необходимую как для точного анализа реальных политических процессов, так и для выработки правильной политики и ее успешного осуществления на каждом историческом этапе.

Это принципиальное положение зафиксировано и раскрыто в книге Ф. Бурлацкого. Подробно и убедительно пишет автор о значении марксизма-ленинизма как теоретической основы, на которой только и возможен научный подход к политике. Книга и представляет собой попытку осмыслить через призму этого учения, в свете ленинских идей многие сложные явления и процессы современной политической действительности. Стремление творчески использовать богатейшее идейно-теоретическое наследие В. И. Ленина при анализе закономерностей и особенностей развития политических структур и государственности в условиях общественных систем — характерная черта исследования Ф. Бурлацкого. При этом автор ставит принципиальный вопрос о том, что методология марксизма-ленинизма не является автоматически действующим инструментом познания политической жизни. Она может сыграть свою роль в области политики лишь при условии, если будет правильно применяться. А для этого необходимо относиться к политике как к объекту специального исследования, имеющему свои закономерности и специфику. Отсюда логически вытекает другой вывод автора: нужна и особая наука, изучающая этот объект. Так появляется центральная идея, пронизывающая весь первый раздел книги. В нем приводится целая система аргументов, призванная доказать необходимость такой науки, которую автор, заимствуя термин у Ленина, предлагает назвать материалистической теорией политики.

Автор, несомненно, прав, утверждая, что сделать политику подлинно научной невозможно без разработки теоретических основ, предназначенных непосредственно для познания этого специфического явления общественной жизни. Но вопрос заключается в том, нужна ли особая наука, занимающаяся такой разработкой. Разве теоретическую базу для научного обоснования политики не дают многие сложившиеся отрасли знания, имеющие отношение к сфере политической жизни? Используя материал этих наук и опираясь на основу основ всякого подлинно научного исследования — диалектический и

исторический материализм, КПСС и другие братские партии успешно выполняют функции политического руководства и двигают вперед ту самую материалистическую теорию политики, разрабатывать которую призвал В. И. Ленин.

Таким образом, теория политики фактически существует, она воплощена в идейном наследии Маркса, Энгельса, Ленина, в решениях коммунистических партий, исследовательском материале наших общественных наук, изучающих историю и теорию государства, классов, партий и других факторов политической действительности. Можно ли такую теорию вычленить и сконцентрировать в рамках самостоятельной отрасли общественнознания — на этот вопрос и пытается дать ответ Ф. Бурлацкий. Он, конечно, ведет речь не о какой-то новой теории, заменяющей диалектический и исторический материализм, а о специальной отрасли знания, призванной обслуживать деятельность марксистско-ленинских партий по выработке и осуществлению политических решений и задач, помогать им в этой деятельности своими теоретическими концепциями, разработанной системой понятий, методов и методик. Тем не менее такая наука, по мнению автора, должна быть вполне автономной и независимой научной дисциплиной, со своей структурой и методикой.

Разумеется, у нее должны быть и свой предмет, и свое место в системе общественных наук. Не определив их, невозможно полностью сформировать новую научную дисциплину и тем более обеспечить ее плодотворное развитие. Видимо, важностью этой задачи и объясняется то, что Ф. Бурлацкий так много внимания посвятил ее решению. Но здесь-то он и встретил наибольшие трудности.

Поначалу материалистическую теорию политики автор ставит как бы в центре всего процесса исследования политической жизни. Этот процесс он условно расслаивает на три уровня:

«1) наиболее общая теория политики, представляющая собой более или менее самостоятельную часть исторического материализма. Здесь выявляются наиболее общие закономерности становления, развития и исторической смены политических систем и вырабатывается общая методология;

2) теория политики среднего уровня, которая изучает политические отношения общества, вырабатывает теорию, методы и

методику конкретных социальных исследований политической жизни;

3) конкретные исследования политического процесса, политических институтов, ситуаций, конфликтов, решений, руководства, международных отношений и т. п. в рамках ряда научных дисциплин».

В этой схеме материалистическая теория политики получает место теории среднего уровня, соединяющей наиболее общие категории марксистско-ленинской социологии с конкретными исследованиями политики и политического процесса. Она призвана, по мысли автора, дать теоретическую базу всем наукам, изучающим политические отношения, снабдить их также методологией и методикой конкретных исследований.

Подобные определения можно было бы признать, если бы не одно важное обстоятельство. Дело в том, что существующие ныне науки о политике производят конкретный анализ политических отношений вовсе не в отрыве от теории. Они получают ее как от марксизма-ленинизма в целом, так и от общетеоретических дисциплин, которые имеются в их системе. В качестве примера достаточно указать на теорию государства и права, которая является теоретической базой юридической науки — одной из важнейших наук о политике. Естественно, в этой связи возникает сомнение: целесообразно ли делать беспредметным существование подобных дисциплин ради того, чтобы сконцентрировать их материал в рамках одной дисциплины, создаваемой для того, чтобы теоретически оплодотворить все науки о политике?

Правда, в дальнейшем автор скромно ставит материалистическую теорию политики в ряд с другими общественными науками, выдвигая перед ней задачу обслуживать изучение в основном лишь одной стороны политической жизни — ее динамики, или, как он выражается, реальных механизмов движения политической действительности. Именно для исследования этого объекта и должна дать теоретическую базу материалистическая теория политики. Она «претендует, таким образом, на то, чтобы дать ключ к пониманию всех перипетий политической жизни современности во всех их взаимосвязях».

Итак, у новой науки появляется объект исследования. Но границы его настолько широки, что предлагаемая теория политики вновь начинает теснить другие теоретические дисциплины, изучающие различные

стороны политических отношений. Как бы стремясь сгладить такое впечатление, автор предупреждает, что попытка дать определение предмета науки о политике через характеристику объектов исследования мало помогает делу, поскольку этими объектами занимаются и другие общественные науки. И отсюда он делает вывод: «Объединяющим моментом для науки, изучающей политику, является не только и не столько объект исследования, сколько подход, метод, методика, понятийный аппарат и терминология».

Иными словами, наука о политике в конечном итоге превращается автором в одну из отраслей социологии, представляющую собой совокупность методов, применяемых для исследования такого явления, как политика и политические отношения. По сути дела вся книга Ф. Бурлацкого нацелена на то, чтобы основать именно социологию политики как науку, вооружающую исследователей эффективным арсеналом методов и средств для конкретного изучения и теоретического осмысливания всей современной политической действительности.

Автор проделал большую работу в этом направлении. В книге подробно рассмотрены многие вопросы, образующие остои и реальное содержание такой науки. Предпринята интересная, хотя, на наш взгляд, и не бесспорная попытка дать общее определение политики. «Политика,— читаем мы,— это форма взаимоотношений между классами, социальными группами, нациями, связанная прямо или косвенно с проявлениями власти и деятельности властвования, понимаемой как способность принудить большие массы людей к выполнению тех или иных задач и решений».

В приведенном определении власть, деятельность властвования выделяются как самое существенное в политике. С этим можно согласиться. Однако нам показалось недостаточно мотивированным стремление автора заменить подобным признаком государственную власть, деятельность государства, с которыми обычно связывается понятие политики. Власть, в определении Ф. Бурлацкого, нечто более широкое, чем государственная власть. Она трактуется им как способность принудить большие массы людей к выпол-

нению тех или иных задач и решений. Но если имеется в виду все население страны, то какая власть, кроме государственной, обладает такой способностью? Очевидно, автору следовало бы ответить на этот вопрос, если он претендует на более глубокое раскрытие главных признаков, позволяющих выделить политику и политические отношения из всей совокупности общественных отношений.

Но, как известно, всякое определение неполно. Едва ли следует требовать большего и от того, которое сформулировано Ф. Бурлацким. Важно то, что автор в дальнейшем подробно раскрыл основные элементы, из которых состоит понятие политики. Он показал место политики в системе общественных отношений, ее взаимодействие с экономикой и связь с другими элементами надстройки (культурой, идеологией и т. д.). На многих страницах книги освещаются такие важные для научного анализа политической жизни понятия, как субъект и объект политики, политическая власть, руководство, управление, организация, контроль, политическая система и т. д. Наконец, автор раскрывает (несколько бегло, но достаточно четко) содержание основных методов и методик, присущих, по его мнению, социологическим исследованиям политики.

Вся эта система понятий, терминов, определений не является, конечно, изобретением одного Ф. Бурлацкого. Автор обобщил результаты большой исследовательской и теоретической работы ученых-марксистов, занимающихся изучением общих проблем или конкретных вопросов политики и политических отношений.

Оживление этой работы в последние годы является еще одним убедительным доказательством, подтверждающим, насколько актуальной и назревшей стала ныне потребность в усилении научного анализа всего сложного, многообразного и противоречивого развития современной политической жизни. В том, что такая потребность существует, сейчас никто не сомневается. Но как реализовать ее — путем ли дальнейшего развития и координации существующих общественных наук, более широкого применения в их рамках социологических методов исследования или путем создания одновременно с этим специальной науки о политике,— такой вопрос, поставленный в книге Ф. Бурлацкого, еще нуждается, на наш взгляд, в до-

полнительном изучении. Оно, несомненно, будет продолжено, и в этом процессе научных поисков займет свое место рецензируемая монография, побуждающая к новым размышлениям о наиболее эффективных путях исследования политики и политических отношений.

В остальных разделах книги автор анализирует основные черты и закономерности развития современного буржуазного государства и государства социалистического типа, исследует политическую структуру общества при капитализме и при социализме, развертывает критику буржуазной демократии и раскрывает достоинства социалистического демократизма. Все эти вопросы важны и актуальны, но сами по себе не отличаются новизной. Их исследованию, как уже отмечалось, посвящена обширная литература. Поэтому разделы книги, в которых освещены эти вопросы, привлекают внимание не столько своим материалом, сколько характером его анализа, построенного на применении самых различных методов социологического исследования. Автор как бы демонстрирует читателю плодотворность подобных методов, позволивших ему сделать ряд важных выводов и обобщений по многим вопросам темы.

Интересны, например, результаты сравнительного анализа форм политической власти рабочего класса. Исходную позицию такого анализа составило известное ленинское положение о разнообразии форм диктатуры пролетариата и перехода к социализму различных народов. Опираясь на него, автор подробно проанализировал исторический опыт строительства социалистической государственности в различных странах, показал особенности установленных в них политических режимов, дал последним определенную классификацию, отражающую эти особенности. Ф. Бурлацкий различает четыре основных вида политических режимов в социалистическом государстве: пролетарскую демократию (Советская власть в первые годы ее существования), социалистическую демократию (советское общенародное государство на современном этапе его развития), народную демократию (европейские страны социализма на первом этапе своего существования), новую демократию (режим, существовавший в КНР примерно до 1956 года).

Классификация с подобной терминологией далеко не бесспорна. Если ей следо-

вать, то получится, что социалистической можно считать лишь демократию, существующую в общенародном государстве. Но разве можно сомневаться в том, что все перечисленные виды политических режимов присущи той или иной форме социалистического государства (на что указал сам автор) и поэтому являются социалистическими? Перед нами лишь различные этапы развития и формы проявления политической власти рабочего класса, руководящая роль которого в государстве является общей закономерностью, определяющей сущность и характер любого политического режима, устанавливаемого в результате победы социалистической революции и существующего в условиях перехода к социализму и коммунизму.

В принципе автор фиксирует эту истину при анализе общих черт социалистического типа власти. Но в конкретное ее рассмотрение, как и в этот анализ в целом, он не углубляется. На наш взгляд, здесь кроется определенная методологическая непоследовательность автора. Для того, чтобы провести сравнительный анализ форм политической власти рабочего класса, очевидно, необходимо установить принципы, позволяющие выявить как специфику этих форм, так и их общие черты, присущие любой разновидности социалистической демократии. К сожалению, автор, поставив этот вопрос, ограничился лишь указанием на то, что не следует выявлять общие черты социалистического типа власти путем сопоставления опыта социалистических государств с советским образцом или же «способом механического вынесения за скобки всего того, что характерно для всех социалистических стран». Подобные предупреждения можно было бы понять, если бы автор предложил свой подход к решению вопроса, показал, каким же способом можно установить основные признаки, определяющие общую модель политической организации социалистического типа. Однако такой подход с достаточной ясностью не прослеживается в книге. Не потому ли сравнительный анализ форм социалистической государственности приобрел у автора некоторую односторонность, сосредоточившись преимущественно на выяснении национальной специфики этих форм?

При этом автор, выявляя основные факторы, определяющие конкретную форму диктатуры пролетариата и методы ее дея-

тельности, выдвигает в число главных характер и особенности экономического и социально-политического строя, существовавшего в стране до социалистической революции. С таким тезисом полностью согласиться нельзя.

Указанный фактор хотя и имеет известное значение, но никак не является определяющим. Разве, например, на демократизме Советской власти сказалось решающим образом то, что она, как пишет автор, «возникла в экономически отсталой стране, где на протяжении многих столетий господствовал феодально-монархический режим»? Вполне очевидно, что определяющую роль здесь сыграли совсем другие факторы — именно те, о которых в книге сказано мимоходом и в последнюю очередь: революционное творчество народных масс и деятельность ленинской партии. У нас есть действительно демократические традиции, созданные народом, воплотившие в себе идеалы и боевой опыт российского пролетариата, выступавшего и в эконо-

номически отсталой, придавленной царизмом стране в качестве самого революционного и организованного отряда международного рабочего класса. Именно эти традиции определили передовой характер советской демократии, положившей начало эпохи подлинного народовластия.

В книге Ф. Бурлацкого имеются, на наш взгляд, и некоторые другие недостатки и спорные моменты. Все это объяснимо для такого исследования, в котором выдвигаются актуальные научные вопросы, вызывающие оживленные дискуссии, борьбу мнений, глубокие раздумья над сущностью, источниками, движущими силами развития современных политических отношений. Отражая сложность и трудности становления социологических исследований политики, книга Ф. Бурлацкого вносит заметный вклад в этот процесс, обобщая достигнутое и нацеливая на новые пути изучения этой важнейшей сферы общественного развития.

В. ШАПКО,

доктор исторических наук.

★

«ВТОРОСОРТНЫЕ» ГРАЖДАНЕ АМЕРИКИ

М. А. Меньшикова. США. Капиталистическое накопление и индустриализация сельского хозяйства. М. «Наука». 1970. 183 стр.

Писать о капиталистической экономике дело не легкое. Тут постоянно подстерегают две опасности: увлечься достижениями технического прогресса и за блеском неоновых реклам, предлагающих покупательно шикарные вещи, не разглядеть социальные последствия его для трудящихся, а с другой стороны, упростить эти последствия, не заметить самого технического прогресса, не вскрыть механизма, помогающего его реализации.

М. Меньшикова обе эти опасности в своей книге успешно избежала. Работа ее получилась поэтою правдивой, отражающей противоречия между огромными возможностями, открывающимися перед человечеством благодаря развитию современной науки и техники, и теми препятствиями, которые возникают на этом пути в условиях капитализма.

Сельское хозяйство США первым в капиталистическом мире вступило на путь научно-технической революции и совершило переход от мануфактурной стадии к стадии индустриального производства. Оно

не знает себе равных по уровню производительности труда. На полях США сейчас работает около половины всех тракторов капиталистического мира, потребляется около трети всех химических удобрений. И вместе с тем, отмечает М. Меньшикова, сельское хозяйство США не знает себе равных по остроте социальных контрастов и глубине неразрешимых экономических и классовых противоречий. «Американский фермер,— пишет М. Меньшикова,— поражающий мир своей производительностью, у себя на родине остается «второсортным» гражданином, который из года в год оплачивается почти вдвое хуже, чем работники других отраслей экономики США». Фермерская проблема по-прежнему одна из наиболее острых и злободневных социальных проблем внутренней жизни страны. О положении американского фермера можно, в частности, судить по данным, которые автор приводит из официальных источников. Чистый доход фермеров в последние годы, не считая 1966—1967 годов, был значительно ниже уровня 1947—

1948 годов даже в номинальном выражении. В реальном же выражении, то есть с учетом изменения цен, которые приходится уплачивать, и цен, по которым продается продукция сельского хозяйства, чистый доход фермеров в 1967 году был на 47 процентов ниже уровня 1947—1949 годов. Фермерам не только не компенсировали рост валовой продукции, но каждая единица этой продукции в 1967 году оплачивалась чуть ли не вдвое хуже, чем в 1947—1949 годах. Только в наихудшие годы предвоенного кризиса соотношение цен, получаемых и уплачиваемых американскими фермерами, было еще более благоприятным, чем в последние годы. В этих условиях особенно остро стоит вопрос о судьбе по крайней мере двух миллионов американских ферм, ведущих полунатуральное хозяйство и искусственно сохраняемых правительством США во избежание углубления социального конфликта.

В книге М. Меньшиковой читатель найдет не только интересный материал, знакомящий его с жизнью американских фермеров и уровнем развития сельского хозяйства США. Многие разделы ее работы с вниманием прочтут те, кто занимается проблемами нашего сельского хозяйства. Это относится, в частности, к определению эффективности сельскохозяйственного производства. Как действительно ее правильно рассчитать? Можно ли ограничиться тут только сравнением размера основных фондов с числом занятых в производстве, учитывая, что оно постоянно сокращается, а фонды, наоборот, быстро растут? Автор дает ответ на этот вопрос. «Судить об эффективности сельскохозяйственного производства, — пишет М. Меньшикова, — лишь по эффективности материальных затрат, в частности основных фондов, методологически неверно: общество затрачивает в производстве не только прошлый, овеществленный труд, но и труд живых. С развитием технического прогресса соотношение между ними будет неизменно меняться в сторону относительного и абсолютного сокращения массы живого труда и возрастания удельного веса прошлых затрат труда. И только учет равнодействующей в динамике обоих этих участников производства покажет истинную эффективность сельскохозяйственного производства».

Так, в периоды бурного роста основного капитала в сельском хозяйстве США, особенно после полосы так называемого фон-

дового голода военных лет, фондоотдача снижалась. Однако вызываемый обновлением капитала подъем производительности труда и сокращение числа работающих компенсировали падение фондоотдачи с точки зрения эффективности совокупных затрат.

С большим интересом познакомится читатель с описанием принципов организации материально-технического снабжения в сельском хозяйстве, с постановкой ремонтного дела, системой обеспечения сельского хозяйства запасными частями к технике, кормами для скота. Важную роль во всех этих подразделениях производственной деятельности играет овладение рынком. Работа в этом направлении особенно активизировалась после 1950 года. С тех пор каждая административная единица страны подает в бюро цензов сведения о наиболее широко используемых на фермах видах машин с разбивкой их по типу хозяйств, экономическому классу и производственной специализации. В бюро цензов представлены крупнейшие фирмы сельскохозяйственного машиностроения. Помимо сбора статистических данных, бюро регулярно проводит выборочные обследования (с охватом 20 процентов ферм) по программе, цель которой — выявить тенденции в распределении и использовании техники. Все полученные данные публикуются и тщательно анализируются промышленностью. Кроме этого, отдельные компании продельвают большую исследовательскую работу в сфере своих интересов. Знакомство с потребностями рынка позволяет активно влиять на структуру его и направлять развитие спроса.

Специальный раздел посвящен в книге проблемам накопления денежного капитала и описанию действия кредитного механизма. Автор показывает здесь, каким образом достигается относительная стабильность цен на сельскохозяйственные продукты. Для этого используется, в частности, система государственной поддержки цен, которой в 1968 году было охвачено 40,6 процента товарной продукции. Фермеры сдают свою продукцию в залог государству по гарантированным залоговым ставкам, по сути — по гарантированным закупочным ценам. За фермером остается право выкупа из залога своей продукции и продажи ее на свободном рынке, если цены там окажутся выше залоговых ставок.

Система поддержки цен распространяется на тех фермеров, которые подчинились требованиям государства по ограничению производства или сокращению посевных площадей.

Большое место в своей работе М. Меньшикова уделила выяснению роли кредита в развитии сельскохозяйственного производства США. В годовых капиталовложениях удельный вес кредита доходит до 40—50 процентов их общей суммы, а в затратах на приобретение техники — до 55—60. Этим определяется значение данного рычага управления сельским хозяйством. (Автор приводит высказывания одного из

крупных американских фермеров по поводу роли кредита в сельском хозяйстве: «Без кредита так же невозможно хозяйствовать, как и без удобрений».)

Книга М. Меньшиковой написана хорошим языком, демонстрирует высокую эрудицию автора по тем вопросам, которые она рассматривает. Большим преимуществом ее является и то, что автор имел возможность долгое время изучать сельское хозяйство США, так сказать, на месте, а не только по литературе. Это наложило свой хороший отпечаток на выполненную работу.

Г. ЛИСИЧКИН.



ЛИЧНОСТЬ ВЕЛИКОГО УЧЕНОГО

И. И. Мочалов. В. И. Вернадский — человек и мыслитель. М. «Наука». 1970. 176 стр.

В глазах большинства людей «ученый» означает не просто принадлежность к определенной профессии, как, скажем, учитель или шофер. «Ученый» стало едва ли не синонимом «знающий, мудрый, талантливый, остроумный». Правда, известный биохимик Джеймс Уотсон утверждал, что «ученые вопреки повсеместному убеждению... нередко бывают не только узколобыми и скучными, но и просто глупыми». Однако подобные высказывания мало влияют на общественное мнение.

Роль ученых в современном обществе огромна. Это вызывает к ним всеобщее внимание и уважение. В то же время возникает необходимость понять особенности научной интеллигенции, создать «социальный портрет» ученого. Эту задачу нельзя сводить лишь к сбору и систематизации статистических данных о научных работниках, получению различных осредненных показателей и т. д. Очень важно изучить личности реальных творцов науки, авторов великих научных открытий. К числу таких ученых относится Владимир Иванович Вернадский, личности и мировоззрению которого посвящена книга И. И. Мочалова. Подобных работ о Вернадском, к сожалению, немного, и эта, возможно, одна из наиболее интересных. В ней использованы малоизвестные материалы из обширнейших архивов ученого, его неопубликованные рукописи, многие из которых до сих пор не утратили своей ценности и актуальности (в частности, работа «Научная мысль как планетное явление»).

В чем же своеобразие и величие Вернадского? Прежде всего, конечно, вспоминаются его научные труды. «Мысль ученого, — пишет И. И. Мочалов, — плодотворно работала в области кристаллографии, геологии, биологии, почвоведения, химии, радиологии, гидрогеологии, учения о полезных ископаемых, метеоритики, истории науки, истории философии, истории славян, организации научных исследований, проблем высшего образования и т. д. ... Его роль в минералогии аналогична революционной роли Дарвина в биологии... Он явился одним из создателей новой научной дисциплины — геохимии... С его именем связано рождение новой... науки — биогеохимии... Вернадский развил учение об особой геологической оболочке — биосфере как о едином организованном целом».

Как ни внушителен этот перечень, однако он вряд ли дает достаточно полное представление о гигантском, совершенно уникальном вкладе Вернадского в современное естествознание. Ведь не случайно и не только из почтительности ученика к учителю писал о Владимире Ивановиче академик А. Е. Ферсман: «Десятилетиями, целыми столетиями будут изучаться и углубляться его гениальные идеи, а в трудах его — открываться новые страницы, служащие источником новых исканий...» Прошло более четверти века со дня смерти Вернадского, и только теперь начинают входить в науку его идеи о ноосфере и биосфере (сферах разума и жизни).

В истории науки трудно найти другого ученого, который обладал бы столь всеобъемлющей эрудицией, обширным кругозором, как Вернадский, и имел бы столь крупные достижения в различных областях знания. Рассказать обо всем этом несколькими фразами или, как в книге И. И. Мочалова, на двух-трех страницах невозможно. А вскрыть сущность научного гения Вернадского было бы очень желательно, во-первых, потому, что именно наука определяла его философские взгляды, а во-вторых, потому, что «средний» читатель практически незнаком с творчеством великого ученого: популярной литературы о Вернадском очень мало, в школьные учебники он не входит, да и среди специалистов-геологов далеко не все видят эту величественную фигуру в полный рост.

Значительная часть книги И. И. Мочалова посвящена характеристике личности Вернадского. Здесь перечислены прекрасные моральные принципы, которые ученый пронес через всю свою жизнь с удивительной последовательностью, смелостью и чистотой. Автор подчеркивает широту духовных интересов Вернадского, целостность его творчества, чувство природы, научную одержимость, творческую активность... Однако, несмотря на справедливые выводы Мочалова, на прекрасно подобранные убедительные цитаты из писем и записных книжек ученого, читателю трудно избавиться от некоторой неудовлетворенности. Хочется не только услышать о тех или иных качествах Вернадского, но и представить себе цельный образ этого человека (привлекая метода искусства!), увидеть его в жизни, в движении, в домашнем кресле, в библиотеке и на трибуне конференции, среди учеников и коллег, в геологических маршрутах и лабораториях, за письменным столом. То есть познакомиться с живым человеком, как знакомимся мы, скажем, с Альбертом Эйнштейном, о котором, кстати, нам известно куда больше, чем о нашем великом соотечественнике.

Вернадский как бы принес в наш технический бурный и грозный век спокойную и добрую мудрость прошлого века — времени великих писателей, гуманистов и творцов классической науки. Определяющей чертой Вернадского была любовь к людям (гуманизм) и верность высоким нравственным идеалам. «Задача человека заключается в доставлении наивозможной пользы окружающим», — писал молодой Вернадский.

И еще: «Первое дело: 1) Выработка характера. Преимущественно следует: откровенность, необязань высказывать и защищать свое мнение, отброс ложного стыда, необязань доводить до конца свои воззрения, самостоятельность».

Едва ли не каждый человек испытывает в юности жажду возвышенного и прекрасного. И как часто они приносятся в жертву пресловутому «жизненному опыту» и остаются в человеке шелухой слов — не более. У Вернадского было иначе. Он сохранил духовную юношескую чистоту до конца своих дней. Об этом свидетельствует весь строй его жизни, все его поступки и высказывания. И тут же надо сказать (к сожалению, этого нет в книге), что Вернадский обладал чрезвычайной силой воли — потому что сочетать мягкость, доброту, стремление помогать окружающим с принципиальностью, откровенностью и самостоятельностью могут лишь очень волевые люди.

Не случайно Вернадский первым среди ученых (или одним из первых) заявил о высокой моральной ответственности тех, кто совершает, претворяет в жизнь и держит в своих руках научно-технические открытия, которые могут быть использованы в недобрых целях. Еще до революции он писал: «В вопросе о радиации ни одно государство и общество не может относиться безразлично, как, каким путем, кем и когда будут использованы и изучены находящиеся в его владениях источники лучистой энергии». А позже, в 1922 году, он, подчеркивая мощь атомной энергии, продолжал: «...Сумеет ли человек воспользоваться этой силой, направить ее на добро, а не на самоуничтожение? Дорос ли он до умения использовать ту силу, которую неизбежно должна дать ему наука? Ученые не должны закрывать глаза на возможные последствия их научной работы, научного прогресса».

Эти пророческие раздумья очень характерны для Вернадского и показывают, что наука никогда не была для него «превыше всего на свете». Он был прежде всего замечательным человеком, а уж потом великим ученым (да, пожалуй, великим ученым иначе и невозможно стать). К сожалению, И. И. Мочалов об этом говорит вскользь и лишь в связи с созданием учения о ноосфере.

Заслуживает особого внимания огромная научно-общественная работа Вернадского.

Ученый всем своим творчеством без громких фраз (он вообще не терпел славословия) служил народу, своей родине. Он был одним из активнейших организаторов советской науки, создавшим и возглавившим несколько комиссий при Академии наук СССР (среди них — Комиссию по изучению естественных производительных сил России, имевшую огромное значение для экономического подъема страны), директором Биогеохимической лаборатории и т. д. Об этой важной стороне научной деятельности Вернадского Мочалов только упомянул, не раскрыв ее в должной мере.

Специальный раздел книги посвящен эмоциональной подоснове научного творчества Вернадского. Возможно, было бы точнее сказать, что на примере творчества Вернадского И. И. Мочалов исследует роль эмоций в работе ученого. «...Включаются ли эмоции непосредственно в само содержание научного творчества или же играют роль только сопутствующих ему элементов?» — спрашивает автор. Отвечая на этот вопрос, он переходит к сравнению творчества научного и художественного (как более эмоционального), приводит очень интересные высказывания Вернадского о том, что вдохновение ученого сродни вдохновению художника, что творческая работа мысли непременно сопровождается сильными переживаниями, ощущением гармонии, радостью, а подчас и страданием. «Ученые, — пишет Вернадский, — те же фантазеры и художники; они не вольны над своими идеями; они могут хорошо работать, долго работать только над тем, к чему лежит их мысль, к чему влечет их чувство. В них идеи сменяются; появляются самые невозможные, часто сумасбродные; они роятся, кружатся, сливаются... И среди таких идей они живут, и для таких идей они работают».

Мочалов неоднократно подчеркивает, что Вернадский всегда воспринимал природу как нечто целое, изменчивое, исполненное «невозмутимого строя» (о чем так прекрасно писал Тютчев, которого очень любил Вернадский). В этой цельности восприятия окружающего мира и есть, пожалуй, то главное, что роднит творчество великих поэтов и великих естествоиспытателей. Некогда Гёте словами Мефистофеля смеялся над теми, кто, желая изучить «живой предмет», делит его на части, препарирует, лишает его жизни и после того пытается познать именно то, что бесследно исчезло.

Вернадскому (он, кстати, посвятил Гёте-натуралисту специальное исследование) такой подход был чужд. Он ощущал безмерную сложность и совершенство природы, восхищался ею и пытался постичь ее. Последнее несвойственно поэтам, и это, возможно, отличает их от истинных ученых. И. И. Мочалов справедливо отмечает: «Творчество научное и творчество художественное гармонически взаимно дополняют друг друга». В этой связи характерно приведенное в книге высказывание В. И. Вернадского: «Говорят: одним разумом можно все постигнуть. Не верьте!» (Вспоминается Сент-Экзюпери: «Зорко одно лишь сердце. Самого главного глазами не увидишь».)

На примере Вернадского хорошо видно, как шатки и условны границы, которые мы проводим между разными науками, между наукой, искусством, философией и т. д. Существуют природа и человек — частица и создание природы, постигающий чувством и разумом ее сущность. И не случайно так трудно, говоря о Вернадском, характеризовать по отдельности его личность, мировоззрение, круг его интересов.

В книге И. И. Мочалова сделана попытка именно такого анализа: первая часть — черты ученого и человека, вторая — эмоциональность мировосприятия и отношение к искусству, третья — становление мировоззрения и философские взгляды. Однако взаимопроникновение частей слишком сильно. К примеру, такое высказывание В. И. Вернадского: «...Не в массе приобретенных знаний заключается красота и мощь умственной деятельности, даже не в их систематичности, а в искреннем, ярком искании... И масса удержанных умом фактов, и систематичность познанных данных — ученическая работа, она не может удовлетворить свободную мысль...» Они приведены И. И. Мочаловым как подтверждение «душевной чистоты» ученого, его борьбы за свободу мысли. Но, по-видимому, эти слова характеризуют и эмоциональность творчества Вернадского, и его связь с «художественными» методами познания, и даже — особенности мировоззрения. Подобных примеров можно привести много. Они свидетельствуют не столько о недостатках композиции книги, сколько об удивительной цельности, которая была, пожалуй, главной чертой личности Вернадского, о том, как трудно «раскладывать» эту личность на «составные части».

Мочалов описывает период становления мировоззрения Вернадского во время его учения в Петербургском университете под влиянием В. В. Докучаева. В дальнейшем, работая преподавателем в Московском университете, ученый пишет статью «О научном мировоззрении», в которой, по словам Мочалова, «явственно видны не только предчувствие приближающейся грозы (новейшей научной революции.— Р. Б.), но и прямой на этот счет глубокий прогноз». Действительно, Вернадский был едва ли не первым среди ученых и философов, кто указал на невиданный в истории «взрыв знаний» (мы это сейчас называем лавиной информации), определяющий одну из главных особенностей нашего века.

В книге отмечено, что в основе научного мировоззрения Вернадского лежало признание реальности бытия внешнего мира, не зависящего от человека, не существующего вне материи и энергии. «Однако с 90-х годов,— уточняет автор,— у Вернадского начинаются известные колебания в сторону субъективного идеализма», которые «не затронули сколько-нибудь существенно его незыблемой основы — естественнонаучного реализма». Хотелось бы только узнать, в чем же конкретно выражались эти колебания и в какой связи находились они с научным творчеством ученого.

По-видимому, Мочалов верно объясняет нежелание Вернадского примкнуть к материалистической философии преимущественно тем, что «известные Вернадскому системы материалистической философии не удовлетворяли его своей нередкой прямолинейностью, не принятыми в естественности жесткостью своих положений и абстрактностью». И еще: ученый стремился сохранить «полную свободу как естественнонаучного, так и философского творчества». Кстати, было бы очень интересно выяснить, в чем же видел Вернадский отличие философии от науки? Но это, как говорится, задача дальнейших исследований.

Вернадский называл себя «философским скептиком». И все-таки научное творчество Вернадского пронизано философией — это убедительно показано в книге Мочалова. Ученый постоянно задумывался о сущности живого вещества и его роли в космосе и на планете, о значении в геологических процессах разума и воли человека, о судьбах науки, о начале и вечности жизни, о моральных принципах, о законах эволюции планеты, биосферы, человечества. Мысль

ученого связывала все проявления жизни на земле с планетарными и космическими процессами. По мнению Мочалова, в развитии этой особенности мировоззрения Вернадского поворотным моментом стали 1916—1917 годы, когда «ученый окончательно находит то важнейшее посредствующее звено, которое ему ранее недоставало для перехода от неживой природы (кристаллография, минералогия, геохимия) к человеку. Таким звеном оказалось живое вещество, его изучение с новой — геохимической — точки зрения, приведшее к созданию на этой основе новой научной дисциплины — биогеохимии...».

Эта очень верная мысль не получила в книге дальнейшего развития. А ведь биогеохимические исследования Вернадского (о роли живого вещества в геохимии земной коры и моря, о геохимической активности живых существ, о принципиальном отличии живого вещества от косного, о концентрации организмами радиоактивных элементов и некоторых изотопов и т. п.) имеют не только первостепенное значение для многих геологических наук. Они глубоко проникают в биологические науки. Недаром за последние годы биологи (в особенности биохимики, эволюционисты, экологи) все чаще ссылаются на Вернадского и уж, во всяком случае, широко используют его идеи.

В книге основное внимание уделено взглядам Вернадского на космическую сущность человека, тогда как в работах ученого сравнительно мало говорится о геологической роли человека. Главное: Вернадский подчеркивал, что человечество — часть планеты, зависящая от «естественных законов» природы, хотя и очень своеобразная часть («Человечество как живое вещество неразрывно связано с материально-энергетическими процессами определенной геологической оболочки земли — с ее биосферой»).

И. И. Мочалов исследует зарождение идеи ноосферы, анализируя письма, дневники и статьи Вернадского конца прошлого века. Автор отмечает, что с точки зрения ученого создание ноосферы требует объединения человечества, свободы разума, ликвидации всех форм закабаления человека. В могучем взаимодействии геологических сил, в объединенной мощи техники, человечества Вернадский всегда видел то самое ценное, что имеется в ноосфере с точ-

ки зрения нас, людей,— свободную человеческую личность.

В книге подчеркивается это и приведены слова Вернадского, наиболее полно выражающие его моральное кредо: «Нет ничего более ценного в мире и ничего, требующего большего бережения и уважения, как свободная человеческая личность». И еще: «Право свободы мысли для меня представляет одно из необходимейших условий нормальной жизни, с отсутствием чего я никогда не мог примириться». Возможно,

об этом убеждении Вернадского следовало рассказать подробнее... Но перечень пожеланий в данном случае не имеет большого смысла. Книга не претендует на всестороннее освещение личности и трудов Вернадского, да и вряд ли с такой задачей под силу справиться одному человеку. Книга И. И. Мочалова интересна и ценна уже потому, что знакомит читателя с мыслями и чувствами великого ученого, нашего соотечественника Владимира Ивановича Вернадского.

Р. БАЛАНДИН.

★

«ЭКСЛИБРИС ВЫШЕЮ ПЕЧАТЬЮ...»

С. Вуль, Е. Минаев. Образ В. И. Ленина в экслибрисе. М. «Книга». 1970. 29 стр.
Е. М. Минаев и С. П. Фортинский. Экслибрис. М. «Книга». 1970.

19 апреля 1927 года на заседании экслибрисной секции московского Русского общества друзей книги профессор Алексей Алексеевич Сидоров прочитал свою оду «Похвала экслибрису». Были в ней и такие строки:

Волнуется невинной благодатью
Библиофила трепетная кровь...
Тогда экслибрис вышею печатью
Запечатлеет книжную любовь!

А сорок с лишним лет спустя член-корреспондент Академии наук СССР А. А. Сидоров, верный своей любви, написал предисловие к книге Е. Минаева и С. Фортинского «Экслибрис», которая по праву стала настольным справочником библиофилов, привлекла к себе пристальное и заинтересованное внимание многомиллионного племени книжников. «В наши дни,— пишет автор предисловия,— экслибрис представляет собою сложную, многообразную область изобразительного искусства... Международные выставки экслибриса — биеналле — проходят почти ежегодно...» А поскольку книжный знак действительно является «вышею печатью» для любителя книги и поскольку количество этих любителей и ценителей в нашей стране растет с невероятной скоростью, то появление своеобразной энциклопедии не могло не остаться незамеченным. Она должна была явиться заметным событием уже потому, что за последние почти пятьдесят лет в нашей стране не было выпущено ни одного подобного издания! Правда, с недавнего времени стали издаваться небольшие альбомы, посвященные отдельным художникам. Но книг, рассказывающих об истории и зна-

чении экслибриса, о технике и способах создания его, о людях, посвятивших книжному знаку свой талант, не было. Поэтому-то книга Е. Минаева и С. Фортинского, вышедшая двадцатитысячным тиражом (и вовсе не дешевая книга!), почти тут же стала библиографической редкостью.

Разумеется, объяснять успех книги только «голодом» или даже тем, что издана она на высшем полиграфическом и художественном уровне (оформляя ее художник Е. Голяховский, сам, кстати, талантливый экслибрист), было бы наивным. Главный успех ее в другом — в содержательности, в том эстетическом и познавательном удовлетворении, которое невольно испытываешь, перелистывая ее страницы.

История книжного знака восходит к временам, отдаленным от нас более чем на тридцать пять столетий. Уже тогда «дощечки на футлярах древнеегипетских книг сообщали прежде всего имя фараона — владельца книг». Долгие столетия экслибрис оставался привилегией очень богатых людей. В России только в конце XIX — начале XX века предпринимаются первые попытки создания книжного знака для народных библиотек. В 1905 году из номера в номер «Вестник литературы», издаваемый Товариществом М. О. Вольф, помещает объявления в журнальный лист о конкурсе «на рисунок экслибриса для народных библиотек». В жюри конкурса — Илья Репин, Александр Бенуа... Успехи этого безусловно интересного и полезного начинания были весьма незначительны: время для массового распространения книжного знака еще не пришло.

Экслибрис в те годы все еще «был принадлежностью избранных... почти никогда не отражал общественно-исторических событий и его сюжеты ограничивались личным миром владельца библиотек».

Большая часть книги Е. Минаева и С. Фортинского посвящена становлению и развитию советского экслибриса, рассказам о работах советских художников. Авторы утверждают и свое утверждение убедительно подкрепляют рядом иллюстраций, что «тема революции и гражданской войны, восстановление народного хозяйства, стройки пятилеток, а позднее Великая Отечественная война 1941—1945 гг. получили отражение во многих советских книжных знаках». Художники нашей страны вносят в них новые сюжеты, ими создается, в частности, Лениниана, которая составляет особое место в творчестве графиков. В книге приведено несколько знаков, входящих в Лениниану, но подробно о них рассказывается в другом издании — в альбоме, составленном С. Вулем и Е. Минаевым по материалам собственной коллекции, — «Образ В. И. Ленина в экслибрисе». Прежде чем перевернуть страницы альбома, напомним: Владимир Ильич сам был владельцем экслибриса (в Поронине В. И. Ленин пользовался знаком в виде штемпельного оттиска латинским шрифтом «Vl. Oulianoff»), в его кремлевской библиотеке было три книги об искусстве книжного знака.

В альбоме приведено описание более двухсот работ, связанных с именем Ильича, по-

мешено тридцать миниатюр. Как сообщают авторы, первый экслибрис из Ленинианы появился еще в 1921 году. Выполнен он был художником А. Янченко. В последние годы советские художники особенно часто возвращаются к ленинской теме. И хотя авторы альбома прямо не объясняют причин этого, они ясны: все больше и больше появляется частных и государственных собраний, посвященных В. И. Ленину, так или иначе тематически связанных с его именем.

«Искусство советского книжного знака, — пишут Е. Минаев и С. Фортинский в книге «Экслибрис», — переживает пору своего возрождения». Это утверждение верно только отчасти. Действительно, в сороковых — пятидесятых годах интерес к книжному знаку несколько ослабел, однако масштабы развития экслибристики сейчас, успехи советских графиков на многочисленных международных выставках дают основание утверждать, что правильнее было бы уже говорить не о поре возрождения, а о поре мужания и зрелости. Книга знакомит читателя с рядом интереснейших работ, выполненных graphicsами Москвы, Ленинграда, многих областей РСФСР, союзных республик. Различная тематика, высокая гражданственность, многообразие приемов исполнения миниатюр...

В один год два столь приятных для сердца почитателя и ценителя книги события: вышли в свет первый свод книжных знаков, посвященных В. И. Ленину, и путеводитель по стране Экслибрис.

Виктор МАГИДСОН.



КОРОТКО О КНИГАХ

★

СОВРЕМЕННАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА ЗА РУБЕЖОМ. Информационный сборник, № 2 (81). М. «Книга». 1970. 157 стр.

Специальный выпуск информационного сборника, который издается Библиотекой иностранной литературы с 1961 года, посвящен военной теме в литературах мира. «Тема эта многообразна, неисчерпаема и неизменно актуальна», — справедливо говорится в редакторском предисловии к этому выпуску. Читатель сборника получит подробное представление о многих десятках книг, вышедших в двадцати с лишним странах. Все это произведения самых различных жанров, в том числе книги журналистов, публицистов, литературоведов, исторические исследования, антологии... Рядом с новинками и публикациями последних лет — старые, но донны живые книги, впервые изданные во время войны и еще раньше. Разнообразны избранные редакцией и авторами статей формы критического осмысления этого богатейшего материала. Это может быть тематический обзор, ограниченный определенным периодом истории («Вторая мировая война в английском романе 1965—1969 гг.», «Литература в изгнании. Немецкие писатели за рубежом в 1933—1945 гг.», «Литература Сопротивления в Нидерландах. 1940—1944 гг.», «Американский военный роман последних лет»). Это может быть подробнейший, с «выходом» в историко-публицистический очерк разбор одной значительной книги (рецензия на исследование А. Кедроса «Греческое Сопротивление. 1940—1944»). Это может быть статья, посвященная антивоенным мотивам в творчестве одного писателя (Георга Кайзера, М. Драгомира). Но «главный» жанр сборника — рецензия, короткая и вместе с тем достаточно емкая, рассказывающая о книге достоверно и увлеченно (не всегда, к сожалению, яркая, подчас поверхностная).

Сами названия упомянутых здесь работ говорят не только о широте охвата литературного материала, но о многообразии аспектов самого понятия «военная тема». Романы, воспоминания, человеческие документы, запечатлевшие испытания и битвы второй мировой войны, героические деяния участников европейского Сопротивления, и рядом с воскрешенной историей — художественные произведения и публицистика писа-

телей, мучительно озабоченных нескончаемой войной во Вьетнаме.

Перед читателем проходят книги, насыщенные пафосом борьбы против фашизма, гневом против современных агрессоров, — и демагогические или откровенно милитаристские творения, которые служили пропаганде в эпоху третьего рейха, а в наше время служат пропаганде неофашистских и реваншистских доктрин. Вот почему этот скромный сборник критических материалов рождает широкие размышления, насыщен огромный гражданским, человеческим содержанием, вот почему он обращен не только к разуму и памяти, но и к чувству и совести людей.

Библиотека иностранной литературы делает полезное, важное дело, систематически информируя советскую общественность о новых, достойных внимания явлениях в зарубежной литературе. За десять лет, прошедших со дня выпуска первого номера этого издания, отрецензировано более четырех тысяч книг писателей из шестидесяти стран мира.

Тираж сборника (5000 экземпляров) вряд ли можно считать достаточным: ведь потребность в оперативной, квалифицированной, критической информации о зарубежных литературах очень велика и в этой области работы хватит на всех — и на «солидные» литературно-художественные журналы типа «Иностранной литературы», и на информационные издания типа настоящего сборника.

Следует также продумать вопросы его распространения. Вероятно, наиболее целесообразно было бы объявить на сборник подписку через «Союзпечать» — тогда редакции, издательства, культурно-просветительные учреждения, лекторы, переводчики и все читатели, интересующиеся иностранной литературой, образовали бы постоянный контингент его подписчиков.

Б. Санина.

★

Р. ФАЙНБЕРГ. Юрий Герман. Критико-биографический очерк. Л. «Советский писатель». 1970. 367 стр.

Юрий Герман собирал выпускаемую Академией наук серию «Литературные памятники» и в отличие от некоторых других собирателей внимательно прочитывал каж-

дую книгу: Плутарха, Апулея, Лихтенберга, Шамфора, Вяземского. Особенно внимательно читал он Монтеня — оба тома «Опытов», стоящие на полке в его рабочем кабинете в Ленинграде, испещрены пометками. Во втором томе Герман, между прочим, подчеркнул слова Овидия: «Я хочу, чтобы смерть застигла меня посреди трудов». Впоследствии эти слова повторит один из самых дорогих автору персонажей известной трилогии о Владимире Устименко «деревенский доктор» Богословский: «...Я, как Овидий... единственно чего хочу, чтобы смерть «застигла меня посреди трудов».

Того же самого хотел Герман для себя, так он и встретил свою трагически безвременную кончину.

Во втором издании очерка Р. Файнберг о Германе (первое вышло в 1965 году, еще при жизни писателя) цитируется одна из последних записей, сделанных Юрием Павловичем: «Работа увлекает и принуждает не думать о том, о чем не думать почти невозможно». Продолжить цитату: «В поведении работающего индивидуума гораздо больше эгоизма, чем высоких материй». На пороге небытия Герман сохранял всегда отличавшую его неприязнь ко всяческой ложной патетике. Как и его герои, он не переносил выпендренной декламации и глубоко уважал людей, без пышных слов отдающих себя любимому делу.

Именно такого, подлинного Германа увидит читатель в книге Р. Файнберг. Автор книги подробно и обстоятельно рассказывает о работе талантливого писателя, продолжавшейся около четырех десятилетий — от юношеского романа «Рафаэль из парикмахерской», написанного в 1927 году, когда Герману было семнадцать лет, до романа «Я отвечаю за все», законченного в 1965 году и завершившего трилогию об Устименко.

«Знайте: великое дело всегда быть одним и тем же человеком» — эти слова Сенеки, процитированные Монтенем во втором томе «Опытов» и подчеркнутые Германом, можно с полным правом отнести и к самому Герману. Все, что он писал, было в конце концов подготовкой к главной книге его жизни: без солдатского «лекаря» Пирогова, без сельского доктора Калюжного, без подполковника медицинской службы Левина не возник бы Владимир Устименко, равно как без железного Феликса Дзержинского, без «сыщика» Лагшина, без «нашего друга» Бодунова не было бы Августа Яновича Штуба. Отмечая глубокую внутреннюю органичность писательского пути, пройденного Германом, Р. Файнберг справедливо пишет: «Если до этого у Германа два основных потока — его произведения о чекистах и о врачах — существовали раздельно, связываясь лишь единством авторского взгляда на героя, то в последней части трилогии, как в хорошей драме, стягиваются вместе все линии, развивавшиеся ранее в творчестве писателя». Удача книги Р. Файнберг в том, что она дает читателю почувствовать писательский мир Германа, вводит в круг

идей и образов, всю жизнь сопровождавших Германа — прозаика, драматурга, кинодраматурга, а также Германа-публициста, автора многих острых статей о литературе. Р. Файнберг показывает, что, к какому бы жанру ни обращался Герман, он был «всегда одним и тем же человеком»: им неизменно владела идея высокого гражданского служения литературе, высокой ответственности писателя за все, что его окружает.

К сожалению, живой человеческий облик Германа раскрыт в книге Р. Файнберг беднее его писательского образа. Автор как бы заранее ограничивает себя: «Сложная задача — воссоздать облик художника — может быть решена лишь коллективными усилиями. О Германе-человеке расскажут в своих воспоминаниях близкие писателя, его друзья...» Эти напрасные слова порождены, я думаю, слишком точным соблюдением канонов критико-биографического очерка. Может быть, отсюда и тягеловесность некоторых упреков, адресуемых Герману. Вряд ли стоит, например, неудачу «Рафаэля из парикмахерской» объяснять тем, что юному литератору были присущи «вульгарно-социологические представления о механической связи характера со средой». Гораздо ближе к истине был сам Герман, когда, вспоминая о своей первой книге, назвал ее попросту «взвешенной и до смешного наивной».

Тем не менее Р. Файнберг выполняет чрезвычайно полезную работу, впервые давая широкое представление о творчестве писателя, рано ушедшего из жизни, но успевшего много сделать для советской литературы.

Л. Левин.

★

А. МАРЬЯМОВ. Довженко («Жизнь замечательных людей»). М. «Молодая гвардия». 1970. 383 стр.

А. П. Довженко был сложным, противоречивым человеком и художником, много сделавшим и еще о большем мечтавшим.

Его судьба знала головокружительные взлеты успеха, крутые повороты, небывалую интенсивность труда, но также и долгие годы вынужденной пассивности. В ней было то, что со слов Байрона стало формулой фантастического прихода славы к еще молодому человеку: он тоже в одно прекрасное утро «проснулся знаменитым». Но, словно в отместку за стремительный и счастливый дебют в искусстве, без обычной тягости непризнания, ему в годы его полной зрелости были суждены испытания бездеятельностью и творческим молчанием.

Автор этих строк познакомился с А. П. Довженко в это нелегкое для него время. Я помню долгие прогулки с ним по московским бульварам и горьковатый скепсис, с которым он говорил сам о себе. На страницах книги А. Марьямова я встретил того А. П. Довженко, которого я знал, и не могу не выразить автору за это своей благодарности.

Крупно талантливые люди часто одарены универсально. Даже концентрируя свою деятельность на чем-то одном, они умеют многое. Таким был и Довженко. Он был талантливым скульптором и профессиональным художником-графиком; он ставил фильмы и писал сценарии и пьесы; он отлично владел секретом газетной публицистики и являлся прекрасным педагогом. Он сыграл несколько небольших ролей в своих фильмах, и жалко, что не сыграл их больше. Он был великолепным устным рассказчиком-импровизатором. Во всем, что он делал всерьез, с предельным напряжением сил, или мимоходом, легко и попутно, всегда была высокая ответственность истинного профессионализма.

В самом искусстве Довженко как бы сплелись далекие друг от друга и трудно соединимые стилистические элементы. Он романтик, но ему присущ заразительный и щедрый юмор. Он патетичен, но не испытывал страха и перед беспощадным натурализмом. Он возвеличивал своих героев, но он же часто смотрел на них недобро и резко. Эту амальгаму отлично сумел показать автор книги. Одно из самых больших ее достоинств: в ней с яркой зримостью описаны фильмы Довженко. Некоторые из них давно сошли с экранов и их трудно увидеть. Мало найдется читателей книги, которым посчастливилось посмотреть все работы Довженко. Но, дочитывая работу А. Марьямова, чувствуешь, что ты эти фильмы как бы видел сам.

Композиция книги своеобразна. Почти четвертая часть ее отдана рассказу о жизни Довженко до того, как он пришел в кино. И это вполне понятно. Мы видим глубинные истоки замечательной жизни, мы видим, как духовно определялся человек и будущий художник. И мы видим исторически точно, без условной приблизительности описанное время, которое его лепило и формировало.

Автор не жалеет страниц на повествование о ранних друзьях молодого Довженко, общение с которыми помогло ему стать самим собой. Несколько скуперее даны портреты и характеристики людей, с которыми, в союзе или в противоборстве, сотрудничал Довженко в последние годы жизни. Если автор думает, что эти люди читателю хорошо известны, то он ошибается. Если же он сделал это ради соблюдения закона исторической дистанции — многие из них еще живы, — то вряд ли это оправданно. Так или иначе, но у читателя создается впечатление, что если в начале жизни вокруг художника было шумно, беспокойно, весело, то в последние годы он живет словно в некоей пустоте. А может быть, так это и было?

Во всяком случае, о славной, но трудной и сложной жизни художника книга А. Марьямова рассказывает просто и ясно. Это книга об искусстве и о человеке искусства. Этим она и дорога мне.

А. Гладков.



ФРАНЦ РЕКШНЯ, АДЛЬФ ТАЛЦИС. Шаги во тьме. Документальная повесть-хроника о действиях советских разведчиков в оккупированной Латвии в 1942—1943 годах. Перевод с латышского Валды Волковской. Рига. 1970. 303 стр.

Слова, венчающие вступительную главу,стораживают: «Авторы считали своим долгом не отступать от суровой исторической правды». По силам ли зарок? Или это всего лишь риторическая формула? Однако по мере чтения убеждаешься, что авторы не только провозглашают принцип неуклонной достоверности, но и следуют ему. И когда их поиски не увенчиваются успехом, прямо признают: до сих пор не выяснено. Если домысливают какую-либо малость — это делается в исключительных случаях, — то оговаривают: так, мол, это представляется нам сейчас, двадцать пять лет спустя.

Такое самоограничение внушает доверие к повествованию, хотя речь в нем идет о событиях, для нынешнего читательского восприятия находящихся на грани возможного. Небольшие группы наспех подготовленных разведчиков и подпольщиков — месяца-другой обучения — забрасываются в далекий вражеский тыл, выполняют опаснейшие задания, собирают всевозможную информацию, необходимую для победы. Нередко каждый добытый факт, каждый шаг в глубину неприятельского расположения оплачивается кровью — собственной и тех, кто помог, приютил, дал кусок хлеба. Опасен не только враг, опасен малодушный спутник, ценой предательства выходящий из смертельной игры.

Уже выпущенные книги — будь то исторические исследования, мемуары участников, повести и рассказы — сообщили нам немало интересного и поучительного о борьбе, которая велась вдали от линии фронта, о ее характере, организации. И все-таки повесть-хроника Ф. Рекшни и А. Талциса не просто добавляет новые сведения, новые имена — что само по себе тоже ценно — она открывает широкому читателю мало известную страницу в истории партизанского движения.

Подпольная борьба в условиях оккупированной гитлеровцами Латвии имела свои драматические сложности. Разведчики, как правило, были выходцы из Латвии. Попадая в отчие края, оказываясь среди рассеянных там и тут хуторов, зная о заведомой враждебности одних жителей и ничего не зная о настроениях других, они, естественно, стремились прежде всего установить контакты с родными и друзьями, то есть как раз с теми, кто находился под неусыпным надзором гитлеровцев и полицеев...

«Шаги во тьме» — книга об отваге и мастерстве разведчиков, о том, как, какой ценой приобреталось это профессиональное мастерство. Авторы не скрывают опрометчивых шагов, оплошностей, даже когда такие оплошности допускаются людьми мужественными и проникательными. Однако книга сильна не столько объяснениями,

сколько тщательно собранными фактами. Иногда это отдельный эпизод, иногда история целой группы, иногда рассказ об одном человеке, таком, как, например, Дмитриев. Побывав уже в тылу врага, испытывав всю меру опасности, Дмитриев возвращается в Москву и, добившись нового задания, в сорок третьем году прыгает с парашютом на схваченный ночным морозцем мартовский снег...

«Шаги во тьме» принадлежат перу двух авторов, чьи имена значатся на обложке. Такой равноправный союз «бывалого человека» и литератора представляется более обоснованным, нежели альянсы, туманно именуемые «литературной записью», «литературной обработкой» и т. д. Однако и он, разумеется, не решает всех сложностей, сопряженных с беллетристической подачей конкретного исторического материала. В распоряжении Ф. Рекшии и А. Таллиса были дорогие архивные документы, воспоминания давних лет. В понятном стремлении оживить материал и героев авторы прибегают к прямой речи. Не так уж и велик домысел. Люди говорят то, что как будто им и надлежит говорить. Вряд ли кто-нибудь отважится возразить: нет, так они не могли сказать. Могли, это наиболее вероятный вариант. Однако наиболее вероятный — отнюдь не всегда самый убедительный. И не всегда самый характерный. Особенно в обстоятельствах необычных, драматических...

Но замечание это отнюдь не умаляет благородную и полезную работу, скрупулезно проделанную Францем Рекшей и Адольфом Таллисом.

В. Кардин.

★

ДЭВИД ХАЛБЕРСТЭМ. Один очень жаркий день. Повесть. Перевод с английского. М. «Прогресс», 1970. 192 стр.

Повесть «Один очень жаркий день» написана очевидцем. Д. Халберстэм был корреспондентом газеты «Нью-Йорк таймс» во Вьетнаме, получил Пулитцеровскую премию за свои репортажи. На их основе написана эта книга. Она рисует действительно только один, но очень характерный день войны американско-сайгонского батальона, совершающего очередную карательную экспедицию. Повесть, при всей своей односторонности (автор не показывает «другую» сторону, никак не упоминает о целях борьбы вьетнамского народа против агрессоров), претендует на объективное изображение войны. Действия американских войск, картина их тыловой жизни даны автором в очевидной неприглядности. Но главное достоинство книги заключается все-таки в другом — интересном психологическом «срезе» с американцев — участников войны.

Давно всем ясно, что американцы во Вьетнаме ведут несправедливую войну. Кто же те люди, которые со спокойной сове-

стью едут туда убивать, иногда не ведая даже, что это за земля — Вьетнам (так, например, Бопре, ветеран, переживший еще корейскую войну, уверен, что вьетнамская война ведется на острове)? Такой вопрос может показаться наивным по отношению к солдату-исполнителю, который заведомо порывает с «личной жизнью», включаясь в военную кампанию. И все же вопрос правомерен, ибо армия — это не только кадровики, как Бопре, но также еще и вчерашние граждане: призывники и добровольцы, значительную часть которых составляет молодежь.

Три «категории» солдат предстают перед нами. Автор как бы сознательно разбил их на группы, дабы показать, что, несмотря на свое различие — культурное, социальное, расовое, — люди, давшие вовлечь себя в бесчеловечную акцию и молчаливо согласные с ней, приходят в конце концов к одному и тому же итогу — моральной опустошенности, духовной апатии.

Наиболее обширна «категория» тех, кто ехал на войну как на хороший бизнес.

Вторая «категория» — служаки, как Бопре. Они, конечно же, примыкают к первым, но это в основном неудачники в жизни, «тертые калачи», не до конца лишены человечности. При всем выработавшемся у них равнодушии к происходящему, они все же еще способны на какие-то контакты с жизнью.

Наиболее интересная психологическая «категория» персонажей в книге Д. Халберстэма — молодежь. Ее олицетворяет лейтенант Андерсон, молодой человек, имеющий «идеалы». Юноша приехал сюда не просто «защищать западную цивилизацию», но еще и «дружить с вьетнамцами». Он выучил вьетнамский язык. Он в восторге от страны и два раза в неделю пишет жене пространные письма о памятниках старины, людях и нравах. Но сталкиваясь (уже не среди пальм и пагод, а среди рисовых полев и бедняцких хижин) с инстинктивным отчуждением крестьян, не понимающих; почему именно вооруженный пришелец распоряжается их имуществом и жизнью односельчан, Андерсон постепенно начинает терять свою «позолоту». Непонимание вьетнамцев вызывает в нем сначала недоверие к ним, а затем и просто раздражение. Только смерть не дает Андерсону слиться с окружающей его «однородной» массой исполнителей, оказываясь своего рода искуплением заблуждений юноши.

Д. Халберстэм дал также интересные зарисовки отношений белых и черных солдат, приехавших из одной и той же страны. Расовая отчужденность и расовые конфликты — вот «составляющие» этих отношений. Острота этих конфликтов бывает такова, что белые участники их порой забывают, против кого, собственно, они воюют — против вьетнамцев или негров. Такая «двойная» война еще резче подчеркивает духовный распад участников этой войны.

А. Кузнецов.

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ



ПОЛИТИЗДАТ

- В. И. Ленин.** Подготовительные материалы к книге «Развитие капитализма в России». 736 стр. Цена 1 р. 21 к.
- Владимир Ильич Ленин.** Биографическая хроника. 1870—1924. Том 1. 1870—1905. 640 стр. Цена 1 р. 16 к.
- Фридрих Энгельс.** Биография. 640 стр. Цена 2 р. 5 к.
- Д. Голинков.** Крах вражеского подполья. Из истории борьбы с контрреволюцией в Советской России в 1917—1924 гг. 368 стр. Цена 80 к.
- Дипнурьеры.** Очерки о первых советских дипломатических курьерах. 271 стр. Цена 46 к.
- Ю. Жунов.** США на пороге 70-х годов. Записки политического обозревателя. 288 стр. Цена 77 к.
- Я. Кадар.** Избранные статьи и речи. Октябрь 1964 г.—апрель 1970 г. Перевод с венгерского. 648 стр. Цена 1 р. 12 к.
- С. Ковалев.** О человеке, его порабощении и освобождении. 304 стр. Цена 97 к.
- В. Кодовилья.** Избранные статьи и речи. Перевод с испанского. 1048 стр. Цена 1 р. 66 к.
- Н. Матновский.** Верный сын английского рабочего класса (Гарри Поллит). 80 стр. Цена 11 к.
- Г. Петровский.** Наш мудрый вождь. 96 стр. Цена 11 к.
- Справочник партийного работника.** 488 стр. Цена 93 к.

«СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

- Айбек.** Великий путь. Роман. Перевод с узбекского. 391 стр. Цена 76 к.
- Ю. Барабаш.** О народности. Литературно-критические очерки. Перевод с украинского. 368 стр. Цена 98 к.
- Жале.** Попутный ветер. Стихи. Перевод с персидского. 88 стр. Цена 27 к.
- Л. Завальнюк.** Поле-половодье. Книга стихов. 78 стр. Цена 25 к.
- С. Красноперов.** Енисейские бусы. Рассказы и повесть. 126 стр. Цена 15 к.
- Ю. Левитанский.** Кинематограф. Книга стихов. 128 стр. Цена 40 к.
- А. Мухтар.** Чинара. Роман. Перевод с узбекского. 327 стр. Цена 64 к.
- Поэзия крестьянских праздников.** Вступительная статья, составление, подготовка текста И. Земцовского («Библиотека поэта»). 636 стр. Цена 1 р. 25 к.
- Р. Рождественский.** Всерьез. Новые стихи и поэмы. 206 стр. Цена 78 к.
- Сармен.** Зима в цветах. Стихи. Перевод с армянского. 127 стр. Цена 86 к.
- М. Слуцнис.** Жажда. Роман. Перевод с литовского. 316 стр. Цена 72 к.
- Н. Тихонов.** Белое чудо. Повесть. 303 стр. Цена 50 к.
- Н. Хамматов.** Золото собирается крупницами. Роман. Перевод с башкирского Е. Мальцева. 431 стр. Цена 82 к.
- О. Черный.** Три жизни Повести и рассказы. 454 стр. Цена 83 к.
- Ю. Шамсур.** Снег и весна. Стихи и поэма. Перевод с узбекского. 104 стр. Цена 30 к.
- В. Шэфнер.** Запас высоты. Стихи. 79 стр. Цена 20 к.

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

- Е. Адельгейм.** Микола Бажан. 184 стр. Цена 42 к.
- П. Г. Бенито.** Двор Карла IV.— Сарагоса. Романы. Перевод с испанского. 432 стр. Цена 94 к.
- Г. Березкин.** Человек на заре. Рассказ о Максиме Богдановиче — белорусском поэте. 136 стр. Цена 33 к.
- О. Гончар.** Знаменосцы. Трилогия. Перевод с украинского Л. Шапиро. 408 стр. Цена 92 к.
- Р. Деснос.** Стихи. Переводы с французского М. Кудинова. Вступительная статья С. Великовского. 208 стр. Цена 65 к.
- Е. Драбкина.** Черные сухари. Рассказы. 351 стр. Цена 66 к.
- Н. Карамзин.** Бедная Лиза. Повести. Вступительная статья Г. Макогоненко («Народная библиотека»). 144 стр. Цена 19 к.
- Е. Краснощечова.** «Обломов» И. А. Гончарова. 96 стр. Цена 21 к.
- А. Куприн.** Повести и рассказы. 312 стр. Цена 71 к.
- М. Лермонтов.** Герой нашего времени. Вступительная статья И. Виноградова («Народная библиотека»). 175 стр. Цена 25 к.
- Литература великого подвига.** Великая Отечественная война в советской литературе. Сборник статей. Составитель В. Борщук. 440 стр. Цена 1 р. 23 к.
- М. Майерова.** Площадь республики. Лучший из миров. Романы. Перевод с чешского. 543 стр. Цена 1 р. 74 к.
- А. Михайлов.** Андрей Вознесенский. Этюды. 192 стр. Цена 53 к.
- Ю. Опильский.** Сумерки. Роман. Перевод с украинского. 384 стр. Цена 91 к.
- К. Паламас.** Избранная поэзия. Перевод с новогреческого. Составление и вступительная статья Я. Мочоса. 240 стр. Цена 1 р. 2 к.
- М. Пархоменко.** Обновление традиций (Традиции и новаторство социалистического реализма в украинской прозе). 400 стр. Цена 1 р. 15 к.
- Поэты Калмыкии.** Перевод с калмыцкого. Составитель В. Джимбинов. Вступительная статья В. Джимбинова, С. Липкина. 287 стр. Цена 1 р. 61 к.
- Л. Ребряну.** Восстание. Роман. Перевод с румынского. 512 стр. Цена 1 р. 63 к.
- С. Семенов.** Рассказы. Вступительная статья К. Ломунова. 336 стр. Цена 69 к.
- Т. Сильман.** Диккенс. Очерки творчества. 376 стр. Цена 1 р. 6 к.
- Сназиане вьетнамских гор.** Перевод с вьетнамского Н. Никулина. 192 стр. Цена 22 к.
- Н. Снетнова.** «Дон Кихот» Сервантеса. 144 стр. Цена 25 к.
- А. Троллоп.** Барчестерские башни. Роман. Перевод с английского. 479 стр. Цена 93 к.
- Ф. Тютчев.** Стихотворения. Вступительная статья К. Пигарева («Народная библиотека»). 160 стр. Цена 20 к.
- Финские повести XIX—XX веков.** Перевод с финского. Вступительная статья Л. Виротайнен. 392 стр. Цена 73 к.

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

- Е. Гончаров.** Как забиваются гвозди. Рассказы. Предисловие Л. Жарикова. 207 стр. Цена 29 к.
- Ю. Ильинский.** Городок на Днестре. Повесть. 190 стр. Цена 36 к.
- А. Караваева.** Дена из Журавлиной рощи. Роман. 272 стр. Цена 64 к.
- Фантастика.** 1969—1970. 319 стр. Цена 76 к.
- И. Чигринов.** В тихом тумане. Рассказы. 194 стр. Цена 21 к.

«ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»

- М. Бремер.** «Тебе посвящается...» Повести и рассказы. 288 стр. Цена 58 к.
- О. Гуссаковская.** Повесть о последней найденной земле. Повести. 191 стр. Цена 60 к.
- Д. Дефо.** Жизнь и удивительные приключения морехода Робинзона Крузо. Пересказал К. Чуковский. 272 стр. Цена 56 к.
- А. Каменская.** Девочка, как тебя зовут? Повесть. Перевод с польского. 160 стр. Цена 40 к.
- К. Симонов.** Избранное. Предисловие Р. Казаковой. 176 стр. Цена 42 к.
- В. Смирнов.** Весной семнадцатого. Повесть. 256 стр. Цена 63 к.
- В. Тихомиров.** Краснодеревщини. Повесть. 126 стр. Цена 27 к.
- М. Юхма.** Книга о Чувашии. 95 стр. Цена 47 к.

«СОВЕТСКАЯ РОССИЯ»

- Н. Доризо.** Свежесть. Книга новых стихов. 208 стр. Цена 67 к.
- В. Ештушенко.** Белогорские соловьи. Повесть. 96 стр. Цена 18 к.
- В. Мансиков.** Мы обживаем землю. Повести. 304 стр. Цена 69 к.
- В. Привальский.** Повесть о бедном солдате. 127 стр. Цена 47 к.
- Л. Соболев.** Ветер времени. Сборник публицистических статей, очерков и выступлений. 1926—1969 гг. 543 стр. Цена 1 р. 9 к.

«МОСКОВСКИЙ РАБОЧИЙ»

- И. Круглов.** Незабываемые годы. Мемуары. 120 стр. Цена 19 к.
- С. Леонов.** Познай ближнего. Роман. 360 стр. Цена 75 к.
- Е. Марьенков.** На земле Смоленской. Повесть. 336 стр. Цена 76 к.
- В. Розанов.** Голубь пропадает в тумане. Повесть. 152 стр. Цена 25 к.
- А. Суслов.** Торжок и его окрестности. Публицистика. 160 стр. Цена 21 к.

«ИСКУССТВО»

- Л. Жегин.** Язык живописного произведения (Условность древнего искусства). 124 стр. Цена 2 р. 50 к.
- Пьесы писателей Латинской Америки.** Перевод с испанского и португальского. Составитель Р. Похлебкин. 634 стр. Цена 1 р. 65 к.
- Ю. Смирнов-Несвицкий.** Ключ к образу. Размышления о способах игры в современном советском театре. 103 стр. Цена 54 к.
- Фрески Феррапонтова монастыря.** Альбом Текст И. Даниловой. 120 стр. Цена 12 р.

«ПРОГРЕСС»

- Г. Аптекер.** О природе свободы, демократии и революции. Перевод с английского. 128 стр. Цена 39 к.
- А. Бергстром.** Построение и применение экономических моделей. Перевод с английского. 172 стр. Цена 48 к.
- Д. Бройн.** Буриданов осел. Перевод с немецкого Е. Кацевой и Т. Иллеш. 230 стр. Цена 80 к.

У. Вальднер. Остров в войне. Повесть. Перевод с немецкого. 256 стр. Цена 63 к.

А. Герэн. Серый генерал. Перевод с французского. 364 стр. Цена 1 р. 46 к.

П. Данинос. Записки майора Томпсона. Повесть. Перевод с французского. 314 стр. Цена 1 р. 3 к.

В. Жукровский. Крещенные огнем. Повесть. Перевод с польского. 174 стр. Цена 42 к.

Б. Когут. Калина.— Кому позволено жить. Роман. Перевод с польского. 303 стр. Цена 1 р. 2 к.

К. Новый. Мы хотим жить. Роман. Перевод с чешского. 187 стр. Цена 47 к.

С. Поп. Серенада на трубе. Роман. Перевод с румынского. 224 стр. Цена 56 к.

Г. Тейл. Прикладное экономическое прогнозирование. Перевод с английского. 510 стр. Цена 2 р. 36 к.

Г. Эделинг. Прогнозирование и социализм. Перевод с немецкого. 262 стр. Цена 1 р. 8 к.

«МИР»

М. Аптер. Кибернетика и развитие. Перевод с английского. 215 стр. Цена 1 р. 1 к.

А. Коут. В поисках роботов. Перевод с английского. 207 стр. Цена 50 к.

Органические синтезы через карбонилы металлов. Перевод с английского. 374 стр. Цена 3 р. 61 к.

С. Стернберг. Лекции по дифференциальной геометрии. Перевод с английского. 412 стр. Цена 1 р. 79 к.

Техника систем индустриализации. Коллектив авторов. Перевод с английского. 520 стр. Цена 3 р. 12 к.

Ф. Хартман. Обыкновенные дифференциальные уравнения. Перевод с английского. 720 стр. Цена 3 р. 21 к.

«МЫСЛЬ»

Э. Баталов, Л. Никитич и Я. Фогелер. Поход Маркузе против марксизма. 143 стр. Цена 48 к.

Вопросы географии. Мировой океан. 271 стр. Цена 1 р. 27 к.

Вопросы истории советского общества в трудах В. И. Ленина. Сборник статей. 285 стр. Цена 1 р. 8 к.

В. Гармиза. Крушение эсеровских правил. 294 стр. Цена 1 р. 7 к.

В. Грималон. Общественное разделение труда и основное производственное отношение социализма. 134 стр. Цена 44 к.

Коллектив колхозников. Социально-психологическое исследование. 287 стр. Цена 1 р. 4 к.

В. Крашенинников и Г. Драгунов. Швейцария знакомая и незнакомая. Путевые очерки. 208 стр. Цена 48 к.

Научное управление обществом. Сборник статей. 351 стр. Цена 1 р. 27 к.

Прогнозирование капиталистической экономики. Проблемы методологии. 448 стр. Цена 1 р. 69 к.

О. Соколов. М. Н. Покровский и советская историческая наука. 276 стр. Цена 1 р. 6 к.

Л. Файн. История разработки В. И. Лениным кооперативного плана. 332 стр. Цена 1 р. 24 к.

О. Шнаратан. Проблемы социальной структуры рабочего класса СССР. 472 стр. Цена 1 р. 75 к.

«ЭКОНОМИКА»

Л. Гатовский. Экономические законы и строительство коммунизма. 334 стр. Цена 1 р. 59 к.

Н. Калинина и В. Макушин. Влияние условий труда на его производительность. 144 стр. Цена 44 к.

О. Козлова и И. Кузнецов. Научные основы управления производством. 286 стр. Цена 89 к.

Проблемы экономической интеграции стран — членов СЭВ. 239 стр. Цена 88 к.

Хозрасчет и управление. Теория, опыт, перспективы. 320 стр. Цена 1 р. 32 к.

«НАУКА»

Австралия и Океания (История и современность). Сборник. 280 стр. Цена 1 р. 26 к.
Горный и современный. Сборник статей. 463 стр. Цена 2 р. 2 к.

Изучение и использование водных ресурсов СССР, 1966—1967 гг. Сборник статей. 190 стр. Цена 1 р. 3 к.

Истоки русской беллетристики. Возникновение жанров сюжетного повествования в древнерусской литературе. Коллективная монография. 595 стр. Цена 2 р. 90 к.

История Вьетнама в новейшее время (1917—1965). Коллективная монография. 475 стр. Цена 2 р. 30 к.

История киргизской советской литературы. Коллектив авторов. 543 стр. Цена 2 р. 54 к.

А. Картунова, В. К. Блюхер в Китае, 1924—1927 гг. Документированный очерк. Документы. 184 стр. Цена 1 р. 45 к.

Крупный капитал и монополия стран Азии. Сборник статей. 311 стр. Цена 1 р. 45 к.

Ленинское наследие и изучение фольклора. Сборник статей. 197 стр. Цена 1 р. 3 к.

А. Лихолат. Под ленинским знаменем дружбы народов. 436 стр. Цена 1 р. 98 к.

Е. Никитин. Объяснение — функция науки. 280 стр. Цена 90 к.

Проблемы психологизма в советской литературе. Сборник статей. 395 стр. Цена 1 р. 86 к.

Русская литература и фольклор XI—XVIII вв. Коллектив авторов. 431 стр. Цена 2 р. 8 к.

Формирование национальных литератур Латинской Америки. Сборник статей. 264 стр. Цена 1 р. 1 к.

«ЮРИДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»

А. Васильев и Л. Карнеева. Тактика допроса при расследовании преступлений. 208 стр. Цена 55 к.

В. Манохин. Государственная дисциплина в народном хозяйстве. 208 стр. Цена 72 к.

Н. Марышева. Рассмотрение судами гражданских дел с участием иностранцев. 120 стр. Цена 32 к.

Международное право. 568 стр. Цена 1 р. 16 к.

Д. Цивадзе. Развитие экономических функций Советского государства. 341 стр. Цена 1 р. 34 к.

МЕСТНЫЕ ИЗДАТЕЛЬСТВА

С. Абдулла. Скиталец. Роман. Перевод с узбекского. Ташкент. Издательство художественной литературы и искусства имени Г. Туляма. 420 стр. Цена 81 к.

И. Гребенюк. На далеких рубежах. Роман. Перевод с украинского. Львов. «Каменяр». 491 стр. Цена 1 р. 6 к.

Н. Есиненку. Крупица жизни. Новеллы. Переводы. Кишинев. «Лумина». 64 стр. Цена 7 к.

Э. Залите. Ранняя ржагчйна. Роман. Перевод с латышского. Рига «Лиезма». 477 стр. Цена 67 к.

Р. Кашаускас. Игры взрослых. Повести. Перевод с литовского А. Берман. Вильнюс. «Вага». 341 стр. Цена 50 к.

С. Колбасев. Повести и рассказы. Предисловие Н. Тихонова. Лениздат. 590 стр. Цена 1 р. 4 к.

Р. Мурашко. Соловьи святого Поликара. Роман. Перевод с белорусского. Минск. «Беларусь». 288 стр. Цена 70 к.

С. Наровчатов. Великий поэт и гражданин (О. Туманян). Ереван. «Айастан». 32 стр. Цена 7 к.

Ю. Нигмагуллина. Национальное своеобразие эстетического идеала. Казань. Издательство Казанского университета. 212 стр. Цена 68 к.

Ш. Рашидов. Кашмирская песня. Легенда. Перевод с узбекского. Ташкент. Издательство художественной литературы и искусства имени Г. Туляма. 38 стр. Цена 16 к.

Солнце над лесами. Антология марийской прозы. Переводы. Йошкар-Ола. Маркнигоиздат. 400 стр. Цена 62 к.

Соловьиный родник. Антология марийской поэзии. Переводы. Йошкар-Ола. Маркнигоиздат. 279 стр. Цена 1 р. 16 к.

Ф. Таурин. Байкальские крутые берега. Роман. Новосибирск. Западно-Сибирское книжное издательство. 392 стр. Цена 80 к.

Главный редактор **В. А. Косолапов**

Редакционная коллегия:

Ч. Айтматов, Д. Г. Большой (первый зам. главного редактора),
Ф. К. Видрашку (ответственный секретарь), **Р. Г. Гамзатов, А. А. Кулешов, В. М. Литвинов, А. И. Овчаренко, А. Е. Рекемчук, А. Я. Сахнин, О. П. Смирнов** (зам. главного редактора), **Ф. Н. Таурин, К. А. Федин**

Редакция: Малый Путинковский пер., д. 1/2. Тел. 299-81-77.

Почтовый адрес: Москва, К-6, Пушкинская пл., д. 5.

Сдано в набор 31/XII 1970 г. Объем 18 п. л. Подписано к печати 18/II 1971 г.

Формат бумаги 70 × 108¹/₁₆, 28,7 уч.-изд. л., 9 бум. л. (25,2 печ. л.)

А05720.

Зак. 4442.

Тираж 178 000 экз.

Набрано и сматрицировано в типографии «Известий Советов депутатов трудящихся СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова. Москва, Пушкинская пл., 5.

Отпечатано в ордена Ленина типографии «Красный пролетарий».

Москва, Краснопролетарская, 16. Заказ № 292.

Цена 70 коп.

70636